ISSN 0130-6545

1991

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

мере:

ОНИ БЕРДЖЕСС
ст намерения

СТ БИНЕК
ги

ВАДОР ДАЛИ
ая жизнь
вадора Дали,
санная
ьмим

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ»
МОСКВА

Главный редактор

В. Я. ЛАКШИН

Редакционная коллегия:

**С. С. АВЕРИНЦЕВ, А. М. АДАМОВИЧ,
О. С. ВАСИЛЬЕВ (заместитель главного редактора),
Л. Н. ВАСИЛЬЕВА, Т. П. ГРИГОРЬЕВА, Я. Н. ЗАСУРСКИЙ,
А. М. ЗВЕРЕВ, И. Ф. ЗОРИНА, Т. П. КАРПОВА, Т. В. ЛАНИНА,
Т. Л. МОТЫЛЕВА, Б. В. НИКОЛЬСКИЙ (ответственный секретарь),
В. Ф. ОГНЕВ, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, В. С. ПЕРЕХВАТОВ,
Р. И. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ,
А. Н. СЛОВЕСНЫЙ (заместитель главного редактора),
Г. Ш. ЧХАРТИШВИЛИ**

**Международный общественный совет журнала
«Иностранная литература»**

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ — председатель Совета

ЖОРЖИ АМАДУ (Бразилия), ЭРВЕ БАЗЕН (Франция),
КРИСТА ВОЛЬФ (Германия), ТОНИНО ГУЭРРА (Италия),
МИГЕЛЬ ДЕЛИБЕС (Испания),
ЭРНЕСТО КАРДЕНАЛЬ (Никарагуа),
ЗИГФРИД ЛЕНЦ (Германия), АРТУР МИЛЛЕР (США),
АНАНТА МУРТИ (Индия), КЭНДЗАБУРО ОЭ (Япония),
ЙОРДАН РАДИЧКОВ (Болгария), СВЯТОСЛАВ РЕРИХ (Индия),
НГУГИ ВА ТХИОНГО (Кения), РОБЕРТО ФЕРНАНДЕС
РЕТАМАР (Куба), СЕМБЕН УСМАН (Сенегал),
УМБЕРТО ЭКО (Италия)

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

НЕЗАВИСИМЫЙ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1955 ГОДА

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ» МОСКВА

декабрь **12** 1991

СОДЕРЖАНИЕ

ЭНТОНИ БЁРДЖЕСС — Трепет намерения *(Роман. Перевод с английского и комментарии А. Смолянского)* 5

ХОРСТ БИНЕК — Стихи *(Перевод с немецкого и вступление Евгения Витковского)* 144

ХЬЕЛЛЬ АСКИЛЬСЕН — Последние заметки Тома Ф. *(Рассказы. Перевод с норвежского О. Дробот)* 152

ХАНС БЬЁРКЕГРЕН — Стихи *(Перевод со шведского Г. Айги, И. Кутика и А. Афиногеновой. Беседа поэта с переводчиками)* 162

Документальная проза и публицистика

САЛЬВАДОР ДАЛИ — Тайная жизнь Сальвадора Дали, написанная им самим *(Фрагменты книги. Перевод Н. Малиновской)* 170

Евразийская идея: вчера, сегодня, завтра (Из материалов конференции, состоявшейся в Комиссии СССР по делам ЮНЕСКО. Участвуют: Р. Отунбаева, П. Палиевский, Г. Померанц, И. Роднянская, Р. Гальцева, С. Аверинцев, В. Лакшин) 213

Критика

А. ДОРОШЕВИЧ — Энтони Бёрджесс. Цена свободы 229

Новые книги, новые имена

М. Салганик — Всякий ли грех искупаем? А. Мулярчик — Кролик Энгстром — тридцать лет испытаний. Н. Зимянина — Невеселое пособие для чехов по новейшей истории их страны. А. Лукин — Виктория Чаликова: другое приближение. В. Иванов — Интервью с директором издательства «Слово» Г. Ерицяном 234

У книжной витрины 247

Курьер «ИЛ» 250

Содержание журнала «Иностранная литература» за 1991 г. 252

Авторы этого номера 255

© «Иностранная литература», 1991

На обложке: рисунок Сальвадора Дали.

По всем вопросам, связанным со сроками выхода и распространения журнала, а также по поводу полиграфического брака редакция просит обращаться в издательство «Известия».

Главный художник С. И. Мухин
Технический редактор Е. П. Поляков

Адрес редакции: 109017, Москва, Пятницкая ул., 41, телефон 233-51-47.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»,
Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 30.09.91. Подписано в печать 26.11.91. Формат 70×108 1/16
Печать высокая. Бумага книжно-журнальная. Усл. печ. л. 22,4.
Усл. кр.-отт. 23,4. Уч.-изд. 25.01.

Тираж 142 100 экз. Цена 2 р. 95 к.

Набрано и сматрицировано в ордена Ленина типографии «Красный пролетарий». 103473, Москва И-473, Краснопролетарская, 16. Заказ 2301.
Отпечатано и изготовлен тираж в типографии издательства «Советская Сибирь», 630048, Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 44. Зак. 74.

ЭНТОНИ БЁРДЖЕСС

Трепет намерения

РОМАН

Перевод с английского и комментарии
А. СМОЛЯНСКОГО

От автора[1]

Роман «Трепет намерения» своим названием обязан медицинскому термину «интенционный тремор», означающему дрожание руки при попытке взять какой-нибудь предмет, что является одной из черт синдрома Корсакова, следствия хронического пьянства. Это роман о холодной войне, в нем попытки агрессии с обеих сторон «железного занавеса» рассматриваются как некий тремор неуверенности. И впрямь, ведь весь аппарат насилия служит чему-то вроде игры — военной игры, в которой победителем не суждено стать никому, разве не так? Конфликт идеологий, который являлся подоплекой «холодной войны», был не более чем детской имитацией войны настоящей, идущей уровнем выше или ниже в виде фундаментального противоборства Инь и Ян, Бога и Дьявола и поддерживающей двойственность вселенной. Этот роман — пародия на шпионские страсти Джеймса Бонда, столь популярные одно время на Западе, особенно в их кинематографической форме. Сексуальные и гастрономические эпизоды, эта квинтэссенция излишества, могут быть отнесены за счет сибаритизма Джеймса Бонда. Эпизод в Крыму, где убийства никак не связаны с «холодной войной», русский читатель может счесть несуразным, но я и не стремился описывать реальный мир. Если в романе есть какая-то серьезная тема, то именно та, которую сформулировал Иисус Христос словами: «Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих»[2]. Настоящих врагов следует искать среди нейтралов — тех, кто извлекает выгоду из непрекращающейся жизненной борьбы, стоя от нее в стороне.

ЭНТОНИ БЁРДЖЕСС

---

[1] Из предисловия к сборнику произведений Э. Бёрджесса, готовящемуся к публикации в санкт-петербургском отделении издательства «Художественная литература». (*Перев. В. Бошняка*).

[2] Откровение Иоанна Богослова. 3. 16.

День и ночь — и нам вольно
Делать выбор, но равно
Что бело и что черно.

У. Х. Оден

Худшее, что можно сказать о большинстве наших преступников, от политиков до воров — то, что они недостойны и проклятия.

Т. С. Элиот

Часть I

1

Положение сейчас следующее. В Венеции, как и было задумано, я присоединился к «гастрономическому круизу», и в данный момент «Полиольбион» *, купаясь в лучах летнего адриатического солнца, плывет на юго-восток. В Пулдже все нормально. Д. Р. прибыл три дня назад, я передал ему все дела, после чего мы не просыхали целую ночь, вспоминая былые подвиги. Я в порядке, в отличной форме, если не считать хронического обжорства и сатириаза *, но у них, как водится, политика взаимного сдерживания. Вряд ли ли мне представится случай потакать своим слабостям во время этого центробежного путешествия (послезавтра мы уже войдем в Черное море), но у меня плотоядно текут слюнки от одной мысли, что после завершения операции предстоит неделя отдыха и на обратном пути можно будет расслабиться. Стамбул, Корфу, Вильфранш, Ивиса, Саутгемптон. И — конец, свобода! По крайней мере, для меня. Насчет бедняги Роупера — не уверен.

Д. Р., как и планировалось, передал мне ампулы с PSTX. Шприц у меня, разумеется, свой. Остальное — дело техники. Считайте, что тень несчастного Роупера уже валяется на соседней койке. Пассажирскому помощнику я сообщил, что непредвиденные обстоятельства заставили моего друга, мистера Иннеса, сойти в Мурфатларе, но он сядет на автобус, поезд или паром — его дело — и нагонит нас в Ярылыке. Помощник сказал, что не возражает: само собой разумелось, что мистер Иннес не потребует компенсации за пропущенную часть пути (полторы тысячи миль чревоугодия и распутства). Словом, тревожиться не о чем. Для Роупера все готово, включая новый паспорт. Джон Иннес — глава фирмы, выпускающей удобрения. С паспорта уныло взирает все то же задубелое лицо бородача из Метфиза. Да, кем он только не был, мой подставной приятель: сводником из Мдины, страдавшим от сифилиса гениальным математиком, скрывавшимся в Палеокастрице, мудрым и неприметным православным священником по имени Р. Дж. Гайст и даже знаменитым украинским литератором, которого преследовали за болтовню о педерастах в Президиуме Верховного Совета. И вот теперь — Джон Иннес, прикрытие для накрытого Роупера.

Сэр, я прекрасно понимаю, что для правительства Ее Величества возвращение Роупера — вопрос животрепещущий. Все мы помним запросы в палате общин, особенно после ликующего сообщения ТАСС об огромном успехе в разработке нового ракетного топлива и после того, как «Евровидение» показало «Зверя» * на первомайском параде в Москве. Но я совсем не понимаю другого: почему похитить Роупера поручили именно мне, если, конечно, это не объясняется неоспоримым и безграничным доверием, которое я снискал себе (чего уж скромничать!) за пятнадцать лет работы в разведке. Однако Вам, несомненно, должно быть известно, что я все еще питаю теплые чувства к своему бывшему однокласснику, с которым до его побега мы были чуть ли не друзьями, хотя, случалось, подолгу не виделись (война, да и после нее, а потом —

---

* Здесь и далее звездочкой отмечены места, поясняемые в комментариях.

его женитьба, мое назначение в Пулдж). Последней весточкой, отправленной Роупером на Запад, была адресованная мне открытка весьма загадочного содержания, над которой, не сомневаюсь, наши шифровальщики до сих пор ломают головы: «Без двух минут четыре. Ликуйте, суки. Загрызли мученика». Давайте-ка о деле Роупера начистоту. Уверен, что «вариант первый» не сработает. Роупер ни за что не согласится вернуться. Что прошло, то прошло — в этом его научное кредо. Он никогда не копается в том, что давно выброшено на свалку. Если уж он еретик, то придерживается той же ереси, что и Вы: верит, что жизнь может стать лучше, а человек благороднее. Не мне, конечно, говорить, что все это чушь собачья. Не мне вообще философствовать — я всего лишь старший исполнитель.

Я понимаю, сэр, почему для Роупера разработано два варианта: сначала использовать все доводы и лишь потом силу. В свободе выбора есть пропагандистская ценность, хотя я-то знаю, какие посулы содержатся в зашитых у меня в подкладку официальных письмах, полученных из первых рук, знаю, как эти первые руки призывно машут. А вернись он, и через месяц-другой — суд. И все же я выполню задание. Для этого превращусь в мистера Себастьяна Джаггера (на сей раз задубелое лицо бородача для моего паспорта, естественно, не понадобилось). Итак, Джаггер, эксперт по пишущим машинкам. Кстати, по такому поводу могли бы окрестить меня Йцук Енгшщзх. Джаггер спустится на берег и в туалете какого-нибудь ресторана быстро превратится в нечто благообразное, покрякивающее и до глубины души славянское. Потом, если все пойдет по плану, такси быстро доставит его к месту, где будет в тот вечер находиться Роупер и где он будет отрезан от остальных участников научного syezd'a. Я предстану перед ним прежним, до боли знакомым, воскрешая в памяти Роупера не только отринутый им Запад, но и его самого в прежней, выброшенной на свалку жизни.

Думаете, его можно уговорить? Я даже спрошу иначе: Вы думаете, я приложу все усилия, чтобы его уговорить? Я-то сам (буду откровенен, ведь это мое последнее задание) убежден, что должен убедить Роупера? Все это большая грязная игра, попахивающая геноцидом: ракеты и сверхнадежные системы раннего предупреждения прекрасно вписываются в ее правила. Но, сэр, никто никого не собирается убивать. Идея тотального уничтожения не менее бредовая, чем магическое зеркало или любая средневековая чепуха. Когда-нибудь антропологи, стараясь не выдать своего недоумения, будут рассуждать о луддитских замашках в наших отнюдь не легкомысленных заигрываниях с коллективным самоубийством. Но я в этой игре всегда честно выполнял свою роль — надежного исполнителя, этакого полиглота, проворного, ловкого, хладнокровного. А с другой стороны, я — пустое место, идеально отлаженный черный ящик. Есть у меня давнишняя мечта, но в ее осуществлении ни одна идеология не поможет. Мне бы уютную квартирку и чтоб в избытке спиртного, проигрыватель и пластинки с полной записью «Кольца» *. Я бы с радостью избавился от остальных своих наклонностей, раз уж они имеют болезненный характер: болезни, мало того что влетают в копеечку, лишают человека самодостаточности. В Мохаммедии, где я выслеживал поставщиков гашиша, был доктор, утверждавший, что простейшая операция избавит меня от обоих недугов, поскольку они в некотором смысле схожи. Самое большое, о чем я мечтаю,— это просторный бревенчатый дом на берегу какого-нибудь северного озера, а вокруг чтоб только хвоя, кислород и хлорофилл, и из тумана пускай доносятся гудки колесных пароходов. Бар на борту «Мянниккё» ломится от экзотических напитков — «Юханнус», «Хухтикуу», «Эдустая», «Крейкка», «Сильмяпари»,— и добродушный капитан, у которого водятся деньжата, без конца заказывает выпивку «на всех», раз от разу все больше хмелея. На закуску — тающая во рту соленая рыбка с маринованными огурчиками и подрумяненный ржаной хлеб с ломтиками копченого мяса. Тут же и блондиночки, надув губки, тоскуют в ожидании страстной и

безымянной любви. Нет, придет время, и я непременно сделаю эту операцию.

Смотрите, как работают мои железы. Это поважнее результатов психологических тестов. И психика и мораль у меня здоровые. В моральном отношении я даже выше Св. Августина, с его «Сделай меня целомудренным, но не спеши» *. Это несерьезно: отсутствует четкий план действий, отрицается свобода воли. Сэр, если бы Вы и в самом деле читали мое послание, Вы бы нахмурились, почуяв связь между Св. Августином (конечно, Кентерберийским, а не Гиппонским * — последний не менее достойный, но уже слишком занудный), Роупером и мною. Св. Августин был покровителем католического колледжа в Брадкастере, где мы с Роупером учились. В моем личном деле Вы можете отыскать название колледжа, но там не найти ни его запахов, ни запахов самого городка. В Брадкастере пахло сыромятнями, пивоварнями, каналами, потом ломовиков, грязью старых щелей, кирпичной пылью, деревянными лавками трамваев, мясным рагу, горячими сочными пирогами, тушеной говядиной, пивом. Сэр, Рупертом Бруком * и Вашей Англией там не пахло. А в колледже стоял католический дух: пахло толстыми черными сутанами, прошлогодним ладаном, святой водой, смрадным дыханием постящихся, вяленой рыбой, муками безбрачия. Колледж был дневным, но при нем имелся дортуар человек на сорок. Там мы с Роупером и жили, ведь приехали мы издалека, с юга — я из Кента, он из Дорсетшира — и прежде чем получить стипендию, сдавали экзамен. Лучшие католические колледжи у нас на севере: английская Реформация пробивалась сюда, наверх, с большим трудом, подобно крови в ногах больного артериосклерозом. Но, конечно, и у Вас есть католический Ливерпуль, этакий второсортный Дублин. Итак, мы оказались среди старокатоликов *, два изгнанника-южанина, два трансплантированных ирландца, два чужака, у которых отцы состояли на консульской службе. Хоть мы и были католиками, но произношением походили на протестантов, и наша манера растягивать гласные коробила ортодоксальные уши окружающих. Волей-неволей нам с Роупером пришлось стать друзьями. Мы выбрали соседние парты и кровати. В отношениях наших не было, конечно, и тени гомосексуальности. Более того, думаю, что тело каждого из нас было другому неприятно, и мы никогда не боролись, как другие приятели. Когда Роупер раздевался перед сном или душем, я ловил себя на том, что пугаюсь белизны его тела, и воображал, будто слышу запах разлагающейся плоти. Но зато с другой — гетеросексуальной — стороны мы себя ничем не ограничивали. Нам, конечно, внушали, что сексуальные отношения вне брака есть смертный грех. Впрочем, как мы понимали, это не распространяется на те нации, которые приняли католицизм до нас и по праву старожилов пользуются определенными привилегиями.

Я про этих чернявых, вроде Кристо Гомеса, Альфа Перейры, Пита Кьюваля и Ослика Камю из пятого младшего класса *. Деньги у них были, так что они платили девочкам (из тех, что крутятся на углу Мерлстрит и Лондон-роуд) и вели их в наш бывший кабинет рисования, в раздевалку возле крикетного поля (волосатый Хорхе де Тормес был капитаном нашей лучшей команды) и даже в новую часовню. В конце концов их поймали in flagrante [3] и с позором изгнали из колледжа. Каково было Телу Христову видеть в боковом приделе подпрыгивающие задницы? Удивительно, как долго им удавалось скрывать свои проделки, тем более что для ректора, отца Берна, целомудрие воспитанников было предметом особого внимания. Иногда по ночам он обходил дортуар (при этом от него неизменно попахивало неразбавленным виски), дабы удостовериться, что под одеялами не скрываются греховные помыслы. Время от времени поиски производились с особым усердием, и по их окончании отец Берн обращался к нам из дальнего конца спальни с проповедью о греховности сластолюбия. Как и положено ирландцу, он был прирож-

[3] На месте преступления *(лат.)*.

денным актером и изливал потоки красноречия, не зажигая света, но подсвечивая лицо карманным фонариком, и казалось, что перед нами парящая над адовым пеклом голова какого-то обезглавленного святого. Однажды он начал так:

— Дети мои, похоть есть проклятье. Вас должно воротить от одного этого слова. Все беды нынешней жизни проистекают от дьявольской похоти, от занятия, приличествующего собакам и шлюхам, что на ходящих ходуном лежанках превращают конечности человеческие в дергающиеся машинные поршни, а божественный дар речи — в крики, стоны и сопение. В глазах Господа и Пресвятой Богородицы нет ничего более мерзостного, вот именно: мерзостного! Похоть есть источник всех прочих смертных грехов, от нее проистекают плотская гордыня и плотская алчность, неутоленное вожделение порождает гнев, чужие похождения — зависть, желание ввергнуть изнуренную плоть в новые грехи ведет к чревоугодию, а иссушающие сладострастные мечты — к праздности. Лишь освященная супружескими узами, делается она милостью Божьей средством для порождения на свет новых душ, дабы пополнить ими число живущих в Царствии Небесном.

Он остановился, чтобы перевести дух, и тут, пользуясь передышкой, чей-то голос сказал в темноте:

— Маллиган тоже породил новую душу, хотя и не был женат.

Это был Роупер, и сказанное Роупером было правдой. Маллиган и одна местная девица жили как муж и жена, и, хотя его давным-давно выгнали из колледжа, историю эту никто не забыл.

— Кто это сказал? — крикнул отец Берн.— Кто тут разговаривает после того, как потушили свет?

Луч фонарика автоматной очередью прочертил по темным кроватям. Роупер решительно сказал:

— Я,— и, чуть помедлив, добавил,— сэр. Мне просто хотелось разобраться,— сказал он, выхваченный лучом из темноты.— Я не понимаю, как может обряд обратить зло в добро. Это все равно, что сказать, будто дьявол сразу превратится в ангела, стоит только священнику осенить его крестным знамением. Я этого не понимаю, сэр.

— Встать! — взорвался отец Берн.— Встать сию же секунду!

Луч прыгнул к двери.

— Эй, там, включите свет.

Зашлепали чьи-то ноги, и в глаза ударил резкий желтый свет.

— А теперь на колени,— приказал отец Берн,— и молись, чтобы Господь тебя простил. Кто ты такой, червь, чтобы сомневаться в силе Всемогущего Бога?

— Я ни в чем не сомневался, сэр,— сказал Роупер, все еще не встав с кровати.— Просто меня, несмотря на поздний час, заинтересовало то, о чем вы говорили.

Он так осторожно коснулся ногой пола, словно свесился из лодки, желая проверить, холодная ли вода.

— Встать! — крикнул отец Берн.— На колени и молись.

— О чем, сэр? — спросил Роупер, стоя между нашими двумя кроватями. На нем была мятая, некогда голубая, но сильно полинявшая пижама.— Я должен просить у Бога прощения за то, что он своей безграничной властью сотворил меня любознательным?

Роуперу, как и мне, было тогда лет пятнадцать.

— Нет,— отвечал отец Берн с ирландской непринужденностью, придавая голосу елейную вкрадчивость,— за то, что ты, богохульник, осмелился предположить, что Бог не сможет *(крещендо!)*, если захочет, превратить зло в добро! На колени! Молись! (Ф-фу-у.)

— Почему же Он не хочет, сэр? — бесстрашно вопрошал Роупер. Он стоял на коленях, но держал себя так, словно сейчас будет посвящен в рыцари.— Почему мы не можем получить то, чего все так хотят — мира, в котором царит гармония?

Боже, спаси нас всех вместе с Роупером и его мировой гармонией: у отца Берна начался приступ икоты! Ректор сурово взглянул на Роупера, словно он, а не виски, был причиной его страданий. Затем обвел взглядом всех нас.

— На колени. Все! (ик...) Всем (ик...) молиться! Этот дортуар стал (ик...), извиняюсь, вместилищем греха.

Мы все повскакивали с кроватей, лишь один малыш продолжал спать как ни в чем не бывало.

— Разбудите его (ик...). А это у нас кто без (ик...) пижамных штанов? Догадываюсь, чем ты (ик...) занимался.

— Надо, чтобы похлопали по спине, сэр,— участливо сказал Роупер.— Или девять глотков воды, сэр.

— Господь Всемогущий,— начал отец Берн,— ведающий сокровенными помыслами, которые таятся в душах этих (ик...) маленьких...

Почувствовав, что из-за икоты его словам недостает подобающей торжественности, он гаркнул: «Молитесь сами. Начинайте...» — и заикал к выходу. Для нас это явилось своеобразной победой Роупера — не первой и не последней. Добивался он их, главным образом, благодаря исключительной способности к строго научному рассмотрению любого вопроса. Помню, однажды на уроке химии — мы тогда были в пятом классе — наш преподаватель, французский англофил отец Бошан, нудно объяснял, каким образом элементы вступают во взаимодействие, образуя новые соединения. Вдруг Роупер спросил:

— А почему натрий и хлор хотят соединиться при образовании соли?

Класс грохнул от хохота. Все предвкушали забавное развлечение. Отец Бошан тоже выдавил из себя подобие улыбки и ответил:

— Роупер, что значит «хотят»? Хотеть могут только живые существа.

— Странно,— проговорил Роупер.— Должны же были неживые предметы захотеть стать живыми, иначе бы жизнь на Земле не зародилась. У атомов наверняка есть свобода выбора, Вы и сами говорили про «свободные атомы».

— Свобода выбора? — переспросил отец Бошан.— Ты хочешь сказать, что Бог в этом не участвует?

— Сэр, при чем здесь Бог? — раздраженно воскликнул Роупер.— У нас же урок химии!

Несколько секунд отец Бошан пережевывал эту мысль, но ничего — проглотил. Затем уныло произнес:

— Посмотрим, сможешь ли ты сам ответить на этот вопрос.

Не знаю, когда открыли все эти премудрости, связанные с электровалентностью, но тогда, в конце тридцатых, никто — ни ученики, ни учителя — не разбирался в этом лучше Роупера. Об отце Бошане и говорить нечего: он, похоже, проходил все впервые вместе с нами. Роупер сказал, что у атома натрия только один электрон на внешней оболочке (ни про какие внешние оболочки нам на уроках не рассказывали), а у атома хлора их семь. Устойчивое состояние возникает при восьми электронах, что видно на примере многих веществ. По его словам, два атома соединяются специально для того, чтобы образовалось вещество, на внешней оболочке которого было бы восемь электронов. Затем он добавил:

— Нам говорят о священных числах — три, семь, девять и так далее,— но, похоже, в первую очередь надо говорить о восьмерке. Я хочу сказать, что если уж вы не можете не упоминать о Боге на уроках химии, то должны признать, что восемь — одно из Его любимейших чисел. Возьмем, к примеру, воду, которую Бог сотворил раньше всего прочего, по крайней мере Библия утверждает, что Дух Божий носился над водою. Вода состоит из кислорода, у которого шесть электронов на внешней оболочке, и водорода, у которого всего один электрон, таким образом, для образования воды требуется два атома водорода. Бог наверняка это

знал, тем не менее Церковь никогда не признавала «восемь» священным числом, у нас есть Святая Троица, семь смертных грехов, десять заповедей. А число «восемь» нигде не встретишь.

— Но заповедей блаженства как раз восемь *,— сказал отец Бошан и, нервно покусывая губы, стал соображать, следует ли за богохульство отправить Роупера к ректору. В конце концов, он решил оставить Роупера и нас всех в покое и попросил разобраться в этой теме по учебнику. Правый глаз у него непроизвольно подергивался. Случившееся напоминало историю с отцом Берном. Таким образом, разговор ректора с Роупером о месте Бога в химических процессах отодвинулся на год. Состоялся он после того, как мы уже перешли в шестой класс, и я стал специализироваться в языках, а Роупер, разумеется, в точных науках. Он мне тогда обо всем рассказал в столовой, пока мы уплетали водянистое баранье рагу. Роупер старался говорить тихо — это с его-то резким голосом,— и пар, поднимавшийся над его тарелкой, слегка шевелил прядь прямых пшеничных волос.

— Он снова привязался ко мне, чтобы я стал на колени, чтобы я молился и тому подобное. А я спросил, в чем же, по его мнению, состоит моя вина.

— И в чем же?

— Да Бошан донес. Мы с ним спорили о всяких физических и химических превращениях и, конечно, добрались до хлеба Причастия. Я спросил, присутствует ли Христос в самих молекулах или появляется там только после выпечки хлеба. И вообще мне надоело, что про одни вещи спрашивать можно, а про другие нельзя. На мессу я больше не пойду.

— И ты сказал об этом Берну?

— Да. Потому-то он и заорал, чтобы я стал на колени. Но ты бы видел, как он взмок!

— Представляю.

— Я сказал, что не понимаю, зачем обращать молитвы к тому, в чье существование я больше не верю. А он сказал, что молитва избавит меня от всех сомнений. Какая чушь!

— Ну зачем же так? Немало умнейших людей, включая людей науки, принадлежали к Церкви.

— Он мне сказал то же самое. Но я настаивал, что двух миров не существует, есть только один. И надо разрешить науке стучаться в любые двери.

— Что он с тобой сделает?

— А что он может сделать? Не исключит же! Во-первых, это не ответ, а во-вторых, он знает, что я, наверное, получу государственную стипендию, которую здесь уже тысячу лет никому не давали. Вот пускай и поломает голову.

Итак, очередная победа Роупера...

— Да и экзамены скоро,— добавил Роупер,— и ему даже не отослать меня в какой-нибудь другой колледж, чтобы мне там промыли мозги. Так-то.

Да, именно так оно и было. Я же по-прежнему пребывал в лоне Церкви. Но Писание я воспринимал механически и, скорее, с эстетической стороны: фундаментальные вопросы меня не интересовали. Я корпел над римскими поэтами, которые славили римских завоевателей, а когда наступал долгий расслабляющий мир, принимались воспевать мужеложство, супружескую неверность и всяческие плотские услады. Помимо этого я читал целомудренных трагиков эпохи Короля-Солнца, хотя меня и раздражало их мазохистское самоограничение. Среди наших преподавателей числился один поляк, не имевший священнического сана. Звали его — по имени создателя славянской азбуки — брат Кирилл. В колледже он появился только три года назад и учить ему было решительно некого, поскольку знал он только славянские языки, по-английски едва говорил, а по-немецки и того хуже. Однажды я увидел, как

он читает книгу, автором которой, по его словам, был Пушкин. Мне сразу приглянулись нелепо ощетинившиеся греческие буквы, и судьба моя (хотя об этом, сэр, я, разумеется, не подозревал) была решена. Я с жаром бросился изучать русский и получил разрешение сдавать его на выпускных экзаменах как основной предмет вместо новейшей истории. За это, сэр, новейшая история мне хорошо отомстила.

2

Во время нашего с Роупером разговора о молекулярной структуре Евхаристического Тела Христова я и не подозревал, что мы стоим на пороге «взрослой» жизни. Шел тридцать девятый год. Нам было уже почти по восемнадцать. На утренних собраниях отец Берн неоднократно намекал на то, что нацистские преследования евреев не что иное, как Божья кара, обрушившаяся на народ, который отверг Божественный Свет, кара в коричневых рубашках со свастикой. «Они же распяли нашего возлюбленного Спасителя!» (Сидевший рядом со мной Роупер тихо произнес: «А я думал, его распяли римляне».)

— На них,— распалялся отец Берн,— лежит печать первородного греха, они погрязли в блуде и стяжательстве. Их закон не запрещает ростовщичества и прелюбодейства.

И так далее. Отец Берн был высоким, стройным, с шеей даже более длинной, чем требовалось по росту, однако сейчас он необычайно правдоподобно изображал пузатого, короткошеего Шейлока, брызгал слюной, шепелявил и потирал руки. Вот он в сердцах плюнул и крикнул: «Ви, паршивые христиане! Вам таки не делают обрезания!» Он обожал лицедействовать. Лучшей ролью отца Берна был Яков I Шотландский, и он с упоением потчевал нас ею на уроках истории (что бы в тот момент ни проходили), громко причитая, сморкаясь и вещая на якобы шотландском диалекте*. Однако и Шейлок был неплох. «Ми таки с вами со всеми расправимся, паршивие христиане. Ой-вэй, деньжат моих ви не получите».

Мы с Роупером считали для себя унизительным смеяться во время этих представлений. Мы-то понимали, что нацисты уничтожают не только евреев, но и католиков. Что такое зло, мы узнавали теперь из газет, а не из религиозных трактатов, стоявших на отдельных стеллажах в нашей библиотеке. Мы не могли поверить тому, что слышали о концлагерях. Кровавое месиво, распоротые штыками гениталии! Сэр, говорите что угодно, но мы не больно отличаемся от тех, кого ненавидим. Хотел бы кто-нибудь из нас, перекрутив пленку обратно, в те времена, когда не было еще газовых камер и кастраций без анестезии, вставить в проектор другую — безгрешную — пленку? Ведь на самом деле нам хочется, чтобы подобные ужасы происходили и мы могли бы упиваться своим благородным нежеланием отплатить мерзавцам их же монетой. Мы с Роупером считали, что, чем слушать шепелявое берношейлоковское шельмование евреев, лучше уж от души позабавиться с кем-нибудь в часовне.

— Ну, что ты теперь думаешь о добре и зле? — спросил я однажды Роупера.

— Разумно было бы предположить,— отвечал он, разжевывая кусок тушеной баранины,— что добром называется то, к чему мы стремимся, что бы это ни было. Тут все дело в невежестве и в постепенном просветлении. Зло проистекает от невежества.

— Немцы, говорят, не самый невежественный народ в мире.

Сказать ему было нечего. Тем не менее он сказал:

— Есть разные виды невежества. У немцев оно проявилось в политике, и в этом их беда. Возможно, они и не виноваты. Немецкие государства слишком поздно заключили союз или что там они заключили? — У Роупера были весьма туманные представления об истории.— Ну, ты же знаешь, все эти их леса, где в каждом дереве по богу.

— Ты хочешь сказать, что у немцев атавистическое сознание?

Роупер, разумеется, сам не знал, что хотел сказать. Он давно уже не интересовался ничем, кроме физики, химии и биологии, которые собирался сдавать на выпускных экзаменах. Он одновременно и наполнялся, и опустошался, становился в буквальном смысле неодушевленным, превращаясь из мальчика не в мужчину, а в машину, наделенную совершенно нечеловеческими способностями.

— А что ты скажешь, когда разразится война? — спросил я Роупера.— Думаешь, эти кретины не ведают что творят, и их никак нельзя остановить? Но ведь они и до нас доберутся. Вместе с отравляющими газами и всем прочим.

Только тут до Роупера, похоже, стало доходить, что война коснется и его, и всех нас.

— Да,— сказал Роупер,— я как-то об этом не думал. Черт подери... Плакала, значит, моя стипендия.

Да, никто не сомневался, что Роупер блестяще сдаст экзамены и получит стипендию.

— Вот и подумай,— сказал я.— Подумай о евреях. Об Эйнштейне, Фрейде и им подобным. Ведь нацисты относятся к науке как к международному еврейскому заговору.

— Тем не менее в Германии живут светила мировой науки,— сказал Роупер.

Я поправил:

— Жили. От большинства они теперь избавляются. Потому-то им и не выиграть войну. Но поймут они это не скоро.

В тот год выдалось чудесное лето. С десятью фунтами в карманах, голосуя на дорогах, мы с Роупером проехались по Бельгии, Люксембургу, Голландии и Франции. Целый месяц мы питались сыром, дешевым вином, каламбурами типа «Чемберлен — j'aime Berlin»[4] * и разговорами о войне, которые затевали, греясь на солнышке. Однажды мы устроились на ночь в спальных мешках возле линии Мажино и чувствовали себя в полной безопасности. В Англию мы вернулись за три дня до начала войны. Выскочив из едва не прихлопнувшей нас европейской мышеловки, мы узнали, что результаты экзаменов уже известны. У меня они были хорошими, у Роупера же — просто великолепными. Ходили разговоры, что меня пошлют в Лондон в Институт славянских исследований, а Роуперу следовало подождать, пока ему оформят стипендию. Между тем нас обоих тянуло в то единственное место, где все ощущалось родным,— в колледж.

У отца Берна появился теперь новый номер — «страдающая Ирландия». Родом он был из Корка и даже намекал, что во время беспорядков «черно-пегие» * изнасиловали его сестру. «Англичане — поджигатели войны,— надрывался он на утреннем собрании. О поправших веру немцах он почему-то не упоминал,— да-да, они снова объявили войну и снова опираются на еврейские миллионы. (Молниеносный шарж: «Всемирная еврейская плутократия»). Война будет страшной. На Европу набросятся — если уже не набросились — миллионы обезумевших мародеров в погонах. Опять на многострадальную ирландскую землю хлынут орды тупых дикарей, у которых на уме только мерзостное совокупление, да хранят нас от этого греха Всемогущий Господь и Пресвятая Богородица». Весьма скоро он добрался и до Роджера Кейсмента *, после чего объявил, что все стипендии временно отменяются. Целое утро мы изнывали от скуки в нашей библиотеке. Наконец, я предложил:

— Надо напиться.

— Напиться? А можно?

— Мне, например, даже нужно. Не бойся, мы теперь вольные пташки.

Пиво в барах было тогда по пять пенсов за пинту. Мы обошли «Кларендон», «Джордж», «Кадди», «Кингз хед», «Адмирал Вернон».

---

[4] Я люблю Берлин *(франц.)*.

В Брадкастере пахло хаки и дизельным топливом. К этому добавлялся сладостный аромат надежды: ночи сулили «мерзостные совокупления». Казалось, девушки на улицах только и делают, что кокетничают, и что губы у них стали ярче, а грудь больше. А может, отец Берн в чем-то и прав? После шестой кружки я стал воображать, будто идет первая мировая война, я получил короткий отпуск и, щеголяя офицерской формой, шествую по перрону лондонского вокзала «Виктория». Я пахну вражеской кровью, и девушек это сводит с ума. «Милашки, чего я только не навидался в окопах».— «Ой, расскажите, расскажите!»

— Пошли добровольцами,— сказал я Роуперу.— Мы же любим нашу чудесную страну.

— Чем уж она такая чудесная? — Роупер качнулся.— Что она дала лично тебе или мне?

— Свободу. Не может быть плохой страна, позволяющая ублюдкам вроде отца Берна измываться над ней каждое утро. Подумай об этом. И выбирай: Англия или всем осточертевший отец Берн.

— Я, между прочим, собирался в Оксфорд.

— Забудь об этом. И надолго. Рано или поздно нас все равно призовут. Какой смысл ждать? Давай запишемся добровольцами.

Но в тот же вечер мы записаться не успели, потому что Роупера развезло. Реакция его желудка на пиво шла вразрез с английскими традициями. В переулке возле «Адмирала Вернона» у него начались рвотные позывы, и бедняга, поступаясь рационалистическими убеждениями, взывал о помощи к Иисусу, Марии и Иосифу. Я съязвил в том смысле, что, оказывается, его материализм на внутренние органы не распространяется, но Роуперу было не до меня, он стонал: «О Боже, Боже, Боже... О, кровоточащее Сердце Христово...» На следующий день на Роупере не было лица, но он заявил, что согласен идти со мной в грязную лавчонку, где размещался вербовочный центр. Вероятно, отрыжка, терзавшая его с похмелья, создавала ощущение внутренней пустоты, которую он и решил восполнить чувством сопричастности судьбе своего поколения. То же можно было сказать и обо мне.

— А как же родители? — спросил Роупер.— Надо им сообщить.

Я сказал что-то вроде:

— Радуйся: одной заботой меньше. Пошлем им телеграмму — и все.

Нас встретил сержант, мучившийся страшным насморком. Я записался в Королевские войска связи. Роупер же никак не мог сделать выбор.

— Я не хочу убивать,— сказал он.

— И не надо,— прогнусавил сержант.— Для вашего брата есть бедицина.

Он хотел сказать «медицина». Медицинская Служба Королевских Сухопутных Войск. МСКСВ. Моментально Станешь Классным Смелым Воякой. Роупер не задумываясь примкнул к этой братии.

Вспоминаю те дни, и кажется странным, что в Британской армии тогда еще не проводили специальных занятий с новобранцами, если не считать тех, на которых втолковывали разницу между курком и прицелом. За все время службы Роупера в армии никому и в голову не приходило, что парня можно использовать для разработки самых смертоносных видов оружия. Между прочим, то, что я свободно говорил по-русски, по-французски и довольно неплохо по-польски, тоже никого не интересовало. Когда же в июле сорокового года сформировали Королевскую разведывательную службу и я захотел туда перевестись, то встретил большие трудности. Произношение офицеров разведки красноречиво свидетельствовало, что французскому они обучались не в частных школах, а в государственных. Англичане вообще относятся с подозрением к знанию иностранных языков, оно ассоциируется у них со шпионами, импресарио, официантками и еврейскими беженцами; джентльмену знать языки не пристало. Только после того как Советский Союз стал

одним из наших союзников, я признался, что знаю русский. Но прошло еще немало времени, пока моему знанию русского нашлось применение. Меня назначили младшим переводчиком в рамках программы англо-американской помощи России. Для моего возраста звучало это довольно солидно, но на самом деле мне пришлось заниматься поставками спортинвентаря для советских военных моряков. Однажды меня чуть было не повысили: я должен был наблюдать, чтобы в каждую банку американской тушенки клали лавровый лист, поскольку русские находили американскую свинину слишком пресной, но я убедил начальство, что подобная ручная операция существенно замедлит поставки, и мое повышение не состоялось. Однако вернемся к Роуперу.

Первое письмо от него пришло из Олдершота. Он писал, что неподалеку от их казармы упала бомба и что он теперь чаще, чем раньше, думает о смерти. Скорее даже о всех Четырех Важнейших Вещах, о Которых Следует Помнить Католику: о Смерти, о Страшном Суде, об Аде и о Царствии Небесном. Он писал, что еще задолго до выпускных экзаменов благополучно выбросил из головы всю эту чепуху, но сегодня его мучает вопрос: действительно ли все эти посмертные штучки существуют для тех, кто в них верит? Он писал, что в религиозном отношении оказался в довольно двусмысленной ситуации. Новобранцев, прибывавших в учебную воинскую часть, сразу делили: «Католики — сюда, протестанты — туда, прочие — посередке». Он собирался объявить себя агностиком, но это сулило крупные неприятности, поэтому («особо не задумываясь, как и положено в армии») пришлось назваться католиком. Но получив чин сержанта, он обнаружил, что стал не просто командиром, а командиром-католиком. Роупер должен был сопровождать солдат на воскресные мессы. Тамошний священник, славный, открытый человек (англичанин, а не ирландец!), просил Роупера повлиять на солдат, чтобы они почаще причащались. Между тем после взрыва бомбы возле казармы — а было это почти в самом начале его армейской службы — Роупера стали уверять, что слово «католик» в его документах обладает силой заклятия. Соседи-офицеры говорили: «Ты у нас католик. Когда эти суки снова начнут бомбить, надо будет держаться к тебе поближе». Роупер писал: «Похоже, в народе живет суеверное убеждение, что, если кого смерть и обходит стороной, так это католика. Отголосок чувства вины за Реформацию. Простые люди как бы говорят: у нас к старой религии претензий не было. Она нам даже нравилась. Это все ублюдки-богатеи, Генрихи VIII там разные, они нам запретили верить».

Бедняга Роупер не имел возможности заниматься наукой (хотя быстро овладел всеми премудростями своей новой профессии, за что вскоре получил повышение) и, оказавшись наедине со своими мыслями и сомнениями, стал ощущать опустошенность. «Я хотел бы обрести единственно истинную веру, какой бы она ни оказалась. Бессмысленно вести эту войну, если мы сами не знаем, какую дорогу выбрать. И дело не в том, что наш путь плох, а немецкий — еще хуже. Тут все сложнее. Война не должна быть против чего-то, она должна быть за. Подобно крестовому походу, она должна нести веру. Но какую?»

Дальше — больше, и Роупер — Боже праведный! — увлекся поэзией. «Однако,—писал он,—современная поэзия мне совершенно чужда. Я человек науки и потому привык, чтобы каждое слово имело одно и только одно значение. Вот почему меня влекут поэты типа Вордсворта *, которые говорят именно то, что хотят сказать, хотя, конечно, не со всем, ими сказанным, я согласен. По крайней мере, Вордсворт придумал для себя собственную религию и с научной точки зрения сделал это корректно. Ведь природа есть нечто реально существующее: нас окружают деревья, реки, горы. Когда я думаю об Англии, которую бомбят эти нацистские ублюдки, то просто физически ощущаю ее страдания, и не только потому, что гибнут люди и города, нет, вместе с ними гибнут деревья, леса, поля, и их муки мне ближе, чем терзания распятого Христа. Тебе не ка-

жется, что я для себя тоже придумал нечто вроде религии? И, надеюсь, ты не станешь утверждать, что она иррациональна».

Дорога, по которой Роупер двигался от сухого рационализма к сентиментальности, неминуемо должна была привести его к сердечным увлечениям. В сорок третьем году он писал мне из Чешема, где проходил курс военной гигиены, что встречается с девушкой по имени Этель. «Она белокурая, стройная, длинными ногтями не щеголяет: вообще она очень цельная натура. Этель работает в кафе на Хай-стрит. Поздновато я лишился невинности, правда? Мы с ней уходим в поле, где все и происходит; очень здорово, хотя особой страсти я не испытываю. Чувства вины тоже никакого. Как ты думаешь, это плохо, что я не испытываю вины? С католицизмом я окончательно порвал, и Англия после этого стала мне еще ближе, я имею в виду ее душу, ее существо. Мне открылась ее величественная непорочность. Англии не по пути ни с католичеством, ни с пуританством — она их стряхнет и не заметит. В нацистской Германии тоже есть непорочность, но другого рода: там она недобрая, и потому немцы даже не замечают своей звериной жестокости. Интересно, хоть кому-нибудь стыдно за эту войну? Лежа с Этель в поле, я стараюсь придать остроту ощущениям (впрочем, пока без особого успеха), воображая, что совершаю адюльтер (разумеется, Этель не замужем) или кровосмешение. В каком-то смысле это, конечно, кровосмешение, ведь предполагается, что все мы братья и сестры, живущие большой дружной семьей и направляющие свою сексуальную ненависть (в основе всякой ненависти лежит секс) против общего врага».

Но по-настоящему серьезное письмо Роупер послал из уже капитулировавшей Германии. «Я никогда больше не притронусь к мясу,— писал Роупер.— Никогда в жизни. В лагере мясо было повсюду, оно лежало штабелями и кое-где еще шевелилось. Человеческое мясо. Наверняка сладковатое (ведь каждый кусок — на косточке!), в нем копошились черви, сверху кружили мухи. Воняло, как на громадной сыроварне. Мы там оказались первыми и, с трудом сдерживая тошноту, сразу начали распылять свой патентованный антисептик «Марк IV». Раньше, когда мне встречалось слово «некрополь», я думал, что это поэтический термин для описания мертвого ночного города, где запертые дома кажутся покинутыми своими обитателями. Теперь я увидел, что такое настоящий некрополь. Сколько же в нем мертвых и умирающих горожан! Никогда не думал, что можно столько мертвецов собрать в одно место и уложить так аккуратно, кое-где прокладывая живыми. Я шел по чистеньким (made in Germany) улицам, по обе стороны были навалены горы трупов высотой с дом; я опрыскивал их антисептиком, но разве может запах раковин и унитазов перебить трупную вонь?»

Как видите, сэр, Роупер, точнее, сержант Роупер оказался в одной из первых групп дезинфекторов, приступивших к работе после капитуляции Германии. В том письме и в трех за ним последовавших (страдания Роупера выплескивались на бумагу настоящим потоком) он рассказывал, как его рвало, как преследовал дикий страх, что полумертвые набросятся на своих мертвых соседей по куче и вопьются зубами в разлагающийся протеин. Он писал о ночных кошмарах, с которыми знаком каждый, кто побывал в лагере смерти, кто застывал там от ужаса, in ricty [5] — то ли не в силах постичь увиденное, то ли собираясь блевать. Да, все мы застывали с отвисшей челюстью, не находя слов для того, что видели и вдыхали. Мы не желали верить своим глазам, ведь, поверив в то, что цивилизованная нация способна на такое, надо было бы пересмотреть усвоенные с детства взгляды на цивилизацию, прогресс, облагораживающее влияние искусства, науки и философии (а кто станет отрицать величие немецкой нации?). Я оказался там единственным переводчиком для небольшой группы, состоявшей из русских и американцев (местонахождение лагеря я заставил себя забыть), но, как и следовало

---

[5] Разинув рот *(лат.)*.

предположить, ни английские, ни русские слова там не понадобились.

Странным образом, под влиянием писем Роупера я видел его в своих ночных кошмарах чаще, чем себя самого. Он живо вставал предо мной с исписанных страниц — бледный, упитанный, глядящий сквозь очки респиратора (эти очки в железной оправе делают человека похожим на слабоумного ребенка), с выбивающимися сзади из-под стальной каски пшеничными космами. Во сне я видел, как он вместо меня стонет от боли, извергая маховые колеса часов, извивающихся змей, готические тома; слышал его тонущие в рыданиях немецкие речевые обороты, в которых все время повторялись слова Staunen (удивление), Sittlichkeit (нравственность) и Schicksal (судьба). В своих собственных кошмарах Роупер видел, как его заставляют вечером (восхитительный закат, последние птичьи трели) идти сквозь лес трупов, продираться сквозь изгородь из посиневших тел и принуждают (это снилось всем нам) к некрографии, то есть поеданию трупов. Роупер видел себя также британским Иисусом, Джонбулем Христом, распятым на «Юнион Джеке» *. И никак не мог понять, чем было это распятие: наказанием, искуплением или удостоверением личности. Немудрено: помимо книг по физике и химии, а также нескольких поэтических сборников, Роупер почти ничего не читал. Тем не менее в его письмах присутствовало чувство вины. Ведь эти зверства вершились представителями того же самого рода человеческого, к которому принадлежал и он. «Мы должны были этому помешать,—писал Роупер.— Мы все виновны».

«Не будь идиотом,— отвечал я Роуперу.— Виноваты немцы, и только немцы. Разумеется, многие из них не признают своей вины, потому что не поверят в те ужасы, которые творились их именем. Надо им все показать. Кстати, начать можешь с немецких баб». Этим я и занимался. Все они как будто только и ждали наказания, мечтая искупить глубоко — ох, и глубоко же! — засевшую вину или как там у них это называется? Сами они, конечно, так не думали, считая это обыкновенным флиртом, естественным для женщины любой побежденной страны. Но неосознанные генетические законы требовали экзогамного оплодотворения *, звали чужое семя и сливались с высоконравственной тягой к наказанию. Впрочем, постойте — разве это не различные проявления единой сущности? Разве семя яростное и карающее не животворнее лениво сочащегося на розовую простыню супружеского ложа? Разве смешанные браки не размывают национальные признаки и, следовательно, чувство национальной вины? Впрочем, низкорослым беременским женщинам я этих вопросов не задавал. Я вонзался в них безо всяких признаков мягкотелости. Я набрасывался на них, выпуская когти и все остальное, и в то же время я смутно ощущал, что их убитые или ушедшие мужчины сумели отомстить мне, сделав меня таким же, как они сами: жестоким, похотливым, сошедшим со страниц готического бестиария. Нет, все-таки жизнь — это манихейское месиво! *

3

В Эльмсхорне бедняга Роупер нашел свою даму сердца. Точнее, дама сердца нашла его сама. И вышла за него замуж. Ей требовалось спокойствие семейной жизни, чтобы преподать урок, диаметрально противоположный тому, на который тратил себя я. В Германии мы с Роупером ни разу не встретились, хотя оба служили в британской зоне, и прошло несколько лет их семейной жизни и ее интенсивных поучений, прежде чем я сумел (уже в Англии и после того, как мы оба переоделись в штатское) удовлетворить свои не слишком сильные мазохистские наклонности (за которыми на самом деле скрывались совсем другие) и посетить тающую от матримониального блаженства Ehepaar [6] (ох уж мне эти немецкие словечки!).

---

[6] Супружеская пара *(нем.)*.

Сэр, я прекрасно помню ту встречу. Знакомя нас, Роупер все перепутал: «Это Бригитта»,— произнес он смущенно. Спохватившись, что начал не с того, он еще сильнее смутился: «Darf ich vorstellen [7] — мой старинный друг Денис Хильер». Роупера так и не отпустили из армии раньше, чем предписывалось законом, несмотря на стипендию, которая его дожидалась в Манчестерском университете (все-таки не в Оксфорде!), и на то, что Роупер мог бы внести очевидный вклад в процесс грандиозного технологического обновления, на пороге которого, как нам говорили, стояла страна. Сейчас Роупер учился на третьем курсе. Все двенадцать месяцев, что они были помолвлены, Бригитта ждала его с кольцом на пальце в Эльмсхорне, а он, перебиваясь на армейском довольствии, подыскивал квартиру в своем мрачном городке, причем этот Stadt, если приглядеться, во многом сохранил догитлеровский облик: богатые, уважающие музыку евреи, ресторанчики, полупьяные бюргеры, буржуазная основательность. Конечно, в наши дни, когда жители бывших колоний рвутся поселиться на родине своих недавних угнетателей, город уже совсем не тот. Сегодня он больше напоминает Сингапур (правда, без тамошней суеты). Кажется, воспоминания о Германии нахлынули на меня в тот момент, когда я увидел Бригитту, ее почти до неприличия белокурые волосы и громадную грудь. Она была умопомрачительно сексуальна и к тому же значительно моложе Роупера (нам было по двадцать восемь, а ей на вид не больше двадцати). Бригитта ухитрилась заставить всю квартиру тевтонским хламом, и на глаза попадались то резные узоры настенных часов, то хитроумные игрушки для определения влажности воздуха, то набор пивных кружек с лепными изображениями одетых в кожаные бриджи охотников в окружении натужно смеющихся подружек в широких сборчатых платьях с плотно облегающим лифом. На буфете лежал альт, на котором играл еще ее покойный отец, и Роупер, по-видимому, ни разу не встречавший подобного инструмента в Англии, называл его Bratsche [8] и с гордостью сообщил, что Бригитта чудесно играет — не классику, конечно, а старинные немецкие песни. В заставленной, пропитанной Бригиттой гостиной одна лишь вещь напоминала о Роупере. Это было висевшее на стене родословное древо в картонной рамке.

— Я и не подозревал,— сказал я, рассматривая картинку,— что ты такой э-э... Rassenstolz [9]. Так можно сказать?

Бригитта, которая все время смотрела на меня слегка отчужденно, поправила:

— Не расой, а родословной.

Не могу сказать, что этим уточнением она добавила себе шарма в моих глазах.

— У родового древа Бригитты тоже глубокие корни,— сказал Роупер.— Нацисты делали в каком-то смысле доброе дело: в поисках еврейской крови они докапывались до самых далеких предков.

— Ну, здесь-то еврейской кровью не пахнет,— сказал я, глядя на пращуров Роупера.— Немного французской и ирландской и, конечно же, ланкаширская.— (Маршан, О'Шонесси, Бамбер.) — И все доживали до седых волос.— (1785—1862, 1830—1912, 1920— ? Последним был наш Эдвин Роупер.)

— Чистая, здоровая кровь,— самодовольно ухмыльнулся Роупер.

— У меня тоже нет ни капли еврейской крови,— вызывающе произнесла Бригитта.

— Да уж конечно,— сказал я с улыбкой.— А вот, я вижу, Роупер, умерший совсем молодым.— (Я имел в виду Эдварда Роупера, 1530—1558, жившего в эпоху Тюдоров.) — Впрочем, продолжительность жизни была тогда не слишком большой.

---

[7] Позволь представить тебе *(нем.)*.
[8] Альт *(нем.)*.
[9] Гордящийся своей расой *(нем.)*.

— Его казнили,— сказал Роупер.— Погиб за веру. Эту историю раскопал мой дедушка. Выйдя на пенсию, он принялся изучать нашу генеалогию. Вот он — Джон Эдвин Роупер. Умер в восемьдесят три года.

— Одна из первых жертв Елизаветы? Значит, в вашей семье был мученик веры?

— И большой дурак,— усмехнулся Роупер.— Надо было сидеть и помалкивать.

— Например, как немцы, да?

— Мой отец погиб на фронте,— сказала Бригитта и удалилась на кухню. Пока она возилась с ужином, я поздравил Роупера с милой, умной и красивой женой.

— Конечно, она у меня умная,— радостно подтвердил Роупер (словно были сомнения относительно других ее качеств!).— Как она говорит по-английски! А что Бригитта вынесла во время войны! Отец у нее погиб одним из первых. В Польше, в тридцать девятом. Но я не слышал от нее ни слова упрека — ни ко мне лично, ни к Британии.

— Британия не воевала в Польше.

— Не важно, мы являлись союзниками. Это была наша общая война. И на каждом из союзников лежит доля вины.

— Слушай,— сказал я резко,— что-то я не понимаю. Ты хочешь сказать, что твоя жена-немка милостиво прощает нас за Гитлера, нацизм и прочие ужасы? Включая развязанную ими войну?

— Но Гитлер не начинал войну,— отчеканил Роупер,— это мы ее объявили.

— Да, но иначе он сожрал бы весь мир. Черт побери, ты, похоже, забыл, за что воевал шесть лет.

— Между прочим, я не воевал,— педантично уточнил Роупер,— а помогал спасать человеческие жизни.

— Жизни союзников,— сказал я.— И тем самым участвовал в войне.

— Как бы то ни было, я не жалею. Иначе я бы не встретил ее, Бригитту.— Лицо у него приняло такое выражение, будто он слушает Бетховена.

Слова Роупера меня сильно задели, однако я не решился ничего сказать, потому что в этот момент Бригитта внесла в комнату ужин или, возможно, то, с чего предполагала его начать. Она принялась выставлять холодные закуски и скоро накрыла роскошный шведский стол: копченая семга (баночного посола), холодная курица, ветчина в желе (гробовидной формы — тоже из банки), маринованные огурчики, ржаной хлеб, масло (хороший шмат, а не «карточные» кусочки) и четыре сорта сыра. Роупер открыл пиво и собрался наполнить предназначенную мне глиняную кружку.

— Я бы предпочел стакан,— сказал я.— Не привык пить пиво из кружки.

— Из кружки вкуснее,— сказала Бригитта.

— И все-таки я бы хотел из стакана,— сказал я с улыбкой. Роупер дал мне фирменный пивной стакан с позолоченным гербом и названием компании.

— Что же, приступим,—проговорил я, нетерпеливо потирая руки.— Вы, как вижу, неплохо устроились, nicht wahr? [10]

В то время по карточкам выдавалось меньше, чем в худшие дни войны. Романтика военного времени осталась в прошлом, а его тяготы все продолжались.

— Продукты из Америки,— сказал Роупер.— От дяди Бригитты. Он каждый месяц присылает нам что-нибудь съестное.

— Дай Бог ему здоровья,— сказал я, кладя семгу на кусок черного ржаного хлеба с толстым слоем масла.

---

[10] Не правда ли? *(нем.)*

— А вы чем занимаетесь? — тоном строгой гувернантки спросила Бригитта, словно разговаривала с великовозрастным оболтусом, который уклоняется от военной службы.

— Учусь,— ответил я.— Славянские языки и разные сопутствующие штуки. Больше ничего сказать не могу.

— При Министерстве иностранных дел,— улыбаясь, уточнил Роупер. Розовощекий, круглолицый, коротко остриженный, в подчеркнуто строгих очках, он походил на немца не меньше чем его жена. Я вспомнил «Немецкий для начинающих». Урок третий — Abendessen [11]. Для полноты картины Роупер после еды должен раскурить пенковую трубку.

— Вы имеете отношение к тайной полиции? — спросила Бригитта, что-то аппетитно уплетая (на лбу у нее выступили крошечные капельки пота).— Мой муж скоро станет доктором. (Я не понял связи.)

Роупер объяснил жене, что это только в Германии «доктор» является первым ученым званием, и добавил:

— А что касается тайной полиции, то в Англии, насколько мне известно, ее не существует.

— Могу подтвердить это со всей ответственностью,— сказал я.

— Мой муж,— сказала Бригитта,— занимается науками.

— Ваш муж станет знаменитостью.

В другое время польщенный Роупер покраснел бы, но сейчас он был всецело поглощен едой.

— Значение науки будет расти,— сказал я.— Работа ученых над новыми смертоносными видами оружия — важная часть усилий по мирному восстановлению страны. Ракеты вместо масла.

— По-моему, на столе достаточно масла,— сказала, жуя, но сохраняя каменное лицо, Бригитта.— Я вас совсем не понимаю.

— Я говорю о «железном занавесе». Мы не знаем, что на уме у русских. Мы хотим мира, поэтому должны готовиться к войне. Тридцать восьмой год кое-чему научил.

— Надо было научиться раньше,— сказала Бригитта, приступив к сыру.— Надо было знать раньше.

Роупер добродушно растолковал ей, что я имел в виду.

— Главным неприятелем была Россия,— сказала Бригитта.

— Врагом?

— Ja, ja, Feind. Врагом.— Она впилась зубами в кусок хлеба, словно то была пресуществленная сталинская плоть.— Германия сознавала это. Англия не сознавала это.

— Так вот почему немцы уничтожали евреев.

— Международный Bolschewismus,— сказала Бригитта с видимым удовольствием.

Тут Роупер мобилизовал все свое красноречие и произнес длинную тираду, на всем протяжении которой Бригитта, как и положено учителю, внимательно его слушала, одобрительно кивала, подсказывала и иногда поправляла.

— Мы, британцы,— начал Роупер,— должны признать, что почти во всем виноваты сами. Мы были слепы. Все, чего хотела Германия,— это спасти Европу. Муссолини в свое время хотел того же, но ему никто не помог. Мы не имели реального представления о мощи и намерениях Советского Союза. Теперь мы уже кое-что понимаем, но время упущено. Лишь три человека не питали никаких иллюзий, однако мы вылили на них ушат грязи. Из них остался в живых только один.— И, чтобы у меня не оставалось никаких сомнений, Роупер уточнил: — Испанский генерал Франко.

— Знаю я твоего мерзавца Франко,— огрызнулся я.— Не забывай, что я год прослужил в Гибралтаре. Франко спит и видит, как бы его у нас оттяпать. Что за чушь ты городишь!

---

[11] Ужин *(нем.)*.

— Чушь городите вы,— сказала Бригитта. (Эта девочка быстро усваивала новые обороты!) — Надо слушать, что говорит мой муж.

Роупер распалялся все сильнее, но я простодушно утешал себя тем, что, окунувшись в свои исследования,— а произойдет это уже скоро,— он позабудет обо всем на свете, включая и бредовые мысли, которыми его пичкает настоящий враг. Тем не менее меня бесило то, что он нес: Англии следует, видите ли, извиниться перед вонючей Германией за причиненные ей страдания. Я терпел, покуда мог, но в конце концов взорвался:

— Да как ты можешь оправдывать жестокость, с которой они подавляли любую свободную мысль, любое слово или то, что гордость немецкой нации — такие люди, как Фрейд или Томас Манн, должны были покинуть страну, иначе бы их растерзали.

— Марагобуматели,— сказала Бригитта.

— Если уж начал войну, то приходится вести ее повсюду,— сказал Роупер.— Война — это уничтожение врагов, а они не обязательно должны быть где-то далеко. Самые коварные враги — дома. Неужели ты думаешь, что кто-то с удовольствием высылал из страны лучшие умы? Просто с ними было невозможно спорить. Их нельзя было ни в чем убедить. Да и времени на это не хватило.

Я хотел что-то сказать о цели, которая не оправдывает средства, но вдруг мне пришло в голову, что ведь и военнопленные подбрасывали бритвенные лезвия в корм для вражеских свиней и что, хотя нацисты и бомбили Ковентри, но и мы бомбили Дрезден. Что на жестокость мы отвечали жестокостью. Что стрелять в детей и стрелять в Гитлера (который в итоге сам покончил с собой) — не одно и то же. Что история — это нагромождение противоречий. Что фашизм явился неизбежной реакцией на коммунизм. Что, возможно, встречаются евреи, похожие на тех, которых изображал отец Берн. Но тут я очнулся. Кто это мне так промыл мозги? Я взглянул на Бригитту, но в ее глазах читалось только одно — секс. Я стиснул зубы, охваченный безумным желанием: прямо сейчас, на полу, на глазах у Роупера. А вслух я произнес:

— Ты стал похож на отца Берна с его «Англией — поджигательницей войны» и «Евреем, трясущимся над деньгами». Вы прекрасная парочка.

— Я уже не говорю о церкви! — воскликнул Роупер.— С еврейским смирением подставлять другую щеку! Нация от этого хиреет. Ницше прав.

Бригитта одобрительно кивнула.

— Что вы знаете о Ницше? — спросил я.— Уверен, что вы не читали ни одной его строчки.

— Мой отец...— начала Бригитта, а Роупер пробормотал:

— Краткое изложение его философии печатали в «Ридерс дайджест».— Роупер был честным малым.

— ...в школе,— докончила Бригитта.

— О Господи! Чего тебе нужно? — спросил я у Роупера.— Крови, железа, черной магии?

— Нет, ничего, кроме работы. Первым делом я хочу получить ученую степень, а затем сразу приступлю к исследованиям. Нет,— повторил Роупер удрученно (возможно, из-за переедания: он умял полкурицы, увесистый кусок ветчины, перепробовал все четыре вида сыра и при этом не жалел хлеба),— мне не нужно ничего, что может вызвать войну или сделать ее еще более жесткой. Я не хочу отвечать за трупы, за несчастных детей...

— За моего отца,— сказала Бригитта.

— За твоего отца,— согласился Роупер.

Словно тост подняли... Можно было подумать, что вторую мировую войну и начали-то только для того, чтобы уничтожить герра Как-Его-Там.

— Да,— сказал я,— и за моего дядю Джима, и за двух детей, которых поселили в доме у моей тетки Флори (думали, там безопасней, а их в поле бомба накрыла), и за всех несчастных евреев, черт их подери, и за протестовавших против войны интеллектуалов.

— Вы говорите правильно,— сказала Бригитта,— черт подери евреев.

— Такая война не должна повториться,— сказал Роупер.— Великая страна лежит в руинах.

— Ничего, зато есть что пожрать. Прорва датского масла и жирной ветчины. Самые отожравшиеся мордовороты в Европе.

— Пожалуйста, не называй соотечественников моей жены мордоворотами.

— Мордоворот — это что? — спросила Бригитта.— Твой неприятель говорит понятно.

— «Приятель — непонятно»,— поправил я.

— Янки и большевики обгладывают кости великого народа,— сказал Роупер.— И французы-поганцы туда же. И британцы.

Внезапно в моем мозгу грянул антифон * двух хоров: «Пал, пал Вавилон» * и «Если я забуду тебя, Иерусалим» *. Я сказал:

— Ты всегда мечтал о цельном универсуме [12], но это глупость и тавтология. Запомни: сегодня мирных наук не осталось. Те же ракеты, что летят в космос, могут взрывать вражеские города. Ракетное топливо способно помочь человеку оторваться от земли — или оказаться в ней.

— Откуда ты знаешь про ракетное топливо? — удивился Роупер.— Я же ничего не говорил.

— Догадался. Знаешь, мне лучше уйти.

— Да,— мгновенно откликнулась Бригитта,— лучше уйти.

Я взглянул на нее,— сказать, что ли, пару ласковых? — но ее тело лишало дара речи. Возможно, я уже достаточно наговорил. Возможно, я даже был невежлив: как-никак, в задних зубах у меня застряли кусочки дядюшкиной ветчины. Возможно, я был неблагодарным.

— Мне до дома добраться целое дело,— сказал я Роуперу.

— Мне казалось, ты живешь в Престоне.

— От Престона до моего городка еще ехать на автобусе, так что надо успеть хотя бы на последний.

— Что ж поделаешь,— уныло произнес Роупер.— Я очень рад, что мы увиделись. Непременно приезжай еще.

Я взглянул на Бригитту: может быть, она подтвердит слова мужа улыбкой, кивком или словом? Нет, Бригитта сидела с каменным лицом. Я сказал:

— Danke schön, gnädige Frau. Ich habe sehr gut gegessen [13],— и зачем-то по-идиотски добавил: — Alles, alles über Deutschland [14].— На ее глаза навернулись гневные слезы. Я вышел, не дожидаясь, пока меня выставят. Трясясь в автобусе, я представлял себе, как под белой хлопчатобумажной блузкой Бригитты мерно вздымается огромная, будто у Urmutter [15], грудь. Вот Роупер расстегивает пуговицу, и я слышу катехизический диалог: «Кто был виновен?» — «Англия... Англия...» *(Дыхание учащается.)* То же самое, но быстрее, еще раз, еще — до тех пор, пока Бригитте не надоедает катехизис. Я представляю себя на месте Роупера. Конечно, сжимая эту восхитительно-упругую, громадную тевтонскую грудь, я тоже, тяжело дыша, начинаю поносить Англию, готов обвинить собственную мать в развязывании войны и перед тем, как войти, приговариваю, что через газовые камеры прошло слишком мало евреев. Но вот все стихает, и я беру свои слова назад — совсем не в

---

[12] От латинского universum (мировое целое).
[13] Большое спасибо, сударыня. Все было очень вкусно *(нем.)*.
[14] Все, все превыше Германии *(нем.)*.
[15] Праматерь *(нем.)*.

посткоитальной апатии: я начинаю ее обвинять, кричу, что она развратная сука. Желанная сука. И все начинается снова.

Сэр, для Роупера это оказалось одним из главных событий в жизни. Я говорю о его посещении лагеря смерти, где он впервые увидел подлинное зло — не сладострастно обсосанное зло из воскресной газетенки, а зло воняющее и осязаемое. Храня верность научному рационализму, он отбросил единственную систему, способную объяснить увиденное,— я говорю о католичестве; оказавшись перед иррациональной пустотой, он погрузился (буквально!) в первую попавшуюся логически непротиворечивую систему обвинений. Было еще одно письмо, о котором я пока не упоминал,— ответ на мое, где я советовал Роуперу приударить за немецкими женщинами.

Роупер писал: «Я пробовал то, о чем ты пишешь. Странным образом это напоминало мне, как мы когда-то ходили на исповедь (верующий скажет, что я богохульствую). Я встретил ее в пивнушке. Она пришла туда с каким-то немцем. Я был слегка пьян и поэтому вел себя развязнее, чем обычно. Спутник, по-видимому, был ее братом. Я несколько раз угостил ее пивом и подарил три пачки сигарет. Короче, не успел я понять, что происходит, как мы уже валялись на каком-то газоне. Был чудесный вечер, она то и дело повторяла: «Mondschein» [16]. Идеальная обстановка для того, что зовется «ЛЮБОВЬЮ». Но когда при свете луны показалось ее обнаженное тело, мне вдруг вспомнились другие тела — голых лагерных полутрупов. Да, выглядели они иначе! Я яростно набросился на нее, и, пока мы занимались любовью, ненависть к ней доходила почти до крика. Но ей, похоже, это нравилось. Она кричала: «Wieder, wieder, wieder!» [17] Мне казалось, что я причиняю ей зло, что я насилую, нет, хуже — развращаю; она же наслаждалась тем, что было, как я думал, ненавистью, а оказалось наслаждением и для меня самого. Я себе противен, я готов убить себя, я сгораю от стыда».

За день до того, как пришло это письмо, я получил от Роупера телеграмму: УНИЧТОЖЬ ПИСЬМО НЕ ЧИТАЯ ПОЖАЛУЙСТА ПОЖАЛУЙСТА ВСЕ ОБЪЯСНЮ. Но никаких объяснений не последовало. Вместо этого он пытался искупить грех перед женщиной, которая тогда под луной кричала «Wieder!». Скорее даже перед девушкой, а не женщиной. Ведь Бригитта была еще совсем юной.

4

До следующей нашей встречи с Роупером прошло достаточно много времени — достаточно, чтобы забыть копченую семгу, ветчинный гробик дядюшки Отто и неприветливость его племянницы. Роупер, перевыполнив предсказанное женой, получил настоящую докторскую степень, а не ту, что была у подохшего сукина сына и недоучки Геббельса. Роупер мне позвонил и во время разговора так жарко дышал в трубку, словно перед ним была одна из эрогенных зон Бригитты. Он сказал, что есть срочное дело. Нужна моя помощь, совет. Я догадывался, в чем дело: «Wieder, wieder, wieder». Вот тебе и Mondschein! Я предложил встретиться на следующий вечер в небольшом немецком ресторанчике в Сохо — раз уж он так любит все немецкое. Там доктор Роупер — восходящая звезда среди британских разработчиков дешевого ракетного топлива — совершенно захмелел от игристого рейнвейна и, скуля, стал изливать мне душу. Жена ему изменяет, но он ее тем не менее любит, он дал ей все, на что любая порядочная женщина...

— Скажи толком, что стряслось.

В моем пьяном голосе сквозили нотки удовлетворения. Я это чувствовал, но ничего не мог с собой поделать.

— Я застал его у нас дома, когда пришел однажды вечером, красномордая громила немецкая, без пальто, в расстегнутой рубашке, вся

---

[16] Лунный свет *(нем.)*.
[17] Еще, еще, еще! *(нем.)*

грудь в белесых волосах, расселся с ногами на диване и пьет пиво из банки, я зашел, а он, смотрю, и в ус не дует, ухмыльнулся только. И она ухмыльнулась.

— В ус не дует... Надо было его вздуть хорошенько и вышвырнуть вон.

— Он профессиональный борец.

— Тогда другое дело.— Я представил себе, как Роупер висит на канатах, оплетенный, как в детской игре «в веревочку», похожий на замотанное распятье.— Откуда он взялся?

— Нам пришлось купить дом в довольно мерзком районе, ведь в Лондоне сейчас в приличном месте жилья не найдешь, однако...

— Вы уже давно в Лондоне?

— Конечно.— Он посмотрел на меня так, словно о его переезде в Лондон трубили все газеты.— Словом, были сложности, но Университет мне помог. Уж очень нам надоело жить в квартире; Бригитте хотелось, чтобы дома она, как настоящая Englische Dame [18], поднималась и спускалась по лестнице.

— При чем тут борец?

— Однажды мы зашли в Ислингтоне в пивную и увидели эту сивую гориллу, которая изъяснялась на английском с сильным немецким акцентом. Бригитта сразу заговорила с ним о Heimweh, так у них называется ностальгия. Бедняжка истосковалась по Германии, по немецкому языку, а он к тому же, как выяснилось, родился в тридцати километрах от Эльмсхорна. Так вот мы и встретились. У него тут какой-то контракт на выступления. Жаловался, что ему здесь очень одиноко. На вид — настоящий громила.

— Что ж ты хочешь — борец...

— Видел бы ты его мерзкую рожу! Тем не менее мы отправились к нам ужинать.— Роупер, очевидно, полагал, что людей непривлекательных никуда приглашать не следует.— И ужасно, ну просто непроходимо туп, а на морде — сияющая улыбка.

— Немудрено, после такого-то ужина!

— Нет, у него все время рот до ушей.— Кажется, сарказм и ирония доходили теперь до Роупера не лучше, чем до его жены.— И жрет как лошадь. Бригитта не успевала подкладывать ему хлеб.

— Словом, Бригитте он приглянулся.

Роупера затрясло.

— Приглянулся! Хорошо сказано! Однажды я пришел с работы поздно вечером, усталый и — сказать тебе, что я увидел?

— Скажи.

— Увидел их в постели,— почти выкрикнул Роупер.

Руки у него нервно задергались, он схватил рюмку и опрокинул в себя тряско-искристый рейнвейн. Тяжело вздохнул и громко — привлекая внимание соседей — повторил:

— Да, да, в постели. Все его вонючие мускулы так и ходили — с наслаждением ходили,— а она под ним орала: «Schnell, schnell, schnell!» [19]

Одинокий немец-официант бросился было на зов Роупера, но я остановил его жестом и, взглянув на Роупера, протянул:

— Вот тебе на...

— Вот именно на... Даже этот ублюдок понимал, что участвует в чем-то мерзком и против обыкновения не ухмылялся. Схватив одежду, он полуголый выскочил из квартиры. Казалось, он ждал, чтоб я его хорошенько треснул.

— Вот и надо было,— посоветовал я (надо сказать, не слишком обдуманно).— Что ж, значит, отмучался... Я, кстати, с самого начала был уверен, что из вашего брака ничего не получится.

Роупер облизнул губы. Чувствовалось, что его волнение во многом объясняется чувством стыда.

---

[18] Английская дама *(нем.)*.

[19] Быстро, быстро, быстро! *(нем.)*

— Тем не менее получилось,— пробормотал Роупер.— Конечно, я ее не сразу простил... Но, понимаешь, когда я увидел их в постели... Я хочу, чтобы ты меня правильно понял... Это как бы придало нашей семейной жизни совершенно новый характер.

Я его правильно понял. Ужасно, конечно, но жизнь есть жизнь. И семейная тоже.

— Ты хочешь сказать, что, хотя ты пришел домой усталый, вы все-таки...

— Да, и она чувствовала себя виноватой.

— Неужели? Признаться, если бы я застал свою жену...

— Тебе этого не понять.— В пьяном голосе Роупера на мгновение послышались довольные нотки.— Ты не женат.

— Ну, хорошо. Так что все-таки тебя беспокоит?

— Вообще-то это длилось недолго,— пробормотал Роупер.— Пойми, я допоздна работал, недоедал. Консервы вызывали у меня расстройство желудка.

— Консервы были не так уж плохи.

— Да, конечно.

Между тем нам подали Kalbsbraten [20] и Obsttorte [21]. Роупер был в полном отчаянии. Словно собирая силы перед окончательным поражением, он опустошил свои тарелки и машинально принялся за мои.

— Оказалось, что я слабак, оказалось, что со мной можно спать только в прямом смысле слова. Оказалось, это я организовал еврейский заговор, в результате которого погибла Германия.

— Она совершенно права. Как-никак, ты был «британским союзником».

— Но я осознал свою вину,— безнадежно проговорил Роупер.— Она это знала. Однако, спустя некоторое время, сивая горилла появилась снова.

— Значит, какой-то перерыв все-таки был?

— Он ездил бороться на континент. Но теперь вернулся и выступает в лондонских предместьях.

— Он был у вас дома?

— Да, приходил ужинать. Ничего больше. Но я не знаю, что происходит по утрам.

— Так тебе идиоту и надо. Простил ее — вот и получай.

— Меня он больше не стесняется. С улыбочкой достает себе пиво из нашего холодильника. Она зовет его Вилли. А на ковер он выходит под именем Вурцель. На афишах написано «Wurzel der Westdeutsche Teufel».

— Значит — любого отутюжит.

— Нет, это значит «Вурцель — западногерманский дьявол».

— Знаю, знаю. Но чем я могу тебе помочь? Не понимаю, в чем заключается моя роль.— И вдруг (непростительно поздно для профессионала) я навострил уши.— Ты когда-нибудь говорил с Бригиттой о своей работе? Она знает, чем ты занимаешься?

— Понятия не имеет.

— И никогда не интересовалась?

Роупер немного подумал.

— Ну, разве что в самых общих чертах. Она вообще не слишком хорошо понимает, чем занимаются ученые. Из-за войны Бригитта не смогла даже закончить школу.

— Ты приносишь какие-нибудь документы домой?

— Видишь ли...— Роупер слегка смутился.— Они у меня заперты, но даже если бы она до них добралась, то ничего бы не поняла.

— Святая наивность. Скажи, у нее есть родственники или друзья в Восточной Германии?

---

[20] Жареная телятина *(нем.)*.

[21] Фруктовый торт *(нем.)*.

— Насколько мне известно, нет. Послушай, она не шпионка, это совершенно исключено. Поверь мне, причина всего, что происходит, только одна — секс.

Итак, все та же мерзкая похоть. Роупер скривил рот и из него — словно из горгульи * — послышался жалобный стон.

— Я не виноват, что прихожу вечером такой усталый.

— А в воскресенье утром?

— Я поздно просыпаюсь. Бригитта встает на несколько часов раньше.

В его глазах блеснули слезы, и я решил, что надо уходить, пока не появилась злобная толстая хозяйка ресторана. Улыбнувшись про себя, я припомнил проповеди отца Берна в дортуаре. Затем оплатил счет, оставил на столе сдачу и, поддерживая Роупера под левый локоть, вышел из зала.

— Конечно, я могу заняться этим профессионально. Могу установить за ними наблюдение, и, если тебе понадобятся доказательства для бракоразводного процесса...

— Я не хочу развода. Я хочу, чтобы все было, как прежде. Я люблю ее.

Мы шли по Дин-стрит в направлении Шафтсбери авеню.

— Когда-то,— сказал я,— ты не признавал никаких авторитетов, ты был независим и, подобно людям эпохи Возрождения, стучался во все двери. А теперь хочется опереться на что-нибудь. Точнее, на кого-нибудь.

— Это удел каждого. А тогда я был еще слишком молод и неопытен.

— Почему бы тебе не вернуться в лоно церкви?

— Ты сошел с ума. Человек должен двигаться вперед, а не назад. Писание — это сплошной вздор. Ты, мерзавец, знаешь об этом лучше меня.— Несмотря на свое южное происхождение, мы крепко усвоили брадкастерскую манеру общения.— Небось сам-то забыл уже, когда расплевался с религией!

— Не забыл: когда стал работать там, где работаю сейчас. Это всего лишь вопрос благонадежности. В моем досье указано «англиканец». Так безопасней. Ни к чему не обязывает. Никого не оскорбляет. Ты не поверишь, в Департаменте даже проводятся ежегодные религиозные празднества. Как ни крути, но папа все-таки иностранец.

— Врежь ему хорошенько,— воскликнул Роупер, имея в виду, конечно, не папу.— Проучи его. Тебя же учили приемам рукопашного боя, дзюдо и всему такому. Выбей зубы этой сивой свинье.

— На глазах у Бригитты? Не думаю, что после этого она будет испытывать к тебе особую нежность. Если помнишь, она уже при знакомстве назвала меня «неприятелем».

— Тогда подкарауль его одного. Ночью. Где-нибудь на улице или возле его дома.

— Не понимаю, какой урок должна извлечь из этого Бригитта — истинный объект наших стараний. Господи, по-моему, мы снова затеваем войну.

Мы подошли к метро на площади Пиккадилли. Роупер остановился посреди тротуара и расплакался. В обращенных на него взглядах молодых людей не было обычной в таких случаях презрительной усмешки — скорее, сострадание. Новое поколение — новые понятия о половых приличиях. Для нас же с Роупером ничего не изменилось: все, что касалось пола, по-прежнему оставалось «мерзким». Успокоив Роупера, я взял у него адрес, и бедняга заковылял в метро с таким лицом, словно спускался в ад.

Просьбу Роупера я выполнять не собирался, у меня был собственный план действий. Как Вы помните, сэр, в то время я все еще считался в Департаменте чем-то вроде стажера. Для тренировки мне было позволено — правда, не Вами, а майором Гудриджем — вести наблюдение

за Бригиттой Роупер, урожденной Вайдегрунд, и этим самым Вурцелем. Меня, кажется, даже похвалили за инициативу. Каждый день после нашей встречи в Сохо я приходил к дому Роупера, который находился неподалеку от Ислингтон-Хай-стрит. Дом был мрачный, закопченный, с немытыми окнами (мойщики окон, должно быть, считали ниже своего достоинства появляться в этом районе). Вдоль улицы угрюмыми часовыми стояли ободранные мусорные баки. На одном конце улицы находился молочный магазин, перед которым выстраивались запотевшие молочные бутылки, на другом конце — лавка, торгующая скабрезными журнальчиками. Жили здесь преимущественно рабочие, поэтому днем улица была пустынной, если не считать женщин, иногда выходивших в бигуди и шлепанцах за покупками. Вести наблюдение оказалось делом нелегким. Но, к счастью, продолжалось оно недолго — Вурцель появился на третий день. Крепко сбитый, безобразный, самоуверенный, одетый в видавший виды синий костюм. Он постучался, посвистывая, взглянул на небо, не сомневаясь, что его с нетерпением дожидаются. Дверь приоткрылась, но Бригитта не выглянула. Вурцель вошел. Я немного прогулялся — ровно столько, чтобы выкурить бразильскую сигару, затем выплюнул огрызок и постучал в дверь. Потом еще раз. И еще. Босые пятки зашлепали вниз по лестнице. Из прорези для почты послышался голос Бригитты, еще не успевшей переключиться на английский: «Ja? Was ist's?» [22]

— Заказная бандероль, миссис,— сказал я по-пролетарски грубовато.

Дверь чуть приоткрылась, но мне этого было достаточно — я навалился, преодолевая едва ощутимое сопротивление ее пышной тевтонской груди (но не глядя на нее, не поворачиваясь в ее сторону), и, сопровождаемый криками Бригитты, бросился вверх по лестнице. Сверху послышался ответный крик — удивленный и слегка настороженный. Похоже на перекличку в Альпах! По крикам и табачному запаху я сразу определил, где располагалась спальня. Бедный Роупер: лестничная площадка была усыпана скинутыми с полок книгами! Бригитта уже почти дышала мне в затылок. Я влетел в спальню, бросился в дальний угол и лишь после этого повернулся к ним лицом. Стоявшая в дверях Бригитта, которая успела накинуть на себя лишь аляповатый халатик, сразу узнала «неприятеля». Я взглянул на кровать: там валялось обнаженное, как Ной *, огромное тупое животное. Совершенно очевидно, что занимались здесь отнюдь не шпионажем. Но все-таки, кто может поручиться?

— Выметайся отсюда, свинья! — рявкнул я.— Вон! Быстро, пока я не вышвырнул тебя в таком виде на улицу!

Он увидел, что перед ним не муж. Балансируя как на трамплине, он выпрямился во весь рост и — голый до неприличия, с покачивающейся маленькой мошонкой — двинулся по кровати на меня. По-горильи раскинув жирные руки, Вурцель угрожающе зарычал. Видимо, он собирался, добравшись до края кровати, прыгнуть на меня, однако я стоял слишком далеко. И тут ублюдок поманил меня пальцем, словно мы с ним находились на ковре и вот-вот послышется рев и свист толпы. Мне сразу стало ясно, что все, на что он способен,— это побеждать в купленных схватках, делая эффектные броски через плечо, вертушки, ножницы на голову и подсады голенью. О настоящих бросках он и понятия не имел. Шестерка! Тут тебе не в поддавки играть! Здесь публику за нос не поводишь! Я-то уж кое-что понимал в профессиональной борьбе.

Он спрыгнул с кровати — на тумбочке, в свою очередь, подпрыгнули кувшины и кружки Бригитты. Господи, только сейчас я заметил на стене групповую фотографию шестого класса колледжа Св. Августина. Мы с Роупером стоим в обнимку, рядом улыбающийся, позабывший на время о «мерзкой похоти» отец Берн. Между тем Вурцель приближался, с

---

[22] Кто? Что случилось? *(нем.)*

театральной свирепостью скаля гнилые зубы. Эх, жаль, комната тесновата... Вурцель полагал, что противник уже психологически сломлен, и никак не ожидал моего неожиданного удара головой в диафрагму. Руки у него были широко раскинуты, так что я ему не позавидовал. Он удивленно отпрянул, когда я резко провел с колена захват левой ноги. Вурцель хотел нанести мне удар в затылок, но я был к этому готов. Навалившись всем телом, я опрокинул задыхающегося мясистого противника на спину и, бросившись на него, точно на необъятное меховое ложе, хорошенько придавил негодяя в позе выставленного напоказ Марса *. Он попытался высвободиться, но я держал его крепко и к тому же сразу успокоил своим коронным — ребром ладони по горлу: einmal, zweimal, dreimal [23]. Вообще-то Бригитта должна была бы сейчас колошматить меня по голове туфлей или еще чем-нибудь, но я видел, что ее обнаженная ножка неподвижно застыла у двери.

— Genug? [24] — спросил я Вурцеля.

Он прохрипел нечто, отдаленно напоминавшее «genug», но мне казалось, что ответ следует несколько уточнить. Обмякшие, некогда мускулистые руки Вурцеля служили сейчас разве что украшением. Я от души заехал ему в левое ухо. Мерзавец взвыл, но тут же закашлялся. Легким прыжком я вскочил со своей живой, хорошенько продавленной перины, Вурцель тоже поднялся и двинулся на меня, сопровождая наступление кашлем и надсадными «Scheiss» [25]-вариациями. Я схватил с тумбочки маникюрные ножницы Бригитты и — кружась и куражась — стал делать выпады и уколы.

— Genug? — спросил я снова.

Вурцель пытался отдышаться в промежутках между приступами кашля. С опаской поглядывая на меня, он сказал:

— Я пошел. Но я хочу возвращать деньги.

А, так мы еще и деньги берем!

— Отдай,— приказал я Бригитте.

Она вытащила из кармана несколько бумажек. Вурцель выхватил их и сплюнул. Я взял с тумбочки еще более действенное оружие — маникюрную пилку с заточенным концом и сказал:

— Минута на одевание и чтоб духу твоего здесь не было.

Я принялся отсчитывать секунды. Вурцель оказался расторопным. Даже ботинки не зашнуровал.

— И если герр доктор еще хоть раз на тебя пожалуется...

Тут я заметил, что глаза Бригитты устремлены не на Вурцеля, а на меня. Она даже не попрощалась с ним, пока я с ворчанием выпроваживал его из комнаты пинками под зад. На лестничной площадке Вурцелю попались на глаза книги Роупера, и он мстительно шарахнул кулаком по верхней полке, отчего еще несколько книг грохнулось на пол.

— Грязная свинья! Недоумок поганый! — Я пнул по здоровущей заднице.— Может, запалим костерок? Чтоб ни одной книги не осталось?

Он, обернувшись, зарычал, и пришлось не мешкая отправить его вниз по неосвещенной лестнице. По пути Вурцель сбил висевшую на стене картинку (крепившуюся не шурупами, а неумело вбитыми гвоздями). Старомодная одноцветная гравюра изображала Зигфрида, который размахивал Нотунгом * и орал нечто героическое. Я рассвирепел. Кто они такие, чтобы считать Вагнера своим? Вагнер мой! Я помог Вурцелю преодолеть оставщиеся ступеньки, после чего позволил ему самостоятельно добраться до наружной двери. Отворив ее, он обернулся и разинул пасть, чтобы напоследок измазать меня в дерьме, но, увидев мой угрожающий жест, выскочил на улицу.

Все это время я оставался в верхней одежде. Поднимаясь по лестнице, я скинул плащ и пиджак, а, переступая порог спальни — на этот

---

[23] Раз, еще раз и третий раз *(нем.)*.
[24] Хватит? *(нем.)*
[25] Дерьмо *(нем.)*.

раз с новыми (впрочем, не слишком) намерениями,— уже стягивал галстук. Как я и предполагал, обнаженная Бригитта ждала меня в постели. Мгновение спустя я был при ней. Все произошло безо всяких затей, однако основательно и ко взаимному удовлетворению. Снова я вступал в Германию победителем, снова кошмар сменялся земными радостями. Ей не требовалась нежность, она привыкла быть жертвой — матери, Вурцеля, моей. Трижды возобновлял я свое победное шествие. Стало темнеть, и она заговорила со мной на немецком, языке тьмы. Не приготовить ли мне чаю, не хочу ли я шнапса? Я спросил:

— Ты всегда брала с него деньги? Наверное, я тоже что-нибудь должен?

— Сегодня — нет. Но если ты придешь еще раз...

Затягиваясь поочередно, мы выкурили мою любимую сигару.

— Ты должна развестись,— сказал я.— У нас такие вещи не приняты. Возвращайся в Германию. Там на каждом шагу прекрасные новенькие Dirnenwohnheime [26]. В Дюссельдорфе. В Штутгарте. Дома тебе понравится. Заработаешь кучу денег. А беднягу Эдвина оставь в покое.

— Я и сама об этом думала. Но все-таки в Лондоне лучше. И достаточно небольшой квартирки, не нужен мне Dirnenwohnheim.

Она мелодраматично поежилась — было темно, но я это почувствовал. В темноте над кроватью мы с Роупером, обнявшись, смотрели в будущее: отец Берн улыбался, лицедействуя на свету, в сумерках, во тьме. Что ж, на месте Бригитты я бы тоже предпочел квартирку с пуделем в тихом, грешном Лондоне какому-нибудь шумному гарнизонному борделю в Германии.

— У тебя есть деньги? — спросил я.

— Да, немного... Но если я разведусь, меня вышлют из страны.

— Попробуй что-нибудь придумать. Но, как бы то ни было, из его жизни ты должна исчезнуть. Роуперу надо продолжать исследования — это очень важно.

Поглаживая правой рукой ее правую грудь (сосок уже начал оживать), я чувствовал себя настоящим другом и патриотом.

— Каждый из нас,— добавил я нравоучительно,— обязан выполнять свой долг.

Сигара потухла, но я не потянулся за спичками. Прежде всего нужно было обезопасить Роупера и британскую науку. Я ощутил в себе прилив великодушия.

— Будем считать это,— сказал я, поворачиваясь к Бригитте,— моим следующим визитом.

Имел ли я право давать ей совет, которому она вскоре последовала? Бригитту я больше не видел, хотя при наличии времени и желания прогуляться по Сохо или Ноттинг-хилл без труда мог бы продолжить наблюдение за дамочкой, кокетливо прогуливавшей собачонку. Я позвонил Роуперу и рассказал, как намял бока «западногерманскому дьяволу». Тот был в восторге. Он полагал, что если исчезнет этот, как его называла Бригитта, Hausfreund [27], то брак еще можно спасти. Они с Бригиттой ни разу не обсуждали, как Вурцель моими стараниями проехал задницей по лестнице — что проехало, то проехало. Бригитта стала терпимее, нежнее (верный признак решимости прислушаться к моему совету), она не стала (тоже верный признак) выдумывать душераздирающих историй о том, как ее изнасиловал ближайший приятель или, если угодно, «неприятель» мужа (смотри: вон огрызок его второпях затушенной сигары!). Однако спустя неделю Роупер появился у меня дома. Я это предвидел. Каждый вечер, слушая «Мейстерзингеров»*, я

---

[26] Бордели *(нем.)*.
[27] Друг дома *(нем.)*.

ожидал его прихода. Звонок раздался как раз в начале третьего акта — звучал монолог Ханса Сакса о сумасшедшем мире: «Wahn, Wahn...» [28]

— Догадываюсь, в чем дело,— сказал я.— Снова занялась тем же, чем занималась еще в Германии?

— Явных доказательств нет.— Роупер шмыгнул носом и так сжал стакан с виски, словно собирался его раздавить.— Бедняжка...

— Бедняжка?

— Сирота...— Ну, начинается! — Жертва войны... Во всем виноваты мы.

— Кто? В чем?

— В неуверенности. В ненадежности. В гибели всего, что она считала своим. Я говорю о Германии. Бригитта совершенно потеряна, сама не знает чего хочет.

— Ой ли! То, что она не хочет тебя — это точно. Да и ублюдка Вурцеля она не слишком хотела. А хочет она заниматься тем делом, к которому чувствует призвание.

— Она хочет быть независимой,— сказал Роупер,— Бригитта не уверена в себе. Она все время говорит, что хочет зарабатывать, но что она может — без профессии, без образования? Мерзкая война!

Мерзкая... Что-то знакомое.

— Роупер, ты просто прелесть. Нет, это невероятно! Бригитта — обыкновенная проститутка. Она хочет этим зарабатывать — и слава Богу! Забудь ты о ней, займись работой. А почувствуешь себя одиноко, заходи ко мне. Отправимся в какую-нибудь забегаловку и хорошенько напьемся.

— Напьемся,— хрипло сказал Роупер.— Пьяные звери, вот мы кто. Поджигатели войны, насильники, пьяные звери. Но,— после большого глотка, который он только что сделал, это прозвучало, как запоздалый тост,— я надеюсь, она еще вернется. Я буду ждать. Она возвратится в слезах, истосковавшись по дому.

— Ты должен развестись. Найми частного детектива. Рано или поздно он ее отыщет. Появятся доказательства. Вас мгновенно разведут.

Роупер отрицательно покачал головой.

— Я не разведусь,— сказал он.— Это будет окончательным предательством. Женщины совсем не такие, как мы. Они нуждаются в защите от могучих разрушительных сил.

Я мрачно кивал. Роупер спутал Бригитту с Девой Марией (которую все мы в колледже называли BVM *, словно она была шпионкой или автомобильной компанией), с Гретхен из гётевского «Фауста». Я сказал: «Das Ewig-Weibliche zieht uns hinan [29], но Роупер не узнал цитаты.

Что мне следовало предвидеть, сэр, так это то, что Роупер окажется в огромной пустой яме, где не во что верить и не на что надеяться. Не на что? А как же его работа? В том-то и дело, что, хотя Роупер действительно был поглощен исследованиями, которыми деликатно, но твердо руководил профессор Дакуэрт, какие-то области его мозга так и остались незаполненными. Мозга? Может быть, сердца, души или еще чего-то? Конечно, вину за неверность Бригитты можно возложить на Англию, но — и это существенно — почему тогда не на всю Западную Европу или не на Германию, которая не была для Бригитты таким уж уютным гнездышком? Но одними упреками в адрес иррационального прошлого не проживешь. Нужно нечто позитивное. Иррациональная часть нашего «я» должна быть заполнена чем-то безобидным (жена с вязаньем у телевизора), чтобы рациональная часть могла преследовать то, что мы — возможно, по недомыслию — называем высокими жизненными целями. Здесь, по существу, и заключена опасность для ученого, воспитанного в бескомпромиссной, всепоглощающей вере. К двадцати годам он усваивает скептический рационализм (столь благотворный для вступающего

---

[28] Ослепление *(нем.)*.

[29] «Вечная женственность тянет нас вверх» *(нем.— заключительная строка «Фауста»)*.

в жизнь) и уже не сомневается в том, что Адам и Ева, пресуществление * и Страшный Суд — пустая болтовня. И, увы, слишком поздно он начинает осознавать, что важны не догматы, а желание и способность воспринимать зло серьезно, стремление его понять. Сверхприрода не терпит сверхпустоты. Вернувшись с курсов, на которые Вы, сэр, отправили меня освежить в памяти сербохорватский, я с радостью обнаружил, что Роупер ведет нормальную, размеренную, приличную жизнь, не отличающуюся от жизни британского среднего класса. Как-то вечером я решил узнать, как у него дела, и, позвонив, сразу определил по голосу Роупера, что в тот день он не отказывал себе в пиве. Из глубины квартиры долетали звуки разумно дозированного веселья. Роупер сказал, что у него небольшая вечеринка. Я должен немедленно приехать и познакомиться с его друзьями. А как поживает Бригитта? Кто? Ах, Бригитта. Понятия не имею.

— Приезжай! — воскликнул Роупер.— Я вступил в лейбористскую партию.

— Ты вступил...

Отбой. Роупер вступил... Вот так нечаянная радость. Страны НАТО снова могут спать спокойно. Кто может быть безопасней Роупера, вступившего в партию, из которой формируется правительство Ее Величества или оппозиция? Все, конец тошнотворным покаяниям, больше не придется, тяжело дыша, клясться, что Бога-нет-раз-Он-не-наказал-Англию, когда, сжимая в каждой руке разгоряченную Бригитту, погружаешь раскаленную ложку в восхитительный кувшин с медом. Я решил поехать. Эркер сверкает, веселье в разгаре. Дверь открыла какая-то брюнетка. Холл хорошо освещен: тонковата, бледновата, одета без выкрутасов — твидовая юбка, желтый джемпер.

— А, вы, наверное...

В холле появился Роупер.

— Приехал наконец!

Его взъерошенные, торчащие во все стороны волосы напоминали шевелюры первых рабочих лидеров. Роупер попросил прощения за запах клея: гостиную со столовой он соединил лишь пару дней назад. А вот и друзья: Бренда Каннинг, позвякивающая дешевым браслетом рыжая хохотушка в отсвечивающих очках; застенчивый Шоу, работает вместе с Роупером; Питер — нет, извиняюсь — Пол Янгхазбанд, бренчащий на гитаре толстяк, приветливо улыбается; Джереми Кавур, высокий, с трубкой, волосы густые, с проседью, слева пробор. Прочие.

— Это, скорее, не вечеринка,— сказал Роупер,— а рабочее собрание нашей группы.

На столе сыр, хлеб, банка маринованных огурцов и несколько бутылок светлого пива.

— Над чем вы работаете? — спросил я.

— Мы говорили о том, что нам, ученым, следует сообща написать нечто на тему «Социализм и наука». Мы еще не сошлись в названии, правда, Люси? — Люси оказалась впустившей меня брюнеткой, которую он не представил, видимо, полагая, что фактически мы уже знакомы и не нуждаемся в дополнительных формальностях. Эта самая Люси стояла рядом с Роупером и, как мне показалось, слегка прижималась к нему бедром. «Ага, значит, не просто друзья»,— подумал я. Посмотрев на Люси внимательнее, я нашел, что она не так уж плоха: широкий рот (благородство), просвет между зубами (чувственность), узкие глаза (проницательность), высокие брови. Изящная, с приятным южно-лондонским выговором. Славная девочка, но куда ей до Праматери, до грубочувственной Бригитты! Дома было прибрано, и впустила меня именно Люси.

— Принести вам пива? — спросила она.— Ничего другого у нас, по-моему, нет.

Я отметил «у нас» и сказал:

— Да, и если можно, в кружке.

Заметив, что Роупер смутился, я воскликнул:

— Какой я болван! Конечно, у тебя не осталось ни одной кружки. Stein![30] Что ж, время собирать камни.

Из угла комнаты тотчас отозвался тщедушный, ученого вида человечек с кругами под глазами:

— Не осталось камня на камне! Бедняжка Гертруда...*

Толстяк с гитарой (Питер? Пол?) тотчас выдал дурацкую импровизацию на мотив «собачьего вальса»:

— Einstein, и Weinstein, и Kleinstein, и Schweinstein, и Meinstein, и Deinstein, и Seinstein, и Rheinstein[31].

Роупер посмотрел на меня с довольной улыбкой: какие у него теперь остроумные и образованные друзья! Всем этим молодым ученым было уже за тридцать, но от вечеринки им требовалось не больше, чем школьникам,— легкого пива и пения под гитару. Мне тоже принесли легкого пива. Я поблагодарил Люси. «Винни, а тебе что принести?» — спросила она у Роупера. Ах, значит, все-таки есть выбор? А говорила, что у них только пиво. «Стаканчик лимонада»,— сказал Роупер. Хорошо хоть, что потерю Бригитты не заливает спиртным. Или заливает? Может быть, Люси как раз за ним и присматривает? Люси ушла на кухню.

— Она называет тебя Винни? — спросил я у Роупера.

— Это уменьшительное от Эдвин.

— Сказал бы раньше, а то двадцать лет мучаюсь, Эдвином тебя называю!

— Неужели двадцать? Как летит время!

— Ты что-нибудь предпринял для развода?

— Ничего не требуется. Мы живем порознь уже три года. Сейчас бы та история не повторилась. Гераклита читал? Все течет. Дважды в одну и ту же реку не войти. А жаль. Очень жаль. Бедная девочка.— Предвидя надвигающуюся Weltschmerz[32], я его перебил:

— А как насчет этой девочки?

— Люси? Люси — моя опора. Настоящий друг, но не больше. Иногда мы вместе ходим в какой-нибудь ресторанчик, но, бывает, она и дома для меня что-нибудь приготовит. Она страшно умная.

— Как я понял, последнее качество совершенно необходимо в кулинарии.

— Делает для нас расчеты на компьютере. Правда, Люси? — улыбаясь спросил Роупер, беря у нее лимонад.— Подтверди, что на компьютере.

— Да,— сказала Люси.

Видно было, как ей хотелось, чтобы Роупер определил характер их отношений не только как профессиональный.

— Вы член нашей партии? — спросила меня Люси.

— Я, конечно, придерживаюсь прогрессивных взглядов. Не сомневаюсь, что богатых надо хорошенько потрясти. Но вместе с тем я не сомневаюсь в первородном грехе.

— Эх, старина Хильер,— усмехнулся Роупер,— ты по-прежнему веришь в эти байки.

— Моя вера не имеет отношения к отцу Берну. Просто жизнь убеждает меня, что люди обычно выбирают худший путь, а не лучший. Теологический термин я использую просто для обозначения тяги к лучшему.

— Все зависит от окружения. От воспитания.

Роупер хотел еще что-то добавить, но Люси ему не позволила.

---

[30] Пивная кружка *(англ.)*, камень *(нем.)*.

[31] Набор бессмысленных, рифмующихся между собой слов, первые части которых переводятся соответственно, как «один», «вино», «маленький», «свинья», «мой», «твой», «его», «Рейн» *(нем.)*.

[32] Мировая скорбь *(нем.)*.

— Гости хотят петь,— сказала она.— А вообще-то пора приниматься за дело.

Услышав о «деле», Роупер мгновенно стал серьезным и значительным.

— У нас тут небольшое обсуждение,— пояснил он.— Бренда стенографирует основные предложения. Останься, вдруг ты сможешь предложить что-нибудь интересное. Все-таки со стороны виднее. Кажется, члены нашей группы все больше становятся похожими друг на друга. Я имею в виду образ мыслей. Только, пожалуйста,— Роупер улыбнулся,— никаких рассуждений о первородном грехе.

Началось обсуждение (совсем как в школе: предельная откровенность, споры о смысле жизни), и я прислушался, не заинтересует ли оно меня профессионально? Но нет, рассуждения о месте науки и технологии в прогрессивном обществе были вне подозрений. Теперь Британии от социализма не отвертеться, какая бы партия ни пришла к власти. Члены группы обсуждали серию статей, в которых разрабатывалось кредо ученого-социалиста. А написать их, по-видимому, поручалось Кавуру (тому, что с трубкой): именно он, поминутно экая в поисках mot juste[33] и исправляя грамматические неточности, облекал каждое положение в тяжеловесно-литературную форму.

— Получилось у меня вот что,— сказал он.— Мы провозглашаем, что, э-э, прошлое мертво и мы стоим, э-э, на пороге будущего. Наши идеи носят характер, э-э, планетарный в противовес, э-э, изжившему себя национальному. В конце концов человечество придет к Всемирному Государству и Всемирной Науке. Э-э...

Бренда записывала за ним, позвякивая браслетиком. Люси сидела в одном из двух кресел с плюшевыми накидками, Роупер — рядом, на подлокотнике. Он был счастлив. Он избавился от чувства вины. Он был безопасен, сэр. Да и какая опасность могла исходить от Роупера, погруженного в гуманистическую, рациональную философию, которой время от времени Британия обязана своим правительством? «Дело» Роупера (если позволительно применить это слово к тому, что они затеяли) во время долгого правления тори ограничилось бы политической болтовней экстремистского толка, которой и суждено было остаться болтовней в стране, не слишком жаждущей Всемирного Государства и Всемирной Науки. Но следует ли осуждать человека за то, что он логически мыслит? Не знаю, в какой степени Люси — девушка, производившая серьезное впечатление,— ему в этом помогала. Я оказался за пределами Англии задолго до Роупера. Что я хочу сказать, сэр (точнее, что бы я сказал, если бы говорил с Вами),— это то, что не следует обвинять человека, идущего по предначертанному ему пути. Если Вы нуждаетесь в логике Роупера,— а Вы нуждаетесь и нуждаетесь до сих пор,— то придется Вам с этим смириться. Именно потому я не смогу с чистым сердцем убеждать Роупера вернуться, когда, наконец, увижу его послезавтра вечером. От денег он, разумеется, откажется и правильно сделает. Придется применить ампулу и похитить советского гражданина, на время представив его перепившим британским туристом. И сделаю я это за деньги.

Да, я сделаю это за деньги, за свое выходное пособие (подкупить меня сейчас проще простого), в котором, когда выйду в отставку, буду сильно нуждаться. Если бы не отставка, я бы никогда не стал проделывать такие гнусности со своим другом. Но как я уже написал Вам в другом, настоящем, письме — отправленном, полученном, обдуманном и отвеченном — я ухожу в отставку именно из-за того, что смертельно устал от подобных гнусностей. Однако пока я еще в игре, и Вы напоследок смогли воспользоваться моей квалификацией.

Квалификацией, которой я беззастенчиво торгану в предпоследний раз перед тем, как навсегда распрощаться со шпионской карьерой. Вы

---

[33] Нужного слова *(франц.)*.

получили мое короткое, четкое донесение об успешной выдаче Мартинуцци. Подготовленная нами шифрограмма, в которой Мартинуцци упоминался в качестве двойного агента, была, как и предполагалось, перехвачена. Оказавшись в Румынии, Мартинуцци, наверное, ожидал похвал, премий и продвижения по службе. Что он получил, нам известно. Мартинуцци больше нет. И нет больше в Триесте синьоры Мартинуцци и трех ее малышей, хотя это, конечно, к делу не относится. Взрыв парафиновой плиты в маленьком домике Мартинуцци на Виа делла Барриера Веккиа, в результате которого заживо сгорели мать со старшим ребенком и кошка с котятами, был, разумеется, чистой случайностью. Шпион не должен передоверять судьбе заботу о заложниках — так считал тот, кто разрабатывал эту операцию. Я почувствовал тошноту, меня всего вывернуло в канаву. Мерзко было на душе и оттого, что как раз в это время в городе проходили гастроли английских парней с гитарами — они распевали тошнотворные песенки и наполняли здание Оперы инфантильными визгами. Я читал, что они получают около двух миллионов лир в неделю; Мартинуцци был бы счастлив заработать половину этой суммы за год. Согласен, Мартинуцци — враг, и все-таки кто, по-вашему, мне ближе? Можете спросить у моей доброй «неприятельницы» Бригитты. На то, чтобы пристроить двух оставшихся сиротами вражеских детей (которым, кстати, требовалась сложная пластическая операция), я выложил несколько миллионов лир из собственного кармана. По натуре я игрок, но игра стала слишком грязной, и я из нее выхожу.

Письма этого Вы не получите, потому что я его не написал. Но, если я доставлю Вам Роупера и, несмотря на хранящиеся у меня под подкладкой письменные заверения, Вы сделаете с ним то, чего я опасаюсь, у меня по крайней мере будет что сказать в его защиту.

Сейчас без двух минут четыре. От полдника я воздержусь и постараюсь поменьше есть вечером. Сатириазу я скажу: «Спокойно, сэр, спокойно». Послезавтра мне необходимо быть в своей лучшей форме, все-таки это мое последнее задание. А теперь надо вздремнуть. Ваш (впрочем, уже не совсем) Д. Х. (729).

Часть II

1

Хильер проснулся весь мокрый, если не считать пересохшего рта. Было ужасно душно. Он лежал на койке в старых серых выходных брюках и зеленой рубашке с короткими рукавами. Брюки липли к телу. Рубашка пропиталась потом. Хильер чувствовал его острый запах. Пробудившийся Адам вдыхает эдемские ароматы; падшего Адама, которому недавно перевалило за сорок, встречает благоухание дня: въевшийся в кожу табачный смрад, едва уловимый дух кисло-сладкой мясной подливы; словно астронавт, вышедший в открытый космос и удалившийся (но не слишком!) от своего корабля, Хильер ощущал исходивший из его собственного рта зловонный запах горелого картофеля и сыромятни. Он встал и мрачно сглотнул слюну. Надо было перед сном включить вентилятор. Включил его сейчас, раздеваясь. Прохладный ветерок развеял остатки только что снившегося кошмара: орущая толпа хлещет его колючими розами, он ковыляет по круто уходящей в горы дороге, обессилевший, хилый. Хильер, хилый — несомненно, сон был навеян его именем. Огромный рупор, который он тащил, ассоциировался с именем его жертвы — Роупер. Как будто не могли сниться другие имена!

В зеркале, стоявшем на туалетном столике, отражалось его обнаженное тело — пока еще стройное и годное к употреблению. Но, казалось, оно вот-вот обмякнет под тяжестью бурного прошлого, запечатлевшего на нем свои следы в виде шрамов и оспин. На левом плече красовалась несмываемая отметина, настоящее тавро. Соскис (который в итоге получил свое и, подыхая, проклинал все на свете) скалил свои

гнилые пожелтевшие зубы, наблюдая, как Хильера прижигают раскаленным добела тавром в форме буквы S. «Подпись под не самой сильной моей работой,— прошамкал Соскис.— Резьба по телу. Хотя до неузнаваемости не изрезали». Привязанный к стулу Хильер пытался вложить в букву (изображение которой в зеркале постепенно расплывалось) другой смысл — Sybil, Сивилла, имя его матери. Так лучше. Помощник Соскиса сладострастно оттягивал момент прижигания, а Хильер убеждал свое тело: «Будет не больно! Не больно! Не больно!» И снова: «Стремись к этому,— твердил он коже,— зови, желай. Обыкновенная припарка. Полезная». Он не вскрикнул, почувствовав невыносимую, раздирающую S-образную боль, проникавшую до кишок,— сфинктер, слабейший из мускулов, умолял их открыться и извергнуть змею с телом, усеянным зубами. Соскис брезгливо скривился. Хильер тоже. «Я не хотел,— простонал Хильер.— Извиняюсь». Они не убрали за Хильером, но дали ему передышку перед окончательным прижиганием. Это и спасло ему жизнь (долгая история: помог человек по фамилии Костюшко). И сейчас он снова видит в зеркале S — перевернутое, выжженное S. Для бывшего разведчика будет неплохим сувениром. Женщины расспрашивали его об этой змейке и — когда в постели наступало затишье — томно поглаживали ее извивы. Соскис, Брейн, Чириков, Тарнхельм, Арцыбашев, еще вчера числившиеся среди его заклятых врагов, станут героями щемящих, полных ностальгии (подобно школьному томику Вергилия с загнутыми страницами) воспоминаний, которым он будет предаваться, выйдя в отставку.

Вещи Хильера были еще не распакованы. Он открыл один из двух своих чемоданов — тот, что постарее — и из-под бумажных и железных коробок с дешевыми сигарами («Сумована», «Кастанеда», «Уифкар империалес») достал старый цветистый халат. Хильер подумал, что вряд ли кто-нибудь зайдет к нему в каюту, пока он будет принимать душ. Тем не менее «Айкен» с глушителем и коробку с ампулами PSTX лучше все-таки спрятать. PSTX считался последней разработкой, и он еще не видел ее в действии. Говорят, что подкожная инъекция немедленно вызывает пьяную эйфорию и сговорчивость. Затем наступает сон, и после пробуждения — никакого похмелья. Он оглядел каюту и остановился на висевшем над тумбочкой шкафчике со спасательным поясом. Сойдет на время. Лучше лишний раз перестраховаться — враг не дремлет. При посадке на корабль его наверняка засекли, на измененную внешность особо полагаться не стоит. Перед тем как пойти в душ, Хильер тщательно изучил в зеркале плод своих стараний — новое лицо. Слегка набитые щеки выдавали некоторое самодовольство, лицемерно скрываемое его обычной худобой. Седоватые усы и такие же чуть поредевшие волосы, коричневые глаза (так изменили их светло-карий цвет контактные линзы), заостренный нос, презрительно искривленный рот — все это принадлежало уже не ему, Хильеру, а находящемуся сейчас в отпуске Джаггеру, эксперту по пишущим машинкам. Что ж, предпоследний в жизни маскарад. А где то, что он приготовил для Роупера? Когда-то бороды были в моде, а теперь...— теперь никто не дернет за бороду, не крикнет: «Эй, борода!» Хильер спрятал в шкафчик бороду, «Айкен» и ампулы. Упитанный человечек в эдуардовском костюме * плотно затягивал спасательный пояс, равнодушно взирая на Хильера-Джаггера с пожелтевшего листка инструкции,— столь же функциональный и обезличенный, как и стоящий перед ним шпион.

Хильер вышел в коридор. Аромат верхней палубы мог убедить любого запершегося в своей каюте первого класса пассажира, что он не зря столько выложил за билет. Никаких тебе запахов бензина или капусты, вместо них — нечто сугубо сухопутное, отдающее лепестками роз. Матово светились витые пластиковые фонари. Хильер запер дверь и, сжимая ключ в кармане халата, направился в душевую. Неожиданно в тишину коридора ворвались раздраженные голоса. Дверь каюты (третьей от его собственной) распахнулась, и из нее попятился кричащий

мальчуган. «Детей еще не хватало»,— вздохнул Хильер. Детей он недолюбливал: слишком непоседливы и бесхитростны — попробуй, проверни с ними что-нибудь. К тому же во время путешествий они маются от скуки и путаются под ногами. Мальчику было лет тринадцать — тот еще возраст!

— Очень она мне нужна,— проговорил он обиженно.— Уж нельзя посмотреть, про что там.

Да, выговор не отличается благородством.

— Мал еще,— отвечал девичий голос.— Погоди, скажу папе. Иди лучше покидай кольца.

— Да я больше тебя про это знаю. Нужны мне твои кольца!

Небольшого роста крепыш выглядел как типичный взрослый турист в миниатюре: яркая рубашка навыпуск, зауженные коричневые брюки, сандалии, не хватало только фотоаппарата на шее. Хильер отметил, что в зубах он сжимал сигарету, судя по запаху — «Балканское собрание» *. Подойдя ближе (чтобы попасть в душевую, надо было пройти мимо их каюты), он увидел девушку. Одного взгляда хватило, чтобы у него вырвался слабый стон, реакция тела как всегда была мгновенной и непроизвольной: перехватило дыхание, появилась легкая боль в уздечке, в артерии хлынула кровь, возникло смутное ощущение полета. Пшеничные волосы небрежно уложены на голове, носик с горбинкой чуть вздернут, губы, излияния которых так и хочется прервать поцелуем,— хороша! Открытое золотистое платье с высоким разрезом оставляло восхитительные ноги, руки и шею сладостно-обнаженными. На вид ей было лет восемнадцать. Хильер заскулил, как дремлющий пес.

— К тому же, папу это не волнует. Не говоря уже про нее. Они своим делом заняты. Только одно на уме.

У меня тоже, подумал Хильер. Он увидел, что мальчик требовал от сестры книгу некоего Ральфа Куинтина. Крупный заголовок гласил: «Секс и его садистские проявления». В столь юном возрасте читать подобные вещи! Какие глаза! Голубые озера Эдема, напоенные первым дождем! Ее огромные глаза смотрели на Хильера, затем, раздраженно сощурившись, она крикнула брату: — Грязный поросенок!

— Между прочим свиньи вовсе не грязные,— сказал мальчуган.— Это ошибочное мнение. И о «вонючих козлах» тоже.

Она захлопнула дверь. Хильер сказал мальчику:

— Грязь — неизбежный атрибут любого живого существа. Именно поэтому люди принимают душ. Именно поэтому и я сейчас иду в душ. Но, к сожалению, ты мешаешь мне пройти.

Мальчик внимательно посмотрел на Хильера и неторопливо — люди на этом корабле отдыхают! — прижался к стене.

— Вы тут новенький. Только что сели. А мы — с самого отплытия. Мы сели в Саутгемптоне. Обжираловка плавучая,— добавил он доверительно.— Жрут, пока худо не сделается. Недаром некоторые сползли на берег в Венеции и покатили домой. Я надеюсь, вам здесь понравится.

— Я тоже.

— Не надо мне было злить сестру. Она помешана на сексе, но это то, что Д. Г. Лоуренс называл «головным сексом». Обожает про это читать. Сигарету хотите?

Из нагрудного кармана рубашки он вытащил сигаретницу и дорогую зажигалку.

— Спасибо, но я предпочитаю сигары.

— Тогда после обеда я угощу вас «Ресервадос». Кстати, для своих в баре есть графинчики в стиле Людовика XIV с потрясающим «Реми Мартеном». Никто не может определить, какого он года.

— Непременно попробую. А теперь — в душ.

— Да, обязательно попробуйте. Надеюсь, мы встретимся во время аперитива.

Из молодых да ранний, подумал Хильер, направляясь в душ. И всё туда же — секс у него на уме! Спокойно, сэр, спокойно. Голубая Ад-

риатика его поддержала — громко загудел проплывавший мимо корабль.

Хильер открыл дверь в душевую и застыл на пороге. Нет, это уже слишком! Белокурая красавица, которую он только что видел, была по крайней мере одета. Здесь же перед ним — словно в противовес — предстала обнаженная жгучая брюнетка. Индианка вытирала свое смуглое тело, полуночным потоком струились к ягодицам распущенные волосы.

— Тысяча извинений,— с трудом проговорил Хильер.— Дверь была...

Она обернулась банным полотенцем с надписью «Полиольбион», словно победительница корабельного конкурса красоты. Из них двоих Хильер был смущен гораздо сильней. Прямой нос и благородные арийские черты составляли контраст с кофейным цветом ее лица.

— Да,— сказала она,— дверь была не заперта. Я часто бываю такой рассеянной.

Особенности ее английского произношения напомнили ему интонации валлийской школьницы. Она невозмутимо наблюдала, как Хильер пятился в коридор. И, кажется, снова не заперла дверь. Хильер зашел в другую душевую. Неплохое начало. Или плохое? Зависит от точки зрения. Перед операцией надо быть предельно собранным, а тут за несколько минут он уже дважды испытал плотский соблазн, увидел оба экстремума континуума *. Хильер, фыркая, принял ледяной душ и, глядя только вперед, высоконравственно прошествовал к себе в каюту.

Дверь оказалась распахнутой, и кто-то, мурлыкая себе под нос, рылся в ящиках тумбочки. В чемоданах уже тоже покопались. Однако на повернувшемся к Хильеру жизнерадостном лице не было и тени смущения.

— Как я понимаю, мистер Джаггер? А где другой джентльмен, мистер Иннес?

— Присоединится позже. В ближайшем порту.

— Это будет Ярылык. Занятное местечко.

Он, снова напевая, переложил несколько рубашек Хильера в выдвижной ящик.

— Наверное, я вам что-то должен,— сказал Хильер.

Открыв шкаф, в котором висел летний пиджак, он полез в карман за кошельком.

— Да, сэр, тут так принято, сами увидите. Называется «подсластить».

Трудно было определить, что у него за выговор: то ли восточнолондонский, то ли сиднейский, а скорее, оба — интонации моря, двух противоположных его концов. Хильер выкладывал банкноты на его ладонь, пока она, подобно лыжному креплению, не захлопнулась.

— Меня зовут Ричард Рист. Но Ричардом меня называют редко: обычно Риком или Рики.

Рист выглядел лет на тридцать пять. На нем была тельняшка и синие парусиновые штаны. Обветренная кожа пропиталась солью, а морщины и тени на северном лице, казалось, появились в результате долгого травления кислотой. Все свидетельствовало о том, что этот человек не первый год в море. Глаза его были постоянно устремлены куда-то вдаль. Разговаривая, он сильно вытягивал губы, даже во время пауз они не сразу возвращались в нормальное положение, и эта манера только усиливала сходство его шамкающего — без зубов и протезов — рта с рыбьим. Темно-каштановые волосы Риста казались приклеенными к черепу. На ногах были удобные домашние туфли из очень дорогой кожи.

— Что вы обычно пьете, сэр? На корабле есть шикарное виски. Только у нас. Называется «Олд морталити». Кстати, сэр, для вас письмо. В Венеции получили, там столько писем было — не поверите. У нас же пассажиры — сплошь бизнесмены, магнаты. Все время должны быть в курсе дела.

Письмо в стандартном служебном конверте было адресовано Себастьяну Джаггеру, эсквайру.

— Вы, наверное, захотите его прочесть, сэр. Давайте, а я пока сбегаю за «Олд морталити».

Напевая, Рист вышел из каюты. Хильера охватили тяжелые предчувствия. Предупреждение об опасности? Изменения в плане? Хильер вскрыл конверт. Как он и предполагал, письмо было закодировано: ZZWM DDHGEM EH IJNZ OJNMU ODWI E XWI OVU ODVP. Послание, однако, не маленькое. Хильер нахмурился. Как его прикажете расшифровывать? Никто не предупредил, что на корабль будет передана шифровка. У него не было с собой ни дешифратора, ни шифроблокнота. Еще раз заглянув в конверт, Хильер увидел крошечную полоску папиросной бумаги, которую он сначала не заметил. На ней было напечатано двустишие:

Ноябрьская богиня постаралась,
Чтоб Англия на месте не топталась.

И ниже ободряющая приписка: «Привет от всех». Пульс Хильера забился спокойней. Похоже, ничего серьезного. Шутливое послание из Департамента, разумеется, закодированное — других писем он не получал. Какой-нибудь ребус с зашифрованным ключом. Чтобы развлекся на досуге (когда он, наконец, появится).

К приходу Риста, который принес виски со льдом, Хильер уже переоделся в вечернюю сорочку и легкие черные брюки. Послание лежало в заднем кармане. Может, выдастся время...

— К вечеру здесь переодеваются? — спросил Хильер.

— Еще как! С первого же дня! Хотят убедить себя, что шикарно отдыхают. А женщины! — Вытянув рыбьи губы, он безнадежно присвистнул.— Какие вырезы! Надо видеть! Этот народ не признает полумер. Потому я богатых и уважаю. Но не все, конечно, такие щедрые.

С этими словами он почти до краев наполнил рюмку Хильера. Сквозь кубики льда поблескивало золото. На подносе стояло две рюмки, и Хильер кивнул Ристу — наливай. Тот воспринял это как должное и развязно провозгласил: «Ваше здоровьице». Хильер не помнил, когда в последний раз пил такое мягкое виски. Он налил себе еще. Повязывая черный галстук, Хильер уже нетерпеливо предвкушал предстоящий вечер, глубокие вырезы, запах богатства. Рист снова принялся распаковывать чемоданы.

— Между прочим,— сказал он,— пара, которая жила здесь до вас, денег не считала. Не жалуюсь. Они сошли в Венеции, чтобы проехать по Восточному побережью. Равенна, Римини, Анкона, Пескара, Бари, Бриндизи, а там — на чью-то яхту. Ничего жизнь! Каждый день оплачивали нам с напарником по дюжине пива. Он тоже стюард в первом классе.

— Я почту за честь,— сказал Хильер,— если вы согласитесь...

— Значит, сэр, я в вас не ошибся. Мы с Гарри будем с радостью каждый вечер пить за ваше здоровье. В Венеции отпуск проводили, сэр?

— Нет, приехал по делам,— сказал Хильер. Он был доволен предоставившейся возможностью заранее опробовать свою легенду.— Я разрабатываю новые модели пишущих машинок.

— Неужели? — спросил Рист восхищенным шепотом, словно в жизни не слышал ничего более поразительного.— Ваша работа, наверное, как-то связана с «Оливетти»?

Так, осторожно...

— По крайней мере, в Венеции у меня были другие дела,— сказал Хильер.

— Да, я понимаю. Но надо же какое совпадение: у меня сестра работает секретаршей, и ее однажды тоже подключили к одной из исследовательских групп. Им дали новую машинку, в которой размеры букв были разными, знаете, как при обычной печати. Я в этом слегка разбираюсь, потому что работал в корабельной типографии, правда, не

на этом корабле. Например, «m» в два раза шире, чем «n», то же самое с «o» и «i». Но вы-то как профессионал прекрасно понимаете, что ей больше всего не понравилось!

Рист собирался положить пачку платков в выдвижной ящик, но остановился в ожидании ответа Хильера.

— Конечно! Когда буквы разных размеров, то очень неудобно исправлять опечатки. Вы начинаете бояться опечаток. Машинисткам это страшно действует на нервы.

— Вот именно,— подтвердил Рист.— Вы совершенно правы.— Он продемонстрировал Хильеру свои розовые беззубые десны.— Итак, сэр, чем я могу быть для вас полезен? — Он сказал это так, словно Хильер успешно сдал экзамен,— по сути дела, так и было. Рист задвинул ящик и подошел ближе.— Могу, скажем, заказать для вас место в ресторане.

Хильеру требовалось выбрать между светлым и темным.

— Я тут видел девушку... Впрочем, нет, не надо.

— Если мы думаем об одной и той же, то я вас понимаю. Но братец у нее — настоящая бестия. Зато денег невпроворот. Уолтерс, их папаша,— большой человек в мучном бизнесе. Мне сдается, что его половина — она, кстати, здорово моложе — не прочь бы от него избавиться. Каждый раз заказывает ему дополнительную порцию. Дети у него от первого брака. Пацан, его зовут Алан, участвовал в телевизионной викторине в Штатах. Думает, что знает все на свете. Лучше от него держаться подальше. Иначе доведет вас!

— Я еще видел какую-то индианку.

— Тут далеко ходить не надо, точно, сэр? Да, на этом деле у нас можно все потерять. Любая готова, только позови. Мужьям своим они уже не интересны. Так что вам и одного вашего коридора хватит,— все, так сказать, под рукой. А индианка, про которую вы говорили, это мисс Деви. Она вроде секретарши у одного заграничного бизнесмена. Теодореску его фамилия. Богатый и здорово шпарит по-английски. Оксфорд небось кончал. По крайней мере, он утверждает, что она секретарша. Вы бы проверили, что ей известно про машинки! — Рист опустил глаза, что-то обдумывая.— Еще надо успеть разложить вещи пассажирского помощника. Но ведь и вашу каюту так не бросишь. Несколько фунтов заставили бы меня шевелиться побыстрее.

Хильер со вздохом протянул пять фунтов и подумал, что, выйдя в отставку, он себе такого уже не позволит.

Рист преданно поглядел ему в глаза.

— Если есть какие-нибудь просьбы, не стесняйтесь — постараюсь исполнить все, что скажете.

2

Направляясь в бар для пассажиров первого класса, Хильер ожидал увидеть там стены, обитые мягким шелком, изысканный полумрак, лишающий предметы тени, сиденья у стойки — со спинкой и подлокотниками, и под ногами пушистый, как снег, ковер. Но увидел он копию «Таверны Фицрой» в Сохо, какой она была до того, как любители современного дизайна там все не перепортили. В лужицах пива валялись размякшие окурки, напоминая открывшиеся бутоны, патлатый тип в серьгах барабанил по безнадежно расстроенному пианино, с закопченного потолка свисали обрывки сигаретной фольги, заброшенной туда разгоряченными посетителями. Вдоль стойки шли небольшие, затейливо обрамленные матовые оконца, которые поминутно открывались, мешая делать заказы. Стены украшала ученическая мазня. Магнитофонная запись шума Сохо безжалостно заглушала шум Адриатики. Хильер подумал, что в баре пассажиров туристского класса наверняка все наоборот — роскошный интерьер, никаких дизайнерских шалостей. Впрочем, судя по нарядам, среди посетителей не было ни одного маклера, работяги, наркомана или неудавшегося писателя. Одежда соответствовала классу, которым они путешествовали, ткани пушились роскошным вор-

сом, некоторые мужчины были — по последней американской моде — в золотистых смокингах. В баре стоял тяжелый табачный дух, и Хильер заметил, что пиво они пили подозрительно водянистое. Профессиональное чутье сразу подсказало: пиво здесь разбавляли отнюдь не водой. Кто мог ожидать, что дорогу к стойке придется прокладывать локтями? Но для пассажиров первого класса в этом, по-видимому, состояла своеобразная экзотика. Впрочем, наличными здесь никто не расплачивался и не получал на сдачу горстку мокрой мелочи. И в правдоподобии следует соблюдать меру!

Хильер заказал джин с тоником. Видно было, что одетому в грязные лохмотья бармену не терпится поскорее переодеться. Не прошло и минуты, как к Хильеру опять прицепился этот маленький хлыщ, Алан Уолтерс. Он был в прекрасно скроенном миниатюрном смокинге, в петлице красовался изысканный желтый цветок. Хильер с надеждой подумал, что, может быть, у Алана хватило ума не разбавлять водкой свой томатный сок.

— А я ведь все про вас выяснил,— сказал маленький мистер Уолтерс.

— Поздравляю! — воскликнул Хильер, не на шутку опасаясь, что мальчишка не шутит.

— За тридцать шиллингов Рист мне выложил все, как есть. Насквозь продажный тип.— Произношение его не отличалось ни правильностью, ни изяществом.— Вас зовут Джаггер. Вы занимаетесь пишущими машинками. Расскажите мне про них.

— Нет уж, я сейчас в отпуске,— сказал Хильер.

— Не надо только говорить, что в отпуске люди не любят обсуждать свои дела. Большинство только этим и занимается.

— Сколько тебе лет?

— К делу это не относится, однако я отвечу. Тринадцать.

— Господи,— пробормотал Хильер.

Сидевшие поблизости (толстые мужчины, казавшиеся благодаря портновским стараниям чуть полноватыми, и влекущие, окутанные шелками женщины) взглянули на Хильера с неприязнью и состраданием. Они-то знали, что ему предстоит, и в то же время их злило, что мучения Хильера, в отличие от их собственных, начинаются только сейчас.

— Начнем,— сказал мальчуган.— Кто изобрел печатающую машинку?

— Это было в далеком прошлом,— сказал Хильер,— а меня больше интересует будущее.

— В 1870 году ее изобрели три человека: Скоулз, Глидден и Соул *. Было это в Америке, и вся работа оплачивалась неким Денсмором.

— Только что где-то вычитал,— мрачно произнес Хильер.

— Почему же только что,— возразил Алан.— Я прочел это, когда увлекался огнестрельным оружием. Меня в то время занимала техническая сторона вопроса. Теперь же — практическая.

Сидевшие поблизости рады были бы не обращать внимания на Алана, но это им никак не удавалось. Они слушали с открытыми ртами, зажав в руке бокал.

— Первой наладила серийное производство компания «Ремингтон». Пишущая машинка — это тоже своего рода оружие.

Неожиданно кто-то сказал:

— Конечно, для Чикаго это вполне естественное помещение капитала.

Хильер увидел, что к соседней группе присоединилась мисс Дейи. Она была головокружительно хороша в своем багряном сари, по которому были вышиты золотом многорукие боги с высунутыми языками. Нос ее украшало серебряное колечко. Прическа была традиционной: две косы, прямой пробор. Но замечание относительно «помещения капитала» исходило от стоящего рядом с ней мужчины. Судя по всему, это и был ее босс, мистер Теодореску. Тучность придавала ему величие, ли-

но не казалось заплывшим, наоборот, не будь полным, оно выглядело бы непропорциональным, пухлые щеки и тяжелая челюсть естественно гармонировали с крупным, правильным носом. У него был упрямый подбородок, глаза же казались не смородинами в тесте, а огромными сверкающими светильниками с начищенными до блеска белками. То, что благоухающий фиалками череп был абсолютно голым, в данном случае являлось не недостатком, а достоинством — признаком мудрости и зрелости. На вид Хильер дал бы ему лет пятьдесят. Пальцы Теодореску украшало множество колец, что, однако, не производило вульгарного впечатления, напротив, его холеные руки казались большими и могучими, а сверкающие камни, которыми они были усыпаны, можно было принять за своеобразный цветочный венок, по праву врученный этим божественным творениям, сильным, искусным и прекрасным. Фигура Теодореску выглядела настолько огромной, что его белый смокинг напоминал грот-марсель. В его высоком бокале плескалась, как показалось Хильеру, чистая водка. Теодореску внушал Хильеру страх. Таким же страхом наполняла его и мисс Деви, представшая перед ним совершенно обнаженной. Кто-то уже был невольным свидетелем купания богини. Актеон? * Его, что ли, боги превратили в оленя, которого загрызли пятьдесят собак? Мальчишка наверняка помнит.

— Но кто действительно был талантливым конструктором,— сказал Алан,— так это Йост. Блестящий механик. Однако от его метода пропитки красителем почти мгновенно отказались. Между прочим,— небрежно бросил Алан,— в чем заключался метод Йоста?

— Когда-то помнил,— сказал Хильер.— Но я уже столько лет варюсь в этом деле! Что-то неминуемо забывается. К тому же меня больше интересует будущее.

Хильер уже это говорил.

— Йост использовал красящую пластину, а не ленту,— ледяным голосом процедил Алан. Хильер поймал на себе несколько косых взглядов.— Я считаю, что вы ничего не смыслите в машинках. Вы — самозванец.

Хильер взорвался:

— Скажи, тебе не надоело молоть языком?

Бог, которого, как полагал Хильер, звали Теодореску, расхохотался, и от раскатов смеха, казалось, затряслась стойка бара. Затем голосом, напоминающим шестнадцатифутовый регистр органа, изрек:

— Извинись перед джентльменом, мальчик. Он не хочет распространяться о своих знаниях, но это еще не означает, что их у него нет. Зачем задавать такие узко-профессиональные вопросы? Спроси его, например, какие машинки используют в Китае.

— Пять тысяч четыреста идеографических печатных литер,— с облегчением выпалил Хильер.— Цилиндр состоит из трех частей. Сорок три клавиши.

— Говорю вам, он понятия не имеет о пишущих машинках,— упрямо повторил Алан.— Зуб даю, что это самозванец. Не удивлюсь, если он окажется шпионом.

Снисходительно поклонившись, словно скрипач в окружении музыкантов своей секции, Хильер расхохотался. Однако ответного смеха не послышалось. Хильер явно перепутал партитуры.

— Где твой отец? — воскликнул Теодореску.— На его месте я бы положил тебя к себе на колени и хорошенько отшлепал. А потом заставил бы извиниться перед джентльменом. Безобразие!

— За отцом далеко ходить не надо,— сказал Алан,—но он и слова не скажет.

За столиком у двери, будто выходившей на Фицрой-стрит, сидел опухший, болезненного вида человек. Курчавая женщина, выглядевшая значительно моложе мистера Уолтерса, уговаривала его поскорей доедать и заказывать следующее блюдо.

— В таком случае,— сказал мистер Теодореску, тяжело поворачиваясь, словно приводимый в движение бесшумным гидравлическим двигателем,— я готов извиниться вместо тебя.— Он сверкнул на Хильера своими громадными светильниками.— Мы-то его знаем, поверьте. А вы, насколько понимаю, присоединились к нам недавно. В каком-то смысле каждый из нас несет за него ответственность. Уверен, что он искренне раскаивается, мистер...

— Джаггер.

— ...мистер Джаггер. Моя фамилия Теодореску, хотя я не румын. А это моя секретарша, мисс Деви.

— Мы, вообще говоря, уже встречались, правда, мне крайне неловко об этом вспоминать. Ситуация вышла весьма деликатной, и я еще раз приношу свои извинения, хотя, в сущности, не виноват.

Да, вины Актеона за Хильером не было.

— Я вечно забываю запереть дверь в душ,— сказала мисс Деви.— В гостиницах у меня всегда отдельный номер. Но, как бы то ни было, мы выше этих дурацких табу.

— Отрадно слышать,— сказал Хильер.

— Литеры, литеры,— пропел вполголоса Теодореску.— Мне всегда хотелось, чтобы документы нашей фирмы печатались особым шрифтом, крупным, может быть, похожим на готический. А можно на одной машинке печатать и по-английски, и по-арабски?

— Сложность заключается в том,— ответил Хильер,— чтобы иметь возможность печатать и слева направо, и справа налево. Сделать это, конечно, можно, но дешевле использовать две машинки.

— Очень любопытно,— проговорил Теодореску, изучая Хильера одним глазом, словно полагая, что и этого вполне достаточно.

Тем временем Алан Уолтерс с надутым видом потягивал у стойки томатный сок, в который, как показалось Хильеру, теперь была щедро добавлена водка.

— Ничего он не знает,— ворчал Алан. Присутствующие единодушно не обращали никакого внимания на маленького наглеца.— Про Йоста и Соула даже не слышал,— бормотал он, глядя в бокал.

Хильеру это очень действовало на нервы. Но Теодореску, который и в прямом и в переносном смысле был выше таких мелочей, мягко сказал Алану:

— А почему не видно твоей очаровательной сестры? Осталась в каюте?

— Тоже прикидывается. Как Джаггер. Помешана на книгах про секс и делает вид, что все знает, а на самом деле ни черта в этом не смыслит. Точь-в-точь как Джаггер.

— Допустим, ты проверил, как мистер Джаггер разбирается в истории пишущих машинок,— проговорил Теодореску учтиво,— но как он разбирается в сексе, ты пока не знаешь,— и, видя, что Алан уже открыл рот, поспешно добавил,— и не узнаешь.

— Джаггер — бесполый шпион,— сказал Алан.

Хильер подумал, что он здесь вовсе не для того, чтобы терпеть выходки этого наглого шпингалета. Он наклонился к не слишком чистому левому уху Алана и прошептал:

— Запомни, нахаленок, если еще раз что-нибудь вякнешь, я возьму остроносый ботинок и воткну его тебе в жопу. Причем несколько раз.

— В жопу? — громко переспросил Алан.

Экзотическое для светских ушей слово вызвало осуждающие взгляды.

В этот момент появился стюард в белой куртке с карийоном *, настроенным на минорный аккорд. Черты его лица выдавали индийское, точнее даже гоанское происхождение. Словно актер с телестудии, находящейся неподалеку от Сохо, он прошествовал через «Таверну Фицрой»,

небрежно наигрывая начальные такты партии правой руки из бетховенской «Лунной сонаты».

— Обед,— с удовлетворением констатировал Теодореску.— Очень кстати: я проголодался.

— Но ведь у вас был такой плотный полдник,— сказала мисс Деви.

— Комплекция обязывает.

Хильер вспомнил, что просил для себя место за столиком мисс Деви, что означало и соседство Теодореску. Сейчас выбор казался ему уже не столь удачным. Раньше или позже под весом Теодореску и градом каверзных вопросов Алана (забившегося сейчас, слава Богу, в дальний конец зала) личина Джаггера — а вместе с ней и Хильер — должна была расколоться. К тому же Хильера печалило, что он собственноручно испортил себе внешность и в таком виде должен предстать перед мисс Деви. Как вам это нравится: «Дурацкие табу»? Так она, кажется, сказала?

3

— Здешняя кухня вам по душе? — спросил Теодореску.

Обеденный зал даже отдаленно не напоминал ресторанчика, располагавшегося, как помнил Хильер, напротив «Таверны Фицрой»,— в его меню в голодные послевоенные годы красовался лишь бифштекс из конины с яйцом. В янтарно-пепельном воздухе стояло урчание кондиционера, смешанное с едва ли более громкой, способствующей пищеварению инструментальной музыкой, которая доносилась с галереи над позолоченным входом в зал. Старые, всю жизнь отдавшие родному кораблю музыканты искренне полагали, что от артрита, поразившего их пальцы, Ричард Роджерс* только выигрывал, делаясь благородней и торжественней. Роскошную обстановку дополняли тончайшие камчатные скатерти и стулья, на которых, должно быть, уютно себя чувствовала любая, даже самая массивная задница. Возле столика Теодореску стоял мягко подсвеченный аквариум, фантастические обитатели которого — мохнатые, закованные в броню, светящиеся, усеянные шипами и распушившие огромные хвосты — невесело навещали замки, гроты и бельведеры, то и дело разевая рот и неслышно делясь впечатлениями с проголодавшимися высшими позвоночными. Кроме Теодореску, мисс Деви и Хильера за столиком никого не было. Но особо обрадовало Хильера то, что семейство Уолтерсов отделял от него частокол упитанных и довольно шумных бизнесменов с супругами. Впрочем, радость его была бы еще больше, если бы мисс Уолтерс не была столь хороша в своем переливающемся бархатном платье-«рубашке». На шее у нее висел медальон на длинной массивной золотой цепочке. Она читала за столом, чего, конечно же, делать не следует, но что ей еще оставалось? Брат сидел надутый, а отец с мачехой были полностью погружены в процесс молчаливого и торжественного поглощения пищи. Время от времени миссис Уолтерс втолковывала своему мрачному и прожорливому супругу, что тому непременно следует отведать что-нибудь еще.

Хильер присоединился к Теодореску, который уже поедал медальоны с омарами в винном соусе. Как утверждал шеф-повар, омар сначала вываривался в крепком пряном бульоне из собственного панциря, затем в белом вине, после чего опускался в горящий анисовый ликер. В зале было множество молчаливых официантов, в большинстве своем гоанцы, хотя встречались и англичане (один из них — напарник Риста — подошел к Хильеру и прошептал: «Спасибочки за пиво»). Из кухни не доносилось никакого лязга и грохота, в зале царило величественное спокойствие.

— А теперь давайте закажем розовую кефаль с артишоком,— предложил Теодореску.— Человек, прежде сидевший на вашем месте, не отличался хорошим аппетитом, а меня раздражают люди, которые едят намного меньше, чем я. Впрочем, наесться мне никогда не удается.

Хильер взглянул на проворные пальцы мисс Деви с длинными алыми ногтями. Перед ней было огромное блюдо с мясом в соусе кэрри и множеством разнообразных гарниров. Вряд ли она сумеет управиться с такой порцией до полуночи.

— Я бы предпочел, если вы не возражаете, именно это шампанское,— сказал Теодореску, имея в виду «Боллинже» 1953 года, первую бутылку которого они уже почти допили.— Обычное, безобидное шампанское, однако вино для меня как хлеб: оно должно сопровождать еду, но не должно от нее отвлекать. Поклонение вину — наиболее вульгарная форма язычества.

— Позвольте только,— сказал Хильер,— записать следующую бутылку на мой счет.

— У меня другое предложение: кто съест меньше, тот и будет оплачивать спиртное.

— Тогда уж мне точно придется раскошелиться,— сказал Хильер.

— Боюсь, что маленький нахал просто подорвал вашу веру в себя. За столом поджарый человек — опасный соперник. Не бойтесь толстяка, который, посмеиваясь, набивает свою утробу. Это только показуха. Скажите, вы любите заключать пари?

Хильер почувствовал, как в закупоренном чане начался процесс ферментации, и, словно под давлением Schaumwein[34], выпалил, неожиданно для самого себя:

— Ваши условия?

— Сумма на ваш выбор. «Дуэль желудков» интересует меня сама по себе.— Мисс Деви звонко расхохоталась.— Тысяча фунтов вас устроит?

Хильер прикинул, сможет ли он в случае поражения списать всю сумму на путевые расходы. Впрочем, какая разница? Чек за подписью Джаггера — это просто бумажка.

— По рукам,— сказал Хильер.— Блюда заказываем по очереди. На тарелках не должно оставаться ни крошки.

— Прекрасно. Начинаем, не откладывая.

Они приступили к кефали с артишоком.

— Только не так быстро,— сказал Теодореску.— Торопиться нам некуда. Кстати, о шампанском. В свое время, кажется, в 1918 году — да, ровно через двести лет после того, как игристое вино Отвийе получило свое нынешнее название,— была попытка канонизировать изобретателя шампанского Дома Периньона *. Из этого ничего не вышло, хотя многие, я вам скажу, удостаивались канонизации и за меньшие заслуги.

— Намного меньшие,— подтвердил Хильер.— Я бы с бóльшим удовольствием искал заступничества святого Периньона, чем Святого Павла.

— Вы, значит, верующий?

— Как вам сказать... Пожалуй, уже нет.— (Осторожно... осторожно.) — Я верю, что у человека есть право на выбор. Я признаю основной догмат христианства — свободу воли.

— Вот и замечательно. Неплохо бы и нам реализовать свое право на выбор...

Он подозвал официанта, и к ним подошел предупредительный рыжеусый человек. Это был сам старший стюард. Хильер и Теодореску заказали по два блюда. Хильер — филе палтуса «Королева Елизавета» в белом соусе. Теодореску — креветки, запеченные в тесте с соусом «Ньюбург». Хильер — soufflé au foie gras[35] с мадерой. Теодореску — ломтики авокадо с черной икрой и холодным сбитым соусом.

— И еще шампанского,— сказал Теодореску.

Они приступили к еде, а сидящие поблизости пассажиры, слышавшие об условиях состязания, стали с интересом следить за его ходом,

---

[34] Шипучее вино *(нем.)*.

[35] Суфле из гусиной печенки *(франц.)*.

забыв о собственных тарелках. Теодореску с похвалой отозвался о черной икре, венчавшей ломтики авокадо, и спросил:

— А где находился ваш католический колледж, мистер Джаггер?

Стараясь не отвлекаться от еды, Хильер небрежно бросил:

— Во Франции.— Что-то он чересчур разговорился, а надо бы сохранить инкогнито.— В Кантенаке, к северу от Бордо. Но вряд ли вы знаете этот городишко.

— Кантенак? Кто же не знает Кантенак или, по крайней мере, вино «Шато Бран-Кантенак»!

— Конечно,— сказал Хильер,— но мне показалось, что вина вас не интересуют. Да, барон де Бран прославился еще своим «Мутон-Ротшильдом».

— Однако странное место для воспитания юного англичанина. Наверное, ваш отец был как-то связан с виноградарством?

— Моя мать была француженкой,— солгал Хильер.

— Правда? Какая у нее девичья фамилия? Возможно, я знаю ее родственников.

— Сомневаюсь. Она происходила из ничем не примечательного семейства.

— Но, насколько я понял, техническое образование вы получили в Англии?

— В Германии.

— Где в Германии?

— Предлагаю,— сказал Хильер,— filet mignon à la romana[36], фигурную лапшу и кабачки.

— Прекрасно.— (Старший стюард заскрипел карандашом.) — И, пожалуй, жареной ягнятины, но чтоб с прослойками жира. И жюльен из швейцарского сыра с зеленой фасолью и сельдереем.

— Еще шампанского?

— Я бы предпочел что-нибудь покрепче. В пятьдесят пятом году было прекрасное бордо. Может быть, «Лафит Ротшильд»?

— Лучше не придумаешь!

— А для вас, дорогая?

Мисс Деви так и не доела кэрри, хотя все-таки с большей частью управилась. Она заказала обыкновенное крем-брюле и бокал мадеры. Шампанского ей было достаточно: глаза мисс Деви светились, причем не тлели, как джунгли, а сверкали, как Нью-Дели. Когда Хильер увидел, что в ожидании филе-миньона Теодореску жадно откусил кусок хлеба, ему стало не по себе. Что-то здесь не то, надо не спускать с него глаз. Обеденный зал постепенно пустел, престарелые музыканты удалились, и их место занял эстрадный ансамбль. У сидевших поблизости пассажиров интерес к состязанию заметно поугас, на сытый желудок они воспринимали его как бессмысленное обжорство. Мужчины окутывали себя голубым дымом, потакая очередной слабости — на этот раз к роскошным кубинским сигарам. Уолтерсы сидели все там же: девушка читала, Алан посасывал коньяк, миссис Уолтерс курила, мистер Уолтерс куксился.

— Так где в Германии? — спросил Теодореску, разрезая филе.— Я очень неплохо знаю эту страну, да и другие страны тоже — куда меня только не забрасывали дела бизнеса!

Хильер воспринял это как предупреждение.

— Я изучал пишущие машинки после войны. В Вильгельмсхафене.

— Как же, знаю. Некогда крупная военно-морская база, а сегодня заурядный прибрежный центр легкой промышленности. Вы, возможно, встречались с герром Лутвицем из «Олимпии»?

Хильер нахмурился, выигрывая время.

— Нет, герра Лутвица я что-то не припомню.

— Ах да, я перепутал, он же не в «Олимпии» работает.

---

[36] Филе-миньон по-римски *(франц.)*.

Подали жареную ягнятину. Она оказалась восхитительной, чего нельзя было сказать об обороте, который принимала беседа.

— А в чем состоит ваш бизнес? — спросил Хильер.

— Чистая купля-продажа,— ответил Теодореску, тяжело пожав плечами. Хильеру показалось (хотя он и не был уверен), что Теодореску уже без особого желания отправил в рот очередную порцию жюльена.— Я ничего не создаю. Трость надломленная * в великом — вашем великом — созидающем мире.

— Фазана, фаршированного пеканами,— заказал Хильер.— Хлебный соус, чипсы к дичи и (о, Господи!) немного брокколи.

— Пожалуй, еще цыпленка с ячменем и соусом «бешамель», только не острым. Грибную икру со шпинатом и печеный картофель с колбасной начинкой.

Хильеру показалось, что Теодореску заказывает с каким-то вызовом. Может быть, он, наконец, подустал? Что там у него над верхней губой — не пот ли?

— Прекрасный выбор,— воскликнул Хильер.— Пить будем то же самое?

— А почему бы нам не попробовать бургундского? Я бы заказал «Шамбертен» сорок девятого года.

Трапеза становилась все более мрачной.

— Если позволите,— сказала мисс Деви,— я выйду на палубу.

Хильер немедленно приподнялся и сказал:

— Разрешите, я провожу вас,— и, обращаясь к Теодореску, добавил,— я вернусь через минуту.

— Э, нет! — воскликнул Теодореску.— Останьтесь, пожалуйста. Нет лучшего рвотного, чем океан.

— Вы полагаете,— спросил Хильер, садясь на место,— что я способен на столь бесчестный поступок?

— Я ничего не полагаю.

На пороге комнаты, специально предназначенной для пассажиров, желающих избавиться от рвотных позывов, мисс Деви обернулась и посмотрела на Хильера с печальной улыбкой. Хильер ответил легким поклоном, но приподняться уже не пытался.

— Возобновим борьбу,— хмуро сказал Теодореску.

— Я возражаю против слова «борьба». Это звучит оскорбительно в отношении таких кулинарных шедевров. Лично я ем с наслаждением.

— В таком случае продолжайте наслаждаться и прекратим разговоры.

Хильер предвкушал победу (вкушая при этом довольно безрадостно). Вдруг со стороны столика Уолтерсов послышался грохот, глухой удар, стоны и выкрики. Голова главы семейства покоилась на столе среди фруктовых очистков. Рядом валялись опрокинутые кофейные чашки и молочник. Похоже на сердечный приступ. Стюарды, которые, по мере того как обеденный зал пустел, подбирались поближе к месту состязания, теперь бросились с оставшимися в зале пассажирами к столику Уолтерсов. Происходившее напоминало ожог, внезапно обезобразивший нежную кожу праздника. Хильер и Теодореску виновато посмотрели на свои уже почти пустые тарелки. Один из стюардов кинулся за корабельным врачом.

— Может быть, согласимся на ничью? — предложил Хильер.— Думаю, мы оба были великолепны.

— А, не выдержали! — воскликнул Теодореску.— Сдаетесь?

— Почему же не выдержал? Просто я считаю, что было бы разумнее внять только что сделанному нам страшному предостережению.

Врач в парадном кителе, принятом на торговых судах, громко требовал, чтобы его пропустили к столику.

— Предлагаю продолжать,— сказал Теодореску и подозвал старшего стюарда.— Привезите столик с холодными десертами.

— Сэр, джентльмену очень плохо. Не могли бы вы немного подождать?

— Глупости. Тут вам не госпиталь.

Между тем основания для такого сравнения, несомненно, имелись. В зале появились два санитара с носилками. В то время как жутко хрипящего мистера Уолтерса укладывали на носилки, стюард-гоанец вкатил столик с холодными десертами. Миссис Уолтерс рыдала. Дети куда-то исчезли. Санитары, окруженные толпой, вынесли мистера Уолтерса из зала. Вскоре в нем не осталось никого, кроме Хильера и Теодореску

— Шербет «Арлекин»? — предложил Теодореску.

— Шербет «Арлекин»,— согласился Хильер.

Они наполнили тарелки друг другу.

— И, если не возражаете против белого вина, «Бланкет де Лиму»,— сказал Теодореску.

— С удовольствием.

С кислыми физиономиями они приступили к сладкому Персиковый мусс с малиновым сиропом. Кольцо со сливками «Шантийи» с фруктовой подливкой. Груши «Элен» в холодном шоколадном соусе. Холодный пудинг «Гран Марнье». Клубничное желе. Засахаренные каштаны.

— Послушайте,— задыхаясь, проговорил Хильер,— мне это перестает нравиться.

— Правда, мистер Джаггер? А что же в таком случае вам нравится?

— У меня во рту пожар.

— Потушите его пирогом с нектаринами.

— Боюсь, меня сейчас вырвет.

— Нет уж, так мы не договаривались. Это против правил.

— Кто это, интересно, установил такие правила?

— Я.

Теодореску наполнил бокал Хильера холодным пенистым «Бланкет де Лиму». Отпив, Хильер почувствовал себя лучше. Он заставил себя съесть шоколадно-ромовый десерт со взбитыми сливками и ликером «Калуа». Затем заглотил апельсиновый мармелад по-баварски, пропитанный ликером «Куантро».

— Как насчет яблочного пирога по-нормандски с бокалом кальвадоса? — спросил Теодореску.

Но перед глазами Хильера встала апокалипсическая картина собственных внутренностей: осклизлое мясное хлёбово, лениво текущие по трубам сливки, ароматные ликеры, готовые в любой момент самовоспламениться, винное внутреннее море, прокисшее и пенящееся. Этого хватило бы на день жителям целого индийского городка. Вот он, Запад, от которого бежал Роупер.

— Сдаюсь,— с трудом проговорил Хильер.— Вы победили.

— С вас тысяча фунтов. Я хотел бы их получить до того, как мы прибудем в Ярылык. Нет, возможно, я покину корабль еще раньше. Так что потрудитесь заплатить не позже завтрашнего полудня.

— Но Ярылык — это ближайший порт. Вы не сможете покинуть корабль раньше.

— Разве вам не известно о существовании вертолетов? Всё зависит от того, получу ли я одну важную телеграмму.

— Я могу хоть сейчас выписать вам чек.

— Не сомневаюсь, что вы можете выписать чек. Но я хочу получить наличными.

— У меня нет наличных. По крайней мере, в таком количестве.

— В корабельной кассе достаточно денег. Уверен, что у вас имеются дорожные чеки или аккредитивы. Так что извольте заплатить наличными.

Он зажег сигару с такой невозмутимостью, словно съел на обед

пару яиц всмятку, и ни крошки больше. Затем уверенной походкой направился к выходу. Хильер бросился на палубу, на бегу стукнувшись о Теодореску. Нет лучшего рвотного, чем океан!

4

— Как самочувствие вашего мужа? — спросил Хильер.

Голос у него был немного виноватым, поскольку Хильер считал, что в сердечном приступе мистера Уолтерса есть доля и его вины: он с видимым удовольствием обжирался, вместо того чтобы (по крайней мере, после филе-миньона) встать и произнести античревоугодную проповедь на манер отца Берна. Он-то надеялся заработать тысячу фунтов, которая перед выходом в отставку казалась совсем не лишней. Теперь же придется самому платить эту сумму, и непонятно было, где ее взять. Деньги, хоть и с небольшой отсрочкой, востребованы. Тем не менее профессиональная интуиция подсказывала Хильеру, что, возможно, все еще обойдется. Первым делом следовало побольше разузнать о Теодореску. Для этого он и примостился сейчас здесь, возле открытой танцплощадки, у незамысловатой, но изящной металлической стойки бара, заказав себе шампанское «Кордон блё» со льдом и мятным ликером. Он поджидал мисс Деви. В любом случае — даже если не рассматривать мисс Деви как источник информации — Хильер считал встречу с ней необходимым атрибутом роскошной летней адриатической ночи с дорогостоящим лунным и звездным шоу, поставленным специально для танцующих толстосумов и их дам. Будь его воля, он, возможно, предпочел бы мисс Уолтерс, но не учитывать состояния ее отца просто неприлично.

Между тем миссис Уолтерс была выше подобных сантиментов и, несмотря на то что муж ее хрипел сейчас в лазарете, опрокидывала одну за другой двойные порции виски с содовой. Хильер наконец-то смог хорошенько рассмотреть миссис Уолтерс, в особенности (проявляя постыдную заинтересованность) высокий разрез ее прямого платья цвета ночной синевы и плечи, укутанные в тонкий прозрачный темно-голубой шарф; волосы не представляли собой ничего особенного, лицо по форме напоминало сердце, глаза — видимо, по причине врожденной хитрости их обладательницы — все время щурились. Он взглянул на уши: мочки практически отсутствовали, впрочем, серьги тоже. Ей можно было дать от силы лет тридцать восемь.

— Сам виноват,— сказала она необычайно густым контральто.— Это уже третий приступ. Сколько раз я его предупреждала, но он твердит свое: «Хочу наслаждаться жизнью». Донаслаждался.

— Если бы жизнь была устроена справедливо, то ее наслаждения доставались бы не обеспеченной старости, а беспечной юности,— глубокомысленно изрек Хильер.

— Смеетесь, что ли! — воскликнула миссис Уолтерс, и Хильер отметил про себя, что собеседница, по-видимому, довольно вульгарна.— Он утверждает, что в детстве ничего, кроме хлеба с джемом, не видал. И чай пил из жестяной кружки. Зато сколько у него хлеба сейчас благодаря всем этим пекарням! А детки его — поверите ли? — ни разу не пробовали хлеба. Он не хочет видеть хлеб у себя дома.

Говоря с Хильером, она все время рассеянно посматривала как бы поверх него, словно поджидая кого-то.

— Но все-таки как он себя чувствует? — снова спросил Хильер.

— Выкарабкается,— равнодушно бросила миссис Уолтерс.— Они его там чем-то колют.

Вдруг она очаровательно зарделась и чуть заметно шевельнула бедрами: к ней направлялся смазливый — словно с обложки модного журнала — мужчина, но Хильер явственно почувствовал, что несмотря на зеленый смокинг, напомаженные волосы, гигиеническую пудру, одеколон, лосьон после бритья и дезодорирующий аромат, источаемый под мышками, от него попахивало кулинарным жиром. И этот вульгарен! Недурная парочка.

Хильер взял коктейль и, не вынимая другой руки из кармана, отошел от стойки. Хорошо еще, что мысль о кулинарном жире не вызвала у него рвоты. Что касается чудовищного обеда, то он уже поделился большей его частью с морем, отыскав для этого укромный уголок возле спасательных шлюпок. Из утробы изверглось нечто совершенно пресное — перемешанные лакомства уничтожили вкус друг друга. Чувствовал он себя прекрасно, признаков голода пока не было. Добродушно взглянув на танцующих, которые, словно подростки, ритмично трясли головой и крутили бедрами, Хильер с радостью увидел среди них мисс Деви, танцевавшую с кем-то из корабельной прислуги. Отлично. Он пригласит ее на следующий танец. Хильер надеялся, что это будет танец, достойный джентльмена, то есть позволяющий крепко прижать к себе тело партнерши. Современная молодежь, которая могла бы удовлетворять под музыку свои сексуальные потребности, оказалась совершенно нетребовательной. Танцы для них — всего лишь форма самолюбования. Да и ведут они себя, как гермафродиты. Возможно, это первый шаг на долгом эволюционном пути к превращению человека в червя. Хильер представил себе человекообразного червя и брезгливо поежился. Нет уж, пока половые различия не исчезли, надо этим чаще пользоваться! (Сколько раз я его предупреждала, но он твердит свое: «Хочу наслаждаться жизнью».) Миссис Уолтерс со своим красавчиком уже куда-то убежала. Может быть, за спасательные шлюпки? Почему, интересно, они действуют возбуждающе? Наверное, как-то связано с опасностью. Адам и Ева на надувном плоту.

Танцующие прекратили вертеть бедрами и возвратились к столикам. Рядом с мисс кроме ее спутника никого не было. Ну уж от прислуги Хильер как-нибудь избавится. Хильер неторопливо наблюдал, как они медленно потягивают что-то через соломинки. Руководитель ансамбля, по-видимому, изрядно навеселе, провозгласил: «Если бы среди вас были пожилые, то я бы сказал, что следующий танец для них». Здесь все уже оплачено, и лесть тоже. Музыканты заиграли медленный фокстрот.

Мисс Деви охотно приняла приглашение Хильера.

— Мне стыдно за наше дурацкое пари,— сказал Хильер, плавно скользя по танцплощадке.— И не потому, что проиграл — это как раз пустяки,— а из-за того, что в некотором смысле оно было оскорблением для Индии. Ведь это напоминало сцену из какого-нибудь спектакля, к примеру, Брехта: двое европейцев обжираются тоннами лакомств, а на них печально взирает Индия, размышляя о миллионах голодающих.

Мисс Деви рассмеялась. Хильер почувствовал, как восхитительно выгнулось ее тонкое тело. Как обычно, находясь рядом с женщиной, возбуждавшей в нем желание, Хильер почувствовал голод.

— Миллионы голодающих,— бесстрастно передразнила мисс Деви.— Я думаю, каждый получает то, что хочет. Нарожать столько детей, не умея при этом как следует обрабатывать землю, то же самое, что сказать: «Я хочу голодать».

— Иными словами, вы не испытываете таких чувств, как сострадание или жалость?

Чуть помедлив, мисс Деви ответила:

— По крайней мере, пытаюсь не испытывать. Надо думать о последствиях своих поступков.

— Но случаются и неожиданности. Скажем, в мой дом врывается грабитель и всаживает в меня нож.

— Значит, так на роду написано. Все изначально предопределено. Нельзя противиться воле Бога. Сочувствие жертве означает осуждение палача. Но Бога осуждать нельзя.

— Странно слышать из ваших уст упоминание о Боге.— (Мисс Деви холодно взглянула на Хильера и слегка отстранилась.) — Я хочу сказать, во время роскошного круиза, под звуки медленного фокстрота.

— Почему? Бог объемлет все: и медленный фокстрот, и саксофон, и соленые орешки на стойке бара. Что тут странного? Мир един.

Хильер украдкой вздохнул: роуперовские рассуждения. Правда, Роупер обходился без Бога.

— И весь мир подчинен единому закону? — спросил он.

— Мир не подчиняется законам, он их содержит в себе. В любых своих поступках мы следуем предначертанному свыше.

— Интересно, как относится мистер Теодореску к подобным рассуждениям?

— В принципе, он со мной согласен. Он верит в свободу воли. Человек должен делать то, что хочет. Не следует подавлять свои желания.

«Неплохо», подумал Хильер и сказал:

— А если желаешь не чего-то, а кого-то?

— Необходима гармония желаний. Иногда так и предопределено. Но чаще желание одного осуществляется вопреки желанию другого. Задача того, кто испытывает желание, возбудить ответное желание. Возможно, это самое божественное деяние, на которое способна душа человека. Человек как бы сам творит свою судьбу.

С теоретической точки зрения, рассуждения мисс Деви мало интересовали Хильера, хотя он, разумеется, вида не подавал. Равно как не желал немедленно предлагать ей себя для их практического воплощения. К чему торопиться, впереди еще вся ночь! Плита включена — пусть цесарка доходит в духовке.

— Не сомневаюсь,— сказал Хильер,— что такую женщину, как вы, много раз желали в надежде встретить ответное желание. И, думаю, во многих странах.

— В одних странах чаще, в других реже. Однако у меня не так много времени на светские развлечения.

— Мистер Теодореску перегружает вас работой?

— Ой, как он отвратительно сфальшивил! — Мисс Деви сделала очаровательную гримасу.— Саксофонист, должно быть, пьян. Что вы спросили? Ах, да, конечно, я очень занята.

У двери в дальнем конце танцплощадки Хильер увидел Риста. Тот, покуривая, наблюдал за танцующими. На Ристе была рубашка и вечерний галстук-бабочка в горошек. Заметив Хильера, он приветливо, но сохраняя достоинство, помахал рукой и разинул рот, чтобы выразить свою беззубую радость.

— Наверное, печатаете? — поинтересовался Хильер.— Я, кстати, сейчас разрабатываю дешевую портативную электрическую машинку. Ее можно носить с собой и подключать к обычной розетке.

— Танцуя со мной под звездами Адриатики, вы считаете необходимым говорить о пишущих машинках?

— Мир един. В нем всё: и Бог, и пишущие машинки, и пьяный саксофонист. А чем занимается мистер Теодореску? Ведь и он — часть этого мира.

— Он называет себя entrepôt[37] промышленной информации. Он ее покупает и продает.

— И всегда получает наличными?

Оставив этот вопрос без ответа, мисс Деви сказала:

— Если вы пытаетесь выяснить, связывают ли меня с мистером Теодореску личные отношения, то могу сразу ответить: нет. Если же вы хотите, чтобы я использовала свое личное влияние на мистера Теодореску, с тем чтобы он простил вам долг, то могу снова сказать: нет. Играть с ним в азартные игры бессмысленно: мистер Теодореску всегда выигрывает.

— А если я, предположим, откажусь платить?

— Это было бы крайне неразумно. С вами может произойти несчастный случай. Мистер Теодореску обладает огромной властью.

---

[37] Склад (*франц.*).

— Вы хотите сказать, что он способен на оскорбление действием? В таком случае, я сделаю это первым. Дерусь я, слава Богу, неплохо. Я полагаю, джентльмен обязан принять чек от другого джентльмена. Но мистер Теодореску требует наличными и даже способен подстроить мне несчастный случай. Не думаю, что после этого мистера Теодореску можно назвать джентльменом.

— Не советую говорить такое при нем.

— Я с удовольствием скажу ему это прямо в лицо. Где он? Разлегся, наверное, на койке у себя в номере — небось в люксе.

— Ошибаетесь, мистер Теодореску сейчас в радиорубке. Отправляет какие-то телеграммы. Что бы он ни выпил, что бы ни съел, ему никогда не бывает плохо. Более сильного мужчины я, пожалуй, не встречала.

— Простите,— извинился Хильер перед соседней парой, в которую он едва не врезался, и продолжил, обращаясь к мисс «танцующей Деви» *,— однако он недостаточно силен, чтобы пробудить в вашей душе ответное желание.

— Что-то вы заговорили высоким слогом. Мистера Теодореску интересуют сексуальные отношения иного рода. Он утверждает, что исчерпал возможности женщин.

— Если я вас правильно понял, нашему не по годам смышленому Уолтерсу следует опасаться.

— Мистер Теодореску невероятно разборчив. Разборчив во всем.

— Зато я, хотя и не всеяден, не столь разборчив.

— Что вы хотите сказать? — Не дав ему ответить, она внимательно посмотрела на Хильера своими кошачьими глазами и сказала: — Мне кажется, вы зачем-то стремитесь казаться уродливее, чем есть на самом деле. Я почти уверена, что в действительности вы выглядите совершенно иначе. Что-то здесь не так. Маленький наглец утверждал, что вы ничего не смыслите в пишущих машинках. Минуту назад вы довольно неуклюже пытались перевести разговор на машинки, словно желая убедить себя самого, что имеете к ним отношение. Зачем вы здесь? Кто вы?

В ответ Джаггер исполнил импровизацию на мотив арии Мими из первого акта «Богемы»:

— Меня зовут Себастьян Джаггер. Я специалист по пишущим машинкам.

Его импровизация почти естественно вписалась в фокстрот. Пианист, который, похоже, был пьян не меньше, чем лидер ансамбля, выписывал нечто атональное и алеаторическое *, в то время как бас и ударник пытались убедить танцующих, что музыканты по-прежнему исполняют фокстрот.

— У меня заказ от «Оливетти». Сейчас я в отпуске, а потом на некоторое время возвращусь в Англию.

— Я хотела бы разоблачить вас, понять, кто вы на самом деле.

В глазах мисс Деви сверкнула сладостная угроза.

— Мы могли бы разоблачиться вместе,— галантно предложил Хильер.

Музыканты (за исключением пианиста) вдруг прекратили играть. На эстраде появился пышущий здоровьем, несмотря на тучность, седой человек в смокинге с высоким жестким воротником.

— Друзья мои,— провозгласил он профессионально поставленным голосом. Пианист отозвался речитативным аккомпанементом, но на него сразу шикнули. «Друзья» все еще прижимались друг к другу, словно участвовали в языческом празднике любви.— Нас попросили, чтобы мы, если можно, сегодня больше не танцевали. Большинство из вас знает, что один из пассажиров находится сейчас в лазарете. И, разумеется, там слышно, как мы веселимся. Боюсь, что положение его критическое. Думаю, нам следует проявить понимание и участие и закончить сегодняшний вечер в тишине, возможно, даже в медитации. Благодарю за внимание.

Под жидкие аплодисменты он спустился с эстрады. Руководитель ансамбля с воодушевлением поддержал его:

— Эй, ребята, вам все ясно? Быстренько по домам и чтоб по дороге не баловаться!

— Мне кажется,— сказала мисс Деви, левая рука которой по-прежнему покоилась на плече Хильера,— что вы позволяете себе дерзости.

— А мне кажется, что вы придаете слишком большое значение условностям. Вас восхищает разборчивость, вас возмущает дерзость. Что ж, неразборчивый Бог имел дерзость создать меня таким, каков я есть. Так узнайте же на досуге, что у него получилось. Вы, кажется, говорили что-то о разоблачении?

— На сей раз я не забуду запереть дверь в каюту.

— Нисколько в этом не сомневаюсь.

Хильер почувствовал голодную резь в животе. Рука мисс Деви все еще лежала на его плече. Он осторожно опустил ее.

— Серебряное колечко в носу,— Хильер потянул за колечко, и мисс Деви слегка отпрянула,— непременно оставьте. На остальных предметах туалета я не настаиваю, но колечко пусть будет.

Мисс Деви высоко вскинула голову, словно собиралась водрузить на нее кувшин с водой, сделала неопределенный, но в общем неодобрительный жест и с арийским достоинством прошествовала сквозь расходившуюся толпу.

Рист по-прежнему стоял у двери. Рядом с ним находился его неизменный напарник, худощавый, смуглый человек средних лет с довольно неприветливой наружностью. Одет он был так же, как и в обеденном зале.

— Ну что, дело движется? — спросил Рист, а его напарник снова сказал: «Спасибочки за пиво»,— и заговорщически посмотрел на Хильера.

— Принесите мне в каюту поесть,— сказал Хильер.

— Это его дело,— напарник кивнул на Риста,— не для красоты же он тут стоит.

— Все разумные желания пассажира должны выполняться по первому требованию,— важно изрек Рист,— Что вы предпочитаете, сэр?

— Ракообразных, если вам известно это слово. Без гарнира, но не забудьте красный перец. И ледяное шампанское.

— Понятно, сэр. Кстати, если еще не выяснили, номер интересующей вас каюты — пятьдесят восемь. Разрази меня гром! — старомодно воскликнул Рист,— живут же люди!

5

Хотя час был поздним и светильники в коридоре горели вполнакала, Хильер не сомневался, что добраться до заветной каюты незамеченным ему не удастся. Из-за дверей доносился храп такой силы, что трудно было поверить в его естественное происхождение; того и гляди распахнется какая-нибудь дверь, и из отдыхающего от протезов рта или из-под бигуди на Хильера обрушится поток негодования. Словно в подтверждение его опасений в конце коридора показался Рист. «Удачи, сэр»,— пожелал он Хильеру, как будто тот находился на крикетном поле и собирался ввести мяч в игру. А вот и маленький мистер Уолтерс в парчовом китайском халате с драконами — вышагивает нервно, как будущий молодой отец возле роженицы, попыхивает «Балканским собранием» в мундштуке «Данхилл». Вспомнив об отце Алана, Хильер участливо спросил, есть ли какие-то новости.

Несмотря на желание Алана казаться взрослым, выглядел он зареванным ребенком.

— Какие могут быть новости? Пожинает то, что посеял. Он же знал, что заработает артериосклероз.

В его ответе Хильеру послышался отзвук жестокой философии мисс Деви.

— Нельзя обвинять человека в том, что у него больные артерии,— сказал Хильер.— Одному везет, другому нет.

— Что станет со мной и Кларой, если он умрет?

— С Кларой?

— Да, с сестрой. О себе-то эта сука, как всегда, позаботится. Отец считает себя самым умным. Я ведь предупреждал его, чтоб не женился на ней. Жили мы себе втроем, и все было чудесно. А теперь она все загребастает. Я-то знаю, как она нас ненавидит. Не представляю, что с нами будет.

В ответ раздавался храп.

— Наука сегодня творит чудеса,— пролепетал Хильер.— Увидишь, через пару дней он будет совершенно здоров.

— Что вы в этом понимаете? В чем вы вообще понимаете? Только и умеете, что шпионить по коридорам. Если он умрет, я ее укокошу. Или вы ее укокошите, раз вы шпион, а я вам заплачу.

— Прекрати болтать глупости,— громко сказал Хильер.

За дверью соседней каюты начали шикать. Как Хильер и подозревал, спали далеко не все.

— Мы продолжим наш разговор утром. Уверен, что к утру все образуется. Засияет солнышко, и всё забудется, как страшный сон. А теперь марш в кровать.

Алан взглянул на Хильера, который был в халате на голое тело.

— Снова в душ... Второй раз за полдня.— (Слава Богу, в мальчике еще сохранились остатки невинности!) — Хоть вы и шпион, но очень чистоплотный.

— Слушай, давай покончим с этим раз и навсегда. Я не шпион. Ты понял? Действительно, они существуют, я даже видел пару настоящих шпионов, но я не из их числа. Какой из меня шпион, если ты меня сразу раскусил? Ведь для шпиона главное — это не выглядеть шпионом. Ясно тебе?

— А спорим, что у вас есть пистолет?

— А спорим, что и у тебя есть. У тебя, похоже, все есть.

Алан отрицательно покачал головой.

— Слишком молод, чтобы иметь оружие. Это моя главная беда: что бы мне ни захотелось, всегда оказывается, что я слишком молод. Например, слишком молод, чтобы оспорить завещание.

— И слишком молод, чтобы не спать в такое время. Ступай в кровать. Можешь принять пару таблеток снотворного, не сомневаюсь, что и оно у тебя найдется.

— А вы мне начинаете нравиться. У вас есть дети?

— Нет. Ни детей, ни жены.

— Одинокий волк. Кот, который гуляет сам по себе. Жаль только, что вы со мной юлите, все равно ведь выведу на чистую воду. Все равно разоблачу и узнаю, кто вы на самом деле.

Еще одна мисс Деви!

— Ладно, только завтра,— сказал Хильер.— Завтра все будет по-другому. Где твоя каюта?

— Вон та. Заходите, пропустим стаканчик перед сном.

— Спасибо, но у меня неотложные дела.

Хильер согнулся, словно у него внезапно кольнуло в животе.

— Это все обжираловка,— сказал Алан.— Я видел, как вы начинали, и знаю, чем все кончилось. Не доверяйте этому человеку,— прошептал Алан.— Он иностранец, хотя, наверное, считает, что своим шикарным произношением сумел сбить меня с толку. Ладно, идите,— произнес он вдруг официальным тоном и направился к себе в каюту.

Рист тоже куда-то исчез, и Хильер поспешил к каюте пятьдесят восемь. Как он и предвидел, дверь была не заперта. Он постучал и, не дожидаясь ответа, вошел. Мисс Деви — он и это предвидел — сказала:

— Опаздываете.

— Не по своей вине,— сказал Хильер не в силах перевести дыхание: мисс Деви лежала совершенно обнаженная, за исключением, разумеется, серебряного колечка в носу.— Ничего не мог поделать.

Ее распущенные волосы струились до колен. Обворожительное, смуглое, словно хорошо пропеченное тело чуть отсвечивало матовым глянцем; смолянистый курчавый кустик казался дерзкой пародией на ее восхитительные волосы; грудь, несмотря на внушительные размеры, не свисала, а стояла твердо, словно отлитая из какого-то божественного каучука; соски уже набухли. Она протянула руки — два золотых меча — к Хильеру. Он скинул шлепанцы. Халат скользнул на пол.

— Где выключается свет? — спросил он, тяжело дыша.

— Не надо. Я хочу видеть.

Хильер приступил.

— Araikkul va [38],— прошептала она.

Тамильский? Дравидская группа *. Значит, с юга, не арийка и, возможно, искусству любви обучалась не по грубой «Кама Сутре» *, а по малоизвестному трактату «Pokam» *, название которого врезалось когда-то Хильеру в память по причине непристойных ассоциаций.

За этим последовало нечто утонченно-изысканное, граничащее с агонией, давно забытое. Она воспламенила его нежным «объятием павлина», которое перешло в «мадакадам», «потти» и «пуданей». Хильер стал терять ощущение времени и, чувствуя, что сейчас взлетит, кивнул самому себе: «Прощай, Хильер». Чей-то голос, режущий, как свет, стал задавать нелепые вопросы, но на каждый из них Хильер мог ответить. День Воздвижения Креста Господня *? 14 сентября. Год публикации «Ипатии» *? 1853. Конверт Малреди *; «Моральная философия» Дони *; «Кеннингтон Оувал» *, разбита в 1845; «Лотта в Веймаре», «Анна на шее», Анна на рельсах; имя привратника претория Понтия Пилата — Картафил *, «Вечный жид». Коронация Елизаветы? Ноябрь 1558. Еще тянуло вниз, еще оставались дела на земле, еще не выполнено было задание, но Хильер взлетал все выше и выше, в запредельные сферы, откуда доносился голос. Он увидел тянущиеся к себе губы, они раскрылись, словно собираясь его всосать. «Первая — пятая, пятая — восьмая»,— шепнул чей-то беспечный голос, но Хильер криком заглушил его. А губы втягивали все глубже, ласкали все яростней, пока, наконец, из него не брызнул желанный, долгожданный сок. Mani [39] — он не забыл, как это называется. Хильер истекал mani, оно вливалось потоком в сосуд, трепетавший, как живое существо. Потом сосуд запечатали горячим сургучом. Хильер превратился в человека по имени Джонробертджеймсуильям (флейта Бёма * запела над Помпеями, Спалато, Кенвудом, Остерли *) Бидбеллблэр, и ему приказали: «Отдать швартовы!» Но вплыть в эту узкую, сладостную пещеру означает потопить все корабли мира: «Алабаму», Ковчег, «Бигль», «Беллерофон», «Баунти», «Катти Сарк», «Дредноут», «Индивор», «Эребус», «Фрам», «Гоулден хайнд», «Грейт Гарри», «Грейт истерн», «Марию Селесту», «Мейфлауэр», «Ривендж», «Скидбладнир», «Виктори» *. Но не останется и клочка земли, на который не упадет его семя: из пещеры под землю уходили миллиарды каналов, они просвечивали сквозь толщу, напоминая кровеносную систему человека из учебника анатомии. А mani все прибывало, и вот уже потоки слились в единый обжигающий океан, и военные корабли, поскрипывая мачтами, приветствовали друг друга. Раскаленная добела тридцатиметровая башня, возвышавшаяся из его чресел, обвалилась, наконец, миллионами кирпичей. Он избавился от гнетущей ноши. «Уриил, Рафаил, Рагуил, Михаил, Сариил, Гавриил, Иеремиил!» * — провозгласил величественный голос, всемерно слитый, но распадающийся на семь разных голосов. Но — о, чудо! — сосуд вдруг вновь стал наполняться из каких-то неведомых источников.

---

[38] Войди *(тамил.)*.

[39] Семя (*санскр.*, букв.: перл).

«Madu, madu!»[40],— кричала она. Вот оно, неистовство юга! Она вдруг стала магическим образом разбухать, превращаясь в необъятную Праматерь; громадная грудь уже не умещалась в его руках, но короткие пальцы вдруг тоже стали расти! Соски буравами вгрызались в ладони! Затихавший было костер снова вспыхнул — это жаром полыхнуло из благословенного адова пекла, что располагалось (прав был Данте!) в самом центре земли. Его зажало в расщелине меж громадных холмов. Он двигался медленно, затем все быстрее и вдруг услышал, как заголосили бакланы, олуши, выпи, ибисы, розовые цапли, фламинго, краксы, куропатки, погоныши, лысухи, бухарские голуби, дрофы, ржанки, шилоноски, сорочаи, кроншнепы, иволги, клесты, зяблики, сорокопуты, веретенники, каменки, варакушки. Клекот птиц превратился в клокот крови, каюта взмыла в воздух, но в стратосфере сорвало потолок, и они оказались на воле. Он сидел на ней верхом, держась что есть сил, чтобы не упасть, но послышалась сладкозвучная кантилена, и, когда он уже смирился с тем, что они сейчас пойдут ко дну, она сжалась до прежних размеров, и бушующий, гонимый бурей поток волос наконец угомонился.

Но и это было не все. Начался последний пароксизм, правда, ощущение времени и пространства уже не исчезало, проступила реальность: тавро на левом плече, нежная шелковистость кожи, пот, склеивший два тела. Каждый старался проникнуть в jaghana[41] другого, чтобы внутренности обоих сплелись в единый извивающийся змеиный клубок. Здесь природа должна была бы позволить полное взаимопроникновение, слияние линги и йони*. «А теперь — боль»,— сказала она и впилась в спину Хильера ногтями, словно в попытке пригвоздить его к себе. Почувствовав, что он слабеет, она отлепилась: змеиный клубок распутался, змеи заползли обратно, каждая — в свое лоснящееся логово, захлопнувшееся за ней, словно дверь на невидимых петлях. Шлепок по шее Хильера, шлепок по груди — такой, что волосы стали дыбом,— и она перешла к «полумесяцу», затем «тигриный коготь», «павлинья нога», «прыжок зайца», «лист голубого лотоса». Затем, взяв на себя роль мужчины, она заставила Хильера испытать столь острую и сладостную боль в промежности, что он едва не лишился чувств; еще немного, и она пробурит его насквозь. Она села верхом, и он вошел, но казалось, что вошла в него она. Хильеру почудилось, что его вот-вот приподнимут над простыней за горящие, оттянутые соски. В ответ он вонзил собранные в щепотку пальцы в пламя, бушевавшее в темной пещере, и, погружаясь все глубже, вскоре достиг ее предела. С ловкостью гимнаста он вернул ее в исходное положение и, заржав табуном диких лошадей, задрожав, словно тело — все, кроме вонзенного кинжала — превращалось в протоплазму, сделал последний неистовый выпад и стал изливаться огненной лавой. Она ответила воплем пылающего города. Стонущий, выжатый до капли вампирами, Хильер застыл на ней. Закружились галактики, пронзительно вскрикнула и стихла история, тело начало обретать чувствительность, появились знакомые желания. Он вышел из нее, как из моря — по соленому телу катились капли. Хильер потянулся за халатом, но она схватила его раньше и набросила на себя. Улыбнулась, но не нежно, а злобно (он даже удивленно скривился) и крикнула:

— Войдите!

И он вошел — по-прежнему в вечернем костюме, огромный, лысый, улыбающийся: мистер Теодореску.

— О, вот этому знаку я верю,— пробасил орган.— Такое не подделаешь.

Слишком поздно было пытаться скрыть букву «S», пылавшую на влажном обнаженном теле.

— Мистер Хильер! — сияя провозгласил Теодореску.— Я подозревал, что это мистер Хильер. Теперь я в этом уверен.

---

[40] Бык! *(тамил.)*

[41] Живот *(санскр.)*.

— Да,— сказал Теодореску,— теперь я в этом уверен.

В руке он сжимал трость с грушеобразным набалдашником.

— Конечно, вы, мисс Дени, узнали об этом раньше меня,— продолжил Теодореску.— Знак «S» говорит сам за себя. Работа безжалостных подручных Соскиса. Внешность Хильера пока еще скрыта, но змейка эта снует по всей Европе и показывается только вашим врагам-потрошителям — впрочем, ребята эти, мистер Хильер, получили в детстве прекрасное воспитание — или женщинам со столь многообразными талантами, как у нашей мисс Дени.

— Конечно, глупо было скрывать свое подлинное имя,— сказал Хильер.— Слушайте, я себя чувствую, как на приеме у врача. Позвольте я что-нибудь надену.

— Нет,— сказал Теодореску.

Халат Хильера был по-прежнему на мисс Дени, к тому же она так и не встала с постели, и он не мог обернуться простыней или одеялом. Хильер уселся на единственный стул, стоявший возле иллюминатора. Слева от него была тумбочка. Внутри, наверное, лежала одежда. Даже сейчас одна лишь мысль, что он может надеть трусики или сари мисс Дени, вызвала физическую реакцию, которую ему пришлось прикрыть ладонями. Между тем в одном из ящиков может быть и пистолет. Он рискнул дернуть ручку одного из них, но тот оказался запертым.

— Мистер Хильер, лучше будет, если вы останетесь, как говорится, in puris naturalibus[42]. Дайте посмотреть, какой же вы есть на самом деле. Боже, Боже, как изувечено ваше тело на полях военных и любовных сражений. Но меня интересует лицо. Под щеками, наверное, парафиновые подкладки; а презрительно опущенные уголки рта это, должно быть, обыкновенные накладные швы. Усы настоящие? Почему так блестят глаза? Ладно, у нас не так много времени на разговор. Итак, начнем.

— Прежде всего,— сказал обнаженный Хильер,— скажите мне, кто вы.

— Я действую под своим настоящим именем,— проговорил Теодореску, прислонившись к шкафу.— Я сохраняю абсолютный нейтралитет, и ни одна страна — ни большая, ни малая — мне не платит. Я собираю информацию и продаю ее тому, кто предложит самую большую — точнее, просто большую — цену. Покупателей, непосредственно связанных со мной, только двое, и обычно мы встречаемся в Лозанне. Они торгуются, исходя из сумм, отпущенных их организациями. Это довольно доходный бизнес и сравнительно безопасный. Иногда я совершаю целевую продажу, не прибегая к торгам. Такие вот дела. Мисс Дени, не могли бы вы одеться? Мы, как подобает джентльменам, отвернемся. Затем сходите, пожалуйста, в радиорубку и отправьте телеграмму. Содержание вы знаете.

— А я — нет,— сказал Хильер.— Но подозреваю, что речь пойдет обо мне?

Мисс Дени встала, сгребла простыни и одеяло и бросила бело-бурый ком между Теодореску и дверью — так, чтобы Хильер не мог до него дотянуться. Теодореску грациозно посторонился, пропуская мисс Дени к шкафу, где лежала одежда. Она выбрала черные брюки с белым джемпером. Хильер, по причине наготы не причислявший себя к джентльменам, заинтересованно следил за ее действиями. Не снимая халата, она натянула брюки. Затем скинула халат (Хильер тоскливо вздохнул, вспоминая о только что разделенной страсти), швырнула его в валявшуюся на полу кучу и надела свитер. Распущенные волосы остались под свитером, она их вытащила — с долгим электрическим потрескиванием. Хильеру дышалось все тяжелее. Теодореску по-прежне-

---

[42] В натуральном виде (*лат.*).

му благовоспитанно устремлял взор в иллюминатор, в адриатическую тьму. Мисс Деви безадресно улыбнулась, надела босоножки и молча вышла. Теодореску грузно опустился на койку.

— Думаю, вы догадываетесь о содержании телеграммы. Если мои осведомители в Триесте не ошиблись, это ваше последнее задание. В чем оно состоит, я не знаю, да и не слишком стремлюсь узнать. Но в Ярылыке вы на берег не сойдете. Мисс Деви сообщит береговым службам, используя доступный их разумению шифр, о вашем пребывании на борту. Так что в порту вас будут ждать. Поверьте, я ничего не хочу на этом заработать, поскольку вы, разумеется, на берег не сойдете. Они будут поджидать мистера Джаггера или любого другого джентльмена, за которого вы попытаетесь себя выдать, но никого, похожего на вас, не обнаружат. Конечно, в поисках предательского клейма они могут счесть необходимым раздеть нескольких пассажиров. Те, кого разденут — а много их не будет, ведь большинство наших compagnons de voyage[43] старые и толстые,— даже не станут возражать: по возвращении домой будет что рассказать за бренди и сигарой о приключениях в бесчеловечном полицейском государстве. Предпочтя остаться на борту, вы, конечно, тоже подвергнетесь определенной, хотя и небольшой, опасности. Вам прекрасно известно упорство, с которым эти славные ребята преследуют свою жертву. Некоторые из них, разумеется, в целях углубления международного взаимопонимания, могут подняться на корабль. Ярылык — это кисло-сладкая подлива ко всему нашему гастрономическому круизу. Для них британские продукты, британское виски и несколько сувениров из судового киоска — достаточная причина, чтобы позволять нашим судам пользоваться их черноморскими портами. Так что, мистер Хильер, вас будут искать и на корабле. Возможно, у них даже будет ордер на арест по сфабрикованному обвинению. И капитан не захочет поднимать лишнего шума.

— Однако вы разговорчивы,— сказал Хильер.

— Ну вот видите! — радостно проговорил Теодореску.— Теперь самое время перейти к главному. Завтра за мной и мисс Деви прилетит вертолет. Мы собираемся поплавать на яхте у острова Закинф. И мы бы очень хотели, чтобы вы разделили нашу компанию.

— Где вы собираетесь остановиться?

— Штаб-квартиры у моей фирмы не имеется. Но мы могли бы прекрасно провести время втроем на моей небольшой вилле возле Амальяса.

— После чего меня, разумеется, продадут.

— Продадут? Продадут?! Будь у меня такое желание, я бы мог продать вас хоть сейчас. Нет, мистер Хильер, я торгую только информацией. И у вас ее должно быть в избытке. Мы сможем не спеша потолковать о том, что вам известно. А затем, получив хорошее вознаграждение, отправитесь куда душе угодно. Что скажете?

— Нет.

— Так я и думал,— сказал Теодореску, вздыхая.— Жаль. Мисс Деви, как вам известно, обучена искусству дарить весьма изощренные наслаждения. Точнее, вам это еще не известно. То, что вы испытали, было только прелюдией. Лично меня женщины не интересуют — я предпочитаю свеженьких греческих пастушков,— однако многие из тех, к чьим гедонистическим пристрастиям иного рода я отношусь с уважением, уверяли меня в совершенно выдающихся качествах мисс Деви. Подумайте, мистер Хильер. Вы оставляете свою небезопасную шпионскую деятельность. Что вас ждет впереди? Жалкая пенсия и никакого выходного пособия.

— Если я выполню это задание, мне обещано крупное вознаграждение.

— Если, мистер Хильер, если... Вам ведь известно, что вы его не выполните. Скоро у вас не останется сомнений и относительно «если».

---

[43] Попутчиков *(франц.)*.

Я предлагаю вам деньги, а мисс Деви — себя. Как вы на это смотрите? Уверяю вас, что я вознаграждаю не менее щедро, чем мисс Деви.

— Мне будет легче думать, если вы позволите мне одеться.

— Я рад. Начало положено. Видите, вы уже согласны подумать.

— Нет, ваше предложение я уже обдумал: я никуда не поеду.

— Как угодно,— сказал Теодореску.— Я признаю свободу воли. Я ненавижу принуждение. Разумеется, стимулирование вознаграждением — это нечто совсем другое. Что ж, есть кое-какие вещи, которые я хотел бы узнать немедленно. И я хорошо заплачу. В доказательство своей щедрости начинаю с того, что прощаю вам поражение в «дуэли желудков».— Он рассмеялся.— Можете не платить мне тысячу фунтов.

— Спасибо,— сказал Хильер.

Довольный, словно не он, а Хильер сделал ему одолжение, Теодореску достал из внутреннего кармана сигарочницу, позаботившись, чтобы при этом из-за пазухи выглянули пухлые пачки долларов.

— Стодолларовые купюры, мистер Хильер, «сотенки». Угощайтесь сигарой.

Он раскрыл сигарочницу, в которой оказались толстые «Ромео и Джульетта». Хильер сигару взял — ему до смерти хотелось курить. Теодореску добыл огонь из золотого «Ронсона». Оба затянулись. Дамские ароматы каюты мисс Деви растворились в атмосфере мужского клуба. Теодореску задумчиво спросил:

— Среди прочих наслаждений, которые, как мне кажется, вы испытали с мисс Деви, помните ли вы то восхитительное до боли ощущение, будто острый, как игла, коготь вонзается в самую интимную часть вашего существа?

— Откуда вы знаете?

— Оно было вызвано искусственно: укол замедленного, но чрезвычайно сильного действия. Вам ввели «веллоцет В», разработанный доктором Победоносцевым из Юзова. Примерно через пятнадцать минут вы с предельной откровенностью ответите на любой мой вопрос. Мистер Хильер, пожалуйста, прислушайтесь к моим словам, поверьте мне, а потом уже, если сочтете необходимым, говорите, что я все это выдумал. В отличие от других препаратов такого рода «веллоцет В» не погружает человека в сон, во время которого ему задают вопросы. Напротив, вы сохраните совершенную ясность рассудка, но впадете в столь сильную эйфорию, что сокрытие правды покажется вам недостойным той долгой, нежной дружбы, которая, как вам будет казаться, связывает нас обоих. Мне остается только ждать.

— Сволочь! — воскликнул Хильер и попытался встать со стула, но Теодореску немедленно ударил его тростью по glans penis[44].

Хильер попробовал дотянуться до Теодореску, но тот, с наслаждением попыхивая сигарой, ловко парировал нападение тростью. Хильер оставил свои попытки и, постанывая, сгибаясь пополам, пытался превозмочь мучительную боль.

— Я разделяю ваше уважение к свободе воли и потому хотел бы, чтобы вы ответили на мои вопросы добровольно. Первый вопрос оценивается в пять тысяч долларов. Похоже на глупые телевикторины, правда? Заметьте, мистер Хильер, что я могу вообще не платить вам. Но я лишил вас возможности получить вознаграждение и считаю своим долгом компенсировать его.

— Ни слова не скажу, сволочь!

— Скажете, скажете, в этом я определенно уверен, но не лучше ли отвечать по собственной воле, отдавая себе отчет в своих действиях, чем выдавать информацию, будучи одурманенным этим дурацким препаратом?

— Какой первый вопрос? — спросил Хильер, думая при этом: «Я не должен отвечать, я не должен отвечать, у меня есть выбор».

---

[44] Головка члена (*лат.*).

— Прежде всего я хочу знать — и, не забудьте, плачу за это пять тысяч долларов — подробности о восточногерманском канале эвакуации агентуры, известном, если не ошибаюсь, как «Карл Отто».

— Не знаю. Я действительно не знаю.

— Понимаю, но попытайтесь все-таки вспомнить, и побыстрее: у меня мало времени, а у вас и того меньше. Второе: за шесть тысяч долларов я хотел бы получить имена членов харьковской террористической организации «Вольрусь».

— О, Господи, ну как же...

— Послушайте, мистер Хильер, я же не говорил, что передам эту информацию Советам. Еще посмотрим, сколько они за нее предложат. И потому вы должны сообщить мне код, по которому я смогу связаться с ними. Насколько я знаю, следует поместить объявление в «Дейли уоркер». Эта единственная британская газета, доступная в Советском Союзе, является прекрасным каналом связи с дерзкими антиправительственными группировками, которые (хотя их действия не опаснее комариного укуса) так тревожат КГБ. Но сомневаюсь, что Советы предложат больше, чем заграничные покровители конспираторов.

Расплывшись в блаженной улыбке, Хильер смотрел на Теодореску — исчезли боль и раздражение из-за того, что он сидит голый; Хильер испытывал прилив сил, возбуждение, уверенность в себе. Он думал о том, какой Теодореску умный и талантливый, как он здорово умеет есть и пить. С ним приятно завалиться куда-нибудь вечером. Какой же он враг? Он сохраняет строгий нейтралитет и искусно делает деньги на всей этой идиотской мышиной возне, от которой Хильер решил теперь отказаться, поскольку степень идиотизма сделалась невыносимой. Но тут он заподозрил, что это начинает сказываться действие препарата. Надо во что бы то ни стало заставить себя ненавидеть Теодореску. Он встал со стула и, дружески улыбаясь, проговорил:

— Я надеваю халат, и ничто не сумеет мне помешать.

Теодореску тут же наотмашь, хотя и беззлобно, ударил его тростью по голеням. Боль кипятком окатила Хильера.

— Сука вонючая,— процедил он сквозь зубы.

Но Хильер был благодарен Теодореску за то, что тот снова превратил себя во врага. Спасибо и на этом! Хильер понимал, что происходит, понимал, что надо торопиться.

— Где деньги? — спросил Хильер.— Одиннадцать тысяч долларов.

Теодореску вытащил все свои деньги. Хильер сказал:

— «Карл Отто» начинается в Зальцведеле, с дома номер сорок три по Шлегельштрассе.

— Так, так.

— Я могу назвать только пятерых членов харьковской группы: Н. А. Брусилов, И. Р. Столыпин, Ф. Гучков, отчества не помню...

— Дальше.

— Может быть, лучше записать?

— Все записывается. В верхнюю пуговицу моей ширинки вмонтирован микрофон. Вот здесь, в левом внутреннем кармане, спрятан магнитофон. Только что, когда вы подумали, что я почесал подмышку, я его включил.

— Оставшиеся: Ф. Т. Крыленко и Х. К. Сковорода.

— Так, последний — украинец. Прекрасно. Теперь код.

— Элкин.

— Элкин? Гм... Ладно, ну а теперь за двенадцать тысяч долларов я хочу узнать точное — подчеркиваю: точное — местоположение Департамента 9-А в Лондоне.

— Этого я не могу сообщить.

— Обязаны, мистер Хильер. Более того, непременно сообщите. Ждать осталось недолго.

— Не могу. Это будет предательством.

— Отнюдь. Мы живем в мирное время, никакой войны не предвидится. Все это детские игры на всемирном полу. О каком предательстве может идти речь?

В его огромных глазах светилась добрая улыбка. Хильер улыбнулся было в ответ, затем вскочил и ударил Теодореску. Тот тоже поднялся во весь свой исполинский рост и, не вынимая изо рта сигару, мягко взял Хильера за руки и сказал:

— Ну зачем же так, мистер Хильер? Кстати, как вас зовут? Ах, да, вспомнил — Денис. Мы друзья, Денис, друзья. И если вы не скажете сейчас за двенадцать тысяч долларов, то через несколько минут скажете бесплатно.

— Ради Бога, ударьте меня. Ударьте посильней!

— Нет, мой дорогой, никогда,— вкрадчиво сказал Теодореску.— Итак, мой милый Денис, Департамент 9-А. Точное местонахождение.

— Если вы меня ударите,— сказал Хильер,— я вас возненавижу, но если после этого я вам что-то скажу, то сделаю это по своей воле. Вы ведь этого и добиваетесь, верно?

— Стадия «затмения» уже близко, но еще не наступила. Вы будете говорить совершенно добровольно. Взгляните, вот деньги. Двенадцать тысяч долларов.— Он помахал пачкой перед Хильером, у которого уже поплыло в глазах.— Советую поторопиться.

— Район Чизик. Глоуб-стрит. Недалеко от Девоншир-роуд. От дома номер двадцать четыре до молочной на углу. Боже, Боже, прости меня!

— Простит, не волнуйтесь. Сядьте, мой милый Денис. Хорошее имя — Денис. Оно происходит от «Дионис». Сядьте и успокойтесь. Вам, кажется, некуда положить деньги. Наверное, будет лучше, если я отдам их, когда вы оденетесь.

— Нет, сейчас. Они мои, я их заработал!

— И заработаете еще больше.

Хильер выхватил деньги и словно фиговым листком прикрыл ими пылающие гениталии.

— Жаль, что мы с мисс Деви уедем завтра без вас. Но не беспокойтесь, мы вас найдем. Не так уж много мест, где вы сможете поселиться, выйдя в отставку. Впрочем,— задумчиво добавил Теодореску,— вполне вероятно, что вы сами пожелаете разыскать мисс Деви.

Жгучий стыд боролся в Хильере со все усиливающейся эйфорией. Он зажмурил глаза и закусил губу, чтобы не улыбнуться.

— «Веллоцет В» на вас подействовал не слишком сильно,— сказал Теодореску.— Система кровообращения оказалась весьма мощной. Любой другой давно бы уже меня слюнявил и признавался в любви.

— Ненавижу,— с нежной улыбкой проговорил Хильер.— Ненавижу это мерзкое жирное брюхо.

Теодореску отрицательно покачал головой.

— Ненависть появится завтра. Но будет слишком поздно. Вы крепко заснете и рано пробудиться вам не удастся. Но даже если вы и проснетесь до того, как мы с мисс Деви отбудем на вертолете на один из греческих островов, вы все равно не сумеете причинить мне ни малейшего вреда: все утро я проведу рядом с капитаном на мостике. Более того, вам и нечем это сделать. Я предусмотрительно проник в вашу каюту и забрал оттуда «Айкен» с глушителем. Славная игрушка. Теперь она здесь.

Он достал пистолет из левого кармана. Хильер насупился, но тут же улыбнулся. Он чуть было не сказал, что охотно подарит его Теодореску. Но Теодореску, вероятно, предвосхитив его желание, положил пистолет обратно и похлопал по карману.

— Что касается ампул, которые вы спрятали в таком глупом месте — ведь оно действительно глупое и сразу бросается в глаза,— так вот, ампулы эти можете оставить себе, что бы в них ни содержалось. Наверное, яд, но меня это не интересует. Шприц, находившийся в одном

из ваших чемоданов, я на всякий случай разбил. Никогда не мешает принять меры предосторожности, не правда ли?

— Да, конечно,— добродушно согласился Хильер.— Но как вы проникли в каюту?

— Мой драгоценный друг,— сказал Теодореску, вздыхая,— у помощника капитана имеются дубликаты ключей. Я сказал, что потерял ключ, и он позволил мне подойти к щиту, на котором висят дубликаты.

— Ну, голова! — искренне восхитился Хильер.

За спиной Теодореску приоткрылась дверь, и он, не отрывая глаз от сидевшего у иллюминатора Хильера, сказал:

— Мисс Деви, что-то вы долго.

— Да неужели,— пропищал женским голосом Рист.

Он вытянул губы на обернувшегося Теодореску и прошамкал беззубыми деснами:

— Что вы с ним делаете? Не ровен час, околеет еще.

— Отчего же? Ему очень нравится так сидеть, правда, Денис?

— Конечно, Тео, конечно.

— Если человек маленько перепил,— сказал Рист,— это еще не значит, что над ним можно издеваться. Она выдавала себя за вашу секретаршу. Но теперь-то все понятно!

— Это каюта дамы,— сказал Теодореску,— и вы не имеете права входить без стука. Прошу вас удалиться.

— Ладно, я уйду. Но только с ним. Я вижу, как вы человека отделали своей проклятой деревяшкой, живого места не осталось. И всего делов-то: баба его с другим перекинулась.

— Я буду жаловаться!

— На здоровье.

Тут Рист заметил, что Хильер крепко — руками и ногами — сжимает пачку денег.

— Ах вот оно что... Об этом я не подумал. Никак, он деньжат подкинул, чтобы вы позволили себя отлупцевать? — спросил Рист у Хильера.

— Что вы,— честно ответил улыбающийся Хильер.— Деньги он дал совершенно не за это, просто я предоставил...

— Они были под подушкой. Ясно? Под подушкой,— пробасил Теодореску.— Ладно, забирайте его.

Он поднял с пола халат и бросил его Хильеру.

— Огромное спасибо, Тео. Это так мило.

— Очень мне нужно ваше разрешение,— сказал Рист Теодореску,— и без него бы забрал. Пошли, дружок,— сказал он, словно обращался не к Хильеру, а к собаке.

Затем, повернувшись к Теодореску, пробормотал:

— Почему под подушкой? Чего-то я не понял.

— Он никому не доверяет,— рявкнул Теодореску.— Повсюду таскает свои деньги.

— Мне он может доверять,— сказал Рист, беря Хильера за руку.— Мы же доверяем, правда?

— Правда.

— Вот и хорошо. А теперь папочка уложит нас в кроватку.

Рист вывел его в коридор. Сияющий Хильер засыпал на ходу.

7

Минула махаманвантара*, прежде чем Рист рискнул растолкать Хильера.

— Вставайте, сэр,— твердил Рист.— Если сейчас не позавтракаете, то не успеете проголодаться к ленчу.

Хильер почувствовал запах кофе. Он разлепил веки, но сразу сощурился и сквозь образовавшуюся щелочку стал постепенно привыкать к свету. Он уже знал, что его ждет сухость во рту, головная боль, тяжесть в конечностях, но по какой причине — этого он еще не вспомнил. Вспомнив, Хильер обнаружил, что чувствует себя прекрасно и на удив-

ление бодро. Тело наливалось энергией — она понадобится очень скоро. Для чего? Он увидел, что одет в свою китайскую пижаму, на нагрудном кармане которой был вышит иероглиф «счастье». На тумбочке лежали деньги. Иностранные деньги. На Хильера сурово взирал бородатый американский президент. Доллары, много долларов. Вспомнил. О Господи!

— О Господи,— простонал Хильер.

— Подкрепитесь — сразу полегчает,— посоветовал Рист.— Держите.

Хильер приподнялся, Рист взбил у него за спиной подушки и вручил поднос. Охлажденный апельсиновый сок, печеная лососина, бекон, почки с пряностями, яичница из двух яиц, подрумяненный хлеб, джем с мароч-ным бренди, кофе.

— Кофе? — спросил Рист.

Он наполнил глубокую — размером с бульонную — чашку из двух серебряных кувшинов. Тело Хильера пропитывалось целительным, ароматным теплом. Целительным? Но тело его не нуждалось в исцелении. Кожа мисс Деви была смуглее этого кофе с молоком. Телекамера повернулась к минувшей ночи и представила ему во всех деталях ярко освещенное тело мисс Деви.

— Этот человек... и женщина... они уже улетели?

Рист кивнул.

— Еще как! Над палубой завис стрекочущий вертолет, оттуда спустили лестницу, и они по ней полезли наверх. Я боялся, что под тяжестью этой туши стрекоталка сразу рухнет, но он так легко вместе с багажом взлетел по лестнице, что твой эльф. И помахал всем на прощание. Кстати, он оставил для вас письмо.

Рист протянул дорогой глянцевый конверт, благоразумно адресованный «С. Джаггеру, эсквайру».

— Наши воротилы только рот разинули. Вот это, я понимаю, бизнес: посреди путешествия возникают дела — и тут же прилетает вертолет!

Хильер пробежал глазами письмо: «Любезный друг! Мое предложение остается в силе. Связаться со мной можно по адресу: Стамбул, улица Джумхуриет, 15. Мисс Деви шлет трепетный привет. Будьте осторожны, когда корабль пришвартуется в Ярылыке. Рекомендую спрятаться в личном клозете капитана. Советы были благодарны за предупреждение. Они телеграфировали о своей признательности и посулили вполне приемлемое вознаграждение в швейцарских франках. В отеле «Черное море» проводится научный симпозиум, поэтому меры предосторожности удвоены. Ну что вы за человек! Постарайтесь остаться в живых, от этого будет существенно больше пользы. Любящий вас Р. Теодореску».

— Плохие новости, сэр?

— Ругань,— солгал Хильер.

Он засунул письмо в карман, залпом допил ледяной сок и приступил к лососине.

Примостившийся на койке Рист надулся, показывая, что заслужил более подробную информацию. Хильеру пришлось уважить его любопытство:

— Эти деньги,— начал он вдохновенно,— я у него выиграл. Он обожает пари, и мы поспорили, справлюсь я с мисс Деви или нет.

— Поэтому он и взъерепенился?

— Да. Горячий оказался. Вовремя вы появились! Почему, кстати, вы решили войти?

— Случайно увидал, как эта индийская телка отправляет телеграмму, и очень удивился: я-то считал, что вы ее сейчас натягиваете. Я и подумал, что толстяк вас, видать, застукал. Подошел к каюте, услышал из-за двери голоса и понял, что так и есть.

— Весьма признателен,— сказал Хильер.— Надеюсь, что двести долларов будут для вас не лишними.

— Спасибо, сэр,— сказал Рист, быстро отправляя в карман три сотни.— Вообще он очень странный тип. Приставал к пацану этому, всезнайке. Норовил его погладить и все такое. Не знаю, добился ли чего-нибудь. Вряд ли, мальчишка-то головастый. Но перед отлетом толстяк вручил ему подарок. Дает и ласково так поглаживает — я сам видел. Маленький сверток, судя по упаковке, купил что-то в корабельном магазине. Но мальчишка его не открыл, по крайней мере, при мне. Он совсем расклеился: отец-то его, говорят, готов. Вот-вот концы отдаст.

— А что будущая вдовушка? — спросил Хильер, отправляя в рот пряные почки.

— Хороший вопрос, сэр. Как вспомнит супружника, начинает рыдать в три ручья, а так все лижется со своим испанцем. Говорят, кондитер он, что ли.

— А дочь?

Рист продемонстрировал беззубые десны.

— Знал я, что рано или поздно вы о ней вспомните. Такой, как вы, своего не упустит, тут уж никуда не денешься. Она валяется на койке, читает свои книжонки. Те еще книжечки — сплошной секс. Но за отца переживает, сразу видно. За столиком у них будет, наверное, не слишком весело, но если хотите, я вас туда посажу. Не рубать же в одиночку на старом месте — парочка-то ваша улетучилась.

Рист вытянул губы и жадно взглянул на американского президента.

— Полагаю, еще сто долларов вам тоже пригодятся.

На этот раз Хильер отсчитал деньги сам и опустил пачку в тот же карман, где лежало письмо Теодореску. Позавтракав, Хильер почувствовал, как карман жжет стыдом его сердце. Пора подумать о делах. Часы показывали двадцать минут первого. Рист убрал поднос, и Хильер раскурил сигару.

— Теперь до двух вряд ли проголодаетесь,— сказал Рист.— Отдыхайте, я потом здесь приберу. А пока что ненадолго исчезну.

Рист удалился.

Измена, измена, измена. Предательство и измена. Но у него не было выбора. Точнее, у него не было иного выбора, как сделать этот выбор. Если бы он мог сейчас телеграфировать об опасности! Но ни с «Карлом Отто», ни с «Вольрусью» не связаться. К тому же это подвергло бы их дополнительной опасности. А Департамент 9-А? Хильер представил себе номер в лозаннской гостинице и двух мрачных людей, сидящих за столом друг против друга. Посредине восседает Теодореску, перед ним на столе конверт. Джентльмены, кто сделает первое предложение? Когда же прекратятся торги? Налогоплательщики выжаты, как лимон, миллионы тратятся на устаревшие самолеты, ракеты и боеголовки. Что ж, торгуйтесь, раскошеливайтесь. *Когда же прекратятся торги?* Хильер пощупал в кармане пачку — несколько тысяч долларов. Он был зол на Теодореску. Разве это сумма? Нет, он еще заработает свои премиальные, он доставит Роупера в Англию. Но как? Документы Джаггера уже не помогут. И все другие тоже. Д. Уишарт, инженер-сантехник; Ф. Р. Лайтфут, педиатр; Хит Верити, малоизвестный поэт; Джон Джеймс Поумрой-Бикерстафф, сотрудник фирмы IBM; П. Б. Шелли, Кит Смарт, Матчлис Оринда — у всех у них слева будет выжжено «S». Оказывается, благодаря этой отметине его знает вся Европа. Теодореску, которого он в первый раз видел, сразу назвал его имя. Выходит, у него, Хильера, известность несколько большая, чем он предполагал. А это означает, что в качестве разведчика его песенка спета. Все, что у него есть,— это информация, да и она быстро устаревает по мере устаревания военных секретов. Может быть, организовать собственный бизнес и конкурировать с Теодореску? Но у Теодореску есть мисс Деви. Облаченное в пижаму тело Хильера сладострастно поежилось. Он перечитал письмо Теодореску. Стамбул, улица Джумхуриет, дом 15. Где-то неподалеку от отеля «Хилтон». Поехать? Но, став пленником тела мисс Деви, он превратится в говорящее приложение к Теодореску.

Он встал с постели, скинул пижаму, подставив тело лучам полуденного солнца, и в который раз посмотрел на свое S-образное украшение. Вдавлено глубоко. Запекшаяся кожа светится, как фосфоресцирующая пластмасса. Нет, такое не скрыть никакими косметическими ухищрениями. Он быстро оделся, словно пытаясь поскорее скрыть свою отметину, ополоснулся, побрился, отхлебнул виски с содовой и вышел на палубу. Вокруг простиралась восхитительная голубизна — уже не адриатическая, а ионическая. Вдали, слева по борту, виднелись очертания южной Греции. Кипарисия? Филиатра? Пилос? Завтра корабль уже будет плыть по Эгейскому морю, лавируя среди хаотично разбросанных островков. Затем — сквозь чрево Мраморного моря, сквозь влагалище Дарданелл. Затем Босфор и Понт Эвксинский или, как называют его турки, Караденхиз — Черное море. Не там ли его могила? Хильер поежился на солнце. Черное. Черное. Черное. Море, в котором на глубине ста морских саженей кончается органическая жизнь. Ему хватит и пяти. Вдруг перед его глазами встал дергающийся, икающий Роупер. В чем дело? Что я натворил, что я натворил, о! Иисус, Мария, Иосиф, помогите! Я отказываюсь от всего, что говорил. Я хочу домой. Дом? Сознание Хильера затуманилось, он никак не мог понять смысла этого слова. Оно проплыло перед ним в теплом морском воздухе — четыре пятых русского слова НОМЕР[45]. Дом был как-то связан с номером, с цифрой, знание которой, как ему почудилось, поможет вернуться домой. Проклятую цифру необходимо узнать. Но почему это так необходимо? Минувшей ночью у него в мозгу мелькнули какие-то цифры, но он их выбросил из головы, как выбрасывают старые билеты. Небрежность? Нет, просто он стал ни на что не годен.

На палубе полным ходом шло обычное для полуденного отдыха возлияние. Высматривавшие очертания Греции пассажиры сжимали в покрытых старческой пигментацией руках коктейли, джин, вермут «Кампари». Хильер подошел к стойке бара и опрокинул один за другим джин с тоником, водку с томатным соком и двойной «Американо»*. Думай. Думай. Думай. Он представил себе, как притворяется умершим, и несколько человек (среди них Рист) благополучно сносят его на берег. Головорезы в униформе вытягиваются по стойке «смирно» и берут под козырек. Приглядевшись, Хильер вдруг увидел, что труп настоящий. Послышались рыдания Роупера: «Подлец! Бросил меня!» Рыдал он от жалости к себе.

Хильер мрачно размышлял, не завелись ли у него внутри какие-то прожорливые твари: ни малейших следов недавнего завтрака не ощущалось. Хильер вошел в обеденный зал. Магнаты и их дамы были в шортах. Рист уже обо всем договорился. Старший стюард пригласил его за столик Уолтерсов. Дети выглядели бледными, осунувшимися. Миссис Уолтерс следила, чтобы уголки ее рта были все время опущены, и время от времени прикладывала к сухим глазам платок. С очевидным сожалением она попросила официанта убрать почти нетронутый гуляш. Нет, спасибо, она больше ничего не желает. Ну, разве что салат из фруктов, вымоченных в роме и залитых шампанским. Мы обязаны поддерживать в себе силы. Дети искренне не притронулись почти ни к чему. Поразмыслив, миссис Уолтерс заказала еще крепкий кофейный ликер.

— Ну как? — спросил Хильер с таким участием, словно разговор происходил уже на похоронах.

Девушка (Клара? Так ее зовут?) была и в самом деле очаровательна: вздернутый, чуть приплюснутый носик, соблазнительные волосы, круги под карими глазами — следствие бессонницы. Она была в прямом черно-оранжевом платье с диагональными полосами. На коленях лежал небрежно сложенный черный палантин. Она не читала, не ела, лишь крошила вилочкой меренгу. Появление за их столиком Хильера оставило ее совершенно равнодушной. На Алане была «рубашка-газе-

---

[45] HOME (*англ.*) — дом.

та». Он нехотя доедал свой медовый мусс. На вопрос Хильера отозвалась миссис Уолтерс:

— Говорят, и дня не протянет. Совсем плох. Кома. Но утешением может служить то, что пожил он на славу, имел все, что желал. Надо стараться, чтобы в жизни все было в радость.

С этими словами она накинулась на фрукты в шампанском.

— Что станет со мной и Кларой? — спросил Алан.

— Мы уже говорили на эту тему. Что бывает с детьми, когда умирает их отец? О них заботится мать. Что тут непонятного?

— Ты нам не мать,— огрызнулся Алан.— Тебе на нас ровным счетом наплевать.

— Алан, попридержи язык в присутствии джентльмена.

Хильер подумал, что, наверное, характер у миссис Уолтерс не дай Бог. Ему подали запеченное в лапше телячье филе, жюльен из молодой моркови с сельдереем и «Марго» сорок девятого года. Неожиданно девушка воскликнула:

— Всем наплевать! Вам бы только набить утробу, а на остальное — плевать! Я пошла к себе в каюту.

У Хильера замерло сердце, когда она встала — такая юная, грациозная! — и с достоинством вышла из зала. Бедная, бедная девочка! Однако требовалось кое-что уточнить.

— Простите, что касаюсь болезненной темы, но как вы собираетесь разрешать те сложности, которые скоро возникнут?

— О чем вы? — спросила миссис Уолтерс, остановив на полпути ложку с фруктовым салатом.

— Об организации похорон. О панихиде. Следует заранее подумать о транспортировке. О найме самолета, о доставке тела домой.

— В России самолет не наймешь,— сказал Алан.— У них там летают только самолетами государственной авиакомпании. Кажется, она называется «Аэрофлот».

— Я обо всем этом еще не думала,— сказала миссис Уолтерс. Она машинально посмотрела вокруг в поисках мужчины, своего мужчины, но, по-видимому, сразу рассудила, что от одних ждут утешений, от других — утех.— Ужасно неприятная ситуация. Что же нам делать?

— Оберни его в «Юнион Джек» и похорони в море. Для себя я бы выбрал именно такие похороны.

— Мне кажется, что это несколько странный способ, тем более что порт совсем близко,— сказал Хильер.— В подобных случаях следует...

Хильер заметил, что Клара забыла свой черный палантин. Когда она резко встала, он скользнул на пол. Хильер незаметно подтянул его к себе ногой и зажал между щиколоток. Довольно скоро она получит его обратно.

— Что следует делать в подобных случаях? — спросила миссис Уолтерс.

— Сказать пассажирскому помощнику, чтобы велел столяру сколотить гроб. С помощником надо поговорить обязательно: возможно, на корабле имеются готовые гробы. Во время таких круизов частенько должны случаться инфаркты. Может быть, лучше посоветоваться с судовым доктором? Боюсь, я недостаточно искушен в подобных вопросах.

— Зачем тогда беретесь советовать?

— Мне гадко вас слушать,— сказал Алан. Хильер подумал, что совершенно с ним согласен. Разговор действительно был гадким.— Вы говорите так, словно хотите лишить его малейшей надежды на выздоровление.

— Готовиться надо заранее. Джон Донн *, настоятель собора Святого Павла, заблаговременно заказал себе гроб и иногда даже спал в нем. Разговор о живом как о мертвом иногда помогает вдохнуть в него новые силы. Это как соборование, как напечатанный заранее некролог.

— К чему пустые надежды? — процедила миссис Уолтерс и отхлеб-

нула ликеру.— Я привыкла смотреть в лицо фактам, какими бы печальными они ни были.

— Ты тоже поддерживал гадкий разговор,— сказал Хильер Алану.— Кто говорил про «Юнион Джек»?

— Это совсем другое,— ответил Алан.— Так хоронят героев. Я вспомнил, как хоронили Нельсона *.

— Можете во всем рассчитывать на мою помощь,— сказал Хильер, уписывая спаржу с голландским соусом.— Абсолютно во всем.

Не так-то просто будет сбросить за борт настоящий труп. Понадобится помощь. Рист? Придется сочинить историю, что свинья Теодореску похитил его паспорт, а ему, Хильеру, надо сойти в Ярылыке, чтобы встретиться со специалистом по машинкам, печатающим кириллицей. Меньше чем за тысячу долларов Рист ему не поверит. Дороговато. Можно, конечно, самому попробовать взломать гроб, дотащить его до кормы и столкнуть в море. Человек за бортом! Придется и самому прыгнуть, чтоб хоть было кого спасать. А трупы не всплывают? Может, гири привязать? Хильер представил себе стоны умирающего, и сам не удержался от стона.

Миссис Уолтерс и Алан встали из-за стола.

— Вы собираетесь в лазарет? — спросил Хильер.

Алан ответил утвердительно, а миссис Уолтерс, как выяснилось, направлялась в бар: по ее словам, без двойного коньяка она не в силах выдержать эту нервотрепку.

— Хороший сувенир? — спросил Хильер у Алана.— Я про подарок Теодореску.

— Прекрасный,— ответил Алан.— То, что надо.

После ухода Уолтерсов Хильер съел персиковое желе. Затем бутерброд с ланкаширским сыром. Затем кофе с ликером. Он чувствовал, что необходимо подкрепиться.

Посещение Клары Уолтерс откладывать не стоило, и Хильер отправился к девушке, всем своим видом демонстрируя невинность намерений. Перед тем как постучать в дверь, он прислушался. Изнутри, похоже, доносились всхлипывания. Он постучал — робко, с предупредительностью стюарда — и услышал слегка осипшее «войдите». Девушка едва успела спустить ноги с койки и теперь одной рукой отирала глаза, а другой приглаживала волосы.

— Это всего лишь я,— сказал Хильер.— Принес палантин. Вы обронили его за обедом.

Она подняла на него юные заплаканные глаза и взяла палантин, отрешенно пробормотав слова благодарности.

— И простите, пожалуйста, мою черствость,— продолжил Хильер.— Я имею в виду то, что ел с таким аппетитом. Я был ужасно голоден и ничего не мог с собой поделать.

— Конечно,— сказала она, поглаживая щеку палантином.— Отец же не ваш.

— Сигарету?

Для дам у него всегда был наготове полный портсигар. Мужчинам же приходилось делить с Хильером его крепкие бразильские сигары.

— Я не курю.

— И правильно делаете,— сказал Хильер, пряча портсигар.— Что касается отца, то, как и у всех, был он и у меня. Я знаю, что это такое. Правда, не могу сказать, что меня так уж потрясла его смерть. Мне тогда исполнилось четырнадцать лет. Через месяц после похорон у меня обнаружилась одна интересная болезнь, которая вообще-то не к лицу сыну, оплакивающему отца.

— Правда?

— Да. Я имею в виду сперматорею. Знаете, что это такое?

Появились первые признаки заинтересованности.

— Судя по названию, что-то связанное с сексом,— сказала она без тени смущения.

— Это случалось, когда я спал. Никаких снов я не видел, но ни с того ни сего у меня начиналось семяизвержение. Так было каждую ночь, иногда по пять-шесть раз за ночь. И каждый раз я просыпался. Мне было, конечно, стыдно, но стыд являлся конечным, а не побочным продуктом. Вы не читали про такое в какой-нибудь из ваших книг?

Он подошел ближе, чтобы прочитать названия книг, которыми была забита полка, висевшая над койкой. «Приап *. Анализ мужского влечения», «Разновидности оргазма», «Восторги в камере пыток», «Механические усовершенствования процесса соития», «Словарь секса», «Клинические исследования половых извращений», «Знак Содома», «Юный Эрот». И так далее, и так далее. Боже, Боже! На красотку в одном нижнем белье с обложки книги, лежавшей на столике, облизнулся бы человек и с менее острой формой сатириаза, чем у Хильера. Книги эти исступленно клялись в непорочности Клары, словно ангелы-хранители ее постылой девственности. Хильер подсел к девушке.

— При случае поищите в ваших книгах эту болезнь. Да, в половых вопросах вы наверняка гораздо искушеннее меня. Психиатр, к которому я обращался, сказал, что у меня, если не ошибаюсь, бессознательное проявление инстинкта продолжения рода. Он что-то говорил про «мимесис». Я, дескать, играл роль отца, но рассматривал его в качестве архетипа. Словом, я абсолютно ничего не понял.

Клара слушала его, чуть приоткрыв рот, но вдруг плотно сомкнула губы, уголки рта опустились, лицо сделалось хмурым и раздраженным.

— Я тоже в этом ничего не смыслю,— сказала она.— Столько раз пыталась разобраться во всех этих высоких материях, но так и не смогла.

— Есть еще время! Ведь вы так молоды.

— Мне об этом твердят с утра до вечера. Именно об этом мне твердили в Америке. Но Алан, который младше меня, участвовал в знаменитой телевикторине и отвечал на любые вопросы, а я бы не смогла. Мне дали плохое образование.

Хильеру показалось, что, раздраженно качаясь на койке, она старалась придвинуться к нему поближе. Он подумал, что сейчас так естественно было бы ее обнять и сказать что-нибудь утешительное. Она бы охотно всплакнула на плече у мудрого, понимающего мужчины. Однако с книжной полки доносились боевые призывы: «Йони и Линга!», «Секс и смерть среди ацтеков!», и Хильер спросил:

— А что вас привело в Америку?

— Новая мукомольная технология. После смерти мамы отцу посоветовали увезти нас куда-нибудь на время. Но он считал, что грешно отправляться в увеселительное путешествие, когда мама, как он выражался, еще не успела остыть в могиле, поэтому было решено использовать нашу поездку для знакомства с новой мукомольной технологией.

— Она ему понравилась?

— Ему понравилась *она*. Его нынешняя. Он ведь с ней в Америке и познакомился, хотя она не американка, а просто была замужем за американцем из Канзаса. Тот с ней развелся. Отец утверждал, что с ней он не так скучает по Англии.

— И он на ней женился.

— Скорее, она женила его на себе, точнее, вышла замуж за его деньги.

— У вас есть еще родственники, скажем, какие-нибудь дядюшки, тетушки, кузины или что-нибудь в этом роде?

— Вот именно, что только «в этом роде». Тоже мне родственники! Укатили все в Окленд — понятия не имею, где это,— и что-то там делают с каким-то каури, что это такое, я тоже понятия не имею. Окаменелую смолу, что ли, из него добывают.

Почему-то последнее было для нее особенно обидным, Клара готова была разрыдаться, и Хильер все-таки счел своим долгом ласково обнять девушку, но так, как, по его представлениям, сделал бы это школьный наставник.

— Они ее экспортируют,— сказала Клара и в конце концов расплакалась.

Хильер спрашивал себя, что делать дальше. Можно обнять ее и другой рукой, нежно поцеловать в низкий лобик (служивший гарантией против чрезмерной учености, а не свидетельством женского начала), потом — во влажную щечку, в нетронутый помадой уголок рта... Нет. Он представил себе предсмертные хрипы ее отца в лазарете, и ему сделалось мерзко. Нельзя относиться к человеку, словно он не человек, а только что-то «в этом роде». К тому же те, кто только «в этом роде», укатили все в Окленд...

— Окленд находится в Новой Зеландии,— сказал Хильер.— Говорят, там очень хорошо.

Реакция Клары на его слова выразилась в еще более бурных слезах.

— Я хочу пригласить вас с братом к себе в каюту на чай. Попьем чайку, перекусим — вы же почти ничего не ели, а сейчас уже половина пятого. Хорошо? Я вам что-то расскажу, что-то интересное.

Она подняла на него заплаканные глаза. Он сам на себя удивлялся: дядюшка Хильер зовет малышей попить чаек. А ее очаровательные слезы — их без труда можно было бы использовать, чтобы посвятить ее в самое нежное и утешительное из всех таинств. Нет, он этого не сделает, перед ним не цветущая девушка, а плачущая дочурка.

— Передайте мое предложение Алану, хорошо? Скажите, что я хочу поделиться с вами одним секретом. Мне кажется, что вам можно доверять.

А сам-то он был ли достоин доверия? Книги считали, что нет: «Благоуханный Сад» * со злобной подозрительностью следил за ним сквозь душистые заросли.

— Так, значит, придете?

Она несколько раз кивнула.

— Сожалею, но мне пора уходить,— сказал Хильер.

Он запечатлел на ее лобике невинный поцелуй; девушка не противилась. Хильер вышел, и книги, как псы, зарычали ему вдогонку.

Он отправился в лазарет и сказал санитару, что разбил свой шприц.

— Я диабетик,— пояснил Хильер.— Нельзя ли купить у вас другой шприц?

Шприц был подарен Хильеру с очаровательной щедростью — морское братство!

— Как там наш бедняга? — спросил он шепотом.

Хильера заверили, что не произошло никаких изменений. Не исключено, что он еще долго так промучается. Может, дотянет до Ярылыка? Вполне вероятно. Тогда его надо отправить на берег. У русских неплохие больницы. Выходит, сможет выкарабкаться? Кто знает. Хильеру полегчало: хотя бы об одном из фантастических планов можно забыть. Придется импровизировать. Вступим в бой, а там уж подумаем о стратегии. Вернувшись в каюту, он подверг себя болезненной процедуре по возвращению прежней внешности. Оказалось, выражение лица восстановить труднее, чем его черты: «Джаггер» было, скорее, названием стиля поведения, чем именем человека. Но все-таки псевдоним надо сохранить. На корабле он Джаггер, а Хильер — это для дома. Для дома престарелых, для дома алкоголиков, для дома отставных шпионов. А что касается «дома» tout court [46], то еще следовало определить для себя, что же это такое.

8

— У вас изменился цвет глаз,— удивленно сказала Клара.

Она переоделась и предстала теперь перед Хильером в брюках из шотландки и в простой зеленой футболке. Алан был все в той же «ру-

---

[46] Как такового *(франц.)*.

башке-газете». На Хильера угрюмо смотрел заголовок: «Полиция предупреждает: этот человек способен на убийство».

— Хорошо, что вы отказались от своих седых усов,— похвалил Алан.— Так значительно лучше.

Алан сложил на груди руки, и заголовок исчез. Хильер наполнил чашки. Вам обоим с лимоном? О, у вас изысканный вкус. Сам он предпочел сладкий чай со сливками. Рист обеспечил гастрономическое разнообразие: бутерброды, пирожные, печенье, горячие сухарики, шоколадный рулет и торт с грецкими орехами.

— Бутерброд? — предложил Хильер.— С семгой. С сардинами и помидором. С огурцом.

— Мы не едим хлеба,— ответили они хором.

— Да, мне говорили. Но когда-то ведь надо попробовать. Новые впечатления, nouveau frisson [47]. Откусите, не бойтесь.

Но они решили не рисковать и ограничились сладостями.

— Об упадке цивилизации можно судить по ухудшению качества хлеба,— назидательно произнес Хильер.— Английский хлеб есть невозможно. Для состоятельных людей хлеб доставляется самолетом из Франции. Вы не знали? (Нет.) На кораблях хлеб еще ничего, пропеченный, а не моченый, как на суше. Похоже, цивилизация только и сохранилась что на кораблях, плывущих из ниоткуда в никуда.

— Все равно муку используют нашу,— сказал Алан.

— Как он? — спросил Хильер.

— Плывет из ниоткуда в никуда. Никаких изменений. Кстати,— злорадно добавил Алан,— со своим итальяшкой она расплевалась. Теперь учится нырять под руководством другого типа, норвежца вроде бы. Загорелый, мускулистый — то, что надо.

— Она неравнодушна к мужчинам?

— Этот у нее с дома. Постоянный. А папа делал вид, что ничего не замечает. Он считает, что надо хоть кому-то доверять. Жена для этой роли подходит.

— А у вас жена есть? — спросила Клара.

— Нет,— опередил его Алан,— ни жены, ни детей. Одинокий волк. Бродит себе по свету, то за одного себя выдаст, то за другого. Теодореску мне о вас все рассказал.

— Неужели?

— Да, и сказал, что вы бабник.— (Клара встрепенулась.) — Он мне подарил фотоаппарат. Последнюю японскую модель. Называется «мионичи». Посоветовал следовать за вами по пятам и фотографировать, как вы морочите голову женщинам.

— Наверное, завидует. Сам-то он к женщине и подойти не может.

— Не может,— согласился Алан и заерзал на стуле, словно испытывая легкое недомогание.— Или не хочет.

Повернувшись к сестре, он вдруг с презрением сказал:

— Вот еще такая же. Книжки про Содом читает. Вместо секса в постели — секс на бумаге.

— Зато безопасно,— сказал Хильер.— Мистер Теодореску говорил еще что-нибудь обо мне?

— Он ужасно торопился. Наклюнулась возможность проглотить какую-то фирму, и он срочно улетел на вертолете. Но мне и не надо ничего говорить: я уверен, что вы шпион.

— Звучит как оскорбление,— сказал Хильер, подливая чаю.— Я предпочитаю слово «разведчик».

— Так, значит, вот вы кто,— сказала Клара.

— Да, вот я кто. А что? — работа не хуже других. Между прочим, для нее требуются лучшие качества: смелость, изобретательность, высокий патриотизм и умение...

— ...залезать под юбку,— добавил Алан.

---

[47] Новый трепет *(франц.)*.

— Иногда.

— Почему вы решили признаться? — спросила Клара.

— Раньше или позже он бы все равно признался. По крайней мере — мне. Поскольку знал, что я все знаю. Выходит, вы отдаете свою судьбу в наши руки?

— В каком-то смысле, да. Мне нужна помощь. Теодореску сообщил обо мне советским властям, теперь легенда поможет, как мертвому припарки. За кого бы я себя ни выдал, они безошибочно найдут меня по несмываемому пятну на теле.

— Что за пятно? Родинка? — спросила Клара.

— Скорее, уродинка. Клеймо приговоренного к смерти. В свое время мне жестоко прижгли кожу. Эх, сколько у меня было таких приключений,— скромно добавил Хильер и съел бутерброд с огурцом.

— Подождите,— произнес Алан. Он приоткрыл дверь и выглянул в коридор.— Никого,— сказал он, садясь на место.— Что за легкомыслие? Вы уверены, что каюта не прослушивается?

— Да, совершенно уверен, но сейчас не до этого. Мне необходимо сойти в Ярылыке. Следовательно, надо что-то придумать. Ведь меня уже ждут. И к тому же знают, что я знаю, что меня ждут. Меня будут искать среди пассажиров, там не допускают, что я попытаюсь сойти на берег. Знают, что я не дурак, но с другой стороны, знают, что я знаю, что и они не дураки. На корабле мне оставаться опасно, поэтому я сойду на берег.

— Но они тоже это понимают. Получается, что они все время на шаг впереди,— сказал Алан.— Что касается Теодореску, то я ему никогда не доверял. Что-то в нем не то. Хорош кораблик — одни шпионы.

— Ну, не преувеличивай.

— Кстати, есть одна вещь, которую мы до сих пор не выяснили,— сказал Алан.— На кого вы работаете? Откуда мы знаем, что вы наш шпион? А вдруг наши скрываются под видом врагов, которые вам угрожают? Или под видом милиционеров. За кого они себя выдают — не важно.

Он взял предложенное пирожное.

— Может быть, вы пытаетесь сбежать в Россию с секретной информацией, и кто-то из наших собирается пробраться на корабль, чтобы убрать вас?

— Слишком сложно. Теоретически все это, конечно, можно раскручивать по спирали, поднимаясь все выше, пока на самом верху противоположности не сольются воедино, однако на практике происходит совсем иное. В Ярылыке проходит научный симпозиум, в котором участвует один британский ученый — по странному совпадению мы с ним когда-то вместе учились,— и мне поручено доставить его на нашем корабле в Англию. Так что в жизни все проще. Шпионаж здесь ни при чем.

Медленно жуя пирожные, брат с сестрой обдумывали то, что они услышали. Глаза Клары мягко светились, глаза Алана сверкали огнем. Он спросил:

— Чем мы можем помочь?

— Значит, вы мне верите?

Клара решительно кивнула. Алан же нарочито небрежно бросил:

— Верим, верим. Но что мы должны делать?

— Я хочу, чтобы ты,— Хильер строго посмотрел на Алана,— прекратил кричать на каждом углу, что я шпион,— даже если заметишь в моем поведении нечто странное. Если мои действия вызовут у кого-то подозрения, то в твою задачу входит немедленно их рассеять. Я хочу, чтобы вы оба были рядом, когда я попытаюсь сделать то, что должен сделать, а именно сойти на берег. Возможно, вам придется отвлекать внимание. Я еще не знаю, каким способом вы мне сможете помочь. Но уверен, что ты, мой мальчик, способен придумать самые невероятные способы.

— Вы как будто цитируете одну из моих книжек,— нервно хихик-

нула Клара.— Самые невероятные способы. Там, кажется, речь шла об Аргентине. Удлинители, насадки с пупырышками и все такое.

— Ты можешь хоть на минуту забыть о сексе! — воскликнул Алан.— Мы же обсуждаем серьезные вещи.

— Совсем забывать о сексе не следует,— сказал Хильер.— Клара, вы очень красивая девушка.— Клара кокетливо улыбнулась. Алан вытянул губы и присвистнул.— Если понадобится, надо это использовать, чтобы отвлечь их внимание каким-нибудь томным взглядом или соблазнительной улыбкой. Не мне вас учить.

— В моих книжках об этом ничего не сказано,— произнесла она хмуро.

— Не сомневаюсь. Там обольщение — пройденный этап.

— Вы будете вооружены? — спросил Алан.

— В этом нет необходимости. К тому же, как ты знаешь, наш общий приятель Теодореску стащил мой пистолет.

— Я не знал.

— Как бы то ни было, в таких делах пистолет — всего лишь талисман. И лучше его не вынимать: обязательно пристрелят — либо после твоего первого выстрела, либо — до.

— Либидо *,— откликнулась Клара.

— Не обязательно,— сказал Алан.

Продолжая обдумывать слова Хильера, они взяли еще по пирожному. Наконец-то проснулся аппетит.

— Хорошо,— сказал Алан,— что еще мы можем сделать?

— Вам поручается так называемый «прощальный привет». Если я не вернусь на корабль, вы должны будете телеграфировать об этом в Лондон.

Он протянул листок бумаги.

Алан нахмурился и шепотом прочел:

— «Литера. Председателю правления». Куцый адресок.

— Не волнуйся, этого достаточно.

— «Контакт разомкнут. Джаггер». Гм. И как это понимать?

— Как мой провал.

— Смерть? — робко спросила Клара.— Это значит, что вас убили?

— Это значит, что я провалился — и ничего больше. Но большего и не требуется. Возможно, они пошлют кого-нибудь мне на помощь. А еще это значит, что мое досье закрывается. Впрочем, я выполняю сейчас свое последнее задание. Поэтому не думаю, что они так уж станут из-за меня убиваться.

— Ну и жизнь,— проговорил Алан так, словно речь шла о его жизни.

— Я сам ее выбрал.

— Зачем? — спросила Клара.— Агенты, разведчики, контрразведчики, секретные виды оружия, мрачные подвалы, промывка мозгов — зачем все это?

— Вы когда-нибудь задумывались над тем, что такое подлинная реальность? Что находится выше феноменов окружающей нас реальности? Что находится даже выше Бога?

— Выше Бога, по определению, нет ничего,— сказал Алан.

— Выше Бога — идея Бога, а в идее Бога заложена идея анти-Бога. Подлинная реальность — это дуализм, это состязание двух игроков. Мы — мои коллеги и наши коллеги с той стороны — как раз и являемся отражением этого состязания. Впрочем, отражением довольно бледным. Прежде оно было значительно ярче: тогда каждая из сторон олицетворяла собой то, что принято называть добром и злом. Игра была жестче и интереснее, соперник не находился по другую сторону сетки или линии. Его не надо было отличать по форме, цвету кожи, расе, языку или приверженности той или иной историко-географической абстракции. Но поскольку сегодня мы не верим в добро и зло, то остается лишь продолжать эту глупую, бесцельную игру.

— Но вы же не обязаны в ней участвовать,— сказал Алан.

— Кроме нее играть не во что. Мы слишком ничтожны, чтобы нам противостояли силы света или силы тьмы. Более того, во время игры мы время от времени открываем двери злу. Оно незаметно проникает в наш мир. И оказывается, что в нем отсутствует добро, необходимое для противостояния злу. Вот тут-то и становится так муторно на душе, что хочется выйти из игры. Потому-то мое нынешнее задание — последнее.

— Все-таки вы делаете добро, вызволяя британского ученого из России,— сказала Клара.

— Нет, всего лишь исключаю его из игры. Снимаю с шахматной доски фигуру. Сама игра продолжается.

— Я думаю,— внушительно проговорил Алан, предлагая Хильеру сигарету,— что нам троим надо держаться вместе.— Неожиданно для себя Хильер взял сигарету и прикурил от протянутой зажигалки.— Давайте пообедаем в отдельном кабинете. Я сейчас схожу и закажу места.

Хильер был удивлен и тронут. Он спросил:

— Не покажется ли это подозрительным?

— Ну и пусть. Пусть думают, будто мы что-то затеваем против нее. Вы утверждаете, что добро и зло больше не существуют, однако она и есть зло.

— Я думал, ее интересы ограничиваются мужчинами. Молодыми мужчинами. Я имею в виду секс.

— Она считает себя богиней секса. Старая потасканная богиня секса.

«Ноябрьская богиня постаралась». Хильер подошел к платяному шкафу и пошарил в заднем кармане висевших в нем брюк.

— Попытайся помочь мне с этим,— сказал он Алану.— Расшифруй, что здесь написано. Конечно, это не столь важно, просто шутливое прощальное послание из Департамента. Но все-таки попытайся. Думаю, такие вещи у тебя должны хорошо получаться.

Алан взял сложенный листок — слегка изогнутый от того, что на нем сидели,— и счел это намеком на окончание разговора.

— Пойдем, Клара,— сказал он.— Надеюсь увидеть вас за обедом.

— Спасибо, но боюсь, что сегодня меня не будет. Я заказал обед в каюту. А потом займусь самопричащением.

— Кажется, это имеет отношение к религии,— сказала Клара.

— Имеет,— подтвердил Алан.— Все, что он говорил, имеет отношение к религии.

Часть III

1

Хрипы хлебного магната становились все слабее, он заплывал все дальше в свое черное море. Ха-а-рх. Ха-а-рх. Невзирая на столь очевидное memento mori[48], пассажиры по-прежнему предавались чревоугодию. «Полиольбион» прошмыгнул между Кикладами. Ха-а-рх. Толстые ломти ветчины, вываренные в курином бульоне с мускатом, обсыпанные толчеными каштанами, миндальными орехами, луковым пюре. На них румяные слойки, политые марсальским соусом. Ха-а-рх. Милос, Санторин. Жареный цыпленок «Нерон» с картофелем по-римски. Сифнос, Парос. Где-то здесь поют нереиды — златоголосые, златоволосые. Говяжье филе с бордоским соусом и трюфелями. Ха-а-рх. У нереид Сикиноса ослиные или козьи копыта. Перченый бифштекс в пылающем бренди. Юный Уолтерс ломает голову над шифровкой. ZZWM DDHGEM. Ха-а-рх. Остров Ариадны*. Яблоки «Бальбек». Китнос, Сирос, Тинос, Андрос. EH IJNZ. Паросский бисквит, вино, масло, анисовый ликер. Ха-а-рх. Дробленая кукуруза. Мороженое с коньяком и гоголь-моголем. OJNMU ODWI E. Ха-а-рх. Северные Спорады. Раковый суп с шерри.

---

[48] Помни о смерти *(лат.)*.

OVU ODVP. Ха-а-рх. Телячьи котлеты в сметане. Справа по борту пролив Митилини и за ним — побережье Турции. Ха-а-рх. Мисс Уолтерс, возбужденная предстоящими приключениями, успокаивает себя секс-книжицей. «Полиольбион» осторожно пробрался сквозь Дарданеллы. «Чтоб Англия на». Ха-а-рх с жареным картофелем и можжевельником. «Месте не топталась» с ха-а-рх и кабачками.

Хильер отсиживался в каюте из-за Клары Уолтерс. Не время высасывать мед из этих сот. Он набивал рот хлебом, сыром, пивом; мучил его русскими звуками, добиваясь естественного произношения. Рист даже забеспокоился — может, ему не по себе? Иногда, когда Хильер ел, Рист усаживался рядом и рассказывал, как работал ассенизатором в Канберре, как отбывал безразмерный срок в аделаидской тюрьме, каких телок можно встретить на сиднейском пляже. Вот так Рист — соль земли! «Месте не топталась». Ха-а-рх. Мраморное море. Слева по борту — Стамбул; помашем рукой. «Полиольбион» зайдет туда на обратном пути. Босфор. Справа по борту — Бейкоз. Ха-а-рх. В нем все еще теплилась жизнь, в этом чане с булькающими химикалиями. Может быть, дотянет до Стамбула. Оттуда уже не так трудно доставить его в английский крематорий. Корабль уверенно приближался к Крымскому полуострову. Впереди маячила сомнительная ухмылка Ярылыка.

Близилась ночь. Близилась земля. Плисовый небосвод усеян татарскими бриллиантами; воздух нежный и курчавый, как Бородин. Хильеру захотелось поприветствовать приближавшуюся опасность немедленно — в трусах и халате. Его L-образная каюта смотрела прямо на гавань; он видел, как в иллюминаторе над умывальником вырастали портовые сооружения, сам при этом оставаясь невидимым. Хильер пребывал во тьме, в беспросветной тьме. Ужас заключался в том, что у него не было плана. Его ждала неизвестность, толстяков же, хохочущих на палубе,— развлечения. Каждый раз, когда после долгого плавания появляется земля, от нее веет какой-то враждебностью, даже от дома — что бы это слово ни значило. Так больничную тишину прорезает сфорцандо * галдящих посетителей, так вспыхивает резкий электрический свет, когда сгущающийся воскресный сумрак, подсвеченный завораживающим огнем из каминной пасти, сменяется вечером и пора собираться в церковь. Вдоль набережной неприкрыто светились лампочки, уродливые пакгаузы зияли выбитыми окнами. Где-то залаяла собака — слава Богу, хоть у нее язык международный! Тамерлан с сыновьями в вылинявших робах уставился на английский корабль. Жестокие татарские лица, под мохнатыми усами тлеют папиросы. Под аккомпанемент выкриков приняты швартовы. Хильер услышал, как спустили сходни. Кое-кто из пассажиров приветствовал это событие. Сквозь горы ящиков, тележки, голыши, выбитые стекла, мерцающее на крыше желтое неоновое ЯРЫЛЫК он пытался разглядеть далекие холмы, кипарисы, оливы, виноград, веселые лица — нетленную, девственную жизнь, безыскусные танцы, пестрые народные гулянья. Тяжело дыша, он всматривался вдаль — поверх одетых в гимнастерки и фуражки дымящих солдат, что, подбоченясь, переминаясь с ноги на ногу, маялись у трапа. По обе стороны шоссе, наверное, зажглись уже для иностранцев и менее официальные огни — на дачах и в домах отдыха. Где-то рядом должны быть лодки и спортивные яхты с флагами. Напротив иллюминатора прогуливались двое военных. Может, эти не такие тертые, как в Москве? Может, здесь что-нибудь напутали с телеграммой Теодореску или не придали ей большого значения? Двое были обыкновенными милиционерами, которых ничего не интересовало, разве что виски в корабельном баре, шариковая ручка, фотоаппарат или сувенирная кукла в старинном шелковом платьице. Не волнуйтесь, сбагрите свою рублевую требуху, свои рублевые отруби британским туристам.

Мимо иллюминатора прошли трое весело тараторящих пограничников — на этот раз славяне, а не татары. По громкоговорителю уже объявили, что все пассажиры, желающие сойти на берег, должны захватить

паспорта и собраться в баре нижней палубы. Всех подозрительных небось будут раздевать в специальной каюте? Затем набитый битком автобус домчит их до гостиницы «Крым», где туристам предложат крымских устриц, семгу, осетрину, шашлык, спелый инжир и сладкое, как спелый инжир, вино. Хильер вздрогнул: дверь неожиданно приоткрылась, и в каюту проник свет из коридора.

— Сидите в темноте,— сказал юный Алан.

«Балканское собрание» служило лучшей визитной карточкой. Хильер задернул шторки иллюминатора, и Ярылык исчез.

— Можешь зажечь свет,— сказал Хильер.

Алан щеголял добротным синим эспланадно-променадным костюмом и бабочкой в горошек. И тут Хильера осенило, почему он медлил и не одевался: Ярылык даст ему униформу!

— Я нашел ключ к шифру,— сказал Алан.

— Сейчас не до него. Где твоя сестра?

— Она уже почти готова. Через несколько минут будет здесь. Так вот, насчет шифра. Ноябрьская богиня — это Елизавета I. Она взошла на трон в ноябре тысяча пятьсот пятьдесят восьмого года.

— Тысяча пятьсот пятьдесят восьмого?

Тут была какая-то связь с Роупером. Фамильное древо на стене в его манчестерской квартире. Предок, убитый за веру совсем молодым. 1558. Жертва Елизаветы.

— Кажется, я понимаю. Двоичный код, да?

— Да, если вы подразумеваете под этим, что разные буквы закодированы разными способами. Согласно одному, первая буква на самом деле пятая. Согласно другому, пятая буква — восьмая. Так что все оказалось просто. Но я не успел расшифровать до конца. Вас там называют другим именем. Из чего следует сделать вывод, что настоящее ваше имя не Джаггер. Шифровка начинается словами «ДОРОГОЙ ХИЛЬЕ». На английское имя непохоже. Вы действительно были с нами откровенны? — недоверчиво спросил Алан.

— Наверное, опечатка. Они имели в виду «Хильер».

— Дальше я почти ничего не успел. Но и так видно, что они там все время извиняются. И о чем-то очень сожалеют.

— Наверное, о размере моего выходного пособия. Ладно, дочитаю на досуге. Как бы то ни было, спасибо. Из тебя бы вышел неплохой разведчик.

В дверь постучали, и вошла Клара. Выглядела она восхитительно. Хильер подумал, что правильно делает, уходя в отставку, даже если придется перебиваться хлебом, водой и русским языком. Но почему? Этого он еще до конца не понимал. На Кларе было вечернее парчовое платье с серебряными блестками и пелериной, тройное ожерелье из жемчужин в бриллиантовой оправе и серебристые лайковые туфельки. Из-за запаха «взрослых» духов, ударивших в ноздри Хильеру, рот его наполнился слюной. Хильер ощутил нестерпимое желание. Проклятая работа! Проклятая смерть!

— Как он? — спросил Хильер.

— Без изменений.

— А эта сука,— злобно сказал Алан,— собирается на берег со своим накачанным скандинавским кобелем. Чтоб они сдохли оба!

— Алан, что за выражения! — укоризненно сказала Клара.

Она недовольно покачала головой и села на койку рядом с Хильером. Из-под платья выглянули колени, и Хильер почувствовал (стараясь, правда, не показать виду), что еще немного и он за себя не ручается.

— К делу,— торопливо проговорил Хильер.— Мне нужна форма, советская милицейская форма, нужна немедленно. Следовательно, милиционера надо заманить в эту каюту...

Из коридора донесся возмущенный крик:

— Донага раздевают! Оружие, видите ли, ищут! Пусть подавятся своим портом. Лучше я на корабле останусь. Чертовы русские!

Дверь в каюту с грохотом захлопнули. Так, значит, предсказания Теодореску сбываются. Мерзавец, но не глуп.

— Заманить? — спросил Алан.— Каким образом?

— Есть два способа. Если не сработает один, попробуешь другой. Итак, мой мальчик, ты со своим японским аппаратом выходишь на палубу...

— Японским? — удивленно переспросил Алан.

— Конечно, ты же говорил, что Теодореску подарил тебе фотоаппарат. И пусть он будет без футляра...

В дверь постучали. Клара приложила палец к губам.

— Войдите! — отважно воскликнул Хильер.

Он встретит пулю, высоко подняв голову — он умел проигрывать. Дверь приоткрылась, и в каюту просунулась голова Риста, а за ней и все остальное. По тому, как он вырядился, сразу было видно, что Рист собирается на берег, и, хотя галстук воспитанника Харроу * (разумеется, имитация) совершенно не гармонировал с добротным даже по лондонским меркам серым костюмом, при таких деснах подобные мелочи отступают на второй план.

— Еще не оделись? По-прежнему хандрим?

Увидев на койке Клару, Рист бросил на нее плутоватый взгляд — вылитый Лепорелло *.

— Извиняюсь за вторжение, но между прочим вами интересовались два каких-то типа в баре.

— Русские?

— Да, но вроде ничего. Веселые такие, шуточки отпускают и довольно прилично болтают по-английски. Они что-то говорили про пишущие машинки.

— И спрашивали про Джаггера?

— У них это звучало скорее как «Яггер». Случайно слышал, когда пришел ставить штамп в паспорте. Но я им ничего не сказал, пообещал только посмотреть, не сошли ли вы уже на берег.

— Как видите, еще не успел. Но им скажите, что меня нет.

— На берег еще никто не спускался. Они заводят наших в каюту, и их там осматривает доктор. Боятся инфекции. Основательные ребята эти русские. Наркотики небось тоже ищут, потому что даже в жопу заглядывают. Простите, мисс. Тысяча извинений. Я совершенно искренне прошу прощения за свою грубость. Зарапортовался. Приношу свои искренние...

— Вы слышали о промышленном шпионаже? Русские в этом деле доки. Подсыпят мне в рюмку какой-нибудь дури и выудят из меня все секреты. Передайте им,— сказал Хильер, воодушевляясь,— что я покинул корабль вместе с неким мистером Теодореску. Вы же видели вертолет. И все видели. Так им и скажите.

Рист трижды многозначительно потер большим пальцем об указательный.

— Понял,— вздохнул Хильер и достал из тумбочки стодолларовую банкноту.— Только не подведите меня.

— Вас, сэр? Да как можно, мы же с вами приятели! И еще раз тысяча извинений, мисс. Меня иногда заносит.

— А что это за осмотр? — спросил Алан.

— Проверяют, нет ли какой заразы,— важно ответил Рист.— У нас в армии то же самое было, когда из увольнительной возвращались.

— Значит, они всех осматривают? — спросил Хильер.

— В том-то и штука, что не всех. Выбирают как-то. Меня не тронули: и так видно, что чистый.

Он встал в позу и подмигнул. Затем помахал на прощание стодолларовой бумажкой и танцующей походкой вышел в коридор.

— Так что вы говорили о фотоаппарате? — спросил Алан.

— Найди какого-нибудь стоящего на отшибе милиционера и предложи ему аппарат за пять рублей. Конечно, это идиотизм, но тем лучше.

Покажи ему пять пальцев и скажи rubl. Он наверняка не устоит перед таким искушением. И обязательно добавь, что у тебя в каюте остался футляр от него и ты отдашь его просто так.

— Как я скажу, я же не знаю русского?

— Я начинаю в тебе разочаровываться: нет, действительно... А жестами ты объяснить не можешь? Он поймет, не волнуйся. Веди его прямо сюда. Пойдет как миленький. Эти своего не упустят. К тому же подростка он ни в чем не заподозрит. В каюте же вместо футляра окажусь я.

— А если ничего не выйдет?

— Тогда мы приступаем к выполнению плана номер два. Вернее, к нему приступает Клара.

— Что от нее требуется?

— Ты предложишь фотоаппарат, Клара предложит себя.

Оба испуганно притихли, превратившись в тех, кем на самом деле и были: в детей. Брат с сестрой смотрели на Хильера круглыми от ужаса глазами.

— Понарошку,— поспешил успокоить их Хильер.— Это всего лишь игра. Маленькая хитрость. Не бойтесь, ничего не случится. Я спрячусь вот здесь, в платяном шкафу.

Однако они по-прежнему испуганно и с укоризной взирали на него, и Хильер поспешил добавить:

— Но я уверен, что с фотоаппаратом все пройдет гладко.

— Что я должна делать? — спросила Клара.

— Неужели вас надо учить? Мне казалось, вы интересуетесь сексом. Требуется лишь многозначительная улыбка и один-два недвусмысленных взгляда,— чтобы, так сказать, соблазнить, этого вполне достаточно. Не противьтесь своей природе, и все получится само собой.

Хильер неуклюже продемонстрировал, что следует делать, но смеха не последовало.

— Хорошо,— уныло произнес Алан.— Я приступаю к плану номер один.

— Желаю успеха.

Алан понуро вышел из каюты.

— Кажется, мои слова его слегка покоробили,— сказал Хильер девушке.— Наш герой оказался не таким уж бравым.

Хильеру хотелось сесть на койку рядом с Кларой, но он нашел в себе силы удержаться от этого и, опустившись на стул, закинул ногу на ногу. Покачивая волосатой ногой, выглянувшей из-под халата, Хильер вспоминал о том, как некоторые женщины уверяли его, что их возбуждают мужские колени. Но Клара смотрела не на колени, а на Хильера.

— У Алана нет фотоаппарата,— сказала она.

— Как это?

— И никогда не было. Он не интересуется фотографией.

— Но ему же подарили фотоаппарат. Он сам говорил.

— Да. Не знаю, зачем он врал. Если бы ему подарили фотоаппарат, он бы мне его показал. Ручаюсь, что он не стал бы его прятать. А подарок этого человека спрятал.

— Господи, почему же он ничего не сказал. Мы должны быть совершенно откровенны друг с другом.

Последние слова Хильера тронули Клару, ей вспомнились не пособия по технике секса, а брошюра «Что такое настоящая любовь?». Хильеру снова захотелось подсесть к ней поближе.

— Зачем вам это? — спросила Клара.— Такая мерзость: убийства, слежка, похищения. И не только взрослых — сколько похищают детей!

— А вы бы хотели иметь много детей?

— К чему такие вопросы? Они бы имели смысл, не будь вы замешаны во всех этих глупостях. У нас было бы восхитительное путешествие.

— Оно еще будет. Как только я выполню задание. Обещаю. Мы бу-

дем вместе читать ваши секс-книжки, а по утрам пить крепкий бульон. Или, скажем, вместе выкинем все секс-книжки за борт.

— Вы надо мной смеетесь.

— Нисколько,— сказал Хильер, нисколько не смеясь.— Я смертельно серьезен.

И сразу мелькнуло: серьезно смертелен; состояние серьезное — смертельное; прогноз безнадежный. Он хотел жить. To live. Смена гласной в последнем слове. Вместо тонкой — широкая. To love[49]. Кажется, минула вечность, с тех пор как Рист рассказывал о своей сестре-машинистке.

— Я думаю,— проговорил Хильер смертельно серьезно,— что это любовь.

Любой мужчина, произнеся последнее слово (конечно, если это не делается «по срочным показаниям»), неизбежно испытывает смущение. Жуликоватое слово. Однако у женщин, особенно у девушек, реакция на него иная. Клара зарделась и опустила глаза на ковровую дорожку. Хильеру самому хотелось понять, что же он имел в виду. Он предлагал (до сих пор не верилось!) любовь единственно подлинную: кровосмесительную.

— Да, любовь,— сказал Хильер и, словно в подтверждение серьезности своих намерений, прикрыл коленку и торжественно застыл на стуле.

— Как вам не совестно? — сказала Клара.— Не предлагайте мне такие вещи. Мы же совсем не знаем друг друга.

— В ваших книжках толкуют совсем не об этом. Скажи я «оральное возбуждение», вы бы меня сразу поняли. Но я сказал «любовь». Любовь.

— Но у нас такая разница в возрасте. Вы мне, наверное, в отцы годитесь.

— Гожусь. И отец вам скоро понадобится. Но я говорю о другом. О любви.

— Так, значит, я должна буду — как это? — соблазнить его и попытаться заманить в свою каюту,— пробормотала она, не поднимая глаз.— Такой предлог более — как это? — благовидный. А что дальше? Об этом вы подумали? Я понимаю, ваше дело стукнуть его по голове и завладеть мундиром. А потом что? Противный старый мужлан в каюте юной девушки...

— Заманите молодого.

Он ее любил. Любил.

— А потом будет вот что: после того как вы уйдете в его мундире, я начну кричать, и когда кто-нибудь прибежит, скажу, что он сам разделся — для чего и так ясно,— но я, усыпив его бдительность, огрела... Чем я его огрела?

— Самой тяжелой из ваших книг.

— Нет, серьезно.— Она нетерпеливо притопнула.— Чем вы его ударите?

— Его собственным пистолетом.

— Ой! — (Авансцена обваливается. Убийца прыгает в зрительный зал.) — Я не подумала, что у него будет пистолет.

— Тут вам не добродушные деревенские полисмены. Но стукну я несильно, только чтобы суметь ввести PSTX. Это вызовет реакцию, напоминающую сильное опьянение. Если от удара он потеряет сознание, то тем лучше — даже укола не почувствует. Придет в себя мертвецки пьяным, раздетым, и тут вы разуетесь и ударите его каблучком — обязательно сделайте это,— а потом...

— Потом я вышвырну его одежду в иллюминатор, что только усугубит его положение. И пистолет тоже выброшу.

---

[49] To live — жить *(англ.)*. To love — любить *(англ.)*.

Ей не терпелось поскорее начать операцию по совращению незнакомца.

— Вы красивая, соблазнительная, умная, смелая девушка,— изрек Хильер.— Я люблю вас. Где бы я ни был — в тюрьме, в лагере или в соляном карьере,— я буду любить вас. Я буду любить вас даже тогда, когда в меня вопьются пули.

Слова его были нелепы. Нелепы, как сама любовь.

— Нет, вы вернетесь. Вы вернетесь, правда?

Ответить Хильер не успел, поскольку дверь отворилась и на пороге появился Алан. Вид у него был весьма унылый.

— Ничего не вышло,— промямлил он.— Фотоаппаратом никто не заинтересовался. Я предлагал ручку «Паркер», но оказалось, что и она никому не нужна. Не нашлось покупателей ни на мои рубашки, ни даже на смокинг.

— Сомневаюсь, что русские мальчишки носят смокинги.

— Я старался, как мог! — с обидой воскликнул Алан.— Просто я никогда такими вещами не занимался. Простите.

— Ничего,— ласково сказал Хильер.— Но теперь, надеюсь, ты понял, что в жизни еще есть чему поучиться. Что же, придется за дело взяться нам с Кларой.

— Я собираюсь на берег,— сказал Алан.— К пирсу уже подогнали большой туристский автобус.— Он замолчал, ожидая так и не последовавших советов проявлять осторожность.— Я буду осторожен,— проговорил он не слишком уверенно.

— Акт второй! — провозгласил Хильер.— Смена декораций. Сцена прежняя. Я выброшу ваши секс-книжки в иллюминатор. Не то кто-нибудь впоследствии станет утверждать, будто вы были с ним заодно.

2

Вот и пришло время, когда Хильер мог выказать нежность к продолжению Клары — ее каюте. Но прежде он показал язык ее книжкам, собрал их в кучу и вывалил во тьму, простиравшуюся за правым бортом. Неграмотное море приняло их с безразличием нацистских костров. Затем он начал на цыпочках кружить по каюте, поглаживая лицо и руки клариной массажной щеткой (колючие мужские поцелуи, но приходится обходиться ими), вдыхая благоухание ее кремов, румян и чересчур «взрослых» духов. Он попытался задушиться лежавшими на стуле чулками цвета вороненой стали и в то же время ловил губами чуть влажноватые ступни. Девятый размер. Он застыл в нерешительности: то ли зарыться лицом в ее белье, лежавшее в выдвижном ящике, то ли набрать воды в видневшуюся под кроватью туфельку (четвертый размер) и сделать из нее глоток. Но война требует хладнокровия. Любовь должна на время превратиться из трепета пальца на спусковом крючке в призыв военного плаката. Пора в шкаф.

Он втиснулся между ее платьями. Будучи проявлениями ее внешнего, публичного «я», они не возбуждали его в той же мере, как то, что прикасалось к ее коже, нежило, увлажняло и наполняло ароматами. И тем не менее он целовал кромки ее невидимых платьев и — нисколько тому не удивляясь — молился ей, богине, представавшей миру в этих многочисленных изменчивых обличьях, а не дьяволице мисс Дени, похотью истерзавшей его нервы и оставившей их обвисшими и алчущими — терзали их до состояния святости — более возвышенных раздражителей. Дверца шкафа была закрыта неплотно, и сквозь бесконечно малую — прямо-таки в математическом смысле! — щель он видел точно такую же койку, как ту, на которой выстрадал упоительные дравидские наслаждения. На ней он вообразил сидящую в позе лотоса многорукую мисс Дени и вознес благодарения очищающему пламени, сквозь которое лежал его путь к Божественному виденью. Но он постарался, чтобы мисс Дени исчезла до того, как, обретя человеческое естество, она зовуще уляжется на покрывало.

Время шло, и Хильер думал о том, имел ли он право вовлекать солнцеподобную Клару в это — пускай притворное — распутство. Между тем никакие ухищрения многоопытной соблазнительницы не волнуют кровь так, как очевидная неискушенность неумело выдающей себя за таковую. Тот, кого она приведет,— несомненно мерзавец и заслуживает своей участи. Хильер размышлял о любви, о том, догадываются ли женщины, как мучаются обожающие их мужчины. Трубадуры и альфонсы залапали все слова, низвели физическую любовь до животного соития. Овладевая телом любимой, ощущаешь себя в борделе. Половой акт не превращается в возвышенное таинство, подобно пресуществлению хлеба во время причастия. Вы можете за завтраком набить рот хлебом и, плюясь крошками, рассуждать о проповеди, однако незадолго до того, отнюдь не для утоления голода, вы клали в рот пресную облатку и бормотали: «Господь Бог мой...» И вы верили, что вас слышат. А в любви вы завтракаете и причащаетесь одновременно и не способны — даже в момент Откровения — воскликнуть: «Госпожа Богиня моя!» А если и воскликнете, то твердо зная, что услышать вас некому.

Зажатый между благоухающими платьями, Хильер почувствовал, что у него немеет тело. Он приоткрыл дверь и собрался было размять конечности, как вдруг из коридора послышались приближающиеся шаги. Он снова втиснулся в набитый шкаф (рот набит хлебом) и буквально услышал, как застучало — не в ногу с шагами — сердце. Дверь отворилась и: Господь Бог мой! — как она чертовски ловко все проделала! Перед Хильером предстала угрюмая милицейская форма, матово поблескивающая кобура, сапоги и — дробящееся на десятки частей, как в глазке стробоскопа, ее усыпанное серебряными блестками платье. Сколько еще это терпеть? Надо, чтобы он снял ремень с кобурой, но сумеет ли она заставить его расстегнуть пряжку сейчас, пока грубые милицейские лапы не начали ее тискать? Изображение дробилось, но звук был отчетливым: хриплое «Razdyevaysya... razdyevaysya...». Хильер чуть приоткрыл дверцу,— то, что он увидел, было уже чересчур: разрываемое на плече платье, славянское насилие над Западом, толстая красная шея, поросшая грубой щетиной, чин. («Черт подери, выбрала кого надо!» — отметил он про себя, глядя на знаки отличия; точное звание он припомнить не мог, но не сомневался, что оно выше лейтенанта. Тупая морда предстала в профиль, и при виде нескольких рядов орденских ленточек Хильер почувствовал презрение к тому, кто так отклонился от своих служебных обязанностей; в то же время он был рад, что русский оказался нормальным человеком, способным на подобные отклонения, но тут же с ненавистью заметил, как тот похотливо — вполне по-человечьи — оскалил покрытые камнем и золотом зубы и заурчал, предвкушая невыносимую для Хильера профанацию.) Растрепанная, будто после ночи насильного блуда, она взглянула поверх нависшего над ней плеча на спасительный шкаф. Хильер на мгновение выглянул и выразительно кивнул на кобуру. Клара сразу начала стаскивать с русского китель; тот осклабился, пробормотал «Da, ya dolzhen razdyet'sya», встал с Клары, сбросил ремень на пол и принялся неуклюже расстегивать пуговицы. Взглянув на девушку, он снова приказал: «Razdyevaysya... razdyevaysya...» «Этот глагол ей следует запомнить»,— мелькнуло в голове у скрючившегося в шкафу Хильера. Русский, оставшись в рубашке, полез на Клару, по-борцовски растопырив пальцы, и Хильер решил, что время пришло.

«Nu ka, svinyah, vstavay»,— сказал он, направляя на него пистолет (мощный милицейский «Tigr», одна из последних моделей) и снимая его с тугого предохранителя. Все как тогда, с Westdeutsche Teufel, хотя язык на этот раз более приятный. Русский медленно поднялся, у него, кажется, даже мелькнула мысль попробовать защититься Кларой. Но Хильер, сделав шаг в сторону, гаркнул, чтобы «вонючий кобель» уткнулся «харей и пузом» в «shkaf». Тот, мрачно ворча и сплевывая, повиновался, однако в его довольно красивых карих глазах угадывалось некоторое удовлетворение: все-таки поймали его не где-нибудь, а в дам-

ском будуаре (символ буржуазности, не хуже виски или джаза). «Больно не будет»,— ласково произнес Хильер по-русски и врезал рукояткой пистолета по коротко остриженному затылку. К его удивлению, это не возымело никаких последствий. Хильер ударил сильнее. Русский попытался обнять шкаф и под мелодичный аккомпанемент, извлекаемый восемью ногтями из его боковых панелей, медленно осел. Медленно осел.

Хильер повернулся к Кларе. Его душило негодование, к которому примешивалось мерзостное возбуждение: все плечо и часть правой груди были обнажены. Клара уже успела оправиться от испуга.

— Милая,— выдохнул Хильер.— Я куплю вам новое платье. Обещаю.

— Вы его слабо ударили,— сказала Клара.— Смотрите.

Лежавший ничком русский уперся рукой в пол и, постанывая, попытался приподняться. Хильер снова ударил, на этот раз почти что ласково, и удовлетворенно вздохнувшая жертва затихла.

— Надеюсь, вы еще не раз увидите, как я одеваюсь,— сказал Хильер.— Причем в свою одежду. Помогите, пожалуйста, натянуть сапоги. Великоваты, но ничего.

Хильер поднял брюки. В них обнаружились залатанные кальсоны, вызвавшие в нем прилив сострадания. Хильер, пыхтя, натянул на себя униформу.

— Как я смотрюсь?

— Умоляю, будьте осторожны.

— Так, теперь ремень. Где фуражка? А, прямо возле двери повесил. Чувствовал себя как дома.

Брюки оказались широковатыми, но под кителем это будет незаметно.

— Я бы что-нибудь подложил,— сказал Хильер.

Он засунул под китель банное полотенце Клары.

— Вот так.

Он достал из кармашка халата наполненный шприц, пустил в воздух тонкую струйку и вонзил иглу глубоко в предплечье своей жертвы. По волосатой руке заструился тоненький ручеек. И вдруг, к их общему изумлению, русский пришел в себя. Произошло это внезапно, как после поцелуя феи. Он очнулся совершенно пьяным, захлопал глазами, облизнул губы и расплылся в улыбке. Хильер удивленно вслушивался в монолог раскрепощенного русского подсознания: «Батя в кровати мамаша пригрелась замело все говорю самовар-то пустой Юрке в рыло заехали Лукерья в рев слезы мерзнут дай холодного свекольника». Он с умилением посмотрел на Хильера и попробовал приподняться. И тут Хильера осенило.

— Где каюта миссис Уолтерс? — спросил он у Клары.

— Рядом. У нас три каюты подряд.

— А хрыч Николаев как хряснет школа длины реки не знаю.

— Проверьте, пожалуйста, не заперта ли она. Если да, возьмите у помощника запасной ключ. Только, прошу вас,— побыстрее.

Клара сняла с крючка у двери короткую меховую накидку. Она не могла показаться на людях в разорванном платье. «Я люблю ее»,— подумал Хильер.

— Салгир самая длинная река в Крыму, но короткая. Южные склоны горы очень плодородные.

Он повторил: «Ochin plodorodnyie». Затем снова попытался встать. Хильер его беззлобно осадил.

— За сараем летом Наташка юбку задрала живот здоровый показывает я не покажу она показывает я не покажу.

«Теперь бы показал»,— подумал Хильер.

— Она показывает я не покажу она показывает и я покажу.

Наконец-то.

— Хрыч Николаев обратно по морде заехал бате наябедничал батя по заднице отстегал.

Эх, крымское детство — все по морде да по морде. В каюту влетела запыхавшаяся Клара.

— Я взяла ключ в конце коридора, там, где кипятят чай. Сама открыла. Правильно?

— Умничка. Умная, восхитительная девочка.

Одним движением Хильер поставил улыбающееся, бормочущее существо на ноги.

— Обопрись на меня, дружище. Сейчас пойдем баиньки. Тебе надо проспаться.

— В ее кровати?

— А что? Для нее это будет неплохим сюрпризом.

Бормотание перешло в песню:

— Напали на козлика серые волки...

Наверное, песня родилась на севере Крыма,— в южной части, где нет степей, вряд ли могли происходить подобные ужасы. Крым — вязаные шлемы *, Флоренс Найтингейл *. В коридоре никого не было. Без особого труда они плюхнули его на койку миссис Уолтерс.

— Мое сердце словно ситко, в нем не держится любовь...

Хильер сразу почувствовал: в каюте миссис Уолтерс все дышало сексом. V nyom ne derzhitsya lyubov. Вскоре пение сменилось зычным храпом.

— Я должен идти,— сказал Хильер.

Она подняла на него глаза. На этот раз человек в униформе был необычайно нежен.

3

Разница между хлебом причастия и тем, что предлагает пекарь, оказалась ощутимой. Подобно хлебу, по карманам мундира были рассованы борода и паспорт Иннеса, ампулы, шприц (на иглу надет защитный колпачок), доллары, полученные от Теодореску, рубли, купленные на черном рынке в Пулдже, принадлежавшие милиционеру пачка «Беломора» и удостоверение (С. Р. Полоцкий, тридцати девяти лет, уроженец Керчи, женат, ублюдок). На бедре рычал поставленный на предохранитель «Tigr». Хильер сошел по скрипучему трапу, весело перебросился несколькими словами со стоящим внизу молоденьким милиционером («Все в порядке, сынок. У них там до хрена пива и несколько отпадных баб. Ну что, ничего подозрительного? Я так и думал, надули нас с этой телеграммой. Ладно, понаблюдай еще маленько») и, шутливо пихнув удивленного парня в грудь, направился к пандусу, спускавшемуся к маленькому морскому вокзалу. Набережная, к счастью, была погружена во тьму, которую с упорством дебила пытались развеять несколько исправных фонарей. В здании оказалось светлее, но в пустом таможенном зале царил полумрак. Буфетчица наливала пиво грузчикам-татарам, в сувенирном киоске томилась продавщица. У выхода скучали, покуривая, несколько милиционеров. Увидев Хильера, они вытянулись, чтобы отдать ему честь, но он приветливо помахал им рукой и, напевая, прошел мимо. Песня была из репертуара Полоцкого — о сереньком козлике; там, где Хильер забывал слова, он вставлял «ла-ла-ла». Один из милиционеров крикнул ему вслед: «Никого не нашли, товарищ капитан?», и Хильер пропел через плечо: «Nikogooo, ложная тревога». Он спустился по лестнице. Во дворе валялись тюки и ящики. Неподалеку стояло несколько грузчиков. Ночь была восхитительной. Пахло клубникой. С «большой земли» тянуло прохладой: напоминание о Кремле, для которого этот маленький южный нёбный язычок с его теплом и апельсинами — всего лишь субтропические проказы.

У входа на территорию порта было непозволительно темно для места, где производится паспортный контроль. Будь Хильер тем, за кого себя выдавал, он бы навел тут порядок: попробуй разбери в такой темени, что за фотография наклеена в предъявляемой пародии на паспорт. Солдат с винтовкой, одетый в поношенную гимнастерку (реликт крымских баталий?), увидел Хильера и вытянулся по стойке «смирно». В ка-

раульном помещении двое резались в карты, один из играющих что-то ворчал по поводу неудачной масти. Игра была довольно бесхитростной: видимо, покер товарищам не потянуть. Третий что-то сыпал в чайник с кипятком. Хильер прошествовал мимо. Он подумал, что где-то поблизости должна быть милицейская машина, но, с наслаждением вдыхая воздух пустынной улицы, уводившей в сторону от доков, решил, что в такую погоду пройтись пешком — одно удовольствие. В темных садах, тянувшихся по обеим сторонам улицы, проглядывали кипарисы, розы и бугенвиллеи. Он взглянул направо и увидел на скамейке в саду робко обнявшуюся парочку. На сердце потеплело. В глубине сада кто-то энергично прочищал горло. Вдалеке залаяла собака, и ее немедленно поддержали. Все это, да и сам воздух, напоенный лимонным ароматом (или он это себе только внушил?), доказывало, что, несмотря на ужасающие различия в языках и системах, жизнь по существу везде одинакова. Хильеру требовалось найти гостиницу «Черное море». Он мысленно поблагодарил Теодореску, проболтавшегося о возможном местопребывании Роупера. Милиционер, конечно, должен знать, где находятся гостиницы. Но, может, его командировали издалека? Вообще-то, чем дальше те края, откуда прислан милиционер, тем большим уважением он пользуется. Хильер уверенно шагал вперед. Вдыхая чистый, незнакомый с автомобильными выхлопами воздух, он думал об убегающих на север плодородных долинах, о возвышающихся за ними холмах. Но в этот момент Хильер увидел в конце улицы движущиеся огоньки, услышал троллейбусное клацканье и какой-то лязг. Ясно: трамваи. Хильер любил трамваи. Автомашин не было, весь транспорт двигался по предписанным ему маршрутам. Благословенная страна! — пьяный может валяться на проезжей части без риска быть раздавленным. Хильер дошел до перекрестка, и перед ним открылся красивый, вполне европейский бульвар. Деревья, тихо шелестевшие на ветру, он для себя определил как шелковицы. Хотя было еще не поздно, бульвар выглядел безлюдно, лишь кое-где встречались кучки праздных, легко, по-летнему одетых подростков. Несомненно, где-то должна быть эспланада, протянувшаяся вдоль мерцающего огнями моря. Там на витой железной эстраде оркестр, наверное, играет музыку Хачатуряна для Государственного цирка, а толпящийся вокруг народ пьет государственное пиво. Он остановился, раздумывая, в какую сторону двинуться.

Хильер свернул налево и увидел работающий, но безлюдный магазин «Сувениры». В тускло освещенной витрине стояли матрешки, деревянные медведи, дешевые грубые бусы, эмалированные чешские броши. Были там и фарфоровые пивные кружки; Хильер нахмурился, ему почудилось, будто он уже видел нечто подобное, хотя, кажется, не на советской территории. На каждой кружке красовалось грубое женское лицо: сморщенные в старческой улыбке нос и подбородок, собранные в пучок черные волосы, злобные ухмылки. Где же, черт побери, он их видел? Вспомнил: на каком-то итальянском курорте, славящемся слабительными свойствами тамошней минеральной воды (сульфат магния? семиводный гидрат?); горьковатую влагу с улыбочкой наливали в такие же кружки, правда, с них смотрело лицо помоложе, покрасивее, поитальянистее. Да и надпись была Io sono Beatrice chi ti faccio andare[50]. Грубоватый каламбур. У Данте она ведет его к звездной славе, и Чистилище — одна из ступеней в восхождении, а не конечная цель. Он чувствовал, что тут есть какая-то связь с ним, Хильером, но какая? — этого он понять не мог.

И вдруг стало ясно: Клара! Воплощение чистоты. Вдохнувшая в него веру после стольких лет безверия, заставившая вспомнить о бессмертной душе. Но не могла же она быть единственным оправданием того, что его грешное тело продирается сквозь чистилище последнего задания, входит в огненную пасть и покидает ее, отягощенное священной

---

[50] Я Беатриче, та, что шлет тебя * (*итал.*).

ношей? Этого недостаточно: domina, non sum dignus *. Сколько чужих лобковых волосков всех цветов — от меда Балтики до смолы Востока — запуталось в его собственных! Сколько зубов (включая вставные) терзали его тело! Хрюкая от удовольствия, он обжирался, опивался. Ложь, предательства — на что он только не шел для достижения своих сомнительных целей! Покачивая головой, Хильер вспомнил свое неправедное прошлое. Ему хотелось поднатужиться и извергнуть багаж прежнего «я» (заляпанные кровью и пивом дешевые чемоданы, полные барахла, завернутого в старые газеты) в мусорный бак,— звонок по телефону, и кареглазый, бородатый мусорщик подкатит к порогу его дома; от чаевых он с улыбкой откажется («Это моя работа, сэр»). Хильер, поскрипывая, обретал себя.

Он обернулся и оглядел улицу. Из закрытого заведения, именуемого «Ателье», прихрамывая, вышел мужчина в грязной рубашке с расстегнутым воротом и брюках цвета хаки. Еще не старое лицо покрывали морщины. В восточном направлении прогромыхал почти совершенно пустой трамвай. Хильер спросил:

— Prostite, tovarishch, gde tut Chornoye morye?

— Издеваетесь? Тут куда ни кинь — Черное море.

Он широко раскинул руки, словно выпуская море из своей груди.

— Я имел в виду,— рассмеялся Хильер,— гостиницу «Черное море».

Незнакомец, от которого потягивало плодово-ягодным, уставился на Хильера.

— В чем дело? Я в эти игры не играю. Раз вы не знаете, где находится главная гостиница, значит, вы не милиционер. Самозванец, вот вы кто!

Продавщица из «Сувениров» стояла у дверей и внимательно прислушивалась. Хильера распирало раздражение.

— Tovarishch, вы мараете честь мундира! — взорвался Хильер.— На это есть статья!

— На все есть статья! Нет только на кагэбэшников, выдающих себя за милиционеров. Еще что придумаете? Так вы меня с ходу и раскололи. Не на того напали!

Он перешел на крик. Высокий светловолосый парень и его маленькая чернявенькая подружка остановились поглазеть на скандал. Девушку это очень забавляло.

— Откуда приехали? Небось из Москвы! Говор-то нездешний!

— Ишь надрался,— сказал Хильер.— Несет черт знает что!

Он подумал, что с таким лучше не связываться, и поспешно зашагал в западном направлении; там еще догорали последние лучи заката. Сапоги были сильно велики, и немудрено, что Хильер споткнулся о кусок асфальта. Непонятно откуда взявшаяся сопливая девчонка весело захихикала. А в спину неслось:

— Может, и надрался, но когда мне дело шьют, я соображаю. Мне скрывать нечего. Вон, смотрите,— обратился он к собравшимся зевакам,— гостиница ему нужна, как же! Преспокойненько пошел в другую сторону!

Хильер быстро миновал пустую, пахнущую рыбой столовую, закрытый государственный мясной магазин, сберкассу, напоминавшую тюрьму для денег.

— Ищут, кого бы сцапать! Я хочу, чтобы меня оставили в покое!

Я тоже, подумал Хильер. Свернув в темную улочку, круто поднимавшуюся вверх, он понял, что заблудился. В поисках поворота направо он тяжело поднимался по разбитой мостовой. Вдоль улицы стояли обшарпанные домишки, в одном из которых сквозь распахнутое окно можно было наблюдать телевизионную стихомифию * изображения и звука. Остальные дома выглядели совершенно безжизненными, возможно, их обитатели прогуливались сейчас по бульвару. Вот и поворот направо. Хильер свернул в переулок и двинулся по размокшим пачкам из-под сигарет, по склизким очисткам и огрызкам. Он храбро шлепал на восток, откуда

доносились визги кошачьей свары. Хильер подумал, что вот-вот должна взойти луна, первая четверть. Слева запахло свежескошенным сеном, где-то неподалеку уже начинались деревни. Поравнявшись с одним из домов, он услышал доносившуюся из глубины двора перебранку. Муж довольно громко настаивал на том, что его жена «kobyla» и «suka». Он свернул вправо, и вскоре улица, окаймленная миниатюрными розовыми палисадничками, вывела его к уже знакомому бульвару. Свежий ветерок по-прежнему шелестел в тутовых кронах. Он подошел к вывеске «Ostanovka Tramvaya», под которой маялись три tovarishch'a.

— А-а,— послышался знакомый голос,— выследил все-таки! Вот ведь прилип. Как шпион все равно! И милицией не пригрозишь: сам ментом прикинулся. Это тот самый,— обратился он к стоящей рядом обнявшейся парочке,— samozvanyets. Думает обдурить меня своей ментовской формой. Выкуси! Ну и что с того, что я работаю в «Черном море»? — спросил он Хильера.— Сперва с начальством нашим разберитесь, а потом уж цепляйте кухонных сошек вроде меня. Нас там секут — дай Боже! Но я даже, если б и мог чего стянуть, все равно б не стал. Стану я мараться! Постыдились бы подозревать меня!

Ища сочувствия, Хильер взглянул на разинувшую рты парочку и пожал плечами (как он потом заметил, рты были разинуты от того, что парочка жевала американскую резинку). Наконец, прогромыхал сыплющий искрами одноэтажный трамвай.

— А теперь небось заявите, что не знаете, сколько платить за проезд? — сказал усевшийся напротив Хильера новый знакомец.— Давайте спрашивайте.

— Да, я не знаю, сколько стоит билет.

— Что я говорил! — торжествующе воскликнул тот, обращаясь к пяти другим пассажирам.— Билет стоит три копейки, и вы это прекрасно знаете.

Кондукторша отвергла попытку Хильера заплатить за проезд. Ага, значит, милиция ездит бесплатно. Кондукторша напоминала румяный пудинг, облаченный в криво сидящую униформу.

— Вот-вот,— сказал повар.— Для власти одни законы, для простых — другие. Москва.— Он усмехнулся.— Когда ж они оставят нас в покое?

Хильер поглубже вдохнул и гаркнул:

— Заткнись!

К его удивлению, тот действительно заткнулся, лишь изредка что-то ворчливо приговаривая себе под нос.

— Тоже в «Черное море»? — спросил Хильер гораздо миролюбивее.— Попутчики, значит.

— Все, больше ни слова,— сказал повар.— И так наболтал лишнего.

Достав из кармана измятый «Советский спорт», он принялся хмуро изучать большую фотографию прыгуна в высоту.

Хильер глянул в окно. Трамвай свернул с бульвара на узкую улочку и покатил мимо украшенных лепниной аккуратных домиков с палисадниками, в которых цвели бугенвиллеи. В свете одного из уличных фонарей отчетливо различались их лилово-красные листья. Снова этот благословенный, лежащий вне политики мир. Трамвай повернул влево, а справа перед Хильером открылось мерцающее огоньками море. Вместо широкой набережной вдоль моря тянулись дома отдыха (везде одни и те же унылые цвета) с огороженными пляжами. В одном из них были танцы: звучала старомодная музыка, труба и саксофон в унисон выводили уже почти забытое «Для тебя это флирт, для меня — любовь». Неужели в России понимают разницу?

Трамвай остановился.

Повар засунул газету в карман и сказал:

— Приехали. Будто сами не знаете.

Он пропустил Хильера, вынуждая его сойти первым.

Возвышавшаяся слева гостиница находилась в стороне от пляжа, но сквозь богатый, хотя и пребывавший в плачевном состоянии, парк к морю вела извилистая тропинка. Название гостиницы освещалось прожектором. Строение это было выдержано в добром викторианском стиле и — за исключением разве полосатых навесов от солнца — вполне бы подошло для Блэкпула. Хильер с тревогой поглядел на помпезно-декоративный вход, возле которого прохаживались несколько головорезов в штатском. Наверное, в другое время их бы здесь не было, а сейчас удивляться не приходится: научный симпозиум — крупное событие, государственное дело. Несмотря на то что в порту никого не обнаружили, комитетчики все равно не зевают. А тут еще этот ублюдок за спиной:

— Вот это я понимаю гэбэшники. Настоящие. Любого насквозь видят. Таких ни один samozvanyets не проведет.

Терпение Хильера лопнуло. Он повернулся и, схватив повара за ворот грязной рубашки, отволок его в боковую аллею, обсаженную кипарисами, миртами и бегониями.

— Видишь этот пистолет? — спросил Хильер.— Думаешь, для красоты болтается? У меня так и чешутся руки всадить в тебя пулю. Не люблю, когда поганые ничтожества вроде тебя путаются под ногами и мешают важному государственному делу.

— Я во всем признаюсь! — затараторил повар.— Всего-то взял два блока. А шеф-повар их загребает обеими руками.

— Английские или американские?

— Lakki Straiyk. Клянусь — два блока, ни пачкой больше.

— Ладно, марш на кухню. Через служебный вход. И учти, еще одно слово — и я тебя продырявлю.

— А директор, между прочим, занимается часами. Швейцарскими. Если хотите, я вам целый список фамилий представлю.

— Потом, а сейчас ступай на кухню.— Хильер подтолкнул его рукояткой пистолета.— Я никому сообщать не буду. Но если ты еще хоть раз что-нибудь пикнешь про самозванца...

— Опять все как при Сталине,— хлюпая носом, запричитал повар.— Угрожают, запугивают... То ли дело при Никите было...

4

Nichtozhestvo, полный нуль, точнее — худой: наверняка ведь разболтает все на своей кухне или судомойке, а любое сказанное там слово через минуту становится известно Direktsyy. Мол, какой-то мент вынюхивает, кто скупает фирменные сигареты. Может, его и резина интересует. Громила в неказистом костюме (правый карман пиджака оттянут) смерил Хильера не слишком уважительным взглядом и, ворочая челюстями, спросил:

— Какие новости? Так никто и не появился?

Из гостиницы доносились крики и звяканье бокалов: за тебя! за меня! за советскую науку!

— Ложная тревога,— сказал Хильер.

Подошел еще один громила, на вид прибалт. Он уставился на Хильера, словно никак не мог — а, собственно, так и было — понять, кто это такой. Хильер сказал:

— Есть тут один англичанин, доктор Роупер...

— Da, Doctor Ropyr, Anglichanin. Что, неприятности?

— Да нет, какие могут быть неприятности? — Хильер предложил комитетчику «Беломор». Потом закурил сам. Он безумно истосковался по настоящему табаку, по своим зловонным бразильским сигарам. Слава Богу, что прихватил с собой парочку. Беседуя с Роупером, он будет попыхивать своими! — Все нормально. Просто необходимо кое-что уточнить в его документах. Обычные формальности.

— Formalnosti, formalnosti...

Громила пожал плечами, раз такое дело, можно и пропустить. Второй спросил:

— Iz Moskvy?
— Из Москвы.
— Странно, говор какой-то не московский.
И не ярылыкский. Ни за что не угадаешь.
— Да англичанин я,— сказал Хильер.— Просто по-русски хорошо болтаю.

Шутка пришлась по вкусу. Они рассмеялись, не вынимая изо рта papirosi, и помахали ему на прощанье.

Безвкусно обставленный холл выглядел довольно убого. Входящего с молчаливым равнодушием приветствовали две безносые, ноздреватые (ноябрьский дождь?) мраморные богини, лишенные даже намека на величие. На ковре зияли большие проплешины, а кое-где и просто дыры. Самая заметная была у входа в мужской tualet. У лифта с табличкой «Nye rabotayet» топтался, пожевывая бороду, старик в ливрее. Стоять на посту — больше от него ничего не требовалось. Обеденный зал был переполнен. «Советские ученые»,— догадался Хильер. Радостные, раскрасневшиеся, довольные, что симпозиум проводится на курорте. Столики — на четверых и на шестерых — украшали флажки союзных республик, но, разумеется, все тут уже давно перемешалось, никто и знать не хотел о каких-то там различиях, кроме разве что ярко выраженных этнических. Щурясь от табачного дыма, Хильер разглядывал бумажные флажки Советских Социалистических Республик (Украинской, Азербайджанской, Грузинской, Узбекской, Казахской, Таджикской, Киргизской, Туркменской) и яркие знамена (несколько) Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. Время поджимало. Кухонное ничтожество, наверное, уже делает свое худое дело. Где Роупер? Хильер прочесал взглядом галдящее, тостующее славянско-литовско-молдавско-армянско-кетско-узбекско-чувашско-чеченское скопище в поисках англосаксонского лица. Неудобство состояло в том, что никто не сидел на месте. Появление милиционера не возымело никакого эффекта, ученые продолжали возлияние (пиво, советское шампанское, грузинский мускат, водка, коньяк в стограммовых бутылочках), всем своим видом выражая взаимное расположение: сплетя руки и крепко обнявшись, они пили на брудершафт и потрепывали друг друга по щекам. Некоторые ученые, из тех, что постарше — с бородкой, окаймлявшей влажные губы и немногочисленные зубы (если таковые вообще имелись),— с отрешенными улыбками склонялись над своими рюмками. Куда же, черт возьми, подевался Роупер? Мимо пробегал с мокрым подносом нагловатый молодой официант в белой куртке. Надо лбом у него завивался жесткий черный кок.

— Gdye Doctor Ropyr? — спросил у него Хильер.
— Kto?
— Anglichanin.

Официант с улыбочкой кивнул в дальний конец зала. Там виднелась стеклянная дверь, которая, по-видимому, вела в сад.

— Blyuyot,— весело уточнил официант.

Что ж, похоже на Роупера. Хильер направился к двери.

В гирлянде, натянутой между кипарисами, многие лампочки не горели. Могли бы и получше подготовиться к научному симпозиуму. Но и на том спасибо, иначе было бы совсем темно, луна ведь еще не взошла. Хильер стал шептать по сторонам: «Роупер, Роупер...» Из глубины донеслось специфически российское: ик, ик, ик... Он был где-то, куда не доставал свет из окна. Хильер щелкнул зажигалкой: пока суд да дело, можно выкурить, наконец, свою — крепкую, бразильскую. Лучше, много лучше. «Роупер...» Из темноты показался человек с фонариком. Очередной комитетчик. Хильер затушил сигару. Скользнув лучом по милицейской форме, человек удовлетворенно хмыкнул и осветил бесформенную массу, икавшую на каменной садовой скамейке.

— А-а, говорящий по-русски англичанин,— со смехом проговорил

комитетчик.— Вот вам еще один англичанин, не сумевший избавиться от акцента.

— Оставьте нас,— сказал Хильер.— Мне надо с ним поговорить.

Услышав это, бедняга Роупер совсем расклеился.

— Иисус, Мария, Иосиф,— зашептал он по-английски слова молитвы.

— Amin,— сказал русский по-русски.— Если надо поговорить, идите лучше вон в тот домик, у нас там массажный кабинет. Подождите, я включу свет. Принести вам крепкий кофе?

— Буду очень признателен,— сказал Хильер, удивляясь, как все легко получилось.

— Ик, ик,— вступил Роупер.

В конце тропинки, из роз и миртов, сверкнул яркий, как во время допроса, свет. Хильер взял Роупера под руку.

— Kto eto? — с сильным акцентом выдавил Роупер.

— Militsia. Proverka documentov.

— Господи! — Роупер перешел на английский.— Я вышел безо всякой задней мысли. Я не могу хлестать, как они. Я не хотел никого обидеть.

— Chego? — не понял комитетчик.

— Nichego. Сучье долбанное, nichego! Снова, кажется, начинается.

Роупер отрыгнул, но nichego не вышло.

— Думаю, тут нужен не кофе, а уксус,— сказал гэбэшник.

Теперь, когда он стоял у освещенного окна, стало видно, что в лице его не было ничего гэбэшного, напротив — в нем проступало что-то лакейски-угодливое.

— Лучше все-таки кофе,— сказал Хильер.— Благодарю за работу. Но торопиться не надо. Минут, скажем, через десять.

— Ик, ик, ик.

С того момента, как они вышли на свет, Хильер старательно отворачивался от Роупера.

— Ладно, через десять минут буду,— сказал, оставляя их, комитетчик.

— Ну, как себя чувствуешь, Роупер?

Хильер повернулся к нему лицом. Его поразило, насколько Роупер постарел. Слежавшиеся волосы кое-где тронула седина, правый глаз слегка подергивался. Роуперу хватило одного взгляда, чтобы избавиться от икоты.

— Ну и дела,— сказал он.— Как раз на днях вспоминал о тебе.

Покачиваясь, он двинулся к одной из четырех стоявших в комнате армейских коек, на которых, как предположил Хильер, отдыхающим делали массаж после пляжного волейбола. Роупер лег и закрыл глаза. Затем, с силой опершись на изголовье, вскочил и заморгал.

— Ножки койки чуть не вырвало,— сказал он.— Слава Богу, хоть она удержалась. Я вспоминал наши экзамены. Канонический перевод «Книги Иова». Вспомнил, как ты сказал — экзамен был не по религии, а по английскому,— что для Иова можно было найти утешителей получше, чем Елифаз, Вилдад и Софар *.

— Неужели ты это помнишь?

— В последнее время я многое вспомнил.

— Но странно, что ты помнишь имена. Я их совершенно забыл. Что это за дверь?

В комнате была вторая дверь. Приоткрыв ее, Хильер выглянул наружу. Уже показалась луна, и стало немного светлее. Хильер увидел высокую, изрезанную трещинами каменную стену. За нею било в свои тамбурины Черное море.

— Я часто читаю Библию. Дуэйскую *. Конечно, ее и рядом не поставишь с каноническим переводом. Проклятые протестанты, вечно они делают все лучше нас.— Роупер закрыл глаза.— О, Господи... А все потому, что смешивал... У русских, наверное, луженые желудки.

— Роупер, я пришел, чтобы отвезти тебя домой.

— Домой? В Калинин? — Он открыл глаза.— Ах да, ты ведь теперь, судя по форме, милиционер. Странно, я не сомневался, что тебе предложат работу в разведке. Ох, как мне худо...

— Роупер, не валяй дурака. Проснись. Если ты переметнулся к русским, это не значит, что и я сделал то же самое. Да проснись, идиот! Я работаю там же, где и раньше. Я доставлю тебя в Англию.

Роупер открыл глаза. Его трясло.

— Англия. Поганая Англия. Похитить меня хочешь. Хочешь отправить меня в тюрьму, а потом — суд и виселица. Ты — как там тебя? — ты предатель. Забыл твое имя... Ты тоже участник этого проклятого четырехсотлетнего заговора. Убирайся отсюда, подонок, иначе я позову на помощь.

— Хильер. Вспомнил? Денис Хильер. Попробуй только крикнуть, я тебя... Да пойми ты, Роупер, никто не собирается тебя похищать. Я привез письменные гарантии того, что тебе не грозит никакая опасность. Просто Англия нуждается в тебе — вот и все. В моем кармане фантастические предложения. Но беда в том, что у меня нет времени на рассусоливания. Я должен немедленно убираться отсюда.

Роупер открыл рот, словно собирался крикнуть, но вместо этого рыгнул и зашелся в кашле.

— Твоя вонючая — ках! ках! — сигара! В тот день, вернувшись домой, я сразу почувствовал — ках! ках! — как из каждого угла несет этим мерзким запахом. И сразу после этого — ках! ках! — она ушла из дому. Бедная, несчастная — ках! ках! — девочка.— Роупер был весь мокрый.— Кажется, я хочу...

Хильер смотрел на него безо всякой симпатии: стареющий англичанин с благоприобретенной русской хандрой; заляпанный, потертый синий костюм — советский, мешковатый, безнадежно устаревшего фасона; ничтожество, которое природа наделила сумасшедшим талантом. Напоминавший горгулью разинутый рот Роупера навис над цементным полом. Но у него (из него) ничего не выходило.

— Вдохни поглубже,— сочувственно посоветовал Хильер.— Никто тебя принуждать не собирается. Расскажи, что ты делал все эти годы. Что они делали с тобой.

С видимым усилием Роупер вдохнул поглубже и закашлялся, разбрызгивая слюни.

— Я занимался ракетным топливом. Работал на космос. И русские не делали мне ничего дурного. Ни во что не вмешивались.

— А как насчет промывания мозгов?

— Глупости! Марксизм как наука давно уже устарел. Я им об этом заявил прямо, и возражений не последовало.

— Они согласились?

— Конечно. Это же самоочевидно. Мне вроде немного лучше. Этот тип что-то говорил про кофе.

— Да, скоро принесет. Но если ты разочаровался в марксизме, то какого черта ты здесь делаешь? Что мешает тебе возвратиться на Запад?

— Мне снова хуже. Рано радовался.

— Роупер, оставь свои глупости. Дома тебя встретят с оркестром. Неужели ты не понимаешь, что, помимо прочего, это будет еще и прекрасным пропагандистским спектаклем! И всего-то надо — перемахнуть через эту стену. Я прихватил для тебя фальшивый паспорт и бороду.

— Накладную бороду? Это... Это...— Он снова зашелся в кашле.

— В порту стоит британское судно «Полиольбион». Завтра мы будем в Стамбуле. Давай, Роупер. Перелезть через эту стену ничего не стоит.

— Хильер...— Голос Роупера был совершенно трезвым.— Пойми, Хильер: я никогда не вернусь в Англию, даже если мне предложат сотню тысяч фунтов в год.— Он помедлил, словно предоставляя Хильеру

возможность подтвердить, что примерно эта сумма и предлагается в письмах, о которых тот говорил.— Поверь, правительство тут ни при чем. Все дело в истории.

— Господи, Роупер, что за глупости!

— Глупости? Ты считаешь, что это глупости? Английский корабль, как он называется?

— «Полиольбион». Но при чем тут...

— А должен был бы называться «Коварный Полиольбион» *. Здесь есть прекрасные историки, которые, уверяю тебя, относятся к своему делу гораздо серьезнее, чем их коллеги из Коварного Полиольбиона. Они разобрались в истории моего предка, убитого за веру. Они сказали, что я этого никогда не сумею забыть, и могу поклясться, они правы. Твоя утопающая в цветах — чтоб ей пусто было! — промозглая страна живет по принципу «что прошло, то прошло». А для меня он живой, я — плоть от плоти его, я вижу, как его лижут языки пламени, как он вопит от боли, а вокруг — гогочущая толпа. И ты хочешь, чтобы я об этом забыл, чтобы я сказал, мол, конечно, это была ошибочка, но, право, не стоит ссориться, господа, пожмем друг другу руки, отправимся-ка в ближайший паб и выпьем тепленького английского пивка с шапкой пены!

— Но так и есть, Роупер! Мы не должны ворошить прошлое. Надо избавиться от этого груза. Что мы сможем сделать, если все время будем тащить на хребте своих мертвецов?

— Жертвы истории ей не принадлежат. Часы Эдварда Роупера остановились без двух минут четыре. В тысяча пятьсот пятьдесят восьмом году. Сгорая, великомученики зажигают в людях огонь надежды. Возможно, этот несчастный и заблуждался, но в жизни, а не в мечтах. Ведь мечтал он о всемирном единении, о людях, избавленных от грехов. Он предвидел, что Европа расколется на множество государств, маленьких, нечестивых, ощетинившихся друг на друга; он предугадал все: ростовщиков, капитализм, опустошительные войны. Ему виделись широкие горизонты.

— Уж не русские ли степи?

— Смейся сколько угодно. Ты всю жизнь только и делаешь, что смеешься. Никогда у тебя не было ни одной серьезной мысли. Потому-то ты душой и телом предан подлецам-англичанам.

— Я сам подлец-англичанин. И ты тоже.— Хильер вздрогнул.— Что это за шум?

— Дождь, обыкновенный дождь. Здесь не моросит английский дождичек, не выглядывает худосочное английское солнышко. Здесь все с размахом.

Дождь колошматил по крыше революционными кулаками.

— Прекрасная погода,— сказал Хильер.— Идеальная для побега.

— Вот, вот... Капиталистические интриги, засады, шпионы, войны. Пистолеты и погони. Накладные бороды. Здесь я занимаюсь покорением космоса, а кому это нужно на Западе? Никому! Пыталась когда-нибудь Англия запустить человека в космос? Так что не смеши меня,— закончил Роупер угрюмо.

— Мы не можем себе этого позволить,— крикнул Хильер в ответ.

Дождь сделался просто оглушительным.

— Согласен! — крикнул Роупер. Выглядел он значительно лучше, словно только и ждал дождя.— Но зато вы можете себе позволить состоять в паскудном НАТО, строить баллистические ракеты, засылать шпионов... Вот, читай! — Он пошарил за пазухой и извлек оттуда изогнутую фотокопию какого-то документа.— Как только меня одолевают сомнения, вспоминаются зеленые луга — будь они неладны! — и английские солдаты, нянчащие детишек, и то, что у вас называется законностью, демократией и игрой по правилам; как только я вспоминаю палату общин, Шекспира, собачек королевы,— я перечитываю этот документ. На, прочти, прочти!

— Послушай, Роупер, у нас нет времени.

— Читай, иначе я закричу, и тебя схватят.

— Ты и так кричишь. Сегодня русский дождь работает на меня. Ну, что там у тебя?

— Выдержка из книги Хирна «Страстотерпцы Британии». Я и не слышал никогда об этом исследовании. А у них, в Москве, оно, оказывается, имеется. Читай:

«Эдварда Роупера привезли на рыночную площадь на телеге,— начал читать Хильер.— Там собралась огромная толпа, в которой было немало детей, приведенных родителями поглазеть на кровавое, огненное зрелище. На Роупере была только рубашка, короткие штаны и рейтузы. При его появлении народ принялся кричать: «Смерть негодяю!», «Богохульник!», «Смерть еретику!», «В огонь его!» Роупер улыбнулся и поклонился, но это было воспринято как издевка и лишь сильнее разожгло ненависть толпы. Вокруг столба, к которому должны были привязать Роупера, мужчины сваливали хворост; займется он быстро, поскольку последние несколько дней стояла сухая погода. Когда Роупера — по-прежнему улыбающегося — стали подталкивать к столбу, все вдруг услышали его ясный, спокойный голос: «Раз уж мне не суждено уйти от своей судьбы, то я приму ее безо всякого грубого принуждения. Не дотрагивайтесь до меня». Не понукаемый палачами, он твердыми шагами приблизился к столбу, ветви древа Христова. Перед тем как его стали привязывать, Роупер выхватил из-под рубашки алую розу и воскликнул: «Не желаю, чтобы эта эмблема Ее Величества и всей Ее династии * погибла вместе со мной. Я молюсь за то, чтобы ни королеву, ни ее род, ни ее подданных — как бы они ни заблуждались, как бы ни отворачивались от священного света истины — не постигла моя участь». Сказав это, Роупер бросил пышную июньскую розу в толпу. Зрители застыли в замешательстве. Хотя роза и лежала на груди еретика и предателя, но разодрать ее было бы lèse-majesté[51]. Каждый, стараясь поскорее избавиться от цветка, передавал его соседу, так что он целым и невредимым быстро достиг дальнего конца толпы, где и исчез; говорят, этот символ страстотерпения кто-то засушил между страницами требника, но следы его с течением лет затерялись. Перед тем как бросить горящую головню в хворост, Роупера спросили, не хочет ли он покаяться перед Богом. Он ответил: «Взгляните, как сливается этот огонь с лучами солнца. Грустно, что я его больше не увижу, но я верю: пройдя сквозь испепеляющее пламя, я сольюсь с солнцем, еще более величественным, чем это. И я молюсь за то время, когда, повинуясь Божественной воле, королева и все ее подданные возвратятся к истинной вере, свидетелем которой — грешным, ничтожным, но непоколебимым — я являюсь». В это мгновенье солнце скрылось за тучами, и кое-кто в толпе испуганно принял это за дурное предзнаменование. Но едва солнце опять показалось, глумление и насмешки возобновились. Роупер, привязанный, словно медведь, к столбу, весело воскликнул: «Где же ваш огонь? Если вам суждено будет услышать крики, знайте: то кричит не душа, но тело. Я молю у него прощения, я сострадаю своему бедному телу, как, должно быть, распятый Христос сострадал своему. И да осенит пламя славою истинное свидетельство моей веры. Да благословит вас всех Господь». Он затих в молитве. Вспыхнул хворост, толпа ахнула и разразилась проклятьями, в которых потонул редкий детский плач. Сухой хворост прогорел почти мгновенно, пламя лизнуло поленья и коснулось тела Эдварда Роупера. Послышался отчаянный вопль — это загорелась его одежда, за ней — кожа, за ней — плоть. Вскоре сквозь пламя и клубы дыма люди увидели, как его обезображенная, окруженная огненным нимбом голова безжизненно повисла. К счастью, вскоре все было кончено. На глазах у обливающейся потом толпы — жар шел не только от солнца, но и от костра! — обугленное тело и внутренности (и

---

[51] Оскорблением величества *(франц.)*.

среди них — огромное сердце) рухнули и зашипели, поджариваясь на углях; на глазах у толпы палач раздробил скелет Роупера. Затем все разошлись, кто — по домам, кто — по делам, и те, чьи крики были громче других, брели теперь в глубоком молчании. Возможно, то были первые всходы мучений страстотерпца, свидетеля истинной веры».

Хильер поднял глаза, все еще находясь под впечатлением прочитанного.

— Ни один русский дождь не погасит этого пламени,— сказал Роупер.

— Его казнили в 1558 году?

— Да, ты это прекрасно знаешь.

Дождь несколько приуныл, и кулаки барабанили по крыше уже не так неистово.

— И, похоже, казнь была летом?

— Да. Это видно из текста — роза, солнце, пот. Мерзавцы-англичане, летний день и тот испоганили.

— В таком случае ты законченный кретин! Его казнили не при Елизавете I. Она взошла на трон только в ноябре 1558 года. А твоего предка отправила на смерть Мария Кровавая. Роупер, ты полный идиот! Болван безмозглый, твой предок был протестантом!

— Неправда! Этого не может быть.

Роупер был бледен как полотно, глаз дергался, словно заведенный, и снова началось: ик-ик-ик...

— Ты называешь себя ученым, а у самого не хватило мозгов проверить факты. По-видимому, твои предки перешли в католичество сравнительно недавно, и эта история в искаженном, фальсифицированном виде стала семейной легендой. Ну и кретин же ты!

— Врешь! Где... ик-ик-ик... доказательства?

— В любом учебнике. Можешь завтра проверить, разумеется, если твои русские дружки не переписали ради тебя историю. Впрочем, не все ли равно, какая королева его казнила, протестантская или католическая? Все равно она была мерзкой, поганой англичанкой, не так ли? Ты по-прежнему можешь исходить злобой и заправлять ракеты, нацеленные на гадкий, вероломный Запад. Но тем не менее ты кретин и неуч.

— Но... ик-ик, но... ик-ик. Но они утверждают, что католицизм был бы всем хорош, если бы не его религиозное содержание. А протестанство они считают капитализмом. Но не мог же он отдать свою жизнь за капитализм. Что-то здесь не то. Врут твои учебники истории.

— Пойми, Роупер, твои дружки к каждому подбирают ключик. И к тебе нашли — вот и все. Они были уверены, что среди твоих научных изданий не найдется ни одного исторического справочника. Впрочем, для тебя и сейчас ничего не изменилось, не так ли? Ты по-прежнему с ослиным упрямством держишься за свои убеждения.

Икота у Роупера неожиданно исчезла, но тик продолжался.

— При желании ты мог бы сказать, что протестантство было первой из всех великих революций,— произнес Роупер.— Надо будет обдумать это на досуге. В какой-то книге, названия не помню, я читал что-то подобное. Там было написано, что всеобщий мир и бесклассовое общество могут появиться только в результате агонии предшествующей системы.

— Господи, я бы мог наговорить тебе чего угодно — тезис, антитезис, синтез и прочий марксистский бред. Социализм придет на смену капитализму! На смену католицизму он не придет, уверяю тебя. Так что можешь и дальше тянуть свою лямку. Эдвард Роупер по-прежнему остается жертвой исторического процесса, который не удалось остановить даже Марии Тюдор! Ладно, Роупер... Оставайся при своих убеждениях. Только не надо говорить мне об интеллектуальной честности и необходимости учета лишь неопровержимых данных. Привело тебя сюда отнюдь не желание сделать мученика из проклятого — и проклятого — Эдварда Роупера. Он явился лишь эмоциональным катализатором.

А оказался ты здесь из-за процесса, который начался с той немецкой шлюхи. Тебе требовалась вера, но ты не смог обрести ее ни в религии, ни в том, что называл своей страной. Все логично. Вполне разделяю твои чувства. И все-таки, Роупер, тебе придется последовать за мной. Таково мое задание. Последнее, но все же задание. А я всегда гордился тем, что безупречно выполняю задания.

— Браво! — донеслось со стороны двери. Они и не заметили, когда ее приоткрыли.— Я искренне сожалею, но никто ни за кем не последует. Я тоже безупречно выполняю задания.

Хильер хмуро уставился на одетого в белый плащ человека, небрежно, как бы нехотя наставившего на них пистолет с глушителем. Хильеру показалось, что он узнал его, но все-таки уверенности не было.

— Рист? — изумленно проговорил Хильер.

— Мистер Рист,— усмехнулся вошедший.— Я настаиваю на почтительном обращении. Положение стюарда куда значительней, чем вы предполагаете, мистер Хильер.

5

— Я принял вас за человека, который несет нам кофе,— укоризненно сказал Роупер.

— Был такой. Когда несешь кофе, трудно уклониться от удара. Боюсь, я стукнул его чуть сильнее, чем требовалось. Обычно считают, что у русских крепкие черепа, но при этом забывают, что Советский Союз населяют не только русские. Должно быть, среди многонационального советского населения встречаются типы со слабыми черепушками. Как бы то ни было, он заснул — возможно, навеки, кто знает? — в окружении восхитительных роз. Алых роз, мистер Роупер.

Рист улыбнулся.

— Откуда вам известно об алой розе? — спросил Роупер.

— У джентльмена по имени Теодореску — мистер Хильер его неплохо знает — имеется ксерокопия вашей автобиогрфии. Произведение это не отличается большими литературными достоинствами, однако с фактической точки зрения небезынтересно. Несмотря на страсть мистера Теодореску к коллекционированию фактов, один из них все-таки ускользнул от его внимания: он так и не узнал, кто я и что делаю на корабле. Прибирая в его каюте, я обнаружил немало интересных вещей. Что же касается вашей автобиографии, мистер Роупер, то я ксерокопировал несколько последних страниц. История мученика с красной розой за пазухой показалась мне весьма трогательной, хотя и не имеющей отношения к моей цели. Целью же было понять причины того, что мне поручено. Меня не устраивает роль бездумного исполнителя. Я всегда хочу знать, почему выбрана именно данная жертва.

— Какая еще автобиография? — спросил Хильер у Роупера.

— Мистер Хильер, я восхищаюсь вами. Любой другой на вашем месте хлопал бы сейчас глазами не в силах произнести ни звука. И точно так же я восхищаюсь мистером Теодореску. Вас обоих не так-то легко вывести из равновесия. Я полагаю, что следует выразить свое восхищение и мистером Роупером — до того, как он растянется среди алых роз. Подобно вам, мистер Хильер, он держится с большим достоинством под дулом моего пистолета. Кстати, о пистолетах. Мистер Хильер, не сочтите за труд — расстегните ваш ремень и бросьте его на пол.

— А что, если я откажусь?

— В таком случае я буду вынужден нанести довольно болезненное, хотя и не смертельное ранение нашему мистеру Роуперу. Думаю, это было бы не совсем справедливо.

Хильер расстегнул ремень, и тот скользнул на пол. Рист подтянул его ногой и, продолжая переводить пистолет с Хильера на Роупера и обратно, быстро нагнулся, вынул «Tigr» из открытой кобуры и положил его в левый карман плаща. Затем дружелюбно улыбнулся и сказал:

— А почему бы нам, собственно, не присесть? Перед тем как выполнить противное сердцу деяние, субъект деяния имеет право хотя бы на минимум комфорта, и таким же правом обладают объекты.

Хильер сел. Рист сел. Роупер и так сидел. Свободной оставалась только одна койка. Хильер внимательно смотрел на Риста. Голос Риста изменился и вполне подходил для его нынешних бесстрастных оборотов, чем-то напоминавших манеру Теодореску. Хильеру подумалось, что в разведчике всегда присутствует нечто педельское. Впрочем, аристократизм, из-за которого сходство Риста и Теодореску еще более усиливалось, отличает речь далеко не каждого педеля. Галстук воспитанника Харроу выглядел теперь довольно убедительно. Риста вполне можно было представить себе распевающим гимны вместе со своим однокашником сэром Уинстоном Черчиллем и размышляющим над тем, зачем он, Черчилль, спас Запад. Во рту у Риста виднелись зубы. Хильер подумал, что никогда еще не встречал вставных зубов, выглядевших столь естественно. Помимо того что они были разной величины, слева, возле верхних коренных, чернела дыра, нижний клык был разъеден кариесом, на верхнем резце поблескивала золотая коронка.

— Похоже, я бросал свои деньги на ветер,— сказал Хильер.

— Они вам все равно не понадобятся там, где вы окажетесь. Или вы верите в загробную жизнь? Я нередко обсуждаю эсхатологические проблемы со своими — эвфемистически выражаясь — пациентами. Большинство из них испытывает страх, иначе бы они так не причитали (а ведь причитают, поверьте, почти что все). Но не может же это быть просто страхом перед потерей жизни — ну, еще несколько кусков сёмги, ну, часок лишний понежиться на солнышке, ну, еще разок шибанет в нос шампанское, ну, можно попробовать засадить еще какой-нибудь красотке (хотя, простите, конечно, но здесь вы, кажется, даже перестарались). Наверное, большинству из нас, занимающихся международными интригами, шпионажем, скарлетпимпернелизмом *, убийствами за деньги, жизнь представляется чем-то более глубоким, нежели чредой незатейливых удовольствий (а это наиболее распространенный взгляд на жизнь).

— Я бы не отказался от кофе,— сказал Роупер.

— Искренне сожалею, что оставил вас без причастия перед путешествием. Было бы несправедливо еще и лишать мистера Хильера наслаждения, которое он испытывает от своих омерзительных бразильских сигар. Закуривайте, мистер Хильер, и еще раз продемонстрируйте отсутствие дрожи в руках. Я так не могу: когда я чувствую, что близится момент истины, меня охватывает трепет.

Хильер с благодарностью затянулся. Дождь затих. Хильер ощущал удивительный душевный покой, хотя жалеть ему было о чем (и о ком; главным образом — о Кларе). Если его и убьют, то не сейчас — слишком сладостными были эти мгновения, слишком далекими сделались, наконец, все его заботы; тянулись секунды, капал мед его жизни, чудное золото чистого бытия. Он взглянул на Риста чуть ли не с нежностью. Ну, конечно же, что-то произойдет, и все образуется, всегда так было. Сам никогда не умираешь, смерть — удел других, по ней как раз и проходит граница, делающая их «другими».

— Мистер Хильер, не стоит понапрасну уповать на то, что в последнюю минуту вас кто-нибудь спасет, очень прошу вас расстаться с этими обнадеживающими и, если угодно, безнадежными мыслями. Ни один из трех охранников уже никогда никому не поможет. Научная пирушка в отеле в самом разгаре, они сейчас пляшут гопака и обсуждают, не стоит ли пригласить горничных разделить общее веселье. Насколько я понимаю, доктор Роупер, у них действительно есть чему радоваться?

— Крупнейшее открытие, связанное с «Планом Бета»,— промямлил Роупер.— Послушайте, у меня есть полное право знать, что здесь

происходит. То же самое,— добавил он после некоторого раздумья,— относится и к мистеру Хильеру.

— Вы правы, это право у вас имеется. Я здесь для того, чтобы убить вас обоих. При этом, хочу подчеркнуть это особо, я лично не имею к вам совершенно никаких претензий. Как уже было сказано, я — агент или, если воспользоваться одним из мифов вашей общей религии, ангел. Ангел смерти. Я убиваю людей за деньги, но меня неизменно интересует, почему (шекспировская деталь, специально для вас) выбор пал именно на данного человека. Это меня весьма интригует. Итак, мистер Роупер, ваша смерть — всего лишь довесок к смерти мистера Хильера. Мое основное задание — это убить мистера Хильера. Заплатили мне не в рублях и не в долларах — в фунтах, надежных, хрустящих фунтах. Они и сейчас при мне. И вы не догадываетесь, мистер Хильер, кто мне заплатил?

— Как я могу догадаться?

— Можете, но не желаете. Это открытие было бы для вас слишком чудовищным. Но близится момент истины, и что делать, если для вас, мистер Хильер, она оказалась горькой. Вас предали те, кому вы отдали всего себя, те, ради кого вы терпели, когда вас уродовали, резали, прижигали. Это ваше S, какая жестокость! Уж я-то знаю, я на Сосиса работал. Весь он в этом! Впрочем, за вас, помнится, неплохо отомстили. У меня стало на одного работодателя меньше. Хотя, как сказать,— свято место пусто не бывает. От Гримольда уже поступали заманчивые предложения. Игра продолжается.

Хильер почувствовал, что его начинает подташнивать.

— Вы хотите сказать, что заявку на мою ликвидацию вы получили от моих же коллег?

— Я лично ничего не получал. Заказ был отправлен в наше агентство, в «Панлету». Прекрасное название, не правда ли? И замечательно подходит для рекламы: «Панлета» поглотит ваших врагов!» Изучив данное дело, я не могу сказать, чтобы желание ваших бывших друзей избавиться от вас свидетельствовало об их глупости или неблагодарности. Я даже думаю, что вам был предоставлен шанс спастись. Разумеется, я прочел письмо, которое передал вам после того, как в Венеции вы взошли на борт «Полиольбиона». Я не стал утруждать себя его расшифровкой, но догадаться о содержании не составляло труда. Они просили прощения за то, что должно случиться. Где-то в Англии крепко спят сейчас несколько джентльменов — сей благородный поступок избавил их от угрызений совести. Вам бы следовало все свое время посвятить расшифровке письма, вы же вместо этого решили, так сказать, кутнуть. Как выясняется, в последний раз. Оказалось, вы были правы, ведь я бы все равно до вас добрался, не здесь, так в другом месте. Вы же напоследок отрезали себе увесистый кусок жизни. И это еще мягко сказано, дьявол меня дери, сэр,— добавил Рист голосом стюарда, после чего снова превратился в выпускника Харроу.

— Так что благодарите судьбу.

— Но я так и не понял причину,— произнес покрытый испариной Хильер.

— А я, кажется, догадался,— сказал Роупер.— Ты слишком много знаешь.

— «Слишком» по сравнению с кем?

— Странно, что вы еще не поняли,— сказал Рист.— По сравнению с человеком, которому могут разрешить выйти в отставку. Мистер Роупер совершенно прав. Мне кажется, что вы уже успели продать Теодореску кое-какую информацию. Я о деньгах, которыми вы пытались прикрыть свою наготу,— неужели вы считаете, что я поверил в это нелепое пари! Между прочим, щедрые чаевые только подтверждали, что вас мучили угрызения совести. Так что останься вы в живых, непременно продали бы или разболтали еще что-нибудь. То, что вы получили католическое воспитание, всегда работало против вас. Конечно, вы порвали

с церковью, но кто поручится, что, выйдя в отставку, вы не вернетесь в ее лоно? Чем не развлечение на старости лет? Как и мистеру Роуперу, прежние идеалы всегда мешали вам до конца принять те, что пришли им на смену. Вы никогда не были полностью патриотом. Добавьте к этому вашу всем известную чувственность — тоже своего рода эрзац веры,— и вы сами поймете, что имелись более чем веские основания для вашей бесшумной и весьма прискорбной ликвидации. Не так ли, мистер Хильер? Поставьте себя на место британских джентльменов, единственной заботой которых — разумеется, когда они не находятся на площадке для гольфа — является обеспечение безопасности страны.

Хильер выглядел скорее заинтригованным, чем испуганным. Он не скрывал своего восхищения стройностью приведенной Ристом системы доводов.

— Но при чем здесь я? — спросил Роупер.

— Я же уже сказал, что ваша жизнь — всего лишь довесок. По вполне понятным причинам было решено, что лучше, если мистер Хильер найдет свое последнее успокоение на советской территории. Вы, мистер Роупер, никогда не рассматривались иначе, чем предлог для того, чтобы послать сюда мистера Хильера. Понимаю, вам больно это слышать. Но не стройте иллюзий: вы совершенно не нужны Англии, меня уверили в этом на самом высоком уровне.

Несмотря на недавние инвективы в адрес страны, казнившей его предка, Роупер с трудом сдерживал свое негодование.

— Я так не считаю,— сказал он.

— И напрасно. Подумайте сами: пик вашей научной деятельности уже позади. Ученые ведь, как поэты,— рано расцветают, рано увядают. Англии требуются молодые ученые. Избитый детективный сюжет о седом гении, которого тайно переправляют через границу, не имеет ничего общего с действительностью. Да и русским вы нужны скорее как символ. Британия гораздо больше озабочена не тем, как заполучить вас обратно, а как бы переманить на Запад Алексеева.

— Алексеева? Этого сосунка?

— Именно сосунки и требуются,— сказал Рист. Последняя фраза в сочетании с бесстрастностью тона прозвучала в его устах так, словно речь шла о жертвоприношении. Сцена приобретала ритуальный характер.— А что касается моральной оценки вашего бегства, то головы предателя Роупера требует лишь ничтожная кучка парламентских крикунов. Если судить вас за измену, то на страницы газет выплеснется слишком много дерьма. Дерьмо же надо зарывать, а не размазывать.

Роупер побагровел.

— Какое еще дерьмо? — спросил Роупер.

— В детали я не вдавался,— ответил Рист,— но в той части автобиографии, которую я прочел...

— Где этот подонок раздобыл ее? — негодующе воскликнул Роупер.— Этот ваш Тео... как его?

Рист пожал плечами.

— По всей видимости, рядом с вами работает двойной агент. Лаборант, уборщица или еще кто-нибудь. Он продал ксерокопию уже завершенных глав человеку, который продал ее другому человеку, тот продал ее третьему, который, в свою очередь, продал ее мистеру Теодореску. Ведь мистер Теодореску — прорва, втягивающая любую информацию. Что же касается первого машинописного экземпляра или любого из последующих, то они никому не нужны, за исключением разве какого-нибудь литератора. За что еще могут заплатить, так это за рукопись. Впрочем, исследователю побудительных мотивов людских поступков или историку, изучающему генезис предательства, ваша автобиография покажется небезынтересной. Беда в том, что написать ее может любой,— ничего, помимо известного воображения, для этого не требуется. Кстати, ваш рассказ прервался — не от страха ли? — на поро-

ге действительно любопытных признаний. Меня же интересует, зачем вы вообще взялись за перо.

— Мне предложили изложить на бумаге некоторые мои мысли,— пробормотал Роупер.— Я решил попробовать, тем более что сам хотел кое-что для себя уяснить. Но вы так и не сказали почему...

— Мне кажется, все совершенно ясно. Видите ли, мистер Роупер, мой клиент...

— Послушайте, мне осточертело ваше идиотское «мистер». Я — доктор Роупер, понятно? Доктор, доктор, доктор!

Это напоминало стоический вопль из классической драмы: «Я все еще герцогиня Амальфи!» *

— Увы, мистер Роупер, вас лишили докторского звания. Об этом было публично объявлено, но, насколько я понимаю, вас просто не поставили в известность. Ученый совет вашего университета объявил, что обнаружены доказательства плагиата.

— Это гнусная ложь!

— Возможно. Но национальные интересы требовали представить вас мошенником и шарлатаном. Британская общественность могла спать спокойно — стоит ли обращать внимание на то, что к русским переметнулся какой-то проходимец? «Дейли уоркер» не информировала своих читателей о лишении вас докторского звания, и, разумеется, об этом не сообщалось в «Правде». Неудивительно, что вам ничего не известно.

— Мне тоже,— сказал Хильер.— То, что вы говорите, становится все более подозрительным.

— Как вам будет угодно. Но вы, мистер Хильер, перестали поспевать за быстротекущими событиями задолго до того, как подали рапорт об отставке. Ваше чтение ограничивалось строчками меню и родинками на животах у шлюх. Впрочем, это не столь важно. То, что я скажу сейчас, гораздо важнее. Один из министров кабинета был крайне взволнован, услышав во время званого обеда в Олбани * о том, что вас, мистер Роупер, собираются насильно вернуть домой. О вашей автобиографии он ничего не знал. Из этого я заключил, что он опасался, как бы во время суда не всплыли компрометирующие его факты. Я догадываюсь, чего он боится. Если бы вы не прервали свою автобиографию, я бы сейчас знал наверняка, какую роль в вашей жизни играла эта важная особа. И все же можно не сомневаться, что, коль скоро дело принимало личный оборот, ему требовалось обезопасить себя от вашего возвращения в Англию. Он и раньше прибегал к услугам «Панлеты». Это было связано с организацией отставки предыдущего правительства. Правительственное большинство в парламенте ограничивалось всего двумя голосами; между тем у одного из депутатов от малозначительного избирательного округа пошаливало сердце. Усилиями «Панлеты» у него началось обострение, и весьма скоро болезнь завершилась безвременной кончиной. Так вот, мистер Роупер, когда вашему недоброжелателю под большим секретом сообщили, что вы вскоре окажетесь в Англии, он снова обратился в «Панлету». Таким образом, оба моих задания никак между собой не связаны и лишь по чистой случайности будут выполнены в одном и том же месте. Агентство «Панлета» дорожит своей репутацией и заботится об удобстве клиентов. К тому же оно берет себе только десять процентов комиссионных, остальное достается исполнителю.

— Значит, вы не собираетесь выполнять второе задание? — повеселев, спросил Роупер.— После того как вы убьете Хильера, он не сможет доставить меня...

Роупер чуть не сказал «домой».

Рист печально покачал головой.

— Нет, так не пойдет.

— Но ведь вам уже заплатили,— сказал Хильер.— Вы сами сказали. Следовательно, можно вообще никого не убивать.

— Я получил только часть денег,— сказал Рист.— К примеру, вы, мистер Хильер, в начале путешествия заплатили мне часть денег и, как я понял, собирались в конце заплатить еще. С моими двумя заданиями — то же самое. Но перед тем как мне выплатят недостающую сумму — причем это в равной степени касается Департамента X и мистера Y,— я должен представить доказательства успешного выполнения задания. Обычно я привожу с собой палец...

— Палец?!

— Да. Чтобы проверили отпечаток. Отпечатки пальцев большинства моих пациентов известны. Разведчики, знаменитые ученые и тому подобное — на всех на них заведены досье. Странно: как только на вас заводится досье, к вам начинают относиться, как к потенциальному преступнику. И угроза такого наказания,— он покачал пистолетом,— висит над каждым. Когда вы докурите сигару, мистер Хильер, ястреб устремится вниз.

— Вы могли бы просто отрезать нам пальцы и посчитать, что ваша миссия выполнена,— бесстрастно сказал Роупер, словно речь шла о дереве, которое следует слегка подрезать.

Рист покачал головой еще более печально, чем прежде.

— Подобно хирургу, я всегда доводил операции до конца. А провел я их немало, поверьте. Нет, джентльмены, существуют понятия профессиональной этики и профессиональной чести. Если когда-нибудь обнаружится, что вы весело разгуливаете по свету — без пальца, но при всем остальном, моей карьере придет конец. К тому же существует Инспектор.

— О, Господи,— простонал Хильер.

— Никто не знает его имени. Не думаю, что кому-нибудь удавалось его видеть, порой я даже сомневаюсь в самом его существовании. Возможно, это просто персонификация Чести. Но верить в его существование довольно удобно. Нет, джентльмены, вы делаете мне недостойные предложения.— Он вынул из внутреннего кармана изящную, обитую бархатом шкатулку и приоткрыл крышку.— Новенькая, в первый раз пользуюсь. Видите, внутри углубления для двух пальцев. А в старой помещался только один. К тому же она была такая потертая, что просто неприлично пользоваться. Один из моих коллег, человек, надо сказать, с большими претензиями, пользуется коробочкой из-под сигары, но я нахожу это вульгарным. Шкатулка, которую вы видите, изготовлена специально по моему заказу одним лондонским мастером. Я сказал, что собираюсь хранить в ней ампутированные пальцы, чем его очень рассмешил.

Хильер ничего не мог больше высосать из своей бразильской сигары. В кармане лежало еще пять — жаль, что пропадут.

— Ну что же,— сказал Хильер.

Роупер торопливо грыз ногти, словно не желая, чтобы предмет интереса Риста позорил его, Роупера, пусть даже мертвого.

— Странно,— задумчиво проговорил Рист, снимая оружие с предохранителя. Хильер посмотрел на пистолет: коль скоро интимной близости с ним не избежать, нелишне предварительно хотя бы познакомиться. Это был «Поллок 45». Видно было, что за ним любовно ухаживают. В профессионализме Ристу не откажешь, но у него имелся один существенный недостаток: личный интерес к своим жертвам. Когда-нибудь он поплатится за это жизнью.

— Странно,— повторил Рист.— Через несколько мгновений вы будете удостоены окончательного ответа. Вера в Бога может оказаться несусветной глупостью или, напротив, полностью подтвердиться. И вашим открытием не смогут воспользоваться ни архиепископ Кентерберийский, ни римский папа. Совершенно секретно! Ящик заперт. Сейф сверхнадежен. Что там — рай Кватроченто или готический ад? Почему бы и нет? Где гарантия, что наш рациональный, асептический мир есть отражение подлинной реальности? Может быть, вечным уделом станет

пылающая преисподняя с гадами и гогочущими чертями? В такие моменты я всегда взираю на свои жертвы с благоговением. Им суждено узнать нечто, единственно достойное познания. Не желаете ли вы, джентльмены, прочесть молитву?

— Нет! — отважно воскликнул Роупер.— Я в эти бредни не верю!

— Мистер Хильер?

Хильер старался не думать о Кларе. Пусть в мыслях, но он уже осквернил ее образ. Сквозь туман, клубившийся над бескрайней равниной, мимо Хильера S-образно шествовали его шлюхи и его жертвы, указывающие на него трехпалыми руками, безгубые, безносые, с огромными блестящими глазами-светильниками.

— Слова. Не более того,— пробормотал Хильер.

Он чувствовал, что покривил душой. Роупер был лучше него.

— Господи,— прошептал Хильер,— прости меня, прими покаяние во всех совершенных мною мерзостях...

— Бредни! Говно церковное! — воскликнул Роупер, по-видимому, решив, вслед за Китом Марло *, погибнуть с проклятьями на устах.— Россказни для кретинов!

— ...потому что я заслуживаю Твоего самого страшного наказания, потому что на грехах своих распял я возлюбленного Спасителя Иисуса Христа...

— Чушь! Прекрати молоть вздор! Человек умирает, и на этом все кончается.

— ...а более всего за то, что порочат они Твою безмерную благость. Клянусь, что никогда больше, укрепленный Твоей милостью, не согрешу пред Тобою...

— Гарантирую, что клятва будет исполнена,— изрек Рист.

— ...я не оскорблю Тебя.

В дверь чуть слышно постучали. У Хильера подпрыгнуло сердце. Сказано ведь кем-то (отцом Берном?): не старайтесь извлечь из молитвы сиюминутную выгоду. Рист присоединился к потоку роуперовских ругательств (впрочем, без роуперовского энтузиазма), затем сказал:

— Какая обида. Этого я не предвидел.

— Слишком много разговариваете,— сказал Хильер.— В этом ваша беда. Поменьше бы болтали, давно бы уже выполнили задание.

В голосе Хильера звучал неподдельный упрек.

— Третий,— сказал Рист.— Возможно, абсолютно невинный. Жаль. И, кстати, делаю это безвозмездно. Чистая благотворительность.

Продолжая ворчать относительно даровой работы, Рист наставил дуло пистолета на дверь и сказал:

— Войдите.

Дверь отворилась. На пороге стоял мальчишка, закутавшийся от моросящего дождя в большой, взрослый пиджак.

— Зуб даю, что это наш паршивец, мистер Всезнайка,— проговорил Рист, превратившись на мгновение в стюарда.— Мне искренне жаль, сынок, но ничего не поделаешь. Заходи.— Рист сделал приглашающий жест пистолетом.— Как ты нас отыскал?

Хильер строго посмотрел на Алана. Так, наверное, смотрит учитель на чужого ученика, вбежавшего в его класс.

— По дымку от сигары. Почти незаметному. Я вас потерял по дороге,— сказал он, виновато глядя на Хильера.— Заглянул в отель, но там все в стельку пьяные.

— Умничка,— промурлыкал Рист.— Представляю, как порадуется твоя мачеха, узнав, что ты больше не будешь путаться под ногами. Может быть, мне даже имеет смысл намекнуть на скромное вознаграждение.

— Надо же, я тоже обдумывал, как бы от нее избавиться. Похоже, эта страна располагает к убийствам. Но потом я решил, что сначала надо заняться главным. Я ведь знал, что вы такой же стюард, как и я.

— Конечно, конечно. Ты ведь у нас все знаешь, правда? Даже позы, предпочитаемые педерастами.

— А что было делать? Я не видел другого выхода. На свете еще остались мерзавцы, один из них — вы. Кстати, у вас были промахи. Вы мне говорили, что во время войны находились в австралийской тюрьме. А минуту спустя разглагольствовали об армии и о том, как, возвратясь из увольнительной, проходили врачебный осмотр. Я сразу понял, что вам нельзя доверять. Вы же за все требовали деньги.

— Сегодня я работаю бесплатно,— сказал Рист.— Вытащи-ка руки из-под своего пиджачка и стань рядом с этой парочкой. Закрой глазки. Прочти свою детскую молитвочку. Ты будешь первым, а потом уже джентльмены. Так сказать, на закуску. Antipasto, как называют это итальянцы. Теодореску бы понравилось. Давай, малыш, мы и так потеряли много времени.

— Нейтрал проклятый! — воскликнул Алан.— Отправляйся туда, где всем вам, нейтралам, место!

Из пиджака вырвалось тусклое пламя, оставив в нем дымящееся отверстие. Что-то хрустнуло, Рист схватился за запястье, из которого хлестнула кровь. Почти со слезами на глазах он смотрел, как пальцы его выпускают пистолет и тот бесшумно падает на койку. Рука Алана вынырнула из-под пиджака, в ней дымился «Айкен» с глушителем.

— Получай! — крикнул он, целясь сквозь дым, отдававший копченым беконом.

Лицо Риста сделалось изумленно-обиженным. Алан целился в нос, но пуля вошла в правый глаз. Глаз выпрыгнул и повис на канатике, что напоминало сюрреалистический кадр *. Какое-то мгновение еще не наполнившаяся кровью глазница зияла пустотой, затем лицо исчезло под кровавым потоком, низвергавшимся на падающее тело. Губы — уже независимо от развороченного мозга — искривились в изумленном вопле. Пальцы левой руки вцепились в край койки, словно крысы, спасающиеся во время кораблекрушения. Тело Риста опускалось грузно, медленно, как будто пытаясь растянуть последние мгновения. Из треснувших брюк послышалось бульканье. Вместо Риста на полу валялся неодушевленный предмет.

— Меня сейчас вырвет,— сказал Алан.— Должно же хоть кого-то вырвать.

Он стал в угол, словно напроказивший мальчуган. Плечи его подпрыгнули — Алан пытался извергнуть из себя весь современный мир.

6

Роупера передернуло.

— Все как и тогда,— сказал он, задумчиво разглядывая валявшиеся на полу остатки портновских стараний и претензий на принадлежность к Харроу. Хильер понимал, что сейчас вспомнилось Роуперу.— Никогда не переведутся желающие превратить мир в мясорубку.

Он говорил не об Алане. На мальчика Роупер поглядывал удивленно и чуть ли не с симпатией.

— Выйди на свежий воздух,— посоветовал Хильер Алану.— Поблагодарить тебя мы еще успеем. Пока что ограничусь простым «спасибо». Выйди, глотни свежего воздуха.

Алан кивнул — улучив момент между бесплодными спазмами — и подошел к двери. Бросив курящийся «Айкен» на койку, он вытер руки, будто касался не орудия убийства, а самого убитого. Алан отворил дверь, и они услышали пьяное пение и звон разбиваемых бокалов.

— Нам нельзя терять ни минуты,— сказал Хильер, когда дверь за Аланом закрылась.

— Нам? Что значит «нам»? Я тут ни при чем.

— Неужели? А кто мне голову морочил? Страстотерпец, розы! — а, оказывается, дело совсем в другом. Что это еще за история с минист-

рами? Ладно, и без тебя все выясню. А пока помоги стянуть с него брюки.

— Значит, он выдавал себя за стюарда? — спросил Роупер, не двигаясь с места.— Поди догадайся... Вот так: тебе приветливо улыбаются, прислуживают, перед тобой расшаркиваются, а на самом деле только и ждут, как бы всадить в тебя пулю. Ик-ик,— это Хильер обнажил левое плечо Риста.— Бррр,— Роупер поморщился,— какого черта... ик-ик-ик... ты это делаешь?

— Я выхожу из игры. Все, кончено. Навсегда.— Он вынул из кармана перочинный нож, глубоко воткнул его в безучастное плечо Риста и вырезал букву S. Затем разжег бразильскую сигару — первую из посмертных! — и блаженно затянулся.

— Не оскверняй труп. Requiescat in pace [52]. Он уже за все заплатил.

— Не совсем.— Хильер несколько раз глубоко затянулся, пока на кончике сигары не заалел раскаленный уголек.— Не совсем то, что требуется, но сойдет.

К еще не выветрившемуся запаху копченого бекона примешался еще более сильный мясной аромат.

— Да на кой дьявол... ик-ик!..

— Вечером, когда мы окажемся в нашей L-образной каюте, ты сам все поймешь.

— Никуда я не поеду. Какого рожна мне ехать! А ты-то, ты-то куда собрался?

Хильер промолчал.

— Да, я не подумал... Как-то не до того было...— Сигара чуть тлела.— Господи, нет... Получается, мы с тобой оба изгнанники.— Он глубоко затянулся и стал по-дирижерски ритмично выпускать дым.

— Нет, я — дома,— сказал Роупер.— Я живу здесь, в Советском Союзе. Почему это я изгнанник? — Он закашлялся от табачного дыма с привкусом жженого мяса.— А вот тебе действительно не позавидуешь.

Хильер взглянул на себя сверху, с деревянного потолка — вот он, в ворованной советской милицейской форме, выжигающий «S» на трупе с обезображенным лицом; его уже поджидают в Саутгемптоне и в лондонском аэропорту — пальчик-то по назначению не прибыл.

— Дом там, где пылятся твои вещи,— проговорил Роупер,— где приходится шарить по ящикам в поисках чего-то нужного, где официант в соседнем кафе здоровается с тобой по имени. И, конечно же, где тебя ждет работа.

— И женщина. Жена или дочь, а то и обе вместе.

— Нет, это я из своей жизни вычеркнул. Я хочу сказать — в том, прежнем смысле. В нашем институте работают симпатичные девчата. Мы иногда устраиваем вечеринки, выпиваем, танцуем. Больше мне ничего не надо.

Хильер закончил прижигание и сдунул обожженные обрезки кожи и волоски. Кряхтя от натуги, он, без помощи со стороны Роупера, с отвращением натянул брюки на Риста и защелкнул подтяжки.

— Плащ пригодится,— сказал Хильер.

— Мало того что осквернил труп, еще и раздел его. Грязная, однако, у тебя работа, Хильер. Не то что моя.

— Посмотрим-ка...— Хильер вынул из внутреннего кармана Риста туго набитый бумажник. Он подумал, что, в конце концов, имеет на это право. Фунты, его собственные доллары, рубли.— Гляди: рубли,— показал он Роуперу.— Кстати, не надо надеяться, будто дома ты в безопасности. Откуда у тебя уверенность, что Рист не работал на Советы так же, как работал на ублюдков, которых я называл своими друзьями? Ученый-перебежчик застрелен в тот день, когда к причалу пришвартован британский корабль. Последнее время ты читаешь Библию.

---

[52] Да почиет в мире *(лат.)* — заключительная формула католической заупокойной молитвы; обычная надгробная надпись.

Может быть, они почувствовали, что ты собираешься вернуться в лоно церкви.

— Никогда! Какая чушь!

— Кто может поручиться за будущее? Да просто за завтрашний день? Кто, например, ожидал от меня раскаяния!

— Мне, по крайней мере, было за тебя стыдно,— сказал Роупер.

— Может быть, через пару дней и ты замараешь свое строго научное мировоззрение христианскими сантиментами. Или с формулами под мышкой сбежишь из России, чтобы приложиться к туфле римского папы.

— Послушай,— вскипел Роупер,— подозревать можно кого угодно и в чем угодно. Ты понял? Я ничем не отличаюсь от тех алкашей. Да, с этим приходится мириться, но то же самое происходит повсюду. И твоя паршивая Англия не исключение. Кстати, то, что он говорил,— Роупер кивнул на Риста — обезображенного, изрезанного, обчищенного,— сущая правда. Когда я еще был в Англии, этот ублюдок по-настоящему за мной охотился. Здесь он не врал. Что же касается того, что я слишком стар и лишен диплома, то это, конечно, чушь, но про ублюдка он не врал. А теперь я пойду к себе в номер и хорошенько высплюсь. Наверное, придется принять пару таблеток. Я жив, здоров, и это главное.

— Еще немного, и о тебе можно было бы сказать нечто прямо противоположное.

— О тебе тоже.— Роупер улыбнулся, впервые за весь вечер.— Бедняга Хильер. Ну и попал ты в переплет! На вот, держи, может, пригодится. Всех там сразишь одним ударом.— Роупер достал из внутреннего кармана пачку измятых листов, испещренных синими каракулями.— Глава, над которой я сейчас работаю. Но теперь я уже вряд ли продолжу эту затею с мемуарами. Они свою роль выполнили: пока писал, многое для себя уяснил. Не знаю, куда ты направишься, но чтением на дорогу я тебя обеспечил. Кстати, куда ты все-таки двинешься?

— Сначала в Стамбул, а потом посмотрим. К тому же мне надо там кое с кем увидеться.— Хильер взял рукопись.— Так и норовишь подсунуть мне какое-нибудь чтиво! Я тоже мог бы дать тебе кое-что почитать, я ведь привез для тебя письма. Но все это уже из другой жизни. Ладно, нам надо побыстрее сматываться.

— Здорово, что повидались. Столько лет прошло... Знаешь, при желании ты мог бы...— Роупер замялся,— остаться здесь. Думаю, тебе бы нашли применение.

— Нет, все кончено. Я выхожу из игры. Мне разонравилась новейшая история.

— Есть в ней и кое-что интересное.— Роупер кивнул на потолок.— Скажем, космонавтика. Мы вот-вот доберемся до Луны.

— До этой пустой позеленевшей сырной головки? Скатертью дорога!

Дверь распахнулась, и вбежал Алан, с лицом, напоминавшим Луну в представлении Хильера.

— Там ползает что-то хрипучее! Прямо за мной карабкалось.

Роупер схватил с койки «Айкен».

— Твой друг решил удалиться от дел,— сказал он Алану,— так что теперь моя очередь действовать.

Он смело шагнул в ночь, пропитанную ароматами — нет, не новейшей истории, а не обсохших после дождя цветов.

Хильер взглянул на Алана. Еще недавно бесившее его нахальное отродье сейчас вызывало жалость и даже любовь — отсвет другой любви. Может, по-отцовски обнять его, приголубить?

— Я догадываюсь, что там ползает,— сказал Хильер.— Не бойся. Да, втянул я тебя в историю... Наверное, когда садился на корабль в Саутгемптоне, тебе такое и присниться не могло. Я готов извиниться.

— В голове не укладывается... Просто в голове не укладывается...

Хильер помрачнел, представив себе Теодореску, с вожделением разглядывающего мальчика.

— Ты не устоял перед соблазном этого мира.— Хильера передернуло, когда он вообразил, как похотливо сопящая туша Теодореску покрывает хрупкое юное тело.— Должно быть, тебе ужасно хотелось заполучить этот пистолет.

— Клянусь, я не знал, что он ваш. Я просто собирался ее припугнуть.

— В переполненном обеденном зале?

— Нет, я надеялся улучить момент, когда она останется одна. Все это было так глупо... так глупо...

Алан всхлипнул. Хильер обнял его за плечи.

— Я позабочусь о тебе. Теперь я за вас отвечаю. За обоих.

Снаружи послышался голос Роупера. Приговаривая на своем ломаном русском, он, похоже, кого-то волочил по траве, Хильер поспешил на помощь. Это был недобитый Ристом комитетчик. Его слипшиеся от крови, засохшие волосы напоминали ермолку. К мокрому мундиру прилипло несколько розовых лепестков.

— Escho odin,— проговорил Роупер тяжело дыша.

Морщась от боли, ничего не понимающий комитетчик обводил их мутным взором. Челюсть у него отвисла. Он напоминал продавца, незаслуженно обвиненного в обмане покупателя. Что касается лица Риста, то оно еще было наполовину узнаваемо. От этой половины следовало избавиться. Может, поручить Роуперу? Хильеру требовался обезображенный до неузнаваемости человек с выжженным тавром. Комитетчика тянуло на пол.

— Бегите,— сказал Роупер.— Я обо всем позабочусь. Да, Верещагину с Васнецовым теперь не позавидуешь! Тоже мне гэбэшники — пьяны в стельку! Ох, и достанется им за эту бойню! А я вас прикрою. В конце концов, англичанин я или нет? Мы им еще покажем!

— Ну, что я говорил! — воскликнул Хильер.— Передо мною снова старина Роупер.

— Минутная слабость. Кто из нас без греха? Тут на симпозиум один тип приехал, так он утверждает, что москвич не стоит и подметки украинца. Ладно, давайте-ка за дело.

— Я стянул пиджак у человека, спавшего в холле,— сказал Алан.— Не могли бы вы его вернуть?

Роупер взял пиджак и достал из его внутреннего кармана несколько старых мятых конвертов.

— Пиджак Врубеля,— усмехнулся Роупер.— Веселенькая будет история. Но на Врубеля мне плевать.

— Надо успеть на трамвай,— сказал Хильер. Его мундир распирало от паспортов и денег.— Надеюсь, после нашего ухода ты все доделаешь...— Жест Хильера означал coup de grâce[53]. Роупер, кажется, его понял.

— Будем считать, что этим ты отомстишь и за меня,— добавил Хильер.

Роупер нехотя возвратил Хильеру «Айкен».

— Хорошая штуковина. Но, кажется, ты больше не собираешься ею пользоваться?

— Какой же ты ученый, если полагаешься на то, что тебе кажется? Нет, есть еще одно, последнее, дело. Лично мое.

— Ну что ж, рад был повидаться,— сказал Роупер так, будто Хильер жил где-то рядом и запросто заглянул вечерком, чтобы по-соседски разделить возлияния, страхи, угрозы и убийства.— Молодец,— сказал он Алану, словно ребенку, который тихонько пристроившись в уголке с пирожным и лимонадом, весь вечер никому не мешал, и с улыбкой добавил: — Прощайте.

---

[53] Смертельный, добивающий удар *(франц.)*.

Хильер и Алан еще не успели спуститься по извилистой тропинке, когда позади раздался еле слышный, приглушенный выстрел. Риста больше не было, был человек с выжженной буквой S. Алан вздрогнул. Хильер, пытаясь улыбнуться, сказал:

— Представь себя героем романа Конрада *. Наверное, он бы написал так: «Боже милостивый! — подумал я.— Что за восхитительное приключение! И я, мальчишка, оказался вдруг в гуще событий!»

— Да,— сказал Алан,— действительно, мальчишка. Но быстро превращающийся во взрослого.

Впереди сверкнула искрящаяся трамвайная дуга, и сквозь шорох моря и перекаты гальки Хильер услышал знакомый лязг.

— Боже милостивый! — воскликнул Хильер, но вспомнился ему не Конрад, а тот вечер в Брадкастере, когда они с Роупером бежали после кино к остановке, боясь, что не успеют на последний трамвай.— Только бы успеть!

Запыхавшиеся, они подбежали к остановке и вскочили в отъезжавший трамвай. Однако у Хильера хватило сил застонать, когда он увидел, кто сидит напротив.

— А, снова вы! Наверное, думаете, чего это я ушел так рано с работы. Можете меня подозревать, если хотите, но все знают, что я себя неважно почувствовал. Нечего было мне угрожать! Значит, только и поймали что мальчишку. Конечно, дело нехитрое: притащи ребенка в милицию — сразу расколется.

— Что он там про меня говорит? — испуганно спросил Алан.

— Все нормально, не волнуйся,— ответил Хильер и, повернувшись к русскому, рявкнул: — Molchat!

— Все, что можете сказать, да? Небось пацану-то не скажете molchi, наоборот, заставите говорить. Ну и что, про меня ему сказать нечего — я его в первый раз вижу. Надо было по верхам поскрести — директора, мэтра, всю эту банду. Все, молчок, опять разболтался.

Он достал все тот же измятый «Советский спорт» и принялся рассматривать фотографию женской сборной по легкой атлетике. Трамвай выехал на бульвар, и Хильер с Аланом приготовились сходить, повар же проворчал напоследок:

— Samozvanyets!

— Он вас обозвал? — спросил Алан.

— Да, тем же словом, что и ты тогда в баре. Помнишь, когда обнаружил, что я ничего не смыслю в пишущих машинках. Нет, лучше уж быть нейтралом.

— Перестаньте!

— Так, снимаем фуражку, надеваем плащ. Еще немного — и я уже не самозванец!

По влажному асфальту быстро шли в сторону портовых ворот мальчик и мужчина с непокрытой головой, в сапогах и белом плаще. Тишину, которую нарушало лишь воркование матросов и их подружек, внезапно пронзили крики и натужное тарахтенье старого мотора. С ними поравнялся (и даже умудрился обогнать) переполненный серый автобус, утопавший в клубах дыма.

— Наши,— сказал Алан, поежившись.— Пожрали, значит. И эта сука с ними.

— Коли так, надо опять пробежаться. Она не должна оказаться на корабле раньше нас.

— Почему?

— Потерпи — увидишь,— выдохнул на бегу Хильер.

Когда они подбежали к воротам, пассажиры с переполненными желудками уже выходили из автобуса. Кто-то сказал: «Предупреждал ведь — не ешь столько инжира»,— и подал руку спускавшейся даме (не миссис Уолтерс), которой, судя по цвету лица, было изрядно не по себе. От гогочущих туристов несло водкой.

— Вон она, последняя,— сказал Алан.— И кобель белобрысый тут как тут.

Они вклинились в толпу размахивавших паспортами туристов. Хильер никак не мог отдышаться. Скоро все кончится — лицемерие, коварство, предательства; ему уже виделись сад, погожее, чуть подернутое туманной дымкой осеннее солнце, и он сам — откинувшись в кресле, попыхивает мягкой сигарой. Он полез за паспортом и нащупал сразу несколько. Ему захотелось вытащить первый попавшийся, чей бы он ни был — бородатого Иннеса, покойного Риста, samozvants'a Джаггера или настоящего, сияющего, выходящего из игры Хильера.

— Ну и отъелись же вы! — воскликнул один из пассажиров и похлопал Хильера по животу, на котором под плащом была спрятана фуражка.

— А какие сапоги! — восхитился другой.— Где раздобыли? Смотри, Алиса, настоящая хромовая кожа.

Все, даже стоявший у ворот пограничник, уставились на сапоги Хильера. Окружающие расступились, чтобы получше рассмотреть экзотический сувенир.

— Не нахожу в них ничего особенного,— сказала дама с болезненным цветом лица.

Хильер юркнул в ворота и показал свой паспорт. Пограничник угрюмо сличил реальность с ее отражением, нехотя кивнул и позволил Хильеру пройти. Они с Аланом немедленно втиснулись в рыгающую толпу, но вынуждены были подчиниться ее неторопливому продвижению в сторону корабля. Им не терпелось поскорее подняться на корабль — подсвеченный, сияющий чистотой, безопасный. Англия! Но Англия теперь уже небезопасна... Дородные мужчины и женщины, отдуваясь, втаскивали по сходням свои плотно набитые черноморской жратвой животы. А где же Клара, почему не встречает, не радуется, что все, наконец, позади? Столпившиеся вдоль борта пассажиры приветственно махали им руками, но Хильер уткнулся носом в карабкавшуюся перед ним жирную спину, словно в благоухающую розу.

— Хорошо отдохнули, сэр? — услышал он, добравшись до конца сходней. Это был напарник Риста.— Еще раз спасибочки за пиво.

— Встретимся в каюте Клары,— бросил Хильер Алану и кинулся к ближайшему трапу, ведшему на верхнюю палубу. Пустой корабль, встретивший его гулким эхом, вскоре наполнится толпой, жаждущей получить поскорее что-нибудь посуше, поохлажденнее, поразбавленнее, чем дары Ярылыка. Он ринулся по мягко подсвеченным и асептически благоухающим коридорам. Вот, наконец, и его коридор. А вот и каюта миссис Уолтерс. На почти не смятой простыне безмятежно храпел С. Р. Полоцкий, тридцати девяти лет, уроженец Керчи, женат, ублюдок. Хильер скинул плащ Риста и перед тем, как снять мундир и снова оказаться в своих брюках и рубашке, вытащил из карманов все, что было его собственным или могло теперь по праву таковым считаться, аккуратно повесил мундир С. Р. Полоцкого на стоявший у койки стул и поставил в ногах сапоги. Так, опять надеваем плащ, набиваем карманы и — быстро к себе. Он осторожно приоткрыл дверь в свою каюту — опасностью не пахнет, зато запах духов, слишком взрослых для юной Клары, еще не выветрился. Он плеснул в стакан остатки «Олд морталити» и осушил его до дна. Жаль, что уже больше не позвать услужливого, хотя и алчного стюарда Риста. Хильер вздрогнул: как легко он низвел живое человеческое существо до его корабельной функции. Это и называется быть нейтралом, то есть скорее машиной, чем кукольными подмостками, где происходит борьба со злом или с добром? Он надел невесомый костюм и тщательно повязал галстук. Хильер собирался к Кларе. Учащенно билось сердце. Уже не от страха.

Но все-таки, взявшись за ручку ее двери, он со страхом прислушался: какие-то странные, нечеловеческие завывания, похожие на судорожные рыдания автомата, встречающего хихикающих бездельников

у входа в непритязательную «комнату ужасов». Хильер вошел. На койке лежал всхлипывающий Алан. Примостившаяся рядом Клара (волосы спутаны, глаза печальны) утешала брата:

— Ну перестань, перестань, малыш... Все обойдется.

Она бросила на Хильера злобно-отрешенный взгляд и воскликнула:

— Это все из-за вас. Я вас ненавижу.

Она накинулась на Хильера со своими крошечными кулачками, со своими не по возрасту яркими ноготками — чем не сцена ярости из школьного спектакля! И Хильер мог бы разрыдаться, и Хильер мог бы излить из себя весь скопившийся на душе ужас. Он, однако, схватил ее за руки и сказал:

— Каждый должен пройти через крещение. Вы оба проделали это героически.

Из коридора донесся вопль, столь пронзительный, что Алану оставалось только позавидовать. Женский, грудной, неистовый. Заплаканный Алан испуганно затих, забыв закрыть рот. Все трое молча вслушивались. Бедняга С. Р. Полоцкий, ублюдок. Вскоре на фоне женских криков послышались мужские голоса, два из них звучали официально и корабельно.

— Ну и трус,— сказала Клара, прислушиваясь к протестующим крикам С. Р. Полоцкого, которого, по-видимому, выставляли из каюты. Кулачки ее разжались.

— Давайте закатим грандиозный ужин у меня в каюте,— предложил Хильер.— Я сейчас позову... Тьфу, чуть не сказал...

— Наверное, лучше о нем не скажешь,— проговорил Алан.— Некто, которого никто никогда не позовет.

7

Из мемуаров Роупера [54]

Сложность заключалась в том, что Люси хотелось чувствовать себя хозяйкой. Ей требовался статус жены, но жена у меня уже была — где бы она ни находилась,— и еще одну я заводить не собирался. Мне нравилось, что Люси время от времени делала уборку, стирала, угощала меня чем-нибудь необычным. Ее экзотические блюда являли собой, как правило, нечто обернутое в виноградные листья, лозу и тому подобное. К сожалению, те полуделовые вечеринки у меня дома (на что он мне теперь?) прекратились, и Люси уже не была всего лишь одной из работающих над статьей о положении науки в обществе. Иногда после службы я пытался улизнуть от Люси, утверждая, что договорился с кем-то встретиться в городе, но она сразу начинала допытываться, с кем именно. Я не знал, что ответить, поскольку круг моих лондонских знакомых почти целиком состоял из наших общих коллег. Все, чего мне хотелось, это где-нибудь тихо перекусить и затем, если будет настроение, сходить в кино — но непременно одному.

Однако иногда я брал работу на дом, и тогда она заявляла, что не позволит мне тратить время на приготовление ужина и поэтому пойдет ко мне и все приготовит, а потом просто тихонечко посидит с книжкой. Я чувствовал, что надо быть настороже, не то очень скоро окажусь с ней в постели, а это было мне совершенно ни к чему. По крайней мере, с Люси. Почему? Да, несмотря на худобу, она была весьма привлекательна, однако я привык к иному типу женщин, допускаю даже, что к худшему. Но я постоянно твердил себе: не вина Бригитты в том, что она такая. Не будь рядом другой женщины, мне не пришлось бы постоянно, по контрасту, вспоминать Бригитту. Кое-что от нее в доме еще

---

[54] *Клара и Алан немного успокоились, но перед сном я дал им по паре таблеток снотворного. «Полиольбион» держит курс на Стамбул. Я послал радиограмму по адресу, оставленному Т: улица Джумхуриет, 15. По моему вызову прибежал новый стюард. Он сообщил, что Рист почему-то не возвратился на корабль. Передо мной сейчас роуперовские листки, исписанные ярко-синими, неразборчивыми каракулями; рядом полная бутылка «Олд морталити». Ну что ж, Роупер, послушаем, что ты скажешь.*

осталось, я говорю о фотографиях, но, если бы не Люси, мне не пришлось бы искать утешения в этих напоминаниях о более счастливых временах: Бригитта, словно Лорелея *, сидит на прибрежном валуне, Бригитта в пикантно-декольтированном вечернем платье, скромница Бригитта в обыкновенном платьице. Иногда я брал ее фотографии в постель [55].

Сложности начались с того дня, когда я позвонил в лабораторию и предупредил, что не приду на работу: у меня заболел живот, и я решил отлежаться с грелкой. Думаю, это была желудочная форма гриппа. Я понимал: того, что должно произойти вечером, мне не избежать, но я чувствовал себя слишком плохо, чтобы думать еще и об этом. Словом, она появилась около пяти (отпросилась пораньше с работы, представляю, как там перемигивались и понимающе кивали) и, как обычно, сразу окунулась в свою стихию: принялась флоренснайтингейлничать по дому, почему-то не снимая белого лабораторного халата. Дала мне молока с содой, две грелки (одной из них пользовалась Бригитта, которая ухитрилась отомстить мне даже на расстоянии: грелка потекла и пришлось ее убрать), «отерла бледное чело». Сказала, что не может оставить меня ночью одного, к тому же все равно зашла бы утром проведать, поэтому остается у меня, в гостевой комнате. Я, разумеется, был ей благодарен, но понимал: расплаты избежать не удастся.

Она наступила три дня спустя. Я чувствовал себя значительно лучше и подумывал, что пора бы уже подниматься. Люси была против, она сказала, что если я буду себя прилично чувствовать, когда она придет с работы, то, возможно, мне будет разрешено встать с постели. Дело было в конце ноября, день выдался холодным, и Люси возвратилась совершенно продрогшая. Наверное, мне не следовало предлагать грелку, но я сказал, что мне она уже ни к чему, и предупредил Люси, чтобы не взяла по ошибке ту, что течет. Но именно ее она и взяла (по ошибке ли? — сомневаюсь) и ночью пришла ко мне в комнату, заявив, что не может уснуть в мокрой постели. Так мы и легли. Рядышком, она — тут, я — тут, словно на шезлонгах, зажатые другими, загорающими на палубе. Вскоре она пожаловалась, что никак не может согреться, и придвинулась ближе. Я сказал, что она рискует заразиться. Она ответила, что есть вещи поважнее. Все началось еще до того, как я успел понять, что происходит. Я хорошенько пропотел, что, как полагаю, приблизило окончательное выздоровление. А потел я долго, поскольку, как ни старался, никак не мог достичь желаемого результата. Я чувствовал себя актером на сцене. Свет уличного фонаря падал на мою школьную фотографию, я смутно различал отца Берна, Хильера, Перейру и всех прочих. Думаю, через час представление стало их утомлять. По крайней мере, моя роль. Ей-то все это нравилось, она безостановочно подвывала «о-о-милый-о-я-не-подозревала-что-такое-возможно-не-останавливайся». Она была в восторге, но я ощущал себя лишним. Я пытался вообразить на месте Люси кого-то другого: пышногрудую, пахнущую кухней и ушной серой секретаршу, всегда приходившую в одном и том же черном свитере; певицу-мулатку, выступавшую по телевизору в платье с таким вырезом, что оператор без труда создавал впечатление полной наготы; толстозадую кассиршу из соседнего супермаркета. Я старательно пытался не думать о Бригитте, но не выдержал и — сработало. Наконец-то! Она громко вскрикнула, потом спросила: милый, тебе было так же хорошо, как и мне?

В какой-то книжке о сексе сказано, что тягчайший грех, который может совершить мужчина в отношении женщины,— это заниматься любовью, представляя на ее месте другую. Странно. Кто, кроме тебя самого, может знать об этом? Разумеется, если не впутывать в это дело Бога. О чем действительно следовало сказать, так это о реально существующей опасности спутать имена, назвать имя другой, воображае-

---

[55] *Роупер! Ты не делал этого даже в колледже!*

мой. Но с Люси я этого не боялся. Она мне даже сочувствовала: бедный мой, представляю, как ты ее любил, как тебе было больно. И добавляла: ничего, когда мы будем по-настоящему вместе, ты поймешь, что такого счастья она тебе дать не могла. И я никогда тебя не брошу (Люси имела в виду «когда мы поженимся»). Ведь мы и так уже почти женаты, правда, милый? Конечно, я еще не миссис Роупер, но... у нее даже обручальное кольцо имелось (досталось от покойной матери, так она утверждала), и она собиралась носить его в качестве стимулятора в постели, по-видимому полагая, что замужние женщины носят его именно с этой целью.

Но потеснить Бригитту ей не удалось. Наоборот, из-за Люси я вспоминал Бригитту все чаще. Каждую ночь. Люси же постепенно перенесла ко мне всю свою одежду и прочее барахло. Вскоре она и вовсе переехала. Но ведь я ни разу не просил ее селиться у меня или делить со мной постель, правда? Она сделала это по своей воле. Однако не мог же я ее выгнать! Как-то раз она сказала, что в Институте ходят всякие разговоры и пора бы мне подумать о разводе. Я ушел и напился. К этому времени я вообще-то бросил пить. Когда Бригитта меня оставила, я стал понемногу прикладываться к бутылке, но Люси это быстро прекратила. На наших вечеринках всем подавалось пиво, мне же — лимонад. Так что для Люси было большой неожиданностью, когда, после закрытия последней пивной, покачиваясь и воняя пивом (пять по полулитра) и виски (пять двойных шотландского и две ирландского — в память об отце Берне), я притащился домой. Почему я вспомнил отца Берна? Возможно, из-за «дьявольской похоти». Возможно, из-за тоски по дому, которого, в сущности, не было [56]. Как бы то ни было, когда я, натыкаясь на вещи, ввалился в прихожую, Люси была потрясена. Я вмазался в столик, на котором стояла коричневая фруктовая ваза. В ней вместо фруктов приютился голубой фарфоровый кот. Столик я перевернул, и котикова голова покатилась по полу. Люси разрыдалась и запричитала, что котик достался ей от матери. На что я сказал, что никто не просил тащить его в мой дом, более того, ее тоже никто не приглашал в мой дом, и Люси заголосила еще громче. Она не заявила, что немедленно собирает вещи и уходит, нет, она лишь сказала, что будет лучше, если я лягу сегодня в гостевой комнате, и что завтра, она надеется, меня ждет жуткое похмелье. Так и оказалось.

Отныне я старался не проводить вечера дома. Проклятье! В конце концов это мой дом (или, по крайней мере, обиталище), мне за него еще платить и платить! Но выгнать Люси я тоже не мог, поскольку (так она считала) воспользовался ею и позволил возлагать на себя определенные надежды, до сих пор, кстати, не осуществившиеся. Вдобавок регулярно совершаемый мною в постели тягчайший грех, на который только способен мужчина, рождал во мне — несмотря на очевидную абсурдность подобных рассуждений — чувство вины в отношении Люси. Для меня она сделалась чем-то вроде поджарой Бригитты, впрочем, моим оправданием могло бы служить то, что инициатором наших ночных бдений неизменно являлась Люси. Поэтому, имея все основания обвинять Люси во вторжении, выгнать ее я не мог. Но жениться на ней — нет уж! У меня была жена. И каждый вечер я отправлялся на ее поиски.

Начал я с Сохо. К этому времени уже действовал закон, запрещавший проституткам открыто фланировать по центральным улицам с собачками на поводке или прогуливаться с расстегнутой сумочкой, поджидая, пока какой-нибудь мужчина, заметив это, подойдет ближе. И хотя законы эти выполнялись не слишком строго, проституток стало значительно меньше. Не сравнить с тем, сколько их было во время войны, когда общество прислушивалось к предпринятым либералами со-

---

[56] *Эх, Роупер, все плачешься, балбес сентиментальный! Помяни мои слова, ты еще возвратишься в лоно церкви.*

цнологическим исследованиям, из коих следовало, что никакой другой работы эти несчастные найти не сумели. Теперь женщины, как правило, приманивали клиентов из парадных и окон или, неожиданно появляясь из темноты, спрашивали: «Красавчик, по-быстрому хочешь?» Я прочесал весь Сохо — Фрит-стрит, Грик-стрит, Уордор-стрит, Олд Комптон-стрит, Дин-стрит,— но Бригитты нигде не было. На какие только объявления не натыкался я в полутемных книжных магазинах и табачных лавках: «Фифи тебя облагородит (кожа высшего качества)», «Ивонна. Позирую для художников и фотографов (40, 24, 38)», «Испанская специалистка по анальному спринцеванию». Ничего, что могло бы навести на след Бригитты (скажем, «Фройляйн демонстрирует немецкие новинки»), не попадалось. Как-то в пивной мне встретился человек, у которого имелся «Дамский справочник», брошюра со всеми телефонами и фотографиями, но и в ней следов Бригитты не обнаружилось. Я даже зашел в полицейский участок и сказал, что разыскиваю жену-немку, которая по неискушенности могла позволить втянуть себя в пьянство и проституцию, однако к моим словам отнеслись с большим недоверием [57].

Как обычно и бывает, я отыскал Бригитту совершенно случайно. Однажды вечером я отправился в кинотеатр на Бейкер-стрит (даже не поинтересовавшись, что там идет, настолько мне все обрыдло), а после зашел пропустить стаканчик виски в бар на Бландфорд-стрит. Спустя некоторое время туда зашла женщина — хорошо одетая, хорошо накрашенная, с хорошим выговором. Она источала искусственный аромат розовых садов [58], в голосе у нее была хрипотца, как у Марлен Дитрих. Фред, бутылку джина и сорок сигарет, сказала она хозяину. Сию секунду, душечка, отозвался тот почему-то по-ирландски. Она зашелестела пятифунтовыми банкнотами, которыми была набита ее сумочка. Я недоумевал по поводу ответа хозяина, и вдруг до меня дошло: для английского уха акцент Бригитты звучит как ирландский. Я смотрел на нее в упор, но узнала она меня не сразу (или долго делала вид, что не узнает). Ничего, теперь-то она от меня не уйдет! Бригитта быстро направилась к дверям, я бросился следом. Оставь меня, иначе я позову полицию, сказала она. Нашла чем угрожать! Я ответил: боюсь, в полицию ты обратишься в последнюю очередь. К тому же, насколько мне известно, не существует закона, запрещающего мужу разговаривать с собственной женой. Она сказала, чтобы я выкинул это из головы и поскорее дал ей развод; я ответил, что теперь, узнав ее адрес (она смирилась с тем, что я следовал за ней до дома), я мог бы это сделать, в противном случае пришлось бы ждать, когда пройдут три года с того дня, как мы разъехались, однако, добавил я, как только мы разведемся, ее немедленно вышлют из страны как нежелательную, ненатурализованную иностранку. Не вышлют, бросила она сухо.

Войдя в квартиру, я понял, что деньги у Бригитты имеются. Центральное отопление, в углу бар с вращающимися стульями, подушечки, на стенах эротические картинки (видно, что нацистских времен). На кухне гудел холодильник, из открытой ванны доносились ароматы шампуней, в спальне царил полумрак, виднелась большая кровать с наброшенным на нее шелковым покрывалом. Выпьешь? — спросила она. Сегодня я выходная и собираюсь пораньше лечь. Так что нет, выкладывай, что тебе надо, и ступай.

Наверное, она думала, что я хочу спросить, куда подевался запасной ключ от входной двери нашего дома. При мысли о нашем доме я почувствовал, что к глазам подкатывают слезы. Я хочу тебя, сказал я. Возьми мой телефон, можешь иногда пользоваться, ответила она. Нет! Нет! Я хочу, чтобы ты вернулась! Она улыбнулась: Warum? [59] Одного этого немецкого слова, неожиданно прозвучавшего на фоне ее прекрас-

---

[57] *А по-твоему, они должны были оставить все дела и броситься на поиски Бригитты?*

[58] *Роупер, откуда этот вычурный стиль!*

[59] *Зачем? (нем.)*

ного английского, хватило, чтобы окунуть меня в прошлое. Я расплакался. Перестань, сказала она. Прошлого не вернешь. Я хочу жить так, как живу. Я не хочу ходить по магазинам и домохозяйничать. У меня появились влиятельные друзья. Я стала леди. Ты стала шлюхой, сказал я (на обоих языках это слово звучит почти одинаково [60]). Поняла? Проституткой. Это не одно и то же, сказала она. Когда же ты повзрослеешь и трезво взглянешь на мир! — добавила Бригитта. Кроме того, сказал я, у меня имеются определенные супружеские права. Я требую их уважения. Грязная свинья! — воскликнула она. Такой мерзости мне еще никто не говорил! Выметайся отсюда! (Она окатила меня ушатом немецких ругательств.) Если тебе нужна баба, сказала она, так их по Лондону тысячи болтаются. Некоторые даже, несмотря на запрет, прогуливаются с собачками. А ко мне не приставай. Никогда не приставай! Никогда! Я чувствовал себя оплеванным, но злобы к Бригитте не испытывал. К тому же я предвкушал, как ночью овладею Бригиттой, а она об этом даже не узнает. И все-таки меня бесило, что с нею может переспать любой мужчина, кроме меня — мужа. Я старался сохранять внешнее спокойствие и учтивость, хотя внутри все клокотало. Заметив на диване ее расстегнутую сумочку, я сказал: дай выпить, и я уйду. Чего-нибудь похолоднее. Может, в холодильнике найдется пиво. Когда-то у нас всегда было пиво в холодильнике. Хорошо, сказала она, пойди налей себе и убирайся. Бригитта, сказал я, мне хочется получить его из твоих рук, в память о нашем прошлом, не отказывай мне в этом. Пожалуйста. Больше я ничего не прошу. Она пожала плечами, сказала «ладно» и отправилась на кухню. Я знал, что ключи у нее в сумочке. Переложить их в карман не составило труда. Я залпом выпил принесенное Бригиттой пиво. Как свинья пьешь! И ешь так же, сказала она. Я только усмехнулся. Прощальный поцелуй? В память о прошлом. Но она не позволила мне — мужу! — даже этого. Уходя, я сказал: Прощай, моя милая Бригитта. Береги себя. Кажется, ее удивила легкость, с которой удалось меня выпроводить. Я вышел на улицу и не сводил глаз с окон гостиной, пока они не погасли. Затем я отправился домой. На столе меня ждал прекрасный горячий ужин.

Отныне каждый вечер я проделывал одно и то же: прогуливаясь по ее улице, я наблюдал за теми, кто к ней заходил. Судя по автомобилям, клиенты у нее были не бедные. Однажды я вызвал подозрение у полицейского, но, к счастью, сразу нашелся: все в порядке, приятель; такая уж работа у частного детектива, ничего не поделаешь. Удостоверение он у меня попросить не догадался. Удовольствие, которое я испытывал, следовало бы классифицировать как мазохистское. Раньше мне казалось, что такое невозможно, но теперь я убедился в обратном. На голове я чувствовал не шекспировские рога *, а терновые колючки [61]. Но зайти я все никак не решался. Так проходили недели. Люси я сказал, что собираю доказательства для начала бракоразводного процесса, и это наполняло меня ощущением праведника, подвергающего себя утонченным истязаниям. Когда я возвращался домой, она приговаривала: бедняжка, выпей перед сном чего-нибудь горяченького.

Однажды, как обычно прогуливаясь под ее окнами, я увидел, что к дому подъехала скромная машина, из которой, воровато озираясь, выскочил какой-то человек и быстро взлетел по лестнице. Вскоре его профиль показался в освещенном окне гостиной. Где-то я видел это лицо, но где? Какая-то знаменитость. Политик? Актер? Проповедник? Может, телекомментатор? Да-да, это уже ближе... Я вспомнил, как однажды мы с Люси сидели перед телевизором и ели с колен горячий суп (я хочу сказать из тарелок, поставленных на колени), заедая хрустящими хлебцами, а этот тип проникновенно вещал с телеэкрана. Что-то связанное одновременно с политикой и телевидением. Агитировал, что ли, за кого-

---

[60] Whore *(англ.)*, Hure *(нем.)*.
[61] *Нет, Роупер, нет! НЕТ!*

то? Часа через полтора я увидел, как он спускается, пряча за пазуху бумажник. Выглядел он так же воровато, но уже с оттенком самодовольства. Было как раз время окончания вечерних спектаклей, и по улице в сторону Бейкер-стрит спешили такси. Незнакомец еще не сел в свою машину, а я уже остановил такси. Шофер спросил: куда, дружище? (или «куда, приятель?»), и я, стараясь не улыбнуться, сказал: следуйте за той машиной. Она сейчас поедет. Какого хрена тогда она стоит, пусть трогается! Потом добавил: серьезно, что ли, приятель? (или дружище). Ты, наверное, телик много смотришь. Тем не менее он сделал все, как я просил. Следовать за машиной незнакомца оказалось не просто: между нами постоянно кто-нибудь вклинивался, но в итоге мы оказались где-то неподалеку от Марбл-Арч, и его машина затормозила у большого многоквартирного дома. Не привлекая к себе внимания, мы остановились на противоположной стороне улицы. Приехали. Что сидите? Догоняйте! И поменьше крови, ладно? Я расплатился, и таксист уехал. Выждав некоторое время, я подошел к подъезду, в котором скрылся незнакомец. Как я и предполагал, в холле меня встретил швейцар. Простите, сказал я, это не мистер Барнаби только что зашел? Он подозрительно взглянул на меня и спросил: а вам-то что за дело, приятель? (Вокруг одни «приятели» — пародия на дружелюбие в государстве натужного равенства [62].) Я вам не приятель, мое имя доктор Роупер. Простите, доктор, сказал швейцар. Нет, это был не Барни — или как вы сказали? — а мистер Корнпит-Ферреpз [63] собственной персоной. Настоящий джентльмен. Швейцар пропел дифирамбы восхитительным речам, с которыми тот выступает по телевизору и в палате общин (впрочем, откуда ему, навряд ли посещающему галерею для публики, это знать?). Не преминул он вспомнить и о его щедрости, о неизменной готовности расплатиться полукроной за малейшую услугу. Вот сейчас, к примеру, попросил меня поставить в гараж машину его жены. Он на ней только что приехал, хотя обычно разъезжает на собственном роскошном «бентли». Дав на чай — то ли полкроны, то ли десять шиллингов,— я спросил: так, значит, он женат? Спасибо, сэр. Сэр доктор. Да, у него чудесная жена. И трое детишек, чудесных детишек. Кобель блудливый. Но по крайней мере теперь стало ясно, как мне вернуть Бригитту. В следующий раз я предстану перед ними — так же, как сделал это когда-то с мордоворотом Вурцелем. Впрочем, не совсем так — тогда я поступил не по-мужски и прибегнул к помощи Хильера.

Всю следующую неделю я караулил его у дома Бригитты, но он ни разу не появился, вероятно, допоздна засиживаясь в палате общин. Зато как-то вечером у дома остановилась чья-то машина, и из нее вылез человек, как две капли воды похожий на другого мерзавца — «Западногерманского дьявола». Он гаркнул водителю что-то идиотское, вроде Kerl [64], на что тот, перед тем как отъехать, ответил чем-то вроде Sei gut [65]. На этот раз, выждав приличное — слово, впрочем, вряд ли здесь уместное — время, я решил подняться. Я весь горел: прошлое возвращалось — первой червоточиной в яблоке. Добравшись до ее двери, я остановился и, стараясь не шуметь, перевел дыхание. Вдруг я услышал, что они что-то деловито обсуждают по-немецки. Это меня удивило. Я, конечно, предполагал услышать нечто другое, серьезный разговор можно было отложить до встречи совсем иного рода. Я прислушался. Несколько раз до меня донеслось название «Эберсвальде». Эберсвальде? Это же в Восточной Германии. Бригитта пару раз говорила мне о каком-то противном, ненавистном ей родственнике, жившем в Эберсвальде. Несмотря на все свои старания, я мало что понял из их разговора. Быстрая немецкая речь была мне не по зубам, хоть я и состоял в браке с женщиной, которая в минуты страсти и крайнего раздражения переходила

---

[62] *Роупер, из какой претенциозной телепостановки ты это позаимствовал?*
[63] *А, сэр Арнольд Корнпит-Ферреpз. Роупер, дело, кажется, проясняется.*
[64] Душа-человек *(нем.)*.
[65] Всего хорошего *(нем.)*.

на немецкий. Мне почудилось, что Бригитта тихонько всхлипнула. Неужели эберсвальдский родственник и впрямь такой противный? А может, там появился новый родственник — отнюдь не противный? Единственное другое слово, которое я явственно различал, было еще одно имя собственное — Мария. Они повторили его несколько раз. Бригитта, помнится, рассказывала мне о своей племяннице Марии (совсем не противной). И тут она громко воскликнула: но я ничего не знаю! Не успела еще! На что мужской голос тихо возразил: значит, узнаешь. Все узнаешь, если постараешься. Потом добавил: Ich gehe [66]. Он еще не открыл дверь, как я был внизу и припустил по улице, стараясь отойти подальше от дома.

Что это значило? Непонятно. Возможно, ничего особенного. Но в меня, как и в остальных моих сограждан, крепко вбили понятие «национальная безопасность», и я не мог отогнать от себя мысль, что в нашем свободном Лондоне немецкая проститутка (ужас! — так назвать Бригитту), имеющая родственников в Восточной Германии, представляет собой прекрасный объект для предложений и угроз Другой Стороны. Не то чтобы меня это слишком беспокоило. Ведь мы, ученые социалистической ориентации, как раз работали над благородным проектом международного научного сотрудничества и рассматривали все научные исследования как единое целое, полагая, что все ответы на все вопросы должны быть доступны всем. Войну следовало поставить вне закона, и мы составляли авангард тех, кто за это боролся, поскольку сознавали огромную ответственность ученого, наделенного устрашающим могуществом.

С помощью справочника «Кто есть кто» я обнаружил, что мистер Корнпит-Ферреpз является министром без портфеля. Точнее, являлся им три правительства назад. Его нынешний пост я не знал и знать не желал. Он принадлежал — и, возможно, принадлежит до сих пор — к тем, кто пользуется большим уважением, причем не только со стороны своего швейцара, заседает в Комиссиях и Комитетах, включая и тот, который что-то там решал по поводу религиозных телепрограмм для подростков. Лицемер. Но как бы то ни было, скоро я перед ними предстану — день Противостояния надвигался. И все-таки мне пришлось прождать еще три недели, на протяжении которых Бригитта, несчастная испорченная девочка, приняла немало посетителей, и все они были одеты с иголочки. В ту ночь, когда это произошло, лил дождь, и я уже собрался уходить. Но тут к дому подкатила столь памятная мне машина, из которой выглянуло столь памятное мне лицо (теперь уже не анонимное!) и настороженно, как и в прошлый раз, оглядело мокрую улицу. Корнпит-Ферреpз вошел, я последовал за ним пятью минутами позже. Сердце колотилось как бешеное, я с трудом дышал и не был уверен, что смогу говорить. Решительно повернув ключ в замке, я переступил порог. Гостиная оказалась пустой, зато я услышал, как в спальне возятся на шуршащих простынях и с отвратительным наслаждением посапывают. Оказалось, я могу говорить, могу даже кричать. Ну-ка, вы оба, вылезайте оттуда! — гаркнул я. Ублюдки похотливые. Одновременно я проверил содержимое внутреннего кармана, на всякий случай желая убедиться, на месте ли все, что я взял с собой. Наступила напряженная тишина, потом послышалось перешептывание, но тут я снова крикнул: политикан двуличный, выходи! Выходи и ты, которую у меня язык не поворачивается назвать женой. Они показались в дверях. Она запахивала пеньюар, он — уже в брюках и рубашке — приглаживал волосы. А я-то гадала, куда подевался второй ключ, сказала она. Так, давай выкладывай быстро, что тебе надо. Ему надо, чтобы его хорошим пинком под задницу спустили с лестницы, сказал Корнпит-Ферреpз. Кто он такой? Твой сутенер? Мне, между прочим, никогда не приходило в голову, что и такой человек, точнее недочеловек, может быть в окруже-

---

[66] Я пошел *(нем.)*.

нии Бригитты. Меня слегка повело, и одновременно я почувствовал прилив злобы и обиды. Мистер Корнпит-Ферреpз, я муж этой женщины, сказал я. Ах, даже имя мое известно? — сказал он. Прискорбно. Привлечем его за нарушение неприкосновенности жилища, добавил он, обращаясь к Бригитте. Звони в полицию. А, не хотите! (это уже ко мне). Вам такой поворот дела, похоже, не нравится. Эта женщина — моя жена, сказал я. Бригитта Роупер. Вот (я достал из кармана документы) наше брачное свидетельство. А вот (я снова полез в карман) наш общий паспорт. Фотографии не оставляют никаких сомнений.

Он не стал требовать их для тщательного изучения. Опустившись на канапе, он достал сигарету из эмалевого портсигара Бригитты. В таком случае определимся, сказал он. Чего вы добиваетесь? Денег? Развода? Я отрицательно покачал головой и сказал: Нет, все, что я хочу, это вернуть свою жену. Бригитта вспыхнула: я к тебе не вернусь, что бы ты, мерзавец поганый, ни делал! Никогда, никогда, никогда! Слышите, что говорит леди? — спросил Корнпит-Ферреpз. Вряд ли я сумею помочь вам вернуть ее. Я, между прочим, ничего этого не знал. Так что приношу свои извинения. Вышло недоразумение. А если выяснится, что ее посещают восточногерманские агенты? — спросил я.

Бригитта побледнела; ага, значит, я не ошибся! Я хочу сказать, произнес я, что ее следует депортировать. Насколько я понимаю, отношения с министром внутренних дел у вас вполне дружеские?

Корнпит-Ферреpз воскликнул: а при чем тут это, черт возьми! (он с трудом держал себя в руках). Теперь все зависит от Бригитты, сказал я. Мне бы ничего не стоило надавить на вас, чтобы добиться ее депортации. Но если она ко мне вернется, не обязательно сегодня — я сейчас живу не один — а, скажем, на днях, то будем считать, что данного инцидента не было. И я вас никогда не видел. Я сам выполняю ответственную работу и совершенно не собираюсь дискредитировать лицо, занимающее важный пост. Слишком рискованно. До шантажа я тоже не унижусь. Конечно, если меня к этому не принудят. Значит, ваши требования состоят именно в этом? — спросил Корнпит-Ферреpз. Я подтвердил. Нельзя сказать, чтобы мои слова не произвели на него впечатления. Что ж, обратился он к Бригитте, то, что он говорит, не лишено смысла. Может, стоит вернуться? Никогда, сказала она. А если ты попытаешься вышвырнуть меня из страны, я расскажу, что ты приходил сюда. И твоей жене расскажу, и премьер-министру. Не так все просто, сказал он. Свидетелей-то нет. Свидетель перед тобой! Мой муж. (Услышав это, я просиял, как последний идиот.) И еще один есть, добавила она. Он неоднократно видел, как ты приходил сюда. Мы с Корнпит-Феррерзом почувствовали, что она, похоже, говорит правду. Вообще-то ни к чему принимать поспешные решения, сказал он. Думаю, нам с вами (это он мне) сейчас лучше удалиться. Мы могли бы где-нибудь посидеть, выпить. А малышка Бриджит пусть все обдумает. Должен сказать (это все он говорил), что вы человек великодушный. Просто восхищаюсь вами. Наверное, это и есть любовь. Благодарю, но пить я не буду, сказал я. Меня мгновенно вытошнит. Если кто-то из вас захочет со мной связаться, найти меня не составит труда.

С этим я и вышел. Но, еще не сделав первого шага по лестнице, я решил вернуться, снова открыл дверь и срывающимся, полным отвращения голосом произнес: Господи Боже мой, ну и в мерзкую же историю вы оба вляпались!

После чего я действительно ушел. В ту ночь Люси не могла нарадоваться на мое прекрасное настроение и уже не сомневалась (бедняжка!), что ждать осталось недолго.

То, что затем произошло, явилось для меня полной неожиданностью. Как-то утром я получил по почте довольно грязный конверт. Мое имя и адрес были аккуратно отпечатаны, отчего неопрятный вид конверта казался еще более странным. В конверте лежали десять банкнот по одному фунту. Там же была отпечатанная на машинке записка: «Про-

сти, что так долго не удавалось отдать долг». Подписана записка была машинописным инициалом «С». Напрасно я морщил лоб, силясь припомнить, кому одалживал десять фунтов. Когда Люси, накрывая на стол, спросила, что случилось, я ей все рассказал и показал записку.

Она сказала: на голову доппаек свалился, чего хмуриться! (Ее отец был солдатом.) Ты же вечно все забываешь. Мы съели кукурузные хлопья. Конверт и записку я выбросил, а деньги положил в кошелек. В тот же вечер на пороге появились двое в плащах. Сэр, можно вас на пару слов? — сказали они. Я сразу почувствовал, что это из полиции. Миссис Роупер? — спросили они, завидев Люси. Подруга. Мисс Батлер, сказал я. Ах, ну да, конечно, пробормотал тот, что постарше, и они прошли в комнату. Миссис Роупер здесь больше не живет, не так ли? Я ведь не ошибаюсь, сэр? Затем, обращаясь к Люси: мисс, если не возражаете, мы бы хотели поговорить с мистером Роупером наедине. Люси была явно взволнованна. Будьте добры, мисс, сказали они. Люси поднялась наверх. У нее не было права ни задавать вопросы, ни спорить, ни жаловаться.

Итак, приступим, сказал старший по званию. Не могли бы мы, сэр, взглянуть на имеющиеся у вас при себе деньги? Я имею в виду банкноты. А, наверное, речь идет об этих десяти фунтах? — спросил я. Совершенно верно, сэр, о десяти фунтах. Мы бы хотели увидеть эти десять фунтов. Я предъявил все свои деньги. Младший офицер достал лист бумаги, исписанный какими-то цифрами. Они сличили номера моих банкнот со своим списком. Так, закивали они, так, так. Видите ли, сэр, проговорил старший, жить на средства распутной женщины — весьма серьезное преступление. Я не мог вымолвить ни слова. Наконец, я произнес: какая чушь. Какая дикая чушь. Я получил эти деньги по почте сегодня утром. В самом деле, сэр? — лениво осведомился младший. Надеюсь, вы не станете отрицать, что не так давно несколько раз посещали с определенной целью живущую отдельно от вас миссис Роупер, которая, как известно, занимается проституцией. Я этого не отрицал. Но эти деньги...— начал я. Да, именно эти деньги, сэр. Миссис Роупер взяла их из банка три дня назад. Это все подстроено, сказал я. Против меня фабрикуют дело. С вашего позволения, мы возьмем банкноты с собой, проговорил старший. О дальнейшем ходе дела вас известят.

Они поднялись, собираясь уйти. Значит, вы не предъявляете мне официального обвинения? — спросил я. Мы на это не уполномочены, сказал младший. Но через день-другой вам все сообщат.

Я начал что-то торопливо объяснять. Я даже позвал Люси, я кричал на них, но полицейские лишь улыбнулись и, выходя за порог, приподняли шляпы (которые на протяжении всего разговора так и не удосужились снять).

В течение нескольких следующих дней я почти не мог работать. Когда, наконец, пришла повестка, я ей даже обрадовался. Невысокий дом, куда меня вызывали, располагался неподалеку от Гоулдхоук-роуд. Дверь открыл Корнпит-Ферреpз. Рядом с ним стоял человек, судя по виду — иностранец, говоривший, как я вскоре убедился, с акцентом, похожим на славянский. У меня создалось впечатление, что этот неопрятный, скудно обставленный дом принадлежал именно ему. Вместе с тем сам он выглядел ухоженным и одет был вполне респектабельно. Корнпит-Ферреpз являл собою саму учтивость.

Насколько мне известно, начал он, вы и несколько ваших коллег работаете над небольшим полемическим сочинением, призывающим к международному сотрудничеству в науке. Я промолчал. Мне кажется, продолжал он, вам предоставляется шанс сделать нечто большее, чем просто разговаривать на эту тему или сочинять какие-то статьи. К чему вы клоните? — спросил я. Да, кстати, это мистер... (имя я не расслышал; так я его и не узнал). Наверное, нет нужды уточнять, в каком посольстве он работает. Он позаботится обо всех формальностях. Доктор Роупер, лучшей возможности у вас не будет. Мы, политики, все разговари-

ваем и разговариваем, но делаем мало. (Уж ты-то делаешь предостаточно! — чуть не съязвил я в ответ.) Вы же находитесь, продолжал он, так сказать, в авангарде движения за реальные действия. И, насколько я понимаю, для вас сейчас самое время покинуть страну. Я прав? В ответ я разразился ругательствами. Что, поставили свой ублюдочный капкан и надеетесь, что я попадусь? Дудки! Ставил не я один, возразил он. Она охотно помогала. Славянин расхохотался. Корнпит-Ферреpз также рассмеялся и добавил: он с ней тоже неплохо знаком. Не хуже моего. А что до того, попадетесь вы в капкан — будем использовать вашу терминологию — или нет, то те двое, что к вам приходили, только ждут сигнала, чтобы поделиться с полицией кое-какой информацией. Не знаю уж почему, но для людей, уличенных в подобных делах, закон требует весьма сурового наказания. К тому же, продолжил он, я не понимаю, почему, уезжая из этой страны, вы должны так уж горевать. К Англии вы особой любви не питаете, не так ли? Да и верноподданническими чувствами не слишком обременены. Мне это известно. Вас не тянет к Англии даже в той степени, в какой тянет... сами знаете к кому. Не унывайте, доктор Роупер: она поедет с вами.

Я даже рот раскрыл от изумления. Неужели согласилась? Боюсь, однако, что следует поторопиться, сказал он. Корабль отплывает из Тилбери завтра в одиннадцать утра. В одиннадцать? (он переспросил у славянина; тот кивнул). Сухогруз «Петров-Водкин» доставит вас в Росток. В Варнемюнде вас будут ждать в отеле «Варнов». Можете мне поверить, все будет в порядке. Вы начнете новую жизнь. Ведь здесь карьера для вас закончена, надеюсь, это вы понимаете. Как там у Шекспира? «С одной красоткой уже себя связавший по рукам» [67]. Не огорчайтесь. Вам там понравится — много работы и, как я понимаю, много выпивки. Какие вопросы? Я никуда не поеду, сказал я. Это не вопрос, сказал он. Распорядиться движимым и недвижимым имуществом (у вас ведь, кажется, свой дом?) вы сможете уже оттуда. Занавес-то хоть и железный, но и в нем есть щели — почтовых ящиков. С этой минуты вас будет опекать присутствующий здесь наш общий друг. Дайте ему ключи от дома, он позаботится, чтобы уложили ваши чемоданы. Ночевать вы будете здесь. И вы называете себя министром Ее Величества! — воскликнул я. Знал я, что Англия прогнила, но и представить себе не мог, что до такой... Она тоже придет сюда? — спросил я. Мы поплывем вместе? Она встретит вас в отеле «Варнов», ответил он. Может быть, вы мне не верите? Боитесь, что это очередной капкан? На этот случай я для вас кое-что приготовил.

Из нагрудного кармашка он извлек конверт, покоившийся за сложенным всемеро платочком, и протянул его мне. Внутри лежала записка, написанная знакомым почерком: «Я была дурой. Мы начнем новую жизнь».

Копий не держим, подлинник, сказал Корнпит-Ферреpз. Вот так: дурой она была. Да что там, все мы вели себя глупо. Но жизнь учит. И все же вы вели себя глупее всех. Глупее всех. Глупее [68].

Что ж, сказал я, хохотушка Англия, будь она неладна, в последний раз предает род Роуперов. Да, да. Как она поступила в 1558-м, так же поступает и сейчас. Снова все уперлось в веру. Англия сама обрекает себя на проклятье. Поджигательница войны, циничная, омерзительная страна. А его свет погас в 15.58 по среднеевропейскому времени [69]. Ликуйте, суки. Загрызли мученика.

Значит, никаких сожалений? — спросил он. Прекрасно. Он стал собираться: котелок, зонтик, серое пальто реглан. Отменно выбрит, отменно пострижен. Причастился святых даров [70]. Его твердый, привлекательный облик вскоре расплывается.

---

[67] «Отелло», акт I, сц. 1 *(перев. П. Вейнберга)*

[68] *Спокойно, Роупер, спокойно.*

[69] *Опять за свое.*

[70] *Вот бы и ты так же!*

Пусть это будет на вашей совести, сказал я. Моя совесть чиста, я не изменил тому, что некогда ценилось на этой земле. Прекрасно, повторил Корнпит-Ферреpз. Итак, международное разделение труда. Заморские перспективы. Предатель, сказал я. Кого? Чего? — спросил он и добавил: мне пора. Сегодня у меня обедают два весьма влиятельных депутата.

Он издевательски отдал честь, коснувшись края котелка, водрузил зонтик на плечо, надув губы, изобразил звук горна, улыбнулся на прощание славянину и вышел. Я плюнул ему вдогонку, за что славянин пристыдил меня на ломаном английском. Он сказал, что это его дом. По крайней мере, снимает его он.

На этом можно кончить. Могу, впрочем, добавить, что в отеле «Варнов» под Ростоком никакой Бригитты не оказалось. Меня это не удивило. В каком-то смысле я даже был доволен. Круг предательств замкнулся. Я извлек штуцер из карьера и стал распахивать залежь свалявшихся антифонов, пока не излился бесконечным трубным завыванием белого, млечно-густого, суслообразного, дребежалкого, молисьричардного — никогда доселе плеснешалые ночи древних Телодвижений не вылуплялись столь упоительно [71]. Ребята из Варнемюнде оказались весе-лыми, накачали меня до отказа. Мы, кажется, распевали какие-то песни. Потом откостохрустали койкоспалых до форшсмачного состояния. И понесли белиберду [72], околесицу и свистели еще, и все прочее [73]. А наткнешься на пустую скирдокурву, так хоть [74] наполовину залей харчем или блюй себе вверх, где табличка «Мест нет». В отместку [75].

8

«Что мы теперь будем делать?» — повторил пробудившийся и голодный, как собака, Хильер. Он встал, не обращая внимания на посыпавшиеся на пол листы. Она пошарила по халату в поисках его голой груди, уткнулась в нее, охватила его руками и разрыдалась. «Бедная моя девочка,— пробормотал он, зарываясь в ее волосы,— но мы знали, что это неизбежно случится. Теперь я буду о вас заботиться». Перед его мысленным взором вновь предстал размахивающий свернутым зонтом Корнпит-Ферреpз — еще один ублюдок-нейтрал. В них — в нейтралах — и заключен корень зла. Клара продолжала рыдать, лицо ее было по-прежнему скрыто, он чувствовал, как по грудине стекают ее слезы. Она всхлипнула и закашлялась — наверное, в рот попал волосок. Он крепко прижимал ее к груди. Погладил, желая подбодрить. Но тело женщины есть тело женщины, даже если она девушка, даже если она дочь. «Идите сюда,— сказал он ласково.— Сейчас станет легче». Он усадил ее на узкую койку. Она вытирала глаза кулачками, а он, подсев поближе, продолжал ее успокаивать.

— Она просто зашла,— проговорила Клара сиплым от плача голосом.— В мою каюту и... разбудила. Мне показалось, что она была... рада.

— Тоже из них, из нейтралов,— сказал Хильер.— Скоро вы от нее избавитесь.

Он поцеловал ее в лоб.

— А потом. Когда сказала. Пошла. Спать.

— Ну успокойтесь, успокойтесь.

А если разобраться, что ей еще оставалось делать, как не идти спать? Зато завтра несчастная, мучимая мигренью вдовушка будет принимать соболезнования. Небось заказала уже для себя что-нибудь элегантно-траурное. Мужчины с неподдельным энтузиазмом будут прино-

---

[71] ?

[72] *Дверострук, далеко.*

[73] *Гдечтоктозачем?*

[74] *Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Послушайте, он умер. Все кончено. Алана не добудиться.*

[75] *Что такое? Клара в халатике, заплаканная. Она пришла мне сказать, она почти ликует. Он умер. Что мы теперь будем делать?*

сить свои соболезнования. Хильер так и видел, как они — в котелках и с зонтами — вкрадчиво постукивают в ее дверь. Видел, как сам он завтра займется необходимыми формальностями. «Я требую вернуть деньги,— скажет он пассажирскому помощнику.— В конце концов, мистер Иннес не виноват, что не смог сесть в Ярылыке. Бьюсь об заклад, что он и не думал заказывать билеты на другой корабль. Я требую возвратить большую часть денег. Теперь о гробе. Надеюсь, для удобства вы его с самого начала включаете в стоимость тура, так что платить не придется?»

— Завтра у нас много дел,— сказал Хильер.— Она, конечно, досидит на корабле до конца, до Саутгемптона. Вдовушка наша, безутешная и лакомая. Я обо всем позабочусь. А сейчас — отдыхать.

На нее навалилась усталость, копившаяся весь вечер. Вечер и впрямь выдался довольно утомительным для всех троих; немудрено, что Алана не добудиться. Проснувшись же, он вспомнит, как ему снилось, что он убивает человека. Затем ему сообщат о смерти отца. Не лучшее начало солнечного утра на борту морского лайнера. Но утреннему известию милосердно предшествовало огромное черное море ночи. «Вот так»,— сказал Хильер, нежно приподнимая Клару и вынимая из-под нее покрывало, одеяло и верхнюю простыню. «Смертельно устала»,— подтвердила она кивком и всхлипом. Хильер помог ей снять шелковый, расшитый драконами халатик. Под ним была черная ночная рубашка — без рукавов, с лямочками, хоть и не просвечивающая, но сводящая с ума. Нет, надо взять себя в руки: как-никак — дочь! Она плюхнулась на койку, разметав по сторонам волосы. Хильер придвинул стул, пересел на него и взял девушку за руку. Вскоре кисть ее начала выпадать — палец за пальцем. Безмятежность ее сна явилась наглядным подтверждением благонравных транквилизаторских способностей Хильера. Желания не было, он разделся донага и осторожно лег рядом. Не пробуждаясь, она инстинктивно отодвинулась к переборке. Он лежал на самом краю койки, повернувшись спиной к Кларе.

Она чуть слышно всхлипнула во сне. Больше так — спиной к Кларе — продолжаться не может. Он повернулся и обнял ее, старательно избегая тех частей тела, где она могла предстать отнюдь не дочерью. И снова спящее тело откликнулось: она повернулась к Хильеру лицом, которое в конце концов упрятала ему под мышку, согревая легким дыханием его обнаженную грудь. Теперь он мог заснуть. Но спалось беспокойно. То его будил шум моря (такого еще не было), доносившийся сквозь приоткрытый иллюминатор, то какая-то жертва бессонницы принималась бродить по палубе и с кашлем раскуривать предутреннюю сигарету. Вот и Рист заглянул в каюту. Включил светильник у изголовья и, покачивая глазом, свисающим из пустой глазницы на гибком черенке, проговорил:

— Я от вас, сэр, в восторге, в самом что ни на есть восторге. Сэр, в котором часу прикажете утреннюю смерть?

Хильер жестом прогнал Риста (вместе со светильником), но тут на другую койку запрыгнул Корнпит-Ферреpз, правда, какой-то совсем миниатюрный, и, взявшись за лацканы, как принято у парламентских старожилов, обратился к членам палаты общин:

— Мой достопочтенный друг красноречиво говорил о долге по отношению к стране в целом, но с точки зрения правительства долг состоит в первую очередь не в осуществлении правления, а в существовании как таковом *(Правильно! Правильно!)*, причем рассматривать его при этом следует не совокупно, а *(с галереи для публики донеслось: «Прелюбодей!», и кричавшего выпроводили из зала)* индивидуально. Мы можем пасть даже будучи вместе, как же можно позволить себе разобщенность!

Хильер понял, что находится в палате общин, где поджидает члена парламента от своего округа, чтобы пожаловаться на тех, кто вместо премии уготовил ему смерть. На полу он обнаружил затейливую византийскую криптограмму. Расшифровав ее, он прочел: «Нравственность

превыше всего», «Любовь и верность — Отчизне», «Преданность». Затем буквы снова смешались, и ничего больше разобрать не удалось. Вместо члена парламента Хильер увидел своего шефа и коллег — RF, VT, JBW, LJ. Возгласы возмущения. Под грохот салюта спикер заковылял к своему месту. Впереди него вышагивал булавоносец, позади плелся капеллан. «Я апеллирую к «прародительнице парламентов!» — воскликнул Хильер. «Приятель, здесь тебе не Апелляционный суд»,— сказал ему полицейский в фуражке с кокардой в виде опускной решетки. Хильера попросили вести себя прилично и относиться с уважением к серьезной законотворческой деятельности, тем более что вот-вот должно начаться обсуждение. В Хильера всаживали пулю за пулей, и иностранные туристы, игнорируя запреты, фотографировали его бьющееся, извивающееся тело. Он очнулся и увидел, что Клара пытается его успокоить. «Наверное, что-то приснилось»,— сказала она, отирая рукой пот с его лба. Руку она вытирала о верхнюю простыню. Море успокоилось. Стояло раннее, туманное утро. Член парламента... Что там по поводу члена..? В движениях рук, поглаживавших его тело, девичье любопытство мешалось с материнской нежностью. Видимо, она проснулась от его метаний. Рука ее пробиралась все ниже и ниже. Он остановил ее и подумал: «Мог ли я вообразить, мог ли когда-нибудь подумать, что стану ей мешать?» Но рука, та самая, что переворачивала бесстрастные страницы стольких секс-книжек, проявляла настойчивую заинтересованность. То, чего она коснулась, было теплым, гладким, скорее игрушкой, чем рвущимся вперед монстром. «Нет,— сказал он,— не то. Там есть кое-что другое». Огромный потогонный агрегат фаллического секса не интересовало, что сейчас за время и что это за девушка. Он осторожно показал ей. Он давал, не требуя ничего взамен. Хильеру чудилось, что чьи-то возмущенные лица с потолка шепчут: «Некрофилия», но с помощью собственной нежности он от них быстро избавился. Устлать ласками ее вхождение в мир избавления и восторга, упредить какого-нибудь хама, циника или эгоиста, способного все безнадежно испортить,— это ли не благодарная миссия для почти что отца? То, что он делал, было актом любви.

Но разве она не была уже наполовину развращена собственным любопытством? И когда после первого крещения она попросила чего-нибудь еще, двигала ею не жажда наслаждения, а тяга к познанию, жадность поскрипывающего карандаша, составляющего инвентарную опись. А это что такое? А вот это? А как еще можно? Перечисленные в атласе названия ей хотелось превратить в осязаемую, поддающуюся фотографированию плоть заграничного путешествия. Но Хильер сказал, что ей надо еще немного поспать, ведь подниматься придется рано: до того как они сойдут в Стамбуле, предстоит сделать множество вещей. Он подарил ей еще одно наслаждение, остановившись на границе, переступив которую, она разбудила бы криком всех соседей. После этого она заснула. Юное упругое тело было покрыто красными пятнами, черные волосы слиплись от пота. Хильер устало взглянул на часы — 6.20. В семь она его растолкала и потребовала то, чего давать ему совсем не хотелось. Некоторое время он еще продержался, но бежали минуты, страсть закипала, уздечка натягивалась — и, закусив удила, он перешел к фаллическому просвещению. И она перестала быть Кларой. Голова его сделалась ясной, нежность исчезла, словно безбилетный пассажир при виде контролера; он смог сказать себе: «Девственниц не осталось; пони и учительницы гимнастики, чем вы там смущенно занимаетесь? Дефлорацией. Со смехом обесцениваете некогда величественный, священный, замешанный на мучении ритуал». В коридоре зазвенели подносы с чаем. Он успел прикрыть ей рот, заглушив вопль оргазма, и, выйдя, добрался до своего, гораздо более скромного. И тотчас окунулся в прозу утра: запер дверь от разносящего чай стюарда, разжег сигару, сказал ей, чтобы накрылась и, как только опустеет коридор, пробиралась в свою каюту. Любовь... Как насчет любви?

— Вы, наверное, считаете, что у меня слишком маленькая грудь? — сказала она.

— Нет-нет, замечательная.

Надевая ночную рубашку и халат, она прямо-таки вся светилась от детского самодовольства.

— А утро обязательно должно начинаться с этого отвратительного дыма? — спросила она.

— Боюсь, что да. Старая привычка.

— Старая привычка,— произнесла она, кивая.— Старая. Жаль, что надо ждать до старости, чтобы чему-то научиться. Вы многое умеете.

— Это умеет любой взрослый мужчина.

— В школе лопнут от зависти, когда я расскажу.

Она снова улеглась на койку, подложив руки под голову.

— О нет,— простонал Хильер.

— Они ведь только болтают про это. Обсуждают то, что в книгах вычитают. Нет, я просто умираю от нетерпения!

Хильер был уязвлен. Не дожидаясь урочного часа, он щедро плеснул себе «Олд морталити» с тепловатой содовой. В названии, глядевшем на него с бутылки, казалось, отражался он сам *. Клара снисходительно покосилась: тоже, конечно, дурная привычка, но хоть не чадит, как сигара.

— А про что расскажете раньше — про смерть отца или про любовника?

Лицо ее болезненно скривилось.

— Зачем вы так, грубо и жестоко?

Действительно, зачем?

— Простите,— сказал Хильер.— Я и в самом деле многое знаю, но забыл я еще больше. Забыл бесстрастность молодости, о которой вы мне напомнили. Этакая бесстрастность сельского жеребца. Знаете, раньше было принято, чтобы какой-нибудь видавший виды удалец вводил молоденьких девушек в курс дела. Ни о какой любви, конечно, и речи не шло. Представляю, насколько смешно вам сейчас вспоминать, как я говорил про любовь.

Она шмыгнула носом, по-видимому, вспомнив о своей утрате.

— Ваши слова я не забуду. О таких вещах я девочкам рассказывать не стану.

— Станете.

Во рту сделалось кисло. Он с сожалением подумал: лучше бы лежал себе сейчас один и спокойно дожидался чаю.

— Впрочем, какая разница,— добавил Хильер.— Просто я забыл, что вы еще школьница. Я ведь даже не спросил, сколько вам лет.

— Шестнадцать.

Чуть усмехнувшись, она снова помрачнела.

— Не такая уж и юная,— сказал Хильер.— Я как-то спал с одиннадцатилетней итальяночкой. А однажды мне даже предлагали девятилетнюю тамильскую крошку.

— Да вы просто ужас что за человек!

Но во взгляде ее он прочел вполне нейтральное одобрение. В глубине глаз торжествующе светилось: «жеребец». Между тем на корабле и впрямь был человек, которого с полным правом можно было бы назвать «жеребцом». «Как вы сказали? Что это еще за словечко?»

— Какой я человек — не знаю,— сказал Хильер,— но трупом мне стать не удалось. Я мечтал о возрождении. Но, возможно, для этого действительно необходимо сначала умереть. Глупо было предполагать, что удастся быть отцом и мужем одновременно. Интересно, однако, какая из этих ипостасей протестует против того, чтобы вас бросили на съедение волкам.

— Я смогу о себе позаботиться. Мы можем оба заботиться о нас двоих.

В дверь постучали.

— Чай. Наконец-то,— сказал Хильер.— Наверное, вам лучше встать с койки. Наверное, вам лучше сделать вид, что вы только что зашли, чтобы сообщить мне печальное известие.

Она встала и скромно направилась к стулу. Печальное известие... Вот чем отдавало «Олд морталити». Так, глотнем-ка еще «Печальных известий». Хильер щелкнул замком и отворил дверь. Но увидел он не нового, заменившего Риста, стюарда. Увидел он Алана. В халате, с прилизанными волосами, с мундштуком, в котором дымилось «Балканское собрание», Алан выглядел посвежевшим и повзрослевшим.

— Она провела ночь здесь? — спросил он.

Хильер поморщился и пожал плечами. Увиливать не имело смысла. Брат совершил убийство, сестра прошла через «жеребца».

— Да, вы действительно показали нам обоим жизнь другой половины,— сказал Алан.— Все прекрасно!

Хильер почувствовал в неуместности последней реплики привкус «Печальных известий».

— *Она* пришла и разбудила меня,— сказал Алан,— чтобы сообщить о случившемся. Но, по-моему, все не так уж страшно. Надеюсь, мои слова не кажутся бессердечными.

— Византии он достиг первым *,— преодолевая неловкость, промолвил Хильер и пожалел об этом — Алан хмуро взглянул на него и сказал:

— Романтик, вот вы кто. Поэзия, игры, фантазии...— и, обращаясь к Кларе, добавил: — Она ведет себя именно так, как я предполагал. Всем сообщила и слегла. Голова у нее, видите ли, раскалывается. Бедняжка подавлена горем. Она поручила капитану обо всем позаботиться. Чтобы поскорее удалили труп с корабля. Нечего глаза мозолить. Труп на борту раздражает пассажиров. Они заплатили за веселое путешествие и, что бы ни случилось, имеют на него право.

— Я обо всем позабочусь,— сказал Хильер.— Вы, наверное, хотите сопровождать его по пути домой. Из Стамбула летают самолеты «Бритиш юропиан эруэйз». Я все устрою. Это меньшее, что я могу для вас сделать. А сейчас я одеваюсь и иду к пассажирскому помощнику. Надо сообщить вашим, точнее, *его* адвокатам. Они встретят вас в лондонском аэропорту.

— Я знаю что делать,— сказал Алан.— А вот неисправимые романтики вроде вас в реальных делах навряд ли разбираются. Как я заметил, вы ни словом не обмолвились о том, что полетите в Лондон вместе с нами. Боитесь, да? Вас будут поджидать ваши дружки в плащах и с пистолетами в карманах; тоже большие любители романтических игр. Говорите, что позаботитесь о нас, а сами на английскую землю ступить боитесь.

— У меня дела в Стамбуле,— промямлил Хильер.— Одно дело, по крайней мере. Но очень важное. И потом, я как раз хотел предложить вам встретиться в Дублине, в отеле «Долфин» на Эссекс-стрит. Там бы мы обсудили планы на будущее.

— Наше будущее зависит от решений канцлерского суда. Ведь несовершеннолетние Клара и Алан Уолтерс попадают под его опеку. Закон не обязывает мачеху заботиться о нас. Наверное, вы сейчас начнете говорить, что зато вас к этому обязывает совесть. На деле это означает, что мы втроем будем шнырять по Ирландии, стараясь никому не попасться на глаза. Нейтральная территория. Вышедшая из игры, так вы, по-моему, выражаетесь. Что означает: ИРА *, вооруженные бандиты, взорванные почтовые отделения. Нет уж, спасибо. Мы лучше в школу вернемся. Мы предпочитаем учиться *постепенно*.

Хильер виновато и с грустью посмотрел на этих детей.

— Ты не всегда так рассуждал,— сказал он.— Вспомни-ка: секс-книжки, смокинги, кольца в ушах, коньяк после обеда! Ты утверждаешь, что это я играю в игры...

— Мы всего лишь дети,— проговорил Алан почти что с нежностью.— Вы были обязаны это понять. Дети могут и поиграть.— И тут

его гортань гневно, вполне по-взрослому задрожала.— А *ваши* проклятые игры куда нас завели?!

— Это несправедливо...

— Проклятые нейтралы! Эта сука с ее горем и головной болью, ублюдок Теодореску, скалящийся Рист и вы. Хотя вы-то себя наверняка считаете молодцом и обижаетесь, что с вами несправедливо обошлись.

— Невинных жертв не бывает,— медленно произнес Хильер.— Надо читать то, что напечатано в контракте мелким шрифтом.

— Вот, вы даже это превратили в игру,— ухмыльнулся Алан и достал из кармана халата сложенный в несколько раз листок.— Полюбуйтесь: послание, которое вы просили меня расшифровать.

Хильер взял листок. На нем не было ни слова.

— Возвращение не предусмотрено,— сказал Алан.— Играют они мастерски.

— Чернила, исчезающие на седьмой день,— сказал Хильер.— Я должен был это предвидеть.

— Жаль, что все остальное не исчезает с такой же легкостью. Все их игры и фокусы. Хватит, пора возвращаться в реальный мир.— Он двинулся к двери.— Клара, ты идешь?

— Сейчас приду. Я только попрощаюсь.

— Ладно, увидимся за завтраком.

Он вышел, не попрощавшись с Хильером. Кашель взрослого курильщика сопровождал его по пути в каюту, где, наверное, сменился слезами естественной жалости к самому себе, в одночасье ставшему сиротой. Хильер и Клара взглянули друг на друга. Он сказал:

— Целоваться, наверное, неуместно. Было бы слишком похоже на любовь.

Глаза ее сверкали, словно от глазных капель. Скромно потупившись, она сказала:

— Вы, кажется, не собираетесь сейчас пить чай. Почему бы в таком случае не запереть снова дверь?

Хильер удивленно уставился на Клару.

— У нас достаточно времени,— сказала она, поднимая на него глаза.

Сколько раз он видел эти глаза!

— Убирайтесь,— сказал Хильер.— Немедленно вон.

— Я думала, вам понравилось...

— Вон.

— Нет, вы ужас что за человек! — Клара расплакалась.— Сами же говорили, что любите...

— Вон!

Хильер вытолкал ее за дверь, сам не понимая, что делает.

— Скотина! Грязная, мерзкая скотина!

На этот раз путь в каюту — теперь уже Кларину — сопровождался слезами. Слезы же, даже на людях — вещь вполне уместная.

Хильер жалко и жадно припал к бутылке «Олд морталити».

9

В Стамбуле ему пришлось ждать в течение трех дней. Название его отеля «Баби Хумаюн», то есть «Блистательная Порта» *, было не только претенциозным, но и обманчивым, поскольку располагался он в северной части города, у Золотого Рога, а не на юго-востоке *, где находится Старый дворец. Но Хильер был доволен. Для заключительного акта больше подходили вши, вонючие туалеты и гнилые обои в потеках, чем роскошные асептические интерьеры «Хилтона». Комната была темной, да и попахивало в ней чем-то темным. Можно не сомневаться, что его кровать видела немало диких, животных gesta [76], краска была ободрана мощными звериными когтями горцев, немытыми после того, как

---

[76] Телодвижений *(лат.)*.

их запускали в жирное козье варево. Ночью по полу шаркали сальные шлепанцы бородатых привидений, бормотавших предсмертные напутствия, перед тем как нанести смертельный удар и завладеть мешочком с деньгами, который высовывался из-под распоротого матраса. В предрассветном сумраке на стенах плясали тени кровожадных бандитов. Один из стульев доживал последние дни. На грязном балконе валялись турецкие окурки, на паутине лежал белесый слой пыли. Но Хильер с удовольствием усаживался с утра пораньше на покрякивающий стул, съедал на завтрак йогурт, инжир и пресный хлеб с маслом из козьего молока. Запивал крепким кофе, затягивался своей смердящей бразильской сигарой и устремлял взор на окутанный утренней дымкой Босфор. В халате на голое тело он размышлял о том, сколько наделал ошибок, чересчур полагаясь на свободу выбора, свободу воли и логику людских поступков. Заблуждался он и относительно природы любви.

На улице Джумхуриет он украдкой, словно турок-злоумышленник, наблюдал, как гроб с телом мучного короля загружают в крытый фургон компаний «Бритиш юропиан эруэйз», как дети мучного короля, бледные, изысканно одетые сиротки, садятся в автобус вместе с другими пассажирами, летящими 291-м рейсом, и, когда автобус тронулся в сторону аэропорта Ешилькёй, вяло помахал им вслед. Дом, расположенный по адресу, указанному Теодореску, оказался битком набитым различными офисами. Он осведомился у дежурной, нет ли писем на имя мистера Хильера. Женщина с монголоидным лицом и тронутыми сединой волосами протянула ему конверт. Вложенная в него записка гласила: «Ничего не понял, но приеду». Вместо подписи стояла буква «Т».

Итак, ждать. Завтрак, первая порция раки *, на ленч — жареная рыба или кебаб и снова раки, раки. Потом можно соснуть или побродить по городу, опрокинуть пару коктейлей в «Кемеле» или «Хилтоне», затем — обед в европейском ресторане, снова небольшой раки-тур и, не дожидаясь вечера,— на боковую. Семь стамбульских холмов — словно Рим попытался воспроизвести себя на другой земле — лишали его душевного равновесия. Тускло отливая византийским золотом, в голове звенели имена архитекторов и султанов: Анфимий, Исидор *, Ахмед *, Баязид *, Сулейман Великолепный *. Неутешным птичьим свиристеньем взывали из прошлого Феодосий *, Юстиниан * и сам Константин *. Мечети кружили голову. Неизбывный изнуряюще-влажный зной, настоянный на шерсти, шкурах и кожах. Под Галатским маяком * с грохотом и звоном грузят грязное старье и ржавое железо — какой-никакой, но экспорт. Суда, чайки, сверкание моря. Базары, нищие, тощие дети, блестящие зубы, горящие угли, коптящаяся на вертеле требуха, табачная вонь, тучные — разжиревшие на жирах — фланелево-двубортные мужчины.

На третий день Хильер отправился в Скутари * и под вечер возвратился в «Баби Хумаюн» усталый, вспотевший, с головной болью. В холле он обнаружил несколько чемоданов из добротной кожи, и пульс его учащенно забился. Кто-то откуда-то приехал. Кто? Подслеповатого, мучимого желчными коликами портье он спросить не решился. Поднявшись на лифте (металлолом на экспорт) на свой этаж, он вошел в номер, разделся и, перед тем как зарядить «Айкен», проверил и сам пистолет, и глушитель. Затем засунул «Айкен» в верхний ящик комода между чистыми рубашками, которых, кстати, у него уже почти не осталось. Подошел к окну, отхлебнул из бутыли раки. В халате, с полотенцем на шее, он направился в душ, ощущая легкую тошноту и головокружение. Он подошел к душевой; пальцы, коснувшиеся дверной ручки, охватил трепет намерения. Хильер знал, что его ждет за дверью.

Под холодным душем стояла мисс Деви. Он смерил взглядом ее нагое тело с той же холодностью, с какой она встретила этот взгляд. По шоколадной спине струились водяные ветви и островки, поблескивал черный, как смоль, кустик. Лицо со спрятанными под шапочкой волосами казалось даже более обнаженным, чем тело. Соски, после холодно-

го душа ставшие еще восхитительней, словно два глаза уставились в глаза Хильера.

— Ну что, он здесь? — спросил Хильер.

— Скоро будет. Дела. Ваше послание его весьма озадачило. Не бойтесь, он не готовит никаких трюков. Никаких магнитофонов. У него прекрасная память.

У меня тоже, подумал Хильер. Он вспомнил ночь в каюте мисс Дев и, и по телу поползли мурашки. До вожделения ли сейчас? Тогда оно было использовано против него; на этот раз будет иначе. Хотелось разорвать ее детское тело; от ароматов, щекотавших ноздри, от ощущений, прошивающих складки ладоней, можно избавиться лишь с помощью сильнодействующего средства — известного, набухшего, бесстыдного, привычного.

— Начнем прямо сейчас? — спросил Хильер.— Надеюсь, у нас есть время.

— О, время у нас есть. Время на vimanam и akaya-vimanam[77], На mor[78], taddinam[79], и Yaman.

— Yaman? Это же бог смерти...

— Это просто название. У меня сорок седьмая комната. Ждите там.

— Лучше пойдемте ко мне.

— Нет, в моей комнате приспособления, без которых Yaman невозможен. Ждите в сорок седьмой. Я должна совершить троекратное внутреннее омовение.

На стуле, стоявшем возле нее, Хильер заметил небольшой непромокаемый мешочек. Помимо приспособлений, которых требует Yaman, там, вероятно, найдется и кое-что другое. Он отправился в ее комнату. Она оказалась такой же убогой, как и его собственная, но имело ли это значение, если во всем ощущалось незримое присутствие мисс Дев и. Ополоснувшись холодной водой из раковины, он быстро обтерся, лег в ее постель (черное накрахмаленное белье, должно быть, ее собственное) и стал ждать. Через пять минут появилась мисс Дев и и, скинув у дверей одежду, нырнула к нему в постель.

— Нет, не так,— сказал Хильер, едва начался простейший vimanam.— Мне хочется чего-то более непосредственного, легкого и нежного. Многоголосью оркестра я предпочитаю легкую мелодию. Так уж я устроен.

Она замерла под ним и словно одеревенела.

— Иначе говоря, маленькую англичаночку,— сказала она.— Белокурую, дрожащую, лопочущую о любви.

— О любви она не произнесла ни слова. В отличие от меня.

Мгновенным мышечным усилием она исторгла его из себя. Его это нисколько не огорчило.

— Прошу прощения,— сказал Хильер.

— Убирайтесь,— проговорила она ледяным голосом.— Тем более что мистер Теодореску предупреждал: сначала бизнес, а уже потом ужин. Ждите его в своем номере — вам же туда так хотелось. Он просил меня проследить, чтобы вы заказали выпить. Только не раки. Кстати, он велел передать, что вы можете записать это на его счет. А теперь убирайтесь.

Хильер сидел в своей комнате и ждал. Морское небо — уже не розовое, не мареновое — все больше загустевало. Звезды над Золотым Рогом; его золото во тьме напоминало золото Византии. На столике, стоявшем возле балкона, красовались коньяк, виски, джин, минеральная вода, лед, сигаретница, сигаретная бумага была шелковистой, табак — жжено-кремовым. Хильер снова проверил пистолет и положил его в

---

[77] Небесная колесница *(санскр.-тамил.)*.
[78] Павлин *(хинди)*.
[79] Ежегодная церемония, связанная с культом предков *(санскр.)*.

правый карман своего мойгашелского пиджака *. Теперь оставалось только ждать.

Теодореску вошел без стука. Он был в шелковой рубашке, пиджачной паре и источал ароматы скорее абстрактного Востока, чем подлинной, отдающей гнильцой Азии, начинающейся тут, к востоку от Босфора. Громадный, с лысиной, напоминавшей огромный отполированный камень, учтивый, сердечный.

— Простите, что заставил вас ждать, мой дорогой Хильер. Пришлось завершить кое-какие дела в Афинах. Но, надеюсь, мисс Деви вас немного развлекла? Нет? Какой-то вы сегодня серьезный, чтобы не сказать мрачный. Совсем не тот голый Хильер с «Полиольбиона», которого я знал и уважал.

По обе стороны столика стояли стулья. Теодореску опрокинул в себя целый бокал виски; мелодичными колокольчиками звякнул лед.

— А теперь вы меня не уважаете? — спросил Хильер.— Теперь, когда я собираюсь бескорыстно сообщить вам кое-что. Теперь, когда я собираюсь бескорыстно сообщить вам все.

— Мистер Хильер, я играю по жестким правилам: за все плачу, но и сам ничего не даю бесплатно. Не припомню, чтобы кто-то делился со мной чем-нибудь стоящим, не требуя ничего взамен. Подарки, взятки — это, конечно, другое дело. Но про dona ferentis [80] не зря сказано. Вы желаете мне что-то сообщить. Чего вы за это хотите?

— Освобождения. Освобождения от тяжкой ноши. Не исповедавшись, я не смогу дальше жить. Вы меня понимаете?

— Надеюсь, что да,— сказал Теодореску, сверкнув огромными глазами.— Вы хотите сделать из меня исповедника. Благодарю за честь. Значит, вы хотите взвалить свою ношу на меня. Понимаю. Понимаю. Понимаю, почему вы возражали против магнитофона. Что ж, единственное, о чем я попрошу,— это говорить помедленнее.

— Хоть это и исповедь, но, как известно, дареному коню... Говорить я буду как обычно.

— Начинайте. Итак, «благословите, святой отец, меня, грешного...»

Хильер в ответ не улыбнулся, и Теодореску сделался серьезным.

— То, что я скажу, на самом деле предназначено не вам,— сказал Хильер.— Но раз уж так вышло...

И он начал:

— «Эвенел» * — это Х. Глинденнинг *. Сейтон, Странд-он-зе-Грин, Лондон. Радиостанцией «Авиценна» руководит Абу Ибн Сина *, багдадской полиции он известен. Группа из трех международных террористов, называющих себя «Адалламиты» *, состоит из Хорзмана, Лоу и Гроувнора. Имена, думаю, выясните сами.

— Разумеется. Какие лицемеры...— Он снова хлебнул виски.— Не останавливайтесь, прошу вас.

— Операция «Прибой» начнется через шесть месяцев неподалеку от Гелливара. Х. Дж. Принс, проживающий в графстве Сомерсет, рядом с Бриджуотером, руководит центром подготовки террористов, носящим название «Агапемон» *. Карманный телевизионный передатчик, почему-то названный «Нур аль-Нихар» [81], проектируется в центре Эль Махра, на юго-западе от Александрии. К востоку от Беэр-Шевы, в районе границы с Иорданией, почти закончена разработка парных ракет «Ахола» и «Ахолиба». Убийца С. Т. Аксакова вышел на пенсию; он проживает в районе Фрайбурга под фамилией Чичиков (не правда ли, милая подробность?). Торговец Т. Б. Олдрич * выходит на связь из Кристинестада, поддерживает контакт с агентом по кличке «Торпедист», действующим в районе Валдайской возвышенности, к югу от Старой Руссы. В городе Кинлох на острове Рам приступили к выполнению плана, известного под кодовым названием «Альмагест» *. Канал эвакуации

---

[80] ...timeo Danaos et dona ferentis — ...страшусь я дары приносящих данайцев (Вергилий, «Энеида», II, 49; *перев. С. Ошерова*).

[81] Дневной свет *(араб.)*.

агентуры «Гота» начинается в трех милях северо-западнее Кёпеника. План ракетной базы в Сан-Антонио, находящийся в распоряжении так называемой поп-группы «Анархисты», в которую входят Барлоу, Трамбулл, Хамфриз и Хопкинс, хранится на вилле в предместье Хартфорда.

— Вы уверены?

— Ни в чем нельзя быть полностью уверенным. Возможно, у них есть кое-что еще. Налет именно поэтому и был отложен.

— Боюсь, что из всего услышанного я сумею запомнить лишь небольшую часть. Тяжело с вами иметь дело, мистер Хильер.

— Во главе группы кембриджских ученых, разрабатывающих калькулятор типа PRT, стоит насквозь продажный тип К. Баббидж. Нелепая, но потенциально опасная группа камеронцев * со штаб-квартирой в Гронингене возглавляется Джоном Бальфуром * из Берли. Криптограмма «Нерон Цезарь» расшифрована в Таранто Ричардом Свитом. Морские испытания «Бергомаска» отложены на неопределенный срок. Внимательно следите за деятельностью группы «Бисмарк» в Фридрихсруэ. «Черные списки» из Адмиралтейства украдены. Не старайтесь понапрасну, лучше сообщите об этом прессе. Рольф Болдревуд * изготавливает фальшивые рубли в своем доме на площади Боулт-Корт, неподалеку от Флит-стрит. Во время воздушных учений «Британарт» будет осуществляться фотографирование базы в районе Вараздина. Испытания пистолета-распылителя, известного под условным названием «Какодемон» [82], проводятся в колледже Гонвилл-холл. Французские ядерные исследования разбиты на стадии, согласно месяцам революционного календаря. Заключительная стадия носит название «Фруктидор» *. По нашим сведениям, сейчас идет работа над «термидорианской гильотинной повозкой».

— Боже мой!

Теодореску опустошил уже три четверти бутылки.

— Следите за Португалией. Насколько можно судить, то, что видел Леодогранс, было чертежами межконтинентальной баллистической ракеты «Лусус». Но Леодогранс больше не работает в подземельях Сантарема. Следите за Испанией. Есть сведения, что в Леганесе тайно разрабатывается так называемая «Паниберийская доктрина». Довольно странные сооружения обнаружены в Бадахосе, Бросасе и в лагерях на юге Понтеведры.

— Это я знаю.

— Это вы знаете. Зато вы не знаете, что под предлогом покупки мехов Колвин посещал Ленинград. Не знаете вы и того, что некий Эдмунд Керл фабрикует непристойные фотографии с целью скомпрометировать Косыгина. Его лавка находится в Лондоне, на Канонбери авеню. Наши югославские агенты работают в Приеполе, Митровице, Крушеваце, Нови-Саде, Осиеке, Иваниче и Мостаре. Все они дают частные уроки английского. До первого сентября пароль — «Zoonomia» [83].

— Минуту, какой пароль?

— Долговременный план истощения Израиля, разработанный ОАР, называется так же, как называют в Коране Александра Македонского — «Зу-ль-Карнайн». Поэтому полевые склады оружия имеют «двурогое» условное обозначение. Иоганн Дёллингер * недавно исключен из подпольного неонацистского союза «Welteroberung» [84]. Он с утра до вечера накачивается спиртным и не выходит из своих меблированных комнат на Шаумкаммштрассе в Мюнхене. К друидическому движению *, популярному на острове Англси, стоит отнестись серьезно, поскольку оно финансируется Бёлтгером и Кандлером. Последний живет в Дрездене. Лоуренса Осдена видели с африканским мальчиком в Танжере *.

---

[82] Злой дух *(греч.)*.
[83] Физиология *(лат.)*.
[84] «Покорение мира» *(нем.)*.

— У меня есть их фотографии.

Уговорив виски, Теодореску взялся за коньяк.

— Плесните мне тоже,— сказал Хильер.

Голова его была забита именами. Он выпил. Надо продолжать.

— Миниатюрные атомные подводные лодки «Фоморы» * будут тайно спущены на воду с мыса Россан, графство Донегол. Эксперименты по выведению ядовитых сортов трав, к которым готовятся на юге Карсон-сити, штат Невада, имеют кодовое название «Габриэль Лажёнесс» *. Джоэл Харрис *, официальный палач объекта J24, живет сейчас в Любеке. Судя по всему, Годолфин все еще на свободе: Ходжсон сообщает, что видел в Сакатекасе человека, приметы которого совпадали с приметами Годолфина.

— Такие мелочи меня не интересуют.

— Понимаю. Но не забывайте, что перед вами целый табун дареных коней.

— Скорее, коняг. Пони. Заезженных кляч. Но я рискую показаться неблагодарным и невежливым. Приношу извинения.— Он взглянул на часы (плоское, поблескивающее «Velichestvo»).— Пожалуйста, продолжайте. Или, если можете, заканчивайте.

— Держите под наблюдением Плауэн, Регенсбург, Пассау. Новые американские ракеты на объекте 405 направлены на Восток. Во время визита Дзержинского в Пловдив туда был послан Инджилоу. Под видом странствующих евангелистов американская военная миссия посещала Калатук и Ширезу. Кашмирский бизнес доживает свои последние дни: в стоящих в Сринагаре контейнерах находятся огнеметы.

— Да, да, да... Но вы же знаете, чего я жду.

— Чего вы ждете,— вздыхая, повторил Хильер.— Вонючий педераст и нейтрал должен был бы и за это сказать спасибо.

— Так вы обращаетесь к священникам? — со смехом спросил Теодореску.— Впрочем, ничего удивительного. Одних профессиональная деятельность возвышает, других портит.

— Корень зла — в нейтралах, в неприсоединении,— процедил Хильер сквозь зубы.— Все из-за этого... А теперь то, чего вы так дожидаетесь.— Теодореску подался вперед.— «Номер первый» по Карибскому бассейну — Ф. Дж. Лэйард.— (Все в Хильере орало: «Заткнись!», «Падай в обморок!», «Вставь кляп!») — Саванна-ла-Мар, Ямайка. Офис — в задних комнатах велосипедного магазина «Ледервудз». Лэйард живет под именем Томаса Норта.

— Это уже ближе к делу.

— «Номер второй» (оперативная работа) — Ф. Норрис *. Сейчас он в шестимесячном отпуске и проживает у своей тетки в Саутси. Хорнроуд, дом 23.

— Оставим Карибский бассейн. Меня интересует Лондон.

Хильер рыгнул и глотнул коньяку.

— Штаб-квартира находится на Пеннант-стрит в «Шенстоун билдингс». Десятый этаж, офис «Томаст энтерпрайсис лимитед». Имя шефа...

— Ну!

— ...сэр Ральф Уэвелл. Живет в Олбани и в Сассексе — дом «Тримурти» в Батле.

— А, старый индийский волк... Прекрасно. Другие имена меня не интересуют. Дайте мне только частоты, на которых вы работаете.

— 33, 41, 45 по шкале Мертона.

— «Книжные» коды используете?

— Крайне редко.

— Благодарю вас, мой дорогой Хильер. Вы только что говорили, что я являюсь источником зла. Вполне возможно. Но я честен, и вы это знаете. В нашем бизнесе мухлевать нельзя. Когда в Лозанне я кладу на стол конверт и заявляю: «Господа, внутри находится имя шефа контрразведки» или: «Предлагается точное местонахождение службы между-

народного радиоперехвата», то потенциальные покупатели никогда не сомневаются в моих словах. И они уверены, что второй раз я эту информацию уже не продам. Я честен и играю по правилам. Вы захотели бескорыстно поделиться со мной всеми этими лакомыми кусочками — и жестковатыми и самыми сочными, повинуясь велению сердца, поэтому я не стану унижать вас и предлагать хотя бы символическое вознаграждение. Но я — не без помощи мисс Деви — кое-что у нас позаимствовал и настаиваю на справедливой оплате. Как вы посмотрите, скажем, на две тысячи фунтов?

Он достал из внутреннего кармана листки с синими роуперовыми каракулями и помахал ими перед Хильером.

— Она выкрала это, пока вы, мой милый Хильер, ожидали ее в постели в предвкушении наслаждений, воспользоваться которыми вам почему-то не позволила совесть. Вероятно, вы сочтете меня жадным и неблагодарным, но я беру все, что могу, когда могу и как могу.

— Вы знали, что рукопись у меня?

— Ни в коей мере. Просто стандартный обыск. И результат меня порадовал. Ведь в первый раз я услышал о любвеобильном сэре Арнольде Корнпит-Феррерзе от одной молодой особы в Гюстрове. Она захотела продать кое-какую информацию, и ее связали со мной. Так, ничего особенного, обрывки разговоров, засевшие в голове у бывшей лондонской проститутки.

— Бригитта.

Написать Роуперу. Не откладывая.

— Ее так зовут? Хильер, вы просто великолепны. Скажите, есть что-нибудь, чего вы не знаете? Значит, вы тоже интересовались делом Роупера. Впрочем, почему бы и нет? — мир тесен. Я всегда испытывал особый интерес к перебежчикам, ведь это высшая форма человеческого падения. Итак, вы не откажетесь взять чек моего швейцарского банка?

— Я тоже буду честен,— проговорил Хильер, доставая бесшумный «Айкен».— Возможно, я и дал что-то бескорыстно, но я нисколько не жалею о том, что собираюсь сделать. Теодореску, вы — враг; вы сидите на карнизе «железного занавеса», и в кармане у вас позвякивают праздничные колокольчики. В отличие от цирюльника Мидаса *, я проболтался не в ямку, а в никуда.

Хильер спустил курок.

Безобидный дымок окутал смеющегося Теодореску. Хильер выстрелил еще раз. И еще. Безрезультатно.

— Холостые! — рассмеялся Теодореску.— Мы подозревали, что еще увидим этот очаровательный крохотный «Айкен». Мисс Деви успела заменить патроны, пока вы предавались сладострастному ожиданию. Весьма полезное существо. И к тому же очаровательное. Порой я сожалею, что не подвластен ее чарам. Но мы таковы, какими сотворили нас высшие силы. Все мы в конечном счете беспомощны. Жизнь — страшная штука.

Хильер бросился на Теодореску, но был отброшен небрежным жестом руки. Заливаясь хохотом, Теодореску двинулся к дверям. Хильер вцепился было в него ногтями, но последние оказались на удивление тупыми.

— Не валяйте дурака,— сказал Теодореску.— Не то мне придется обратиться к помощи влиятельных местных друзей. У меня есть еще в Стамбуле кое-какие дела, и я не желаю, чтобы всякая мелюзга путалась под ногами. Будьте умницей — присядьте, выпейте, полюбуйтесь Золотым Рогом. Вы сделали свое дело. Отдохните, расслабьтесь. Сходите к мисс Деви, натура у нее отходчивая. А я пока что схожу пообедаю.

И он со смехом вышел в коридор. Хильер бросился к комоду. Шприц и ампулы лежали там, куда он их засунул — под носовыми платками; похоже, к ним никто не притрагивался. Он вскрыл две ампулы и наполнил шприц. Надо было действовать быстро. Выскочив в коридор, он уви-

дел, что лифт, железновато-ржаво поскрипывая, уже начал спускаться; ему показалось, что изнутри доносится смех Теодореску. Хильер ринулся вниз по лестнице, по скользким залысинам ковровой дорожки, мимо громадных византийских кадок с мертвыми деревьями, мимо турецкой четы, важно шествовавшей в свой номер, мимо прищелкнувшего языком официанта в грязно-белой униформе. Слегка споткнувшись на бегу, Хильер чертыхнулся. В шахте было видно, как лифт приближается к первому этажу. На крыше кабины валялись фруктовые очистки, окурки и даже несколько презервативов. В голове стучало: «Успеть!»

У дверей лифта на первом этаже сидел человек в полотняной шапочке (вероятно, шофер Теодореску) и хмуро изучал турецкую газету. Хильер оттолкнул его, буркнув «пардон». Теодореску (кроме него, в лифте никого не было) уже открывал тонкую решетчатую дверцу. «Позвольте»,— выдохнул Хильер и взялся за ручку. Он позволил двери слегка приоткрыться, с тем чтобы между нею и зарешеченной клеткой образовался не слишком узкий зазор. Теодореску попытался открыть дверь пошире и нетерпеливо просунул в образовавшуюся щель свою мощную, холеную, украшенную перстнями руку. И тут Хильер изо всех сил навалился на дверь, и руку зажало так, что обладатель ее испустил проклятье. Рука требовалась секунд на пять, не больше... Турку в шапочке происходящее не понравилось, и он поспешил прочь. Теодореску напирал с невероятной силой, Хильер развернулся, чтобы удобней зацепиться за решетку, посильнее уперся ногами в истертые кафельные плитки и схватился, наконец, за кованый брус наружной двери. Теперь можно выдохнуть. Зажатая рука, казалось, изрыгала проклятья, перстни сверкали, направляя на обидчика лучи смерти. Хильер вытащил из нагрудного кармана шприц, зубами стянул колпачок с иглы и всадил ее в жирное запястье. Теодореску взвыл. Спускавшиеся по лестнице двое стариков испуганно переглянулись и повернули обратно. Издалека донесся звон посуды, словно официанты побросали подносы и отправились выяснить, что тут происходит. «Совсем не больно»,— проговорил Хильер и нажал на поршень. Тягучая жидкость потекла в набухшую вену, смешиваясь с кровью, черные капли которой выступили вокруг иглы. «Хватит»,— проговорил Хильер. Он не стал вынимать шприц, и тот торчал в руке подобно бандерилье в белом бычьем боку. Хильер отпустил ручку и выскочил на улицу.

Он притаился возле полутемного входа в отель. Вскоре из холла послышалось пение. Теодореску, которого не могло взять ни одно виски, на этот раз был совершенно пьян. Он распевал гимн второразрядной частной школы: «Парсон был основан много лет назад. Разум здесь всегда делами правил. Вышедших из стен его доблестный отряд честь и славу Англии составил». В органоподобном голосе Теодореску проскакивали какие-то свирельные нотки, хотя прежняя мощь еще чувствовалась. Он попытался вспомнить второй куплет, потом пробормотал: «Ну и наплевать» и стал что-то бессвязно мурлыкать себе под нос. Он возник в дверях отеля, взглянул на круглый светильник, окруженный облачком мошкары, и, расплывшись в идиотской улыбке, обхватил левой рукой выщербленный стояк, словно облепленный леденцами. С правой руки капала кровь. «Ночка что надо, веселись до упада»,— заявил он, оглядывая улицу. «Эй, братва,— обратился Теодореску к кучке стоявших неподалеку турок,— айда к пятиклашкам, напишем им на доске что-нибудь неприличное». И, покачиваясь, двинулся вправо, в лабиринт грязных улочек, в царство карманников, тесных закусочных и протекающих посудин. Теперь ему вспомнилась дурацкая песенка старшеклассников: «Мы на школу забиваем, в биллиард с утра катаем. Нам любого обыграть, что два пальца обос...ть». Его вело из стороны в сторону, но Теодореску с мальчишеским гоготом продолжал брести по скользкой булыжной мостовой. Хильер следовал за ним на безопасном расстоянии.

Из окон полуразвалившейся пивной доносились завывания турецкой радиолы: пронзительные звуки свирели, в микротональные мелиз-

мы * которой вплетались (словно из уважения к Моцарту) гонги, колокольчики и цимбалы. Теодореску отреагировал на иностранную музыку презрительно. «Ниггеры недоразвитые,— гаркнул он на всю улицу.— Бонгабонгабонга! Ниггеры и китаёзы!» Как истинного британца его тянуло к морю, благо, Стамбул ограничен морскими стенами с трех сторон, а каменной — только с одной. Мелкие представители низших рас поглядывали на него без страха и неприязни: надрался верзила, да простит его Аллах, да простит его тень Ататюрка *. Хильер рассудил, что пришло время помочь Теодореску лечь на нужный курс. Он ускорил шаг, и тут Теодореску внезапно обернулся и поглядел на него, впрочем, вполне добродушно. «А, Бриггз! Только попробуй приспособить мне на спину свою дурацкую записочку — тебе, сучонок, достанется. Я твои фокусы знаю, недоносок ты длинноносый!»

— Никакой я не Бриггз,— сказал Хильер.

— Правда?

Трое маленьких турко-греко-сирийских оборванцев крутились вокруг Теодореску, выклянчивая бакшиш. Теодореску пытался их отогнать, но с его нынешней координацией движений сделать это было непросто. В конце концов, поливая его бранью, они юркнули в темный вонючий переулок.

— Верно, какой же ты Бриггз,— согласился Теодореску.— Ты — Форстер. Ну что, Форстер, война или мир?

— Мир,— сказал Хильер.

— Другое дело. Тогда почапали вместе. Да здравствует мир! Руку, Форстер! Двинули!

Хильер зашагал рядом, но от дружеского короткопалого объятья уклонился.

— Говоришь, «мир»,— пробурчал Теодореску, семеня по уходившей вниз петлистой улочке,— а сам сказал Уидерспуну, что я паршивый инострашка.

Повсюду валялись рваные афиши давно прошедших турецких увеселений, впрочем, на одной виднелась фотография двух американских кинозвезд, мрачно обнявшихся в окружении ощетинившихся умляутами слов. Газовый фонарь трепетал, словно умирающий мотылек. Из заколоченной лавки внезапно высунулась толстая женщина (судя по цвету лоснящейся кожи — гречанка) и что-то хрипло заорала.

— Просто у меня фамилия такая, а вообще я стопроцентный англичанин,— сказал Теодореску.— В крикет играю... В будущем году Шоу обещал включить меня в дублирующий состав. Знаешь, как я поле вижу! И рука у меня твердая.

Он хотел продемонстрировать свой коронный удар и едва не упал.

— Пошли, глотнем морского воздуха,— сказал Хильер.

Теплый ветерок донес гнилостную вонь стоячей воды. Хильер ткнул Теодореску пальцем, подсказывая, что спускаться следует по широкой улице, вдоль которой тянулись открытые до позднего вечера продуктовые лавки. Радиоприемники разносили разнообразные мелодии, причем каждая старалась доказать свое превосходство перед остальными; сочный голос, чем-то напоминавший черчиллевский, сообщал турецкие новости, пробиваясь сквозь пуканье помех. На жирных сковородах шипели безымянные рыбины и мясо. Теодореску жадно потянул носом.

— Рыбка с картошечкой от «Мамаши Шенстоун»,— произнес он, сглатывая слюну.— Лучшая в городе.

Навстречу стали попадаться группы рыбаков. Некоторые спорили о ценах. Хильер готов был поклясться, что видел, как какая-то женщина свесила из окна свое жирное, белое пузо. Кроме яшмака * на ней ничего не было. Разве Кемаль Ататюрк не запретил яшмаки? Белое пятно исчезло.

— Тео, ты все-таки свинтус,— проговорил Хильер.— Что ты делаешь с малышами?

— Это все Беллами,— чуть не плача выкрикнул Теодореску.— Беллами так со мной сделал. Они меня заманили в комнату старосты и заперли дверь. Я звал на помощь, но никто не слышал. А они хохотали.

— У тебя привычки вонючего иностранки. Я-то знаю, что ты сделал с тем малышом на хорах.

— Ни с кем я ничего не делал. Честное слово.

Теодореску разревелся. Небритый, измазанный в мазуте матрос, стоявший под вывеской «Gastronom», которая венчала вход в продуктовую преисподнюю, отрыгнул — долго и певуче. Теодореску неуклюже побежал.

— Все против меня! — прокричал он, хлюпая носом.— Я хочу только одного — чтобы от меня отцепились.

Он по-чарличаплински завернул за угол. Двое моряков посторонились, уступая дорогу надвигающейся громадине, извергавшей непонятные слова. Хильер догнал его и принялся успокаивать:

— Да будет тебе, Тео, брось. Сейчас дохнешь морского воздуха и полегчает.

Они вышли к небольшому причалу, выложенному щербатым скользким булыжником. На босфорских волнах качались объедки. Двое заросших подростков (один был босым) при свете фонарика орудовали старым железным ломиком, пытаясь вскрыть какой-то контейнер. Заметив Хильера и Теодореску, турки вызывающе рассмеялись и удрали. Под унылыми навесами тянулись упаковочные клети, из которых доносилась крысиная возня. Где-то вскрикнула чайка, словно разбуженная ночным кошмаром.

— Тут можно славно побеситься,— сказал Хильер.— Давай-ка прыгнем в одну из этих лодок.

Вдали плясали мутные огоньки торгового судна. Где-то полным ходом шла вечеринка: до Хильера доносились исступленно-радостные — судя по всему, скандинавские — крики. Хильер подвел Теодореску к скользкому, с прозеленью краю причала.

— Осторожно, осторожно,— сказал Хильер.— Мы ведь не хотим бултыхнуться, правда?

Теодореску засыпал на ходу. Хильер смотрел на его громадную, обвисшую физиономию: от былого тучного благородства не осталось и следа.

— Паршивый иностранка ты, а не британец,— сказал Хильер.— Тебе даже до этой вот баржи не допрыгнуть.

Перед ними покачивалась пустая угольная баржа. Днище ее покрывал слой черной пыли. Выгруженный уголь, сваленный в кучи вдоль мола, поблескивал в лучах поднимавшейся турецкой луны. Порожняя посудина тихо похлюпывала метрах в полутора от причала.

— Не могу,— произнес Теодореску, мутным взором глядя на море.— Ненавижу воду. Холболлз, дурак старый, таскал купаться, а плавать толком не научил. Хочу домой.

— Трусишка,— подзуживал его Хильер.— Иностранка-трусишка.

— Рыбка с картошечкой. «Мамаша Шнстн».

Хильер приподнялся на цыпочки и шлепнул Теодореску по левой щеке. Он старался ни о чем не думать. Боже, Боже, Боже. Неужели Теодореску и впрямь такой законченный мерзавец? Мог же просто выслушать все, что ему выложили. Безо всяких вопросов, безо всяких долларов... И имя ему сообщили, и месторасположение. Что он там говорил о свободе воли, о праве решать?

— Решай, Теодореску,— сказал Хильер.— Давай иди сюда. Койка узковата, но ты влезешь.

— Мать здоровый пирог прислала. А Беллами, гад, почти все съел.

— Ну, бьемся на пять шиллингов? Ставлю пять, что я прыгну, а ты сдрейфишь.

— Пять? — Он слегка встрепенулся.— На деньги не спорю. Джим, старый хрыч, орать начнет.

— Смотри,— проговорил Хильер примериваясь. Примерно в полуметре от планшира торчал деревянный выступ. Сойдет.— Внимание: раз-два.

Хильер играючи прыгнул на выступ. Даже дыхание не сбилось. Он смерил взглядом ничтожное расстояние, отделявшее его от причала, на котором нерешительно покачивался Теодореску.

— Давай, трусишка! Ну, давай, вонючка-иностражка. Нейтралишка ублюдочный, не дрейфь!

— Британец...— промямлил Теодореску. Он гордо вытянулся, словно услышал звуки национального гимна.— Никакой не нейтрал.

И он прыгнул. Море, в которое неожиданно низверглась огромная туша, взметнулось, выражая свой протест, свой бессловесный, кипенный, тающий ужас, в самых курьезных формах: от едва узнаваемых пародий на женские прелести до исламских букв, по размеру годящихся на плакаты, от образчиков кружевной вышивки до крепостных башен, рушившихся под ударами молний. Вода зашипела, словно зашикавшие от возмущения зрители.

Оказавшийся между причалом и некрашеным бортом баржи, Теодореску прохрипел, ловя губами воздух:

— Подлюка! Скотина! Так нечестно. Знал, что не допрыгну.

— Ты забыл отпустить мне грехи,— сказал Хильер.

Он вспомнил про рукопись Роупера. Хроника предательств отправится сейчас на дно. А с ней и пачки денег, целое состояние. Тусклые блики перстней сопровождали потуги Теодореску вскарабкаться по мшистой кладке причала. Не в силах удержаться на плаву, он, словно распятый, с воем пытался упереться в обе стенки своего хлябкого, хлюпкого склепа. Но единственное, что ему удалось,— это оттолкнуть баржу. Новый крик о помощи внезапно осекся: рот наполнился грязной водой.

— Беллами... финья... фонючая! — вопил он, задыхаясь.

Но старосты только посмеивались. Господи, взмолился Хильер, прибери его поскорей. Он спрыгнул на дно баржи, но ничего, кроме тяжелой лопаты, там не обнаружилось. Взяв лопату, он полез наверх и по звуку, еще не видя Теодореску, понял, что тот из последних сил цепляется за два склизких отвеса — каменный и деревянный. Хильер представил себе этот каннибальский завтрак: он бьет по черепной скорлупе до тех пор, пока на волнах не закачается алый желток. Нет, так не пойдет. Да и ни к чему — действие PSTX еще не кончилось. Хильеру почудилось, что Теодореску сложил руки, подобно стоику, обутому в «испанский сапожок». Потом он произнес что-то на неизвестном Хильеру языке и, кажется, уже по своей воле (глаза закрыты, губы плотно сжаты) решился пойти ко дну. И пошел. Море ответило странной булькающей отрыжкой, будто тотчас принялось его переваривать. Затем все успокоилось. Хильер затянулся своей бразильской сигарой и, пуская клубы дыма, засеменил к носу баржи. Прямо перед носом к причалу был прибит истрепанный спасательный пояс, смягчавший удары о камень. Ухватившись за него, Хильер без труда вскарабкался на причал. Теперь, когда с делами покончено (правда, он вдруг вспомнил о Корнпит-Феррерзе: тот показывал нос и издевательски хихикал), можно возвращаться домой. «Вот только где он, этот проклятый дом?» — подумал Хильер, вдыхая вечерние турецкие ароматы.

Часть IV

1

— Так, все начинают пить,— крикнул телережиссер.— И никакой зажатости. Говорите, но не слишком громко. Помните: вы всего лишь фон. Пока не забыл, хочу сказать, что очень благодарен вам за помощь. Говорю не только от себя, но и от имени Би-би-си. Хорошо, все готовы к репетиции? Джон, готов?

Режиссер обращался к субъекту с бледным, похмельным лицом, сидевшему за стойкой бара. На него была направлена камера, сверху свисал микрофон. Перед ним стояла двойная порция ирландского виски, к которому он не прикасался и (бррр!) прикасаться не собирался.

— Все, снимаем, и кончено! — сказал режиссер.

— Микрофон фонит,— сообщил оператор.

Пришлось настраивать микрофон.

— Так, снимаем,— скомандовал режиссер.— Пожалуйста, тише!

— А мы попадем в кадр? — неожиданно забеспокоился один из сидевших в зале.— Всех в кино покажут?

— Этого я гарантировать не могу,— раздраженно ответил режиссер.— Поймите, вы всего лишь фон.

— Но все-таки не исключено? Может, я и попаду в кадр, да? — Он дрожащей рукой взял стакан и осушил его одним махом.— Этого я не могу допустить.— Он поднялся.— Простите. Наверное, мне надо было раньше сообразить. Но,— в голосе его появились агрессивные нотки,— я привык пить именно в этом баре. И имею на это такое же право, как и все остальные.

— Не двигайтесь,— приказал режиссер.— Я не хочу, чтобы там было пустое место. В чем дело? У вас что, недруги есть какие-то в Англии?

Смягчив тон, он добавил:

— Не волнуйтесь. Будете читать газету, она скроет ваше лицо. К тому же неплохая деталь.

Режиссер достал из кармана пальто сложенную «Таймс», вчерашнюю или даже позавчерашнюю. Сам он ее не читал: следить за новостями не было времени.

— Ладно,— согласился человек.— Спасибо.

Он развернул газету и стал изучать первую страницу. Седой электрик поднес к камере покрытый белесой пылью нумератор с «хлопушкой».

— Поехали! — скомандовал режиссер.

— Сцена десятая, дубль первый,— провозгласил ассистент.

— Давай! — сказал звукооператор.

«Хлопушка» щелкнула.

— Мотор!

— В барах, похожих на этот, он любил коротать свой досуг *,— начал похмельный Джон, уставившись честными и смертельно усталыми глазами прямо в камеру.— Он раскладывал свои желтоватые листочки, брал огрызок карандаша и записывал все что слышал: непристойный стишок, скабрезный анекдот или какое-нибудь соленое словцо. Вообще-то у него никогда не было досуга, он постоянно работал. Подобно Автолику *, он умел захватить врасплох зазевавшихся рыбешек банальности. Возможно, его приверженность к местным словесным отбросам и обветшалой велеречивости объяснялась тем, что этот город ему не был родным, не был ему родным и ни один другой город этой убогой, злобной, но волшебной страны. Он был чужаком, скитальцем, пришедшим сюда позже всех, тайно обжившим перед тем всю Европу — от Гибралтара до Черного моря. Здешняя атмосфера оказалась для него внове. Подмечая острым глазом...

— Таким же, в который ты сейчас получишь,— буркнул подвыпивший бородатый парень, местный певец.— Убогой и злобной, говоришь? И после этого смеешь называть ее волшебной?

— Вырежьте,— сказал режиссер.

— Вот как морду тебе сейчас расквасят! — крикнул парень, отбиваясь от вцепившихся в него рук.— И камеру твою идиотскую, и весь этот хлам! Ишь, заявляются тут иностранцы всякие и страну нашу поносят!

Не обращая на него никакого внимания, техники принялись хладнокровно перенастраивать аппаратуру: свет, тень, угол, уровень. Бородач же, которого уже поволокли к дверям, продолжал сыпать проклятьями. Режиссер обратился к человеку по имени Джон:

— Надо этот убогий и злобный эпизод вырезать, но сохранить. Может, сумеем продать его ирландскому телевидению.

— А мне понравилось. К тому же он прав.

— Меня не интересует, прав он или нет. Меня интересует наш образовательный фильм, будь он трижды неладен! Так, все готовы?!

Имея уже опыт трехдневного пребывания в стране, он добавил:

— И, пожалуйста, прошу не перебивать, пока оператор не закончит.

Но второй дубль был испорчен человеком (на вид — выпускником Тринити-колледжа), сказавшим:

— А что, разве она не убогая и злобная? Как он сказал, так и есть.

— Вырежьте.

Человека, читавшего «Таймс», вдруг так затрясло, что и третий дубль оказался испорченным. Звукооператор воскликнул:

— Шуршание газеты все забивает! Словно солдаты маршируют.

— Вырежьте.— Режиссер подошел к человеку с газетой.— Наверное, приятель, тебе лучше выйти. Ты уж не обижайся. Когда вернешься, тебя будет ждать кружка пива.

Человек вышел. Дьюк-стрит золотилась в лучах осеннего солнца. Он повернул на Доусон-стрит и зашагал на юг, к Стивенз Грин. Итак, они узнали. Или кто-то другой. Недаром везде мерещатся снайперы, недаром все время снятся эти двое — учтивые джентльмены в плащах. Газета была по-прежнему зажата в левой руке. Он снова взглянул на почтовый номер автора объявления. Если бы не сегодняшний случай, он бы ничего и не знал. Страх так и оставался бы во сне. Выбора нет — придется отвечать, дальше скрываться не имеет смысла. Но до того как ответить, следует сделать кое-что важное. Он нервно свернул в сторону Беггот-стрит, недалеко от которой оставил свой невзрачный автомобильчик. Сев в него, он вместе со сверкающим автомобильным потоком двинулся на север, по набережной: Кейпел-стрит. Дорсет-стрит, Гардинер-стрит.

В большой комнате было прохладно, как и положено в храме. Вышедшему навстречу высокому человеку он сказал:

— Я тщательно все обдумал и наконец сделал выбор.

— Это очень серьезное решение.

— Я думал и о других путях, как вы советовали. Но этот для меня единственно возможный.

— У вас не должно быть никаких сомнений.

— У меня их нет и никогда не будет. Я могу быть полезен.

— Можете. Что ж, я выполню свое обещание, время пришло. Ждать вам придется недолго.

— Спасибо.

Дорога к дому (по крайней мере, так он его называл) была неблизкой. Он ехал вдоль берега, слева лежало море. С одной стороны показался Блэкрок парк, с другой — Блэкрок-колледж, и он почувствовал, что успокаивается. В гавани (некогда Кингстаун Харбор, теперь Дан-Лаогэр) сверкало солнце. Монкстаун-роуд. Где-то здесь был бар, в котором работала его сосед Ларри, существо, обходившееся без фамилии. Священник. Святое слово, святое дело. Джордж-стрит. Нижняя. Верхняя. Саммерхилл-роуд. Улица Гластьюл. Сандикоув-роуд. А вот и залив Скотсманз, гавань Сандикоув. Одна из башен, построенных Питтом * для защиты британской земли. «Скоро галлов парусина выжмет сок из Апельсина!» * Ничтожные последствия для такого мощного вторжения. Сморщенный апельсин. Все здесь уменьшается в размерах, приобретает сладость. Но пора возвращаться в горький мир. Он свернул вправо на Альберт-роуд.

Домик был небольшой, ухоженный, недавно покрашенный (из-за соленого морского ветра красить приходилось часто). Над темно-коричневой крышей с криками кружила чайка. Он открыл дверь. Из комнаты мистера Салливана, когда-то служившего в Замке *, раздавался гром-

кий кашель. В уютном, волглом запахе холла ощущался смутный хлебный привкус. Стоячая вешалка, барометр. На стенах аляповатые картинки: «Святое Сердце» *, «Пресвятая Дева Мария», «Св. Антоний» *, «Цветочки» *. Их автор каждый вечер спускался в подвал отеля «Ормонд» и среди пышущих жаром труб, напоминавших питонов, корпел над своими агиографическими * творениями. Время от времени какой-нибудь уважающий искусство официант приносил ему бутылку пива.

— Миссис Мадден, я дома,— крикнул он.

Слово это уже не казалось ему неестественным и вынужденным. Скоро он будет еще в большей степени дома.

Миссис Мадден (пышногрудая, с шальными глазами) вышла из кухни, отирая руки о передник.

— Сразу подавать?

— Одну минуту, схожу напишу письмо и тотчас спускаюсь.

— Только не задерживайтесь. Я ставлю на огонь.

Она отправилась к своим сковородкам, а он поднялся по лестнице. На стенах вдоль лестницы висело еще несколько религиозных картинок, на этот раз итальянских: смуглый Христос, лишившаяся чувств Мадонна. Фотография покойного папы Иоанна *. Он вошел в свою гостиную (она же спальня). Окна ее выходили на парк Дандли, на озерцо, по форме напоминавшее ладонь. За парком виднелась Бреффни-роуд, а за ней — море. На стенах вместо картинок висели карты городов. Масштаб был очень мелким, и, чтобы прочесть название улицы, приходилось пользоваться лупой. Все города находились по ту сторону так называемого «железного занавеса».

Что ж, он работал, зарабатывал, но по сути дела — убивал время. За несколько недель, проведенных в Долфине, почти все его деньги растаяли, и пришлось зарабатывать преподаванием иностранных языков в небольшой частной коммерческой школе, отыскавшейся в Бутерстауне. Он экономил на еде, пил дешевое пиво. За все это время у него не было ни одной женщины. Словом, убивал время. Он уселся за маленький столик, достал бумагу, шариковую ручку и написал несколько строк, отвечая на объявление в «Таймс». Поставил дату, но адрес не указал. Он написал: «Я жив. Мне уже почти не страшно. Поместите точно такое же объявление в «Таймс» ровно через год, к тому времени я совсем перестану бояться. Я сообщу вам свой адрес, и вы сможете прийти». Он подписался. Пусть видят, что подпись настоящая. После обеда он отправится в гавань и убедится, что его письмо действительно оказалось на борту посудины, плывущей в Англию. Вот и пришлось вспомнить старые хитрости. Но скоро они понадобятся для гораздо более интересного дела.

2

В тот день, когда он встречал их в дублинском аэропорту, лил страшный дождь. Прошло уже больше года, и для него это время было отмечено возобновлением работы, дисциплиной и послушанием. Объявление они дали день в день, он тотчас откликнулся, но они сообщили, что встреча немного откладывается, поскольку сразу выехать они не могут. Он улыбнулся, вспомнив свое облегчение и в то же время досаду. В конце концов, у них он числился мертвым. А ведь он сам говорил как-то, что возрождение возможно только после смерти. Он поднял воротник плаща и поплотнее укутал шею шарфом: для недавно оправившегося от простуды погода была не самой лучшей. Объявили, что самолет на десять минут опаздывает. Он заказал в баре двойное ирландское виски. Неожиданно он увидел отца Берна. Тот приехал из Корка навестить внучатого племянника. Старик был по-прежнему неравнодушен к ирландскому виски, антисемитский пыл его поубавился. Куда нас заведут эти экуменические * новшества, совершенно неизвестно, но мы же должны идти в ногу со временем, верно, мой мальчик? А что, этот твой дружок,

любознательный такой, прости его, Господи, как его, Хопер, Рэйпер? Хильер сказал, что Роупер написал ему из Восточной Германии. С женой они одно время жили порознь, но теперь сошлись. На большевиков работает, так я тебя понял? Господи, что за мир! Он и мальчишкой был безбожником — все его наука. Минутку, сказал Хильер.

Самолет спустился с небес. Зонты у входа в аэровокзал. И вот... Придется преодолеть смущение.

— Надо же,— сказал Хильер,— боялся. Даже сейчас слегка побаиваюсь. Мне есть за что просить прощения.

— Думаю, нам тоже,— сказал Алан.— Между прочим, вы почти не изменились. Разве что похудели.

Алан превратился в рассудительного молодого человека. От сигареты он отказался. Что касается Клары, то она была по-прежнему красива.

— Где вы собираетесь остановиться?

— В «Грешаме». Неплохой отель?

— Роскошный. Одни кинозвезды и прочая элита. Я там даже выпить не могу себе позволить.

На бесконечной ленте приплыл багаж.

— У нас только по одному чемодану,— сказал Алан.— Мы всего на пару дней: у Клары скоро свадьба.

Хильер прислушался: екнет ли сердце, но тут же усмехнулся над собой.

— Что ж, как говорится, одному не страшно, а двоим веселей. Кто он?

Клара зарделась.

— Скульптор. Но вполне обеспеченный, поверьте. Лондонский муниципалитет заказал ему скульптурную группу, символизирующую всеобщее образование. У него большие перспективы, честное слово.

— Честное слово,— повторил за ней Хильер, поднимая новенький чемодан из свиной кожи,— у меня и в мыслях не было, что он женится на вас из-за денег. Алану он нравится?

— Охотников до денег было предостаточно,— сказал Алан,— но этот парень мне понравился.

— Кто будет посаженым отцом?

— Можете смеяться,— ответил Алан,— но одно вермя мы всерьез подумывали просить об этом вас...

— Ну уж нет.

— ...Но Хардвик настаивает на том, что это его забота. Джордж, я хотел сказать: наверное, теперь его надо называть по имени. Сейчас каникулы, и мы живем у него в Суррее. Хороший парень, правда, чересчур много смеется. Но, с другой стороны, у него есть причины для веселья: его назначили председателем комиссии, представляете!

— Неужели? Вот моя машина.

— Мне все время казалось, что вы продолжаете свои шпионские похождения,— сказал Алан.— Но, насколько я могу судить, все это в прошлом. Теперь вы вполне порядочный гражданин.

— Не вполне. Не вполне порядочный.

Они проехали указатель «Ата-Клот» *. Дублинское шоссе превратилось в зеленую полосу насквозь промокших деревьев. Дворник в машине работал скверно. Хильер спросил про мачеху.

— А, эта сука... Вообще-то она все обделала как надо, хотя адвокаты и наговорили про нее всякого. Вышла замуж за какого-то типа со стороны, а вовсе не за своего постоянного любовника. Получила меньше, чем рассчитывала, но на то, чтобы стать лакомой вдовушкой, хватило. Сейчас они, кажется, в Канаде. Он сам канадец, занимается пишущими машинками.

— Надеюсь, не самозванец?

— Я был тогда еще совсем ребенком с хорошей памятью,— сказал Алан.— И слишком много знал, правда, все это была чепуха, годящаяся

только для викторин. Теперь я решил изучить что-то одно, но по-настоящему. Я хочу стать специалистом по средневековью.

— Очень интересно. Но требуется ли это для мучного бизнеса?

— Хотя мы теперь и едим хлеб, но не слишком о нем заботимся. Нет, мучным бизнесом Уолтерсов пусть занимается кто-нибудь другой. А мне хочется только одного — получить эту бессмысленную с точки зрения бизнесмена стипендию.

— Смотрите, церковь Финдлейтера *,— сказал Хильер,— Видите? Да, местечко у нас: хлещет круглый год!

— Зачем же вы здесь поселились? — спросила Клара.

— А где еще селиться англичанину-католику, обреченному на изгнание? Все-таки западная столица, к тому же не слишком шумная. Море. Немало выдающихся личностей родом отсюда. Завтра мы сходим в собор Святого Патрика. Про Свифта и Стеллу слышали? * Кстати — и это еще одно преимущество — для ирландцев история не имеет временной протяженности. Друзья и враги держат друг друга железной хваткой. Очень похоже на объятия влюбленных.

— Страна нейтральная,— добавил Алан.— Далекая от мировых катаклизмов. Господи, посмотрите на тот прачечный фургон! Видите, у него свастика на борту! В какой еще стране такое возможно?

— Надо быть осторожным со словом «нейтральная»,— сказал Хильер.— Не обязательно видеть развалины городов, чтобы помнить о войне. Отсюда, точно так же, как и из любого другого места, могут начать страшную войну. Я говорю о войне, по сравнению с которой обычные войны просто ничто.

— Вы говорите о Добре и Зле? — спросил Алан.

— Не совсем. Нужны новые понятия. Бог и Небог. Спасение и вечные муки должны быть уравнены в своем величии, как две стороны подлинной реальности. Что же касается зла, то его надо уничтожить.

— Заодно с нейтралами,— сказал Алан.— Если говорить о настоящем противоборстве, то в нем не будет места для шпионов, «холодной войны», сфер влияния и прочей чепухи. И все же лучше заниматься этими глупостями, чем быть мерзавцем-нейтралом.

— Теодореску умер,— произнес Хильер.— В Стамбуле.

— С вашей помощью?

Вопрое был задан бесстрастным тоном профессионала.

— В каком-то смысле — да. Я приложил к этому некоторые усилия.

— С ним, помнится, была индианка,— сказала Клара.— Красивая и готовая для него на все.

— Я ее больше не видел. Она обладала великим даром, она могла отворить дверь в иной мир. Глупо, наверное, звучит, да? Этот мир не был ни миром Бога, ни миром Небога. Так сказать, модель подлинной реальности, лишенной главного — дуализма. Кастрированная подлинная реальность. То, что делала она (кстати, еще один нейтрал!),— тоже, в каком-то смысле, добро. Но добро не только нейтрально, оно неодушевленно: музыка, вкус яблока, секс.

— Но все-таки не ипостась Бога? — спросил Алан.

— Понять, что есть Бог, нельзя, не понимая, что есть Его противоположность. От этой великой оппозиции нам никуда не деться.

— Похоже на манихейство, правда? Господи, как мне не терпится поскорее заняться средневековьем.

Они подъехали к отелю «Грешам». Под дождем стояло несколько школьниц с блокнотиками для автографов. Они замялись, не зная, надо ли подходить к Кларе.

— Тут одни киношные знаменитости,— сказал Хильер.

За багажом вышел носильщик с огромным зонтом. Алан с Кларой подошли к дежурной.

— Я подожду вас в комнате отдыха,— сказал Хильер.— Выпьем в окружении кинозвезд.

— Плачу́ я,— сказал Алан.

Спустившись, они едва не потеряли дар речи. Хильер снял плащ и шарф и сидел теперь, улыбаясь, в священническом облачении. Впрочем, завидев Клару, он, как подобает джентльмену, привстал. Клара сказала то, что и должна была сказать:

— Значит, я все-таки могу называть вас отцом?

— Чего-то я не понимаю,— хмуро проговорил Алан.— Вы же только что разглагольствовали про все эти манихейские штуки. Что может быть менее правоверным?

— Для того чтобы спасти мир, годятся любые способы — правоверные и неправоверные. Неужели бесстрастный нейтралитет лучше служения дьяволу? Что вы будете пить?

Официант застыл, словно ожидая святого благословения. Алан сделал заказ и, когда принесли джин, размашисто — наследник мучного короля! — подмахнул счет.

— Никак не могу привыкнуть к вашему наряду,— сказал он.— Не сомневаюсь, что это очередная личина.

— Нет, всего лишь запоздалое прозрение,— сказал Хильер.— Мне пришлось поехать в Рим и посещать там что-то вроде ускоренных курсов. Но на днях вы снова меня встретите, и тогда уже я действительно буду выдавать себя за другого. Снова назовусь специалистом по пишущим машинкам или владельцем фирмы, производящей презервативы, или, к примеру, торговцем компьютерами. Правда, поеду я туристским классом. А все остальное — как в старые добрые времена: проникновение за «железный занавес», шпионаж, подрывная деятельность. Но война уже никогда не будет «холодной». И она не ограничится противоборством Востока и Запада. Просто так уж вышло, что я знаком с языками противников по «холодной войне».

— Как иезуит елизаветинских времен,— сказал Алан.— Ни слова в простоте, одни увиливания.

— И убивать будете? — спросила Клара, пожалуй, громче, чем следовало.

Сидевшие рядом респектабельные дублинцы ошарашенно посмотрели в их сторону.

— По поводу убийства существует заповедь,— ответил ей Хильер и подмигнул.

— А как насчет коктейлей с шампанским? — радостно предложил Алан.— Выпьем?

— Вы — и вдруг священник...— недоуменно протянула Клара.

Хильер знал, о чем она сейчас вспоминала.

— Мой сан на прошлое не распространяется.

— Ошибаетесь. Я ведь тогда был не так уж глуп,— сказал Алан.— На корабле, я имею в виду. Раскусил, что вы не тот, за кого себя выдаете.

— Samozvanyets,— напомнил ему Хильер.— Кстати, человек, который ехал с нами в трамвае в тот вечер...

— В тот вечер, когда я...

В голосе Алана звучала спокойная гордость убийцы.

— Да. Он тоже раскусил. Но если разобраться, все это — большой обман. Настоящая война идет на небесах.

Внезапно его охватила глубокая тоска. Постель его в ту ночь будет холодной и одинокой. Будущее виделось еще более мрачным, чем прошлое. Наступала старость. Может быть, нейтралы правы? Может быть, и нет ничего, кроме вселенского обмана? Но сама ярость, с которой нахлынуло на него сомнение, убеждала в том, что оно, сомнение, не уверено в своих силах, что оно готово капитулировать. Скучно. Он почувствовал голод. Алан, умевший разоблачать самозванцев, умел и читать их мысли.

— Давайте-ка закажем хороший обед,— сказал он.— Я плачу́. С шампанским. С тостами.

— Восхитительно,— сказала Клара.

— Аминь,— сказал отец Хильер.

КОММЕНТАРИИ

«Полиольбион» — название корабля отсылает нас к поэме Майкла Дрейтона (ок. 1563—1631) «Полиольбион», в которой воспеваются красота природы Англии, ее героическое прошлое, обычаи и традиции.

Сатириаз — патологическое усиление полового влечения.

«Зверь» — апокалипсический символ сил зла.

«Кольцо» — оперная тетралогия Рихарда Вагнера «Кольцо Нибелунга», состоящая из пролога «Золото Рейна» и трилогии «Валькирия», «Зигфрид», «Гибель богов».

«Сделай меня целомудренным, но не спеши» — неточная цитата из «Исповеди» Бл. Августина (354—430). Ср.: «Даруй мне чистоту сердца и непорочность воздержания, но не спеши» («Исповедь», кн. VIII, гл. VII).

...Кентерберийским, а не Гиппонским...— Св. Августин Кентерберийский (?—604) — основатель христианских общин на юге Англии, первый архиепископ Кентерберийский. Бл. Августин с 395 г. был епископом Гиппона (Сев. Африка).

Руперт Брук — английский поэт (1887—1915), прославился книгой о первой мировой войне «1914 и другие стихи» (1915).

Старокатолики — приверженцы течения, отколовшегося от римско-католической церкви после принятия 1-м Ватиканским собором (1869—1870) догмата о непогрешимости папы.

...из пятого младшего класса — по системе, принятой в привилегированных частных средних школах, в классах с четвертого по шестой учатся по два года, первый год называется младшим, второй — старшим. Возраст учеников младшего класса 14—15 лет.

...заповедей блаженства... восемь...— о количестве блаженств, упомянутых в Нагорной проповеди, до сих пор идут споры, поскольку в Евангелии от Луки (6, 20—49) говорится только о четырех блаженствах, и, хотя принято считать, что в Евангелии от Матфея (5, 3—11) их восемь, согласно другим традициям, их семь (блаженства стихов 3 и 10 принимаются за одно) или девять, так как слово «блаженны» в Нагорной проповеди повторяется девять раз.

...на якобы шотландском диалекте.— Яков I, сын Марии Стюарт, правил Шотландией с 1567 г. под именем Якова VI, а после смерти Елизаветы I в 1603 г. стал одновременно и английским королем Яковом I.

...Чемберлен — j'aime Berlin...— двойной каламбур. Во-первых, намек на нерешительную политику британского премьер-министра Невилла Чемберлена (1869—1940) в отношении Германии, в частности, подписание им в 1938 г. Мюнхенского договора. Во-вторых, намек на Х. С. Чемберлена (1855—1927), немецкого писателя английского происхождения, чьи пангерманские взгляды легли в основу идеологии национал-социализма.

«Черно-пегие» — во время подавления ирландских национально-освободительных выступлений в 1920—1923 гг. на английских солдатах были желтовато-коричневые мундиры и черные ремни.

Роджер Кейсмент (1864—1916) — дипломат, боровшийся за независимость Ирландии и против ее участия в первой мировой войне. Вступил в контакт с немцами в надежде на их поддержку ирландского освободительного движения, был арестован англичанами и повешен в Лондоне в августе 1916 г. Для ирландских националистов его имя стало символом жертвенности.

Вордсворт — Уильям Вордсворт (1770—1850), английский поэт-романтик, приблизивший поэтическую речь к живому разговорному языку.

...Джонбулем Христом, распятым на «Юнион Джеке».— Джон Буль — простоватый фермер из памфлета Дж. Арбетнота (1667—1735) «Тяжба без конца, или История Джона Буля» (1712); олицетворение типичного англичанина. «Юнион Джек» — учрежденный в 1801 г. британский государственный флаг, символизирующий союз Англии, Шотландии и Ирландии.

...экзогамного оплодотворения... — экзогамия — характерный для общинно-родового строя обычай, запрещавший браки в пределах одного рода или племени.

...манихейское месиво! — для манихейства, религиозно-философского учения, основанного персом Мани в III в. н. э., характерно представление о мире как смешении добра и зла, а о человеке — как творении тьмы, заключившей душу — искру света — в оковы плоти.

Антифон — попеременное пение двух хоров или солиста и хора. Одна из старейших форм католического служебного пения.

«Пал, пал Вавилон» — слова Ангела, возвещающего Страшный суд возмездия над грешным Вавилоном (Откровение Иоанна Богослова, 18, 2).

«Если я забуду тебя, Иерусалим» — Псалтирь, 136, 5.

Горгулья — характерное для готической архитектуры рыльце водосточной трубы в виде фантастической фигуры.

...обнаженное, как Ной... — Библия повествует о том, как однажды Ной «выпил... вина... и *лежал* обнаженным в шатре своем» (Книга Бытия, 9, 21).

...в позе выставленного напоказ Марса. — В «Одиссее» рассказывается о том, как Гефест застал Ареса на ложе своей супруги Афродиты и накинул на них невидимую железную сеть. В таком виде Афродита предстала перед смеющимися богами. В искусстве и литературе послеантичного периода этот сюжет отразился преимущественно в своем римском преломлении, как история Марса, Венеры и Вулкана. Комизм данного эпизода усугубляется тем, что в позе «выставленной напоказ Венеры» оказывается Марс.

Нотунг — волшебный меч из «Кольца Нибелунга».

...слушая «Мейстерзингеров»... — имеется в виду опера Вагнера «Нюрнбергские мейстерзингеры» (1868), главный герой которой — знаменитый мейстерзингер, сапожник Ханс Сакс (1494—1576).

BVM — первые буквы слов Blessed Virgin Mary — Пресвятая Дева Мария *(англ.)*. Игра на сходстве с аббревиатурой названия немецкой автомобильной фирмы BMW — Bayerische Motoren Werke AG.

Пресуществление — превращение во время причащения (евхаристии) хлеба и вина в плоть и кровь Христову.

Бедняжка Гертруда... — Гертруда Стайн (Stein, 1874—1946), американская писательница.

Эдуардовский костюм — плотно облегающий костюм с зауженными брюками и удлиненным силуэтом, получил распространение в начале XX в., в годы правления короля Эдуарда VII (1901—1910).

«Балканское собрание» — дорогие английские сигареты с фильтрами разных цветов.

...оба экстремума континуума — в математике этот термин означает максимум и минимум связанного множества; здесь — наиболее различные между собой женщины из «множества всех возможных женщин».

В 1870 году ее изобрели три человека... — на самом деле через несколько месяцев после начала совместной работы Скоулз отделился от Соула и Глиддена. Финансируемый Джеймсом Денсмором, он довел исследования до конца и в 1868 г. получил патент на печатающую машинку. В 1873 г. Фило Ремингтон с помощью Скоулза наладил ее серийное производство.

Актеон — согласно древнегреческой легенде, охотник Актеон, превращенный Артемидой в оленя, стал добычей собственных собак.

Карийон — музыкальный инструмент, представляющий собой набор колоколов различной величины; играют на нем при помощи клавиш или молоточков.

Ричард Роджерс — американский композитор (1902—1979), автор популярных песен и мюзиклов «Оклахома» (1943), «Саут Пасифик» (1949), «Звуки музыки» (1959).

...игристое вино Отвийе... Дома Периньона — келарь бенедиктинского монастыря в Отвийе (деп. Марна) Дом Периньон (1638—1715) первым научился делать шампанское вино шипучим.

Трость надломленная — библейский символ сокрушенного сердца грешника (Книга пророка Исаии, 42, 3; Евангелие от Матфея, 12, 20).

...мисс «танцующей Деви»... — Деви, жена бога Шивы, часто изображается танцующей.

Алеаторическое — основанное на случайном сочетании звуков.

Дравидская группа — группа языков, на которых говорит население южной Индии, северного Цейлона и западного Пакистана.

«Кама Сутра» — древнеиндийский трактат об искусстве и философии любви, написанный между I и IV в. н. э. Маланагой Ватсьяяной. Все позы, упоминаемые в данной сцене, описаны в «Кама Сутре».

«Pokam» — вымышленный трактат, название которого переводится как «чувственное наслаждение» *(санскр.-тамил.)* и схоже с английским глаголом «to poke» — совокупляться *(вульг.)*.

День Воздвижения Креста Господня — христианский праздник, установленный в честь воздвижения в IV в. н. э. на Голгофе креста, на котором, по преданию, был распят Иисус Христос.

«Ипатия» — исторический роман английского священника и писателя Чарльза Кингсли (1819—1875).

Уильям Малреди (1786—1863) — британский художник, автор конверта для первой в мире почтовой марки (1840).

«Моральная философия» Дони — трактат (1552) итальянского печатника и писателя Антонио Франческо Дони (1513—1574).

«Кеннингтон Оувал» — бывшая рыночная площадь в районе Кеннингтон, в южной части Лондона, превращенная в площадку для игры в крикет.

Картафил — имя Агасфера в одном из ранних вариантов легенды о «Вечном жиде».

Теобальд Бём (1794—1881) — немецкий флейтист и композитор; сконструировал современный тип флейты, т. н. флейту Бёма.

...над Помпеями, Спалато, Кенвудом, Остерли... — памятники Помпей и дворец Диоклетиана в Спалато (совр. Сплит) служили образцами для архитекторов-неоклассиков XVIII в. Кенвуд и Остерли — усадьбы в пригородах Лондона, перестроенные в неоклассическом стиле архитектором Робертом Адамом (1728—1792).

«Алабама» — знаменитый крейсер конфедератов, который во время Гражданской войны в США уничтожил за два года своих действий множество торговых кораблей северян. Потоплен в 1864 г. *«Бигль»* — корабль, на котором Чарльз Дарвин совершил кругосветное путешествие (1831—1836). *«Беллерофон»* — английский корабль, который в июле 1815 г. у острова Экс взял на борт Наполеона и доставил пленного императора в Плимут, первую остановку на пути к острову Св. Елены. *«Баунти»* — шлюп, отправленный в 1787 г. к островам Сообщества. В 1789 г. на борту вспыхнул мятеж, вошедший в историю как «мятеж на «Баунти». В 1790 г. корабль был сожжен, а члены команды стали первопоселенцами на близлежащем атолле Питкэрн. *«Катти Сарк»* — последний из «чайных клиперов», быстроходных кораблей, возивших чай в Англию в XIX в. *«Дредноут»* — спущенный на воду в 1906 г. линкор, давший название классу военных кораблей. *«Индивор»* — барк капитана Джеймса Кука (1728—1779), участвовавший в открытии Австралии. *«Эребус»* — один из кораблей английского мореплавателя Джеймса Кларка Росса (1800—1862), обнаружившего в 1841 г. в Антарктиде два гигантских вулкана и давшего им имена по названию своих кораблей Эребус и Террор. *«Фрам»* — исследовательская шхуна. В 1893—1896 гг. участвовала в экспедиции Фритьофа Нансена, пытавшегося достичь Северного полюса. В 1910 г. доставила в Антарктиду экспедицию Роальда Амундсена. *«Гоулден хайнд»* — корабль, на котором Фрэнсис Дрейк (1540—1596) отправился в 1577 г. в кругосветное плавание. *«Грейт Гарри»* — флагман короля Генриха VIII (1509—1547). Первый английский двухпалубный корабль. Спущен на воду в 1513 г. *«Грейт истерн»* — крупнейший пассажирский пароход своего времени, спущен на воду в 1858 г. *«Мария Селеста»* — пассажирское судно, исчезнувшее в океане во время рейса в колонии; впоследствии было найдено пустым и неповрежденным. *«Мейфлауэр»* — судно, на борту которого в 1620 г. в Северную Америку прибыла одна из первых групп англичан-колонистов. *«Ривендж»* — галеон адмирала Дрейка, в 1588 г. участвовал в разгроме «Непобедимой армады». *«Скидбладнир»* — в скандинавской мифологии сделанный марликами цвергами для бога Фрейра корабль, который всегда имеет попутный ветер, вмещает любое количество воинов и может быть свернут, как платок. *«Виктори»* — флагман адмирала Нельсона (1758—1805) во время Трафальгарского сражения (1805).

Уриил, Рафаил, Рагуил, Михаил, Сариил, Гавриил, Иеремиил — имена семи ар-

хангелов, о которых упоминается в Библии (Книга Товита 12, 15; Откровение Иоанна Богослова, 8, 2 и др.). В ортодоксальной традиции встречаются имена только трех из них — Рафаила, Гавриила и Михаила. Имена остальных взяты из иудейской апокрифической «Книги Еноха», где подробно разработана ангелология.

Линга и *йони* — распространенные главным образом в шиваизме символы соответственно мужской и женской божественных производящих сил.

Махаманвантара (санскр.) — «большой мировой цикл», в индуистской космогонии — длительность очередного существования мира, 306 720 000 лет.

«Американо» — коктейль из сладкого вермута с тоником.

Джон Донн (1572—1631) — выдающийся английский поэт-метафизик.

...как хоронили Нельсона — во время похорон в соборе Св. Павла гроб с телом Нельсона был покрыт белым адмиральским штандартом.

Приап — в античной мифологии божество производительных сил природы; покровитель проституток, развратников и евнухов.

«Благоуханный Сад» — трактат об искусстве любви, написанный в XV в. тунисским шейхом Абу Али Омаром Ибн Мухаммедом ан-Нафзави и известный в Европе во французском переводе с 1850 г.

Либидо — одно из основных понятий психоанализа. Означает влечение сексуального характера, преимущественно бессознательное.

Остров Ариадны — Наксос, где влюбленный в Ариадну Дионис похитил ее у Тесея.

Сфорцандо (муз.) — внезапное и резкое усиление звука.

Харроу — одна из старейших (основана в 1571 г.) престижных мужских школ.

Лепорелло — слуга Дон Жуана из оперы Моцарта «Дон Жуан».

...вязаные шлемы... — в память о Крымской войне подобные шлемы по-английски называются «балаклавскими».

Флоренс Найтингейл (1820—1910) — английская медсестра, организовавшая отряд санитарок во время Крымской войны.

Я Беатриче... — строка из «Божественной комедии» («Ад», II, 70; перев. М. Лозинского), имеющая по-итальянски и другой смысл: «Я Беатриче, которая прочистит тебе желудок».

...domina, non sum dignus — во время католической мессы священник перед тем, как положить в рот облатку, трижды повторяет: «Domine, non sum dignus, ut intres sub tectum meum; sed tantum dic verbo, et senabitur anima mea» — «Господи, я недостоин, чтобы Ты вошел под кров мой; но скажи только слово, и выздоровеет душа моя!» (Парафраз слов сотника из Евангелия от Матфея, 8, 8.) Комизм состоит в том, что вместо звательного падежа мужского рода Domine (Господь) употреблена форма женского рода domina (повелительница, возлюбленная).

Стихомифия — в античной драме быстрый обмен репликами, придававший языку живость и непосредственность.

Елифаз, Вилдад и Софар — друзья, пришедшие утешать Иова (Книга Иова, 2, 11).

Дуэйская Библия — английский перевод Библии для католиков. Предпринят в XVI—XVII вв. во французском городе Дуэ, центре английских католиков, оказавшихся в изгнании. Канонический перевод 1611 г. (т. н. «Библия короля Якова») используется в большинстве английских церквей.

«Коварный Полиольбион» — намек на Альбион, поэтическое название Англии. Выражение «коварный Альбион», часто встречающееся в европейской литературе, восходит к строкам Св. Августина Кентерберийского: «Нападем на коварный Альбион в его собственных водах!»

...и всей Ее династии... — то есть династии Тюдоров; эмблемой Тюдоров была красно-белая роза, поскольку Тюдоры наследовали власть от династии Ланкастеров, в гербе которых была красная роза, христианский символ земного мира, и от династии Йорков, провозгласивших своей эмблемой белую розу, символ чистоты. Последними представителями дома Тюдоров на троне были королева-католичка Мария I (1553—1558), прозванная Кровавой за свои беспощадные преследования протестантов, и Елизавета I (1558—1603), вернувшаяся к порядкам англиканства.

Скарлетпимпернелизм — тайная переправка людей через границу — по имени героини приключенческого романа «Скарлет Пимпернел» (1905) английской писательницы венгерского происхождения Эммушки Орки (1865—1947).

«Я все еще герцогиня Амальфи!» — цитата из драмы «Герцогиня Амальфи» (1614) английского драматурга Джона Уэбстера (1580—1625).

Олбани — фешенебельный многоквартирный жилой дом в Лондоне на улице Пикадилли.

Кит Марло — обвинявшийся в безбожии английский драматург Кристофер Марло (1564—1593). Был убит ударом кинжала наемного убийцы Ингрема Фрайзера.

...сюрреалистический кадр — имеется в виду знаменитый сюрреалистический фильм Луиса Бунюэля и Сальвадора Дали «Андалузский пес» (1928), один из первых кадров которого — крупный план разрезаемого бритвой глаза.

Джозеф Конрад (настоящее имя Юзеф Теодор Конрад Коженёвский, 1857—1924) — английский писатель.

Лорелея — нимфа, сидящая на утесе на берегу Рейна и увлекающая своими песнями корабли на скалы.

...шекспировские рога... — ср., например, «Как вам это понравится», V, 2: «Носить рога не стыд тебе. / Они давно в твоем гербе» (перев. Т. Щепкиной-Куперник).

В названии... отражался он сам — название этого вымышленного сорта виски «Олд морталити» буквально переводится как «Давно усопшие». Так звали героя одноименного романа Вальтера Скотта (в русском переводе «Пуритане»), Кладбищенского Старика.

Византии он достиг первым... — трактовка Византии как символа рая на земле, вечного покоя, гармонии и блаженства восходит к мифопоэтической системе ирландского поэта У. Б. Йейтса (1865—1939). См. его программные стихотворения «Византия», «Плавание в Византию».

ИРА — Ирландская республиканская армия, основанная в 1919 г. военная националистическая организация, которая в своей борьбе за воссоединение Ирландии нередко прибегает к террористическим методам.

«Блистательная Порта» — бытовавшее в Европе название Османской империи.

...у Золотого Рога, а не на юго-востоке... — у входа в залив Золотой Рог находится главный порт Стамбула. В восточной части европейской половины города сосредоточены посольства, театры, банки и т. д.

Раки — турецкая виноградная водка с анисовыми добавками.

Анфимий, Исидор — византийские архитекторы, строившие храм Святой Софии в Константинополе.

Ахмед — распространенное имя султанов Османской династии. Ахмедом I (1590—1617) возведена стамбульская мечеть Султан-Ахмед-джами.

Баязид — распространенное имя султанов Османской династии. Баязидом II (1447—1512) возведена мечеть Баязид-джами.

Сулейман Великолепный — султан Сулейман I Кануни (1520—1566), по приказу которого построена знаменитая мечеть Султан-Сулейман-джами.

Феодосий — Феодосий I (ок. 346—395), император Восточной Римской империи (379—395).

Юстиниан — Юстиниан I (482—565), император Восточной Римской империи (527—565). В честь победы полководца Велизария над мятежниками построил храм Святой Софии (532—537).

Константин — Константин I Великий (ок. 285—337), римский император (306—337), провозгласивший в 330 г. Константинополь новой столицей империи.

Галатский маяк — стамбульский маяк на северном берегу залива Золотой Рог.

Скутари — предместье Стамбула, знаменитое громадным мусульманским кладбищем и многочисленными мечетями XVI—XVII вв.

мойгашелского пиджака — в североирландском городке Мойгашел производят плотное мягкое полотно.

«Эвенел» — Мэри Эвенел, героиня романов Вальтера Скотта «Монастырь» (1820) и «Аббат» (1820).

Глинденнинг — намек на Пьера Глинденнинга, героя романа Мелвилла «Пьер, или Двусмысленности» (1852).

Авиценна — латинизированное имя врача и философа Ибн Сины (ок. 980—1037).

«Адалламиты» — отступники; по названию Адалламской пещеры, где Давид со своими сторонниками скрывался от царя Саула (Первая книга Царств, 22, 1).

«Агапемон» — коммунистическое поселение, основанное в 1849 г. в английском городе Спакстон. Обитатели поселения прославились своей безнравственностью.

Т. Б. Олдрич — Томас Бейли Олдрич (1836—1907), американский писатель и редактор.

«Альмагест» — энциклопедия астрономических знаний, составленная Птолемеем (ок. 90 — ок. 160).

Камероицы — последователи шотландского пресвитерианского проповедника Ричарда Камерона (1648—1680), находившиеся в оппозиции к англиканской церкви и дому Стюартов.

Бальфур — намек на Артура Джеймса Бальфура (1848—1930), британского премьер-министра, автора декларации (1917) о создании еврейского национального очага в Палестине.

Рольф Болдревуд (настоящее имя Томас Александер Браун, 1826—1915) — австралийский писатель, автор авантюрных романов о «золотой лихорадке» в Австралии.

«Фруктидор» — двенадцатый, последний месяц французского революционного календаря (18, 19 августа — 17, 18 сентября).

Иоганн Дёллингер — немецкий теолог и историк (1799—1890), отлученный от церкви за свои диссидентские взгляды.

Друидическое движение — движение, возрождающее традиции друидов, полулегендарных кельтских жрецов, выступающих в ирландских и валийских легендах как чародеи и прорицатели.

Танжер — марокканский порт, популярный среди гомосексуалистов.

«Фоморы» — морские разбойники из кельтских легенд (букв.— «подводные»), первоначально — божества зла и тьмы.

«Габриэль Лажёнесс» — герой поэмы Лонгфелло «Эванджелина» (1847).

Джоэл Харрис (1848—1908) — американский писатель, создатель образа дядюшки Римуса.

Ф. Норрис — Фрэнк Норрис (1870—1902), американский писатель.

В отличие от цирюльника Мидаса...— греческий миф повествует о том, что у фригийского царя Мидаса были ослиные уши, которые он прятал под шапочкой. Знавший об этом цирюльник в конце концов не выдержал, вырыл в земле ямку и шепнул туда о своей тайне.

Микротональные мелизмы — мелодические украшения устойчивой формы со звуковысотными интервалами меньше полутона.

Ататюрк — «отец турок», имя, данное Мустафе Кемалю (1881—1938), основателю и первому президенту Турецкой Республики.

Яшмак — платок, которым мусульманские женщины прикрывают лицо, оставляя лишь тонкую прорезь для глаз.

...он любил коротать свой досуг...— по-видимому, речь идет о Джеймсе Джойсе.

Автолик — в греческой мифологии сын Гермеса, ловкий разбойник, «самый ворова-тый из людей».

Питт — Уильям Питт Младший (1759—1806), английский государственный деятель, стремившийся к объединению Англии и Ирландии. Один из злейших врагов революционной Франции, опасаясь вторжения которой строил многочисленные оборонительные сооружения. Возглавляемое им правительство подавило восстание в Ирландии в 1798 г. и в 1801 г. ликвидировало ее автономию.

«Скоро галлов парусина выжмет сок из Апельсина!» — намек на «защитника протестантской веры» штатгальтера Голландской республики Вильгельма III Оранского (William of Orange, 1650—1702; orange по-английски — апельсин), который в июле 1690 г. наголову разбил высадившиеся в Ирландии войска изгнанного из Англии короля-католика Якова II Стюарта.

Замок — Дублинский замок, бывшая резиденция английского вице-короля; ныне — место инаугурации президента Ирландии.

«Святое Сердце» — один из наиболее популярных у католиков культов. Поводом для его основания послужили видения ирландской монахини Маргариты Марии Алакок (1647—1690), которая утверждала, что видела кровоточащее сердце Христа в его отверстой груди.

«Св. Антоний» — Антоний Египетский (ок. 251—356), аббат, основатель монашества. С 286 по 306 г. жил отшельником в пустыне, где подвергался искушениям.

«Цветочки» — собрание рассказов о жизни Св. Франциска Ассизского (1181—1226), составленное в первой половине XIV века.

Агиография — церковно-житийная литература.

...папы Иоанна — имеется в виду папа Иоанн XXIII (1881—1963).

Экуменический — связанный с движением за объединение всех христианских церквей.

«Ата-Клот» — сокращение гэльского названия Дублина — Бейл-Ата-Клот, что значит «город на переправе с препятствиями».

Церковь Финдлейтера — пресвитерианская церковь Эбби-чёрч на Ратленд-сквер, построенная на средства Александера Финдлейтера.

Про Свифта и Стеллу слышали? — В соборе Св. Патрика похоронены его декан, писатель Джонатан Свифт со своей подругой (по некоторым сведениям, женой) миссис Эстер Джонсон, письма Свифта к которой были опубликованы под названием «Дневник для Стеллы».

ХОРСТ БИНЕК

Перевод с немецкого и вступление
ЕВГЕНИЯ ВИТКОВСКОГО

Две жизни Хорста Бинека, или Стихи из тюбика

Хорст Бинек публикуется по-русски впервые. Отчего? Быть может, печатаемые здесь стихи воркутинского цикла помогут понять — какие силы стояли препятствием на пути знакомства русского читателя с его творчеством. Печатать Бинека, как говорится, «не советовали».

Он родился в Силезии в 1930 году — еще до прихода фашистов к власти. К рубежу сороковых и пятидесятых годов он считался молодым поэтом и подающим надежды театральным деятелем, одним из ассистентов Бертольта Брехта в «Берлинском ансамбле». Бинек вспоминает: «В мае (1951 г.— Е. В.) праздновали шестидесятилетие государственного поэта — И. Р. Бехера. Все строго охранялось. Тройной контроль и охранники, охраняющие охранников. За толстыми оконными стеклами — беззвучное священнодействие в сонетах. Я был там с Гюнтером Кузнечиком (прозвище Гюнтера Кунерта.— Е. В.) — «делегация молодых литераторов». Но менее всего можно было там надраться — и паюсная икра была, и крымское шампанское, и заздравные тосты... Раскрасневшееся, потное лицо окруженного гостями юбиляра совсем не походило на то, которое холодело до синевы в Москве, в гостинице «Метрополь», когда ночью лифт поднимался, доставляя **одного товарища...** когда шла большая ЧИСТКА».

Так складывалась жизнь юного поэта в юном государстве ГДР. Ассистент Брехта хотя и посещал такие важные собрания, как юбилей Бехера, поэта-лауреата, отмечал, что сам Брехт на это торжество не пришел,— да и вообще имел место слух, что оба живых классика — злейшие враги. И то, что можно было Бехеру — например, написать пронзительную по лиризму эпитафию на смерть сверхопального Готфрида Бенна,— того нельзя было Брехту. И нельзя было поставить вместе с собственным «Берлинским ансамблем» собственную «Жизнь Галилея». И уж тем более — когда тот же самый «Ансамбль» проводил «митинг протеста», Брехт выступить не мог. Уходил в свою комнату и наглухо запирался. Это было все, что он мог сделать.

Брехт был немолод и иллюзий не питал. А молодежь — питала, как ей и свойственно. Шел год 1951-й, умер великий композитор Арнольд Шёнберг; Брехт, скрипя зубами, переписывал своего «Лукулла»,— а молодежь по ночам расклеивала по Берлину листовки. «Я оставил правду на стене какого-то писсуара на Александерплац...»

Учеба пока что шла своим чередом. «Разговоры о диамате: на каких позициях стоит классовый враг? Партийность в искусстве. Толкование «Песни о Буревестнике» Горького. С другой стороны, Стравинский: раньше не исполнялся за то, что его музыка — какофония, теперь за то, что он сам космополит. Кафку не печатают, как и раньше: прежде за то, что еврей, теперь за то, что декадент. А выставку Барлаха так и не открыли: прежде он был экспрессионист, теперь — мистик». Как знакомы нам, в России, все эти ярлыки.

Дальше — уж и вовсе по сотни раз вызубренному сценарию. «...Они пришли в день Праздника Революции (8 ноября 1951 г.— Е. В.), когда я сидел на краю кровати, дожидался последних известий по радио. Это было вечером, около восьми. «Срочная телеграмма Бинеку»,— сказали они, и, как только я вышел, мне рванули руки вперед и надели наручники. «Это ненадолго»,— осклабились они. Они не оставили ни книг, ни картин, ничего из мебели на прежнем месте, все перевернули. Сказали: «Только одна очная ставка». Это ненадолго. А потом: тысяча четыреста двадцать три дня. Пересчитайте на свою жизнь — одиночка на Линденштрассе, потом Берлин-Лихтенберг, бывшая женская тюрьма гестапо». И так далее. Бинек длинным списком приводит лишь основные вехи своей жизни: яркие лампы в белых боксах, допросы, битье, надежды, иллюзии, лазарет, Бутырка, тундра, «двадцетпьятлет» (так и написано латинскими буквами), сомнительный юмор блатных, «давай-давай» (что в словарике переведено как «быстро, быстро!»), «руки насат», «баланда», «столыпински» — и т. д., почти все по-русски, все слышано-переслышано, все читано-перечитано.

Итак, архипелаг ГУЛАГ, Воркута, где «девять месяцев зима и три месяца просто холодно». Переклички перед бараком при температуре —41°, угольные шахты, работа на глубине в восемьсот метров, постоянное увеличение нормы. Пурга: сколько раз будет повторять Бинек это русское слово в стихах и в прозе. Словом, рядовые будни советского зека из немцев,— ничего особенного, шахтер как шахтер...

(Слово «блатной» Бинек тоже пишет латинскими буквами,— среди блатных провел он четыре года. В рижском журнале «Даугава» (1990, № 11) писатель Сергей Снегов опубликовал небольшой, но полезный «Толковый словарь лагерно-воровского языка», и в нем мы находим такое пояснение: «**Шахтер:** У воров в законе страшное ругательство. Крепче любого мата. После выпада «Ты, шахтер!» — надо бросаться в драку. Словами такое оскорбление не смыть. И тот, кто способен профессионально работать под землей,— ниже всех критериев». Хорст Бинек, двадцатипятилетник, работал шахтером на Воркуте и, вероятно, даже не знал, что сама его вынужденная профессия на жаргоне работавших с ним бок о бок блатных — ругательство.)

Прошло полтора года, Сталин умер. Перемен в лагере почти никаких. Но еще спустя пять месяцев — то самое восстание на Воркутинском Речлаге (где Бинек и находился), о котором подробно пишет Солженицын: «В Речлаге (Воркута) в июне 1953 совпало: большое возбуждение от смещения Берии и приход из Караганды и Тайшета эшелонов мятежников (большей частью западных украинцев). К этому времени еще была Воркута рабски забита, и приехавшие зэки изумили местных своей непримиримостью и смелостью. (...) 22 июля забастовали цемзавод, строительство ТЭЦ-2, шахты 7-я, 29-я и 6-я. (...Уговаривали бастующих только первый день. (...) Через неделю зоны стали обходить генерал Масленников, начальник Речлага генерал Деревянко, генеральный прокурор Руденко в сопровождении множества офицеров... (...) (29-я шахта, находившаяся за горой, не поверила обещаниям и на работу так и не вышла.— Е. В.) 1 августа 11 грузовиков с солдатами проехали к 29-й шахте. (...) Генерал Деревянко отходит в сторону и дает команду «огонь!». По толпе. (...) Убито 66 человек» [1].

Бинек приводит те же факты, хотя не так подробно. «Забастовка на 29-й шахте через пять месяцев после смерти Сталина. Руденко (ранее — обвинитель в Нюрнберге) прибыл из Москвы и приказал расстрелять безоружных заключенных».

Да, и в самом деле сходится. Роман Андреевич Руденко (1907—1981), главный обвинитель от СССР на Нюрнбергском процессе, с 1953 года — генеральный прокурор СССР, такой приказ отдал. Он, кстати, был в 1972 году удостоен высокого звания Героя Социалистического Труда. Не иначе как за то, что расстрелял безоружных. И впрямь социалистический труд.

...Первую за много лет немецкую газету Бинек взял в руки только в 1955 году во Фридланде, на территории тогдашней ГДР, пока еще в пересыльном бараке. И тогда же свернул в тончайшие трубочки свои лагерные записи, сделанные острым карандашом на папиросной бумаге, завернул их в фольгу и затолкал с обратной стороны в тюбик для зубной пасты: так он и довез их до новой своей родины на западе Германии, так миновали все досмотры его лагерные стихи; значительная часть предлагаемых в подборке — как раз такие, «вынутые из тюбика».

Здесь жизнь Хорста Бинека раздвоилась окончательно. С одной стороны, он был свободным гражданином свободной страны, первые же его книги стихов и рассказов принесли ему настоящую известность. С другой — он сам это знал — где-то на востоке остался его тюремный срок «двадцетпьятлет», и не скоро наступил его конец — лишь 8 ноября 1976 года. Бинек писал об этом: «Четыре года я отсидел. На Воркуте. Немалый срок. И все же мне повезло. Только четыре года. Из двадцати пяти. Я помню об этом. Иногда я подпрыгиваю на улице. Просто так. Что об этом говорить. Мне повезло. В общем-то!»

«Когда я узнал о смерти Брехта, я напился»,— вспоминает он. Брехт умер в 1956 году, когда Бинек был уже на свободе — но в другой стране, ФРГ. Новая жизнь Бинека, оборвавшаяся после тяжелой болезни в конце 1990 года, пока что шла своим ходом. Но была и другая жизнь, существовавшая по собственному времени «на востоке»,— и Бинек знал о ней. И эта жизнь, отнюдь не ограничивавшаяся призрачным двадцатипятилетним сроком, длилась в действительности. С конца 1950-х годов поэтов и прозаиков ФРГ худо-бедно, но в СССР и странах «социалистического лагеря» печатать стали. Но Бинек! Бинек словно и не существовал. При малейшей попытке «протащить» его хотя бы двумя-тремя нейтральными стихотворениями в большой антологии немедля просыпалось недреманное цензурное око демона его «второй жизни», и стихи (а если проза — то проза) Бинека из такой антологии вылетали прочь. В закрытых рецензиях вполне респектабельные литературоведы даже ставили на вид издательству: как же допустили такую небдительность, посмели помыслить о публикации «этого», который, разве не знаете, на Воркуте сидел,— и т. д. Говорят, незадолго до смерти Бинек даже поговаривал о том, что хочет обратиться к советскому правительству официально — реабилитируйте! Он знал, что в СССР печатают почти всех немецких писателей, под запретом лишь те, кто переехал из ГДР на Запад — и, разумеется, он, Бинек. То же самое было и в других странах Восточной Европы. «Двадцать пять» плюс бессрочное поражение в правах — таков был негласный приговор его второй, незримой жизни.

Известность Бинека была, да и остается глубокой и подлинной. Едва ли его имя

---

[1] А. Солженицын. Архипелаг ГУЛАГ. М., «Советский писатель» — «Новый мир», 1989, Т. 3, с. 282—284.

было на устах у всех, как имена Гюнтера Грасса или Вольфа Бирмана (по разным, разумеется, причинам), но у большинства культурных людей его книжки на полке непременно стоят. К наиболее известным из его произведений относятся повесть «Одиночная камера», четырехтомная эпопея, посвященная судьбе послевоенных немецких переселенцев из Польши, ну и, конечно, стихи.

Живя в Западной Германии, Бинек не терял связи с Россией. Он печатался в периодических изданиях русского зарубежья, он принимал в своем мюнхенском доме русских писателей — и эмигрантов, и тех, кто приезжал из СССР. Он писал о России и о русских — и мы в долгу перед ним. Нашего читателя ждет знакомство с многими жанрами его творчества — и с прозой, и с эссеистикой, и с публицистикой.

...Бинек вспоминал многих, с кем свела его жизнь на Воркуте и кого очень скоро не стало: «Нет уже многих, кого я знал: Тальвик, эстонский учитель; Янис, латыш; еврей Гольдштейн, поэт из Ленинграда, он еще был председателем стачечного комитета. И Вернер из Цвиккау, арестованный сразу после экзамена на аттестат зрелости... Угольная пыль покрывает наши лица».

Отчего мы в СССР до бесконечности возвращаемся все к одной и той же лагерной теме, разыскивая для читателя на других языках все те же факты, много раз пересказанные по-русски? И на этот вопрос есть ответ у Бинека.

«Записываю в пути между Австралией и Новой Зеландией, еду по командировке Института Гёте. В Сиднее меня спросили: «Почему немецкие писатели пишут все время о войне и тюрьме? — Есть еще страны, для которых это не превратилось в тему...»

Боль — общая, и не один немецкий поэт Хорст Бинек отбывал срок на севере Коми АССР, добывая уголь для страны победившего социализма, и не только на Воркуте сидели поэты (немецкие в том числе). Стоит ли доливать воду в море, найдя еще одного поэта-лагерника?

Необходимо. Ибо только так мы можем «реабилитировать» большого немецкого художника слова, окончить его двойную жизнь, свести два незримых русла воедино.

Вскроем фальшивый тюбик из-под зубной пасты. Прочтем стихи.

Вот оно, первое знакомство. Только теперь.

Тундра

Выстелен пеплом
Край неживой,
Льдистый ветер колышет
Железной травой.

Невероятный,
Злобный злак —
Годный разве что кожу
Сдирать с доходяг.

Над мхами тундры,
Природе вразрез —
Колючей проволоки
Дремучий лес.

Молитва мертвых отнюдь не молитва

На Воркуту никто из апостолов
Не приходил, на зеленый тундровый мох.
Здесь ни рыбы, ни хлеба для чуда нет,
Здесь, что ни день, умирает мечта,
Едва лишь рассвет забрезжит.

На Воркуте пулемет не ржавеет,
Кто устал — тот может слушать кантаты
Для колючей проволоки и пурги
И сделать наколку — орнамент-меандр —
Сквозь рубаху, собственной кровью.

Но главное — на Воркуте
Молитва мертвых — отнюдь не молитва,
И ржавеют губы живых,
Словно прутья тюремных решеток,
Распухает язык.

На Воркуте ни одна вдова
Не закрывает вуалью лицо;
Ее груди еще дрожат,
Когда в одиночестве вспоминает она
Легкое тело мужчины.

На Воркуте не роют могил
Разбитым в осколки надеждам,
Здесь никто не уронит слезы,
Когда из-под снега весной мертвецов
Спихивают к реке.

Отчет

Пурга — это смерть павлину, розе и солнцу,
Флейте и разговорам с самим собой,
Одиночеству, что обступает в бараках.
Быстрая смерть павлину, розе и солнцу.

Пурга — это синяя пыль вместо питья —
Пыль тишины, что хрустит на зубах,
Пыль тишины — только слышен скулеж подыхающей суки.
Пурга — это синяя пыль вместо питья.

Пурга угрожает оленям, волкам и песцам,
Которые ждут — не придут ли дожди из тайги,
Покуда железные травы звенят, как ножи,
Олени, песцы и волки боятся пурги.

Пурга — это смерть, величайшая из смертей.
Об этом событии следует дать отчет:
Ведь поезд, где зеков везут, попадает в нее,
В ледовую смерть, величайшую из смертей.

Что пропало — найдется, едва лишь растает снег.
Сорок зеков и с ними восемь конвойных солдат,
Как братья, обнявшиеся перед вступлением в смерть.
Их, конечно, отыщут, едва лишь растает снег.

День

Грузовые вагоны бараки рыбное хлёбово
под конвоем к острогу
а шинели солдат
    говорят: хлеб и труд
говорят: наказание возмездие
    говорят: смерть и тундра
говорят и говорят: колючая проволока
                и снег и боль и
пурга и всё говорят говорят.

В тюрьмах I

Нечем и незачем мерить минуты в тюрьме.
Нет перемен, если нет ни труда, ни досуга;
Люди, предметы — сливаются гущей во тьме,
Черный склероз, как последняя степень недуга.
Всех-то и мыслей во мраке: не прямо ль сейчас
Смерть паутину затянет,— так будь наготове.
Месяц проходит иль год — безразлично для нас,
Если во рту ничего, кроме пота и крови.

Нечем и незачем мерить минуты в тюрьме.
Даже звериная чуткость ничем не поможет.
Дождь или ветер случайно представишь в уме —
Образ далекий в душе ничего не встревожит.
День или ночь на дворе — не всегда и поймешь,
Темень со светом сплелась, замерев и застынув.
Летнее солнце в малиннике — выдумка, ложь,
Так же, как море, так же, как гибель дельфинов.

Нечем и незачем мерить минуты в тюрьме.
Утром кормежка, но вечером в точности та же.
Кончено лето, готовишься к вечной зиме,
Хмель отбродил, и тягучие мысли все глаже.
Время с пространством, истаяв, ушли в пустоту,
Лишь иногда, в забытьи эйфорически-сонном,
Мы уплываем куда-то в былое, в мечту —
И поглощаемся древним, бездонным затоном.

В тюрьмах II

В тюрьмах одни лишь мечты не отнять вертухаям.
Только мечты — словно тропки в минувшие дни,
В них мы уходим к деревьям, в лесах отдыхаем,
Резко на пляже оттиснется очерк ступни.
Там, где мечты,— там и детство, конечно же, вправе
Вновь обступить нас — кто памяти жить воспретит?
Знак для приятеля — прыгает брошенный гравий...
Боль — пробуждает. И губы молитва желтит.

В тюрьмах одни лишь мечты не отнять вертухаям.
Льются мечты, словно семя, дразня и пьяня.
Кровь мятежа на платочке с изгрызенным краем,
Вот он отброшен, как выхваченный из огня.
Наши тела раздирает желанье на части,
Вдохи и выдохи теменью жгучей полны —
Только мечты здесь превыше усталости, страсти,
Мужества, боли, немого сознанья вины.

В тюрьмах одни лишь мечты не отнять вертухаям,
Чувства и мысли, упрятанные в тайники.
Грохот в пространстве — и горестен, и несмолкаем,
В затхлом пространстве — и ночь заплывает в зрачки.
Время смещается, гаснут огней вереницы,
Темень и тишь полновластно вступают в права.
Мы исчезаем; стираются, гибнут границы,
И, удивленно горя, облетает листва.

Наш пепел

Колючая проволока
    это одежда святых
тех что снегом или же мраком
прикрыты
    за то что грешили пред властью
Поначалу прожектор прямо в глаза
отрицай все подряд
лучше поначалу во время допроса
    помалкивай вовсе

Кто расскажет тебе что такое
сорок дней голодного карцера
    (а мерещились ли тебе на стене камеры
    фигуры Тинторетто?)
Кто вместо тебя
по дороге к выгребной яме
    протащит хотя бы миг
    парашу твою —
подо всем под этим
    ты сломаешься
    трижды и больше раз

Нет никого да и не было здесь
    только черная птица вспорхнула из дыма
однако убийцы
    явились весьма пунктуально
они тащили солнце
израненное — искромсанное — окровавленное
на штыках
    прямо к черной стене

Иди
сказал чей-то голос
    пять шагов к стене
    и не зыркай вокруг
        когда будем стрелять

Что бывает
    когда в небе крестом расходится крик
что бывает
    когда ветер крушит все что память хранит
что бывает
    когда шаровая молния взрывается в жилах
    а наши лица гаснут под известью?

Ответ-то есть
    он давно опубликован
но кто из нас
кто слышал его?
    Кто из живых
    может сказать
        я слышал его
    кто читал его —
кто из нас?

Гашеная известь в наших глазах
песок в ушах
и вечность
    беззвучно пускает корни в наши тела

Когда же наш пепел заговорит?

Avant nous le Deluge[1]

Они давно понимали,
Что для них не останется
Места в ковчеге.
Уходили они, на что-то надеясь,
В пустынные горы,
Чтобы там продержаться
На положении беженцев.

Они еще учили
Молитвам детей,
Разъясняли, что лучше
Умирать на вершинах,
Чем внизу, в темноте.

Они ожидали
Начала прилива
И смиренно стопы
Омыли во влаге,
Но испугались,
Когда обнаружили,
Что искупались в крови.

Страшною смерть их была,
Захлебнулись кровью они.

Далеко и давно

То, что случилось,
случилось далеко и давно,
    некоторых из нас
        приговорили к расстрелу.

Приговор приведен в исполнение.

        Наши имена тоже стояли в списке.
        Кто не расстрелян, твердит: мы-то живы.

---

[1] «Прежде нас хоть потоп» *(франц.)* — парафраз слов маркизы Помпадур: «После нас хоть потоп». *(Прим. перев.)*

Алфавит

Для Нелли Закс

Там где есть боль
нет места больше ничему
Нет ничего кроме боли:
ни стрелок часов
ни монеты
ни оружия
ни молитвы
ни ветра ни дерева не существует
ни красок ни картин
ни формулы
ни системы отсчета
ни убежища
ни цитат
ни врага
Единственный алфавит:
боль

■

ХЬЕЛЛЬ АСКИЛЬСЕН

Последние заметки Томаса Ф.

РАССКАЗЫ

Перевод с норвежского О. ДРОБОТ

КАРЛ

Пока супруга была жива, я думал, что после ее смерти станет просторнее. Только ее бельем, прикидывал я, забиты три ящика комода, в один я положу медные монеты, в другой спичечные коробки, в третий пробки. А то сейчас — все в кучу, никакого порядка.

И она умерла, давно уже. Она была, мир душе ее, трудным человеком, но все-таки оставила меня в покое. Я выгреб из шкафов, ящиков комода все, что после нее осталось, и обнажилось места больше, чем мне требовалось. А уж что не заполнено, то пусто. Так что пару пустых шкафов я выкинул, комната, правда, сделалась совсем пустой. Все вышло очень нескладно, признаю, но ведь это когда было, целую жизнь назад.

Спустя несколько недель ли, месяцев после того непродуманного разорения комнаты меня неожиданно навестил Карл, мой второй сын. Он хотел бы забрать — чтобы подарить своей жене — мамину шаль,— она будет напоминать ему детство. Поняв, что шали на самом деле нет, он совершенно потерял контроль над собой. Он завопил: «Есть для тебя хоть что-нибудь святое?» И это торговец-то, живущий с купли и перепродажи. Больше всего мне хотелось выставить его вон, но я сдержался; ведь и я отчасти виноват в его появлении на свет. Я спросил примирительно: «А что, это какая-то особенная шаль?» — «Мама вязала ее, когда меня ждала. Она была у нее любимая».— «Понял, понял. Она появилась на свет вместе с тобой. Ты что же, был маминым любимчиком?» — «Да, представь себе». «Тут и представлять нечего»,— я уже начал терять терпение, он же точный слепок с его матери, так же мало способен уразуметь, что бытие подчиняется определенным законам. «Короче, так,— сказал я.— Шали нет и не будет. Но ты же знаешь: то, что мы потеряли, наше навек». Фраза, конечно, глупая, но наверняка в его вкусе.

Оказалось, нет. Я позабыл, что имею дело с коммерсантом. Он угрожающе шагнул в мою сторону, разразился длинной и скучной тирадой о моей бесчувственности. Закончил он так: иногда ему даже дико думать, что я его отец. «Твоя мать была женщиной строгих правил»,— ответил я на это. Но он не понял, в чем соль — и почему у меня дети такие тугодумы? «Я это знаю и без тебя»,— бросил он. И тут я заметил: он весь красный, и мне вдруг пришло в голову, что у него, может, не в порядке сердце — все-таки шестьдесят лет, и, чтобы разрядить обстановку, я сказал, жаль, что так вышло с шалью, приди он раньше, мог взять хоть все вещи. Совершенно, кажется, невинная фраза. Но он сделался пунцово-красным и завопил: «Ты что, все выбросил?» — «Все».— «Но зачем?» Я не хотел ему объяснять, поэтому просто сказал: «Этого тебе не понять».— «Что за бесчеловечность!» — «Как раз наоборот. Я действовал целенаправленно, что, строго говоря, и является отличительной чертой

© H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), 1983.

человека». Ясно, я просто играл словами, но оказалось, он меня не слышит совсем. «В этом доме мне нечего больше делать»,— крикнул он, он вообще стал кричать, значит, его жена глуховата, у меня-то как раз слух изумительный, иногда это даже мешает, некоторые звуки стали гораздо резче чем раньше, да к тому же появились совсем новые, от пневмобура, например, я бы не отказался чуть отдохнуть. «Говорить говоришь,— сказал я,— а делать не торопишься». Только тогда он и ушел, очень вовремя, а то бы я все-таки потерял терпение. Хотя теперь я стал гораздо терпеливее, терпимее — возраст, старым людям многое приходится выносить.

ШАХМАТЫ

Мир сильно изменился. Жизнь, например, занимает теперь куда больше времени. Мне далеко за восемьдесят, а жизнь при мне. Я еще очень крепкий, хотя крепиться мне вроде уже ни к чему. Не хочет жизнь меня отпускать. Раз незачем жить, не от чего и помирать. Выходит, так.

Давно, когда ноги еще не отказывались мне служить, я навестил брата. Я не видел его года три, оказалось, он — по старому адресу. «Жив еще»,— приветствовал меня он на правах старшего. Я захватил с собой перекусить, он угостил меня водой. «Тяжело жить,— сказал он.— Невыносимо». Я был занят едой и не ответил. Разговоры разговаривать я не люблю. Наконец я допил и доел. Брат изучал что-то на стене над моей головой. Встань я, ему пришлось бы смотреть прямо на меня. Но он, конечно, отвел бы глаза. Со мной ему неуютно. Точнее, ему неуютно из-за меня. Видимо, муки совести, про угрызения уж не говорю. Он сотворил двадцать с лишком толстенных романов, а я всего несколько, тоненьких. Он именит, репутация, правда, чуть сомнительная. Пишет-то все о любви, и все больше — о плотской, откуда и вдохновение.

Он по-прежнему изучал что-то поверх моей головы — еще бы, двадцать книжек на затянувшуюся жизнь. мне нестерпимо хотелось встать и уйти немедленно, не приступая к делу. Но глупо как-то, я потратил столько сил на дорогу, вот я и предложил ему партию в шахматы. «Много времени отнимет»,— отрезал он.— А мое — почти истекло. Раньше надо было приходить». После этих слов мне надлежало подняться и уйти, на что он и рассчитывал, но я безупречно воспитан и вежлив, это моя слабость. И я возразил: «Ну, не больше часа».— «Да,— согласился он.— Сама игра. А возбуждение после победы или досада от проигрыша? Сердцу это уже не по силам. Да что говорить, по себе знаешь». Я не ответил, не хватало обсуждать с ним мое здоровье. В свой ход я поддел его: «Так ты боишься смерти».— «Чушь. Просто дело моей жизни еще не закончено». Именно так он и выразился, выспренно,— с души воротит. Палка моя отдыхала на полу, я нагнулся ее поднять — пора было кончать балаган.

«Умирая, мы, по крайней мере, перестаем противоречить сами себе»,— сказал я, совершенно не рассчитывая, что он поймет, куда я клоню. Его высокомерие, конечно же, не позволило ему уточнить, что я имел в виду. «Я не хотел сделать тебе больно»,— заявил он. «Больно? Да плевать мне,— парировал я излишне громко, ведь тоже немного разнервничался,— плевать мне и на ту ерунду, которую я написал, и на ту, что уже не напишу.— Стоя, я произнес перед ним настоящую речь.— Ежечасно мир переживает сотни потерь. Прикинь, сколько светочей разума угасает, а в них-то вся дурь и копится. Совсем вытравить глупость все-таки не удается, часть ее оседает в книгах, которые кое-кто пишет, возвращая глупость к жизни, и так будет, пока люди будут читать романы, кое-какие романы, хоть все они в общем-то одинаковы.— Я добавил, на первый взгляд, признаю, слегка без связи.— Вот почему я пришел сыграть партию в шахматы».

Он сидел молча и подал голос, только когда я был уже в дверях: «Наговорил, а толку мало. Но я все же пущу твою болтовню в дело, у меня ее произнесет невежда».

В этом весь мой брат. Кстати, умер он в тот же день, так что мне, похоже, досталось его последнее слово, я-то ничего ему не ответил, что его и разочаровало. Он хотел, чтобы последнее слово оставалось за ним, и своего добился, но ему-то хотелось порассуждать. Когда я вспоминаю, как взволновал его наш разговор, то всегда думаю о китайцах — у них есть особый иероглиф для обозначения смерти от изнеможения в момент любви.

Ведь мы с ним братья.

НУ, ЖИЗНЬ

Однажды летом, в погожий день, мне захотелось проветриться, хотя бы вокруг дома пройтись. Идея ободрила — настроение улучшилось. Было так жарко, что я даже решил сменить трусы на короткие, но, начав искать, вспомнил, что выбросил их еще год назад, в приступе меланхолии. Однако идея засела крепко, поэтому я обрезал те, что были на мне. Воистину, надежда умирает последней.

Как странно оказаться на улице после долгого перерыва, правда, узнавал я вокруг все.

Надо бы об этом написать, подумал я, и вдруг почувствовал, что у меня встал, так прямо на улице средь бела дня. К счастью, у этих штанов глубокие, вместительные карманы.

Дойдя до первого угла — на что потребовалось изрядно времени, душа рвется, да ноги не идут,— я расхотел гулять вокруг дома. Раз уж лето, надо бы что-нибудь из растительности, дерево, например, поэтому я двинулся дальше прямо. Припекало точно так, как когда-то в детстве, и я порадовался своим коротким трусам. Опущенной в карман рукой я контролировал ситуацию и чувствовал себя превосходно. Не поверите, но так оно и было.

Одолев еще почти три дома, я услышал, как кто-то выкрикнул мое имя. Хотя голос был старческий, я не оглянулся, мало ли Томасов на свете. Но на третий раз я взглянул туда, откуда кричали, чего не бывает, уж больно день чудной. И точно — на той стороне стоял учитель Сторм. Я крикнул: «Феликс!» Но я отвык пользоваться голосом, и вышло как-то плохо. Нас разделил поток машин, и ни он, ни я не отважились перейти улицу, глупо лишиться жизни от радости, если столько времени не умирал от ее отсутствия. Мне оставалось только еще раз крикнуть его имя и приветственно помахать палкой. Как жаль, хорошо еще, он увидел меня и окликнул. «Прощай, Феликс»,— я побрел дальше.

Когда, через какое-то время, я добрался до следующего перекрестка, он неожиданно возник передо мной, напрасно я переживал. «Томас, дружище,— начал он,— где же ты пропадаешь?» Этого я говорить не хотел, поэтому на вопрос не ответил, но сказал: «Мир, Феликс, велик».— «Все умерли или почти покойники».— «Жизнь берет свое».— «Хорошо сказано, Томас». Хорошего я в этой фразе ничего не видел и, чтобы дотянуть до его похвалы, заявил: «Что отбрасывает тень, и есть жизнь».— «Да, зло бесконечно». Тут-то я и заподозрил, что он уже в маразме, и решил его испытать. «Проблема не во зле,— добавил я,— а в глупости. Например, юнцы на огромных мотоциклах». Он долго-долго изучал меня взглядом, потом произнес: «Что-то я не совсем понимаю, что ты имеешь в виду». Я не собирался издеваться над ним, поэтому спросил как можно безразличнее: «А что такое зло?» Конечно, он сразу сник, он ведь не теолог какой-нибудь, и я поспешил ему на помощь: «Да что мы об этом — как твои-то дела?» Но, видно, настроение ему я испортил, потому что он долго смотрел на свои часы, потом изрек: «С каждым человеком, которого встречаю, я делаюсь все более и более одиноким». Сказано не особо любезно, но я сделал вид, что пропустил это мимо ушей. «Да уж, верно». Следовало поторопиться с прощанием, пока он не опередил меня, но я не успел, и он сказал: «Ну, Томас, мне пора, там у меня картошка на плите».— «Ну конечно, картошка»,— согласился я. И протянул ему руку со-

словами: «Если больше не увидимся...» Конец предложения повис в воздухе, это была фраза из тех, что лучше звучат недосказанными. «Да»,— и он потряс мою руку. «Прощай, Феликс».— «Прощай, Томас».

Я повернулся и пошел домой. Никакой зелени я так и не увидел, но до чего богатый на события день.

ПУБЛИКА В КАФЕ

Чуть ли не последний мой поход в кафе пришелся на воскресенье, это я знаю, потому что почти никого не было в костюме и при галстуке, я еще помню, подумал: может, сегодня все-таки не воскресенье? Я устроился в центре зала, было многолюдно, все ели пирожные и бутерброды, но почти все сидели поодиночке. Одиноко как-то, а я давно ни с кем не разговаривал и был не прочь перекинуться хоть парой слов. Я долго прикидывал, как лучше это устроить, но чем упорнее я оглядывался вокруг, тем непосильнее казалась задача, все будто задраили лица, да, что-то жизнь стала совсем невеселой. Но в предвкушении радости разговора я продолжал обдумывать варианты, обычно это помогает. Наконец придумал. Я уронил на пол бумажник, будто совершенно случайно. Он лежал рядом со стулом, на виду у всех, некоторые даже проводили падавший бумажник взглядом. Я рассчитывал, что кто-нибудь, а то и двое, вскочит, чтобы поднять его, ведь я все-таки старик, ну, или крикнут мне: «У вас упал бумажник».

И почему человек всегда надеется — скольких разочарований можно было бы избежать. Спустя долгие минуты ожидания и недоумения пришлось разыграть, будто сам заметил пропажу, дальше ждать я боялся, вдруг кто-нибудь из этих смотревших исподлобья людей бросился бы к нему, схватил и убежал бы. Ведь на нем не написано, что он совершенно пуст, а старики не все бедные, случаются и богатые, и те, кто в юности или в зрелые годы немного подсуетились, в старости стригут с этого купоны.

Хоть выяснил, какая теперь публика в кафе, так всю жизнь и учишься, да к чему эти знания на пороге смерти.

МАРИЯ

Однажды осенью на улице около часовой мастерской я случайно встретил свою дочь Марию, она похудела, но я узнал ее сразу. Не помню, куда я шел, но, видно, по очень важному делу, потому что перила в подъезде тогда уже разобрали, и я практически не выходил. В общем, я встретил ее, и хоть я во всякие такие глупости не верю, у меня даже мелькнула мысль: как странно, что я выбрался на улицу как раз в этот день. Казалось, она обрадовалась, назвала меня отцом и взяла мою руку в свою. Это ее я любил больше всех детей, в детстве она часто говорила, что я самый лучший папочка. И еще она пела мне, немного фальшиво, но тут она не виновата, это в мать. «Мария,— сказал я.— Вот и ты, как ты хорошо выглядишь».— «Да, я перешла на уринотерапию и сыроедение». Тут я рассмеялся, впервые за долгое время: подумать только, какое чувство юмора у моей дочери, немного соленый юмор, а все равно приятно и так неожиданно. Но я ошибся, и почему старость не спасает человека от обольщений? Лицо моей дочери приняло удивленное выражение, взгляд как будто потух. «Насмехаешься надо мной,— выговорила она.— Я сказала что есть». «Мне послышалось, ты сказала «урина»,— честно признался я. «Ну да, моча, я стала просто другим человеком». В этом я не сомневался, невозможно оставаться тем же самым человеком до того, как начинаешь пить мочу, и после. «Да, да»,— сказал я, чтобы помириться, мне хотелось поговорить о чем-нибудь другом, возможно, о чем-нибудь приятном, как знать. Тут я заметил у нее на пальце кольцо и спросил: «Ты замужем, оказывается?» Она тоже посмотрела на кольцо. «А, это. Это просто чтобы мужчины не клеились». Тут уж на-

верняка шутит, я прикинул, что ей по самому скромному счету пятьдесят пять, а выглядела и того старше. И я опять рассмеялся, второй раз подряд за долгое время, и опять на улице. «А теперь ты что хочешь?» — спросила она. «Да так, что-то я старею,— ответил я, когда до меня дошло, что опять ошибся.— А мужчины стали не нужны?» Она промолчала, я с этим и не разобрался, но хочется думать, моя дочь не показатель. Господи, ну почему мне достались такие дети. Ну почему.

Мы постояли молча, и я уже собрался прощаться, внезапная встреча не должна затягиваться, но тут она спросила, здоров ли я. Не знаю, что она имела в виду, но я честно признался, что могу пожаловаться на ноги. «Я с ними в разладе, шажки делаются все короче и короче, скоро и с места не сдвинешься». И чего мне вздумалось так подробно рассказывать ей о моих ногах; то, что с моей стороны это было глупостью, выяснилось сразу. «Возраст, чего ж ты хочешь»,— отозвалась она. «Возраст, ничего не попишешь»,— согласился я. «Тебе и незачем особо ходить»,— заявила она. « И ты туда же»,— удивился я.— И ты». К ее чести надо заметить, что иронию в моих словах она уловила и рассердилась, но не на себя: «Что я ни скажу, все не так». На это я не ответил, что тут возразишь, я просто неопределенно покачал головой, а то и так слишком много слов говорится, про запас нечего оставить.

«Мне, кажется, пора,— заявила моя дочь после неловкой паузы.— Мне нужно еще в магазин лечебных трав. Увидимся». Она протянула мне руку. И ушла. Моя дочь. Да, я знаю, во всем есть внутренний смысл, но как же трудно иногда его разглядеть.

ФРУ М.

Среди немногих посвященных в то, что я еще жив, фру М. из углового магазина. Дважды в неделю она, особо не мудрствуя, приносит мне все на ее взгляд необходимое. Я вижу ее лишь от случая к случаю, у нее свой ключ от квартиры, она заносит продукты и оставляет у двери, так проще всего, и для нее, и для меня, к тому же у нас сохраняются ровные, почти дружеские отношения.

Но в этот раз, услышав, что она возится с ключом, я ее окликнул. Я упал, ушиб колено и не сумел сам добраться до дивана. К счастью, это был как раз день ее прихода, поэтому я прождал всего часа четыре, не больше. Так вот, я окликнул ее. Она предложила сразу же вызвать врача, она искренне беспокоилась — только самые близкие обращаются за медицинской помощью из других соображений, чтобы отделаться от старика. Я рассказал ей, в первом приближении, все о больнице и об интернате для престарелых, откуда уже не выбираются, и это милое создание отступилось. Она сделала три бутерброда и поставила их на столике у кровати, вместе с графином воды. Напоследок принесла из кухни старый кувшин для молока — «если вам захочется», как она выразилась.

И ушла. Ближе к вечеру я принялся за первый бутерброд, и как раз когда я его дожевывал, вдруг вошла она и посмотрела на меня. От неожиданности я дал волю чувствам и сказал: «Какой вы чудесный человек!» — «Ну, не надо,— просто ответила она и занялась повязкой.— Все будет нормально,— успокоила она. И дальше.— Значит, в интернат для престарелых вы не хотите. Поэтому вы даже не знаете, что это называется теперь не интернатом для престарелых, а домом для пожилых». Мы оба рассмеялись, настроение стало почти веселым, какое все-таки везение встретить человека с чувством юмора.

Нога болела почти неделю, и каждый день она навещала меня. В последний раз я сказал: «Вот я и поправился, исключительно вашими стараниями...» Она перебила: «Ну, к чему этот высокий стиль. Это же нормально». Тут она фактически права, но я продолжал настаивать, что без ее помощи жизнь моя могла принять несчастливый оборот. «Да вы бы и сами справились,— заявила она.— С вашим-то характером! У меня отец был похожий, уж я-то знаю». На мой взгляд, ее рассуждения строи-

лись на довольно зыбкой почве, меня-то она практически не знает, но я не хотел выглядеть спорщиком, поэтому осторожно урезонил ее: «Боюсь, вы обо мне слишком хорошего мнения».— «Что вы,— не согласилась она.— Жаль, что вы не были с ним знакомы. Такой властный, трудный человек». Все это она произнесла вполне серьезно, я, честно признаюсь, был так польщен и обрадован, что мне захотелось смеяться, но я сохранил невозмутимость. «Ваш отец тоже дожил до глубокой старости?» — «О, да. Он всегда говорил о жизни с презрением, но я не знаю никого, кто бы так за нее цеплялся». Тут уж я смело мог улыбнуться, слава Богу, что я и сделал, она ответила тем же. «Вы небось и сами такой»,— сказала она и, поддавшись настроению, попросила посмотреть мою ладонь. Я протянул ей руку, не помню какую, но нужна была другая. Она изучала ее некоторое время, потом улыбнулась и выдала результат: «Ну, что я говорила. Вы должны были умереть давным-давно».

ТОЧКА ОПОРЫ

Несколько месяцев назад меня посетил домовладелец. Он успел трижды нажать на звонок, прежде чем я доковылял до двери, чтобы открыть, при этом я торопился изо всех сил. Я же не знал, что это он. Так редко кто-нибудь приходит — и почти исключительно представители разных религиозных сект — справиться о видах на мое спасение. Они забавные, но в квартиру я их никогда не пускаю, люди, верящие в вечную жизнь, мыслят нерационально, и неизвестно, что придет им в голову. Но на этот раз за дверью стоял домовладелец. С год назад я написал ему письмо, где обращал его внимание на поломанные перила в подъезде, и я, решив, что визитом обязан этому, впустил его. Он осмотрелся. «Недурно устроились»,— заявил, начало прозвучало так искусственно, что я понял — надо быть настороже. «Перила поломаны»,— сказал я. «Да, я заметил. Это вы сломали?» — «Нет, почему я?» — «А потому, что кроме вас ими никто не пользуется. Весь подъезд — одна молодежь. А само по себе ничего не ломается». С таким каши не сваришь, к тому же я не собирался обсуждать с ним, как и почему вещи выходят из строя, поэтому я ответил: «Воля ваша, но мне нужны перила, и я имею на них право!» На что он ответил, что квартплату со следующего месяца повышает на двадцать процентов. «Опять,— огорчился я.— И на двадцать процентов — это немало». «Следовало больше,— отреагировал он.— Дом не окупается. Я только теряю на нем». Я давным-давно перестал обсуждать экономические проблемы с людьми, которые утверждают, что теряют деньги на том, от чего легко можно было бы избавиться, наверно тому уж лет тридцать, поэтому я промолчал. Но он и не нуждался в моих репликах, он двигался вперед по собственному маршруту, такого инерционного типа человек. Он перешел к разговору о других своих доходных домах, все как один были убыточные, просто несчастье, какой нищий капиталист. Я ничего не ответил, его жалобы наконец иссякли, и как нельзя более вовремя. Вдруг он без видимой причины поинтересовался, верю ли я в Бога. У меня чуть не слетел с языка вопрос, какого именно Бога он имеет в виду, но я сдержался и просто покачал головой. «Но вы непременно должны верить»,— заявил он. Так, впустил-таки я одного из этих в квартиру. Вообще-то я не очень удивился, отягощенные крупным имуществом граждане часто верят в Бога. Тут важно было не дать ему перескочить на другую тему, поскольку евангелистов я выставляю за дверь при любых обстоятельствах, и я напомнил ему: «Вы, кажется, пришли сообщить мне об увеличении квартплаты на двадцать процентов». Сопротивление застало его врасплох, он два раза беззвучно открыл и закрыл рот, хотя, может, это типично для него. «И я надеюсь, что перила будут отремонтированы». Он стал красным. «Перила, перила. Нельзя же так приставать с вашими перилами». Крайняя глупость, на мой взгляд, и я слегка завелся: «Неужели вы действительно не понимаете, что во многих

ситуациях эти перила — моя точка опоры в жизни». Едва сказав, я пожалел об этом, точные формулировки годятся только для думающих людей, иначе хлопот не оберешься. И вот они вам: не берусь повторить все, что он наговорил, но в основном напирал на божественное. Наконец, он перешел к одной ноге, которая в могиле, это он меня имел в виду, и я рассвирепел: «Хватит надоедать мне с вашими финансовыми проблемами». Потому что именно об этом и шла, в сущности, речь, и поскольку он не решался уйти немедленно, я позволил себе стукнуть палкой об пол. Он ушел. Это было большое облегчение, несколько минут я чувствовал себя очень свободным и счастливым и помню, что сказал, конечно, не в слух: «Не сдавайся, Томас, не сдавайся».

СУМЯТИЦА

Если я не занят чтением или решением шахматных задач, я часто сижу у окна и наблюдаю жизнь на улице. Невозможно знать заранее, когда там произойдет что-нибудь достойное внимания, особых надежд, правда, и нет — с последнего случая минуло уж года три-четыре. Но это все равно разнообразит ежедневную рутину, там, по крайней мере, все время движутся, а тут в комнате только двое ходоков — я да стрелки часов.

Но тогда, несколько лет назад, я востину видел нечто из ряда вон — а вообще не пропускаю и таких мелких событий, как драки, когда бьют и пинают друг друга, глазею и на тех, кто, вдруг споткнувшись, остается лежать на тротуаре — то ли с перепоя, то ли просто не имея сил добраться до дома, которого, может, и вовсе нет, на всех-то не хватает.

Но тогдашнее переживание ни на что не похоже. Была не то Пасха, не то Троица, потому что зима уже кончилась, и я, помню, подумал, что такое только под светлый праздник и может случиться.

Из моего окна мне видна улица напротив — не длинная и просматривается до самого конца, зрение у меня хорошее.

Я сидел, не отрывая взгляда от двух мух, затеявших любовь прямо на оконной раме, да, была уже Троица, смотреть на них все-таки какое-то разнообразие, хотя они почти не шевелились. Меня их игры совершенно не раззадорили, а вот в молодости здорово разбирало.

Так вот, я сидел и наблюдал за мухами, я только что слегка дотронулся сначала до ее крылышка, а потом до него, но они никак не отреагировали, по-моему, довольно странная отрешенность, при том, что он ездил на ней уже минут десять, точно; жаль, я раньше не интересовался насекомыми по-настоящему, было бы понятнее — и тут в самом конце улицы я увидел мужчину, который вел себя чудно́. Он взмахивал руками и что-то кричал, слов я поначалу не разобрал.

Судя по всему, он отличался обостренным чувством системности пространства, потому что переходил, вернее, перебегал от первого окна по правой стороне к первому по левой, потом ко второму по правой и опять ко второму по левой и так дальше, он стучался в окна и что-то кричал. Это завораживало, я открыл окно, шпингалеты тогда еще работали, и услышал, как он кричит: «Христос воскрес». И еще что-то, мне показалось: «Вот он, я». Потом он приблизился, да, я правильно расслышал. Он кричал: «Христос воскрес. Вот он, я». Мужчина безостановочно перескакивал с одного тротуара на другой и стучал в окна, до которых мог дотянуться, это было трогательное зрелище, религиозное сумасшествие всегда трогает.

Первая реакция оказалась вполне естественной: где-то на середине улицы в него с четвертого этажа полетел табурет. Мужчину он не задел, на что, надо надеяться, бросавший и рассчитывал, но грохот устроил страшный. Эта выходка была в высшей степени безрезультатной, человек стал кричать еще громче, видно, убедившись в важности собственной миссии.

Следующий отклик был сродни первому, но примитивнее и с при-

месью комизма — распахнулось окно, и оттуда раздалось гневно: «Совсем рехнулся, кретин!» Тут я понял, что человек внизу опасен, он пробуждает темную натуру своих сограждан, я подумал: неужели не найдется разумного, на ногах человека, чтобы спустился вниз и положил этому конец. Постепенно из многих окон вдоль улицы повысовывались головы, но внизу правил бал тот безумец.

Признаюсь, я был зачарован, причем чем дальше, тем больше, но не главным виновником — улицей в целом. Люди смеялись и перекликались поверх головы бедолаги, в жизни не видел, чтобы люди так быстро шли на общение, даже ко мне обратился мужчина из дома напротив. Я разобрал только последнее слово «богохульник» и, само собой, ничего не ответил. Скажи он что-нибудь разумное, «скорая помощь», например, мы могли бы, кто знает, познакомиться и переговариваться иногда из окон. Но со взрослым человеком, а по возрасту он годился в сыновья моей давным-давно умершей жене, со взрослым человеком, который не нашел ничего умнее, как сказать «богохульник», у меня нет ни малейшего желания раскланиваться, я еще не так одинок.

Но довольно об этом. Как вы помните, я сидел, зачарованный невиданным оживлением на улице, вспомнилось детство: тогда старикам жилось приятнее, подумал я, не так одиноко, к тому же и умирали в приемлемом возрасте,— и тут из ворот выскочил человек и устремился прямиком к безумному. Схватил его сзади, развернул к себе и с такой силой ударил в лицо, что тот качнулся и упал. На секунду стало совершенно тихо, как будто вся улица затаила дыхание. Но вот забурлила снова, теперь гнев направился на обидчика. Вскоре из подъездов посыпал народ, и пока виновник сумятицы потерянно молчал, в нескольких метрах в стороне возникла оживленная дискуссия, уловить подробности которой я не мог, но, очевидно, у обидчика нашлись свои сторонники, потому что два юнца вдруг схватили друг друга за грудки. Да, в этот день разум где-то отдыхал.

Тем временем сумасшедший встал, и, пока мальцы дрались, скорей всего из-за него, а может, и по другому поводу, и кто-то пытался их разнять, он начал отступление, пятясь, добрался до перекрестка, повернулся и бросился бежать, а бегать он был не промах, скажу я вам.

Когда до толпы на улице дошло, что смутьян исчез, она постепенно рассосалась, одно за другим стали закрываться окна. Я тоже затворил свое, день был не из теплых. Мир полон несуразностей, раздражения, несвобода пустила глубокие корни, надежда на общее равенство не оправдывается, сила правит.

Говорят, мы должны довольствоваться тем, что имеем, у других и того нет. А все равно принимаем таблетки от бессонницы. Или от депрессии. Или от жизни. И когда еще народится новое человечество, понимающее смысл равенства, когда еще садовники и лесоводы вырубят деревья-гиганты, застящие свет всем остальным, и выстригут с Древа Познания лишние ветви.

У БРАДОБРЕЯ

К парихмахеру я перестал ходить много лет назад, до ближайшего почти пять кварталов, это слишком далеко, немыслимо далеко, даже если бы перила были целы. Мою поредевшую шевелюру вполне можно постричь самому, что я и делаю, мне бы не хотелось, чтобы отражение в зеркале вызывало отвращение, длинные волосинки в носу я тоже выдергиваю.

Но однажды, с год тому назад, по причине, которую теперь вспомнить не могу, я чувствовал себя особенно одиноко, и мне вдруг приспичило пойти постричься, хоть того вовсе не требовалось. Я пытался отговорить себя, твердил, что это очень далеко, что мне не по ногам, что

буду тащиться чуть не час в один конец. Все впустую. Не мог себя переубедить, в конце концов как раз время — единственное, чего у меня в избытке.

Я оделся и отправился. Как я и думал, времени это отняло много, в жизни не встречал кого-нибудь с ногами безнадежнее моих, мне ходить просто пытка, уж лучше б я был глухонемым, все равно ничего дельного не услышишь, и к чему говорить, если никто не слушает, да и что можно сказать? Нет, сказать-то можно, да кто услышит.

Наконец я доковылял. Я открыл дверь и зашел. Да, мир меняется. Внутри все было не так, только сам мастер остался прежним. Я поздоровался, он меня не узнал. Меня это огорчило, хотя виду я, конечно, не подал. Но сесть было некуда. Троих стригли-брили, четверо ждали, свободных стульев не оказалось. Я очень устал, но никто не уступал места, в очереди — только молодые люди, а они не знают, что такое старость. Я отвернулся и стал смотреть в окошко, делал вид, что все в порядке, не терплю жалости. Вежливость ценю, жалостью своей можете подавиться. Я довольно часто видел, правда, раньше, но вряд ли мир стал человечнее, так вот я слишком часто был свидетелем того, как молодые люди, перешагнув через лежавшего на тротуаре доходягу, вдруг замечали потрепанного котенка или щенка, о, их сердца раскрывались в тот же миг. «Бедный щенуля»,— причитали они или сюсюкали: «Кися, иди сюда, ушибся?» Да, у животных друзей хоть отбавляй!

Я простоял минут пять, место освободилось, я сел, такое блаженство. Но все молчали. В прежние времена в парикмахерской можно было узнать обо всем на свете, я шел напрасно, в мире не осталось ничего, о чем хотелось бы поговорить. Я посидел немного, встал и ушел. Какой смысл. Волосы и так в порядке. Лучше сэкономить эту, наверняка круглую, сумму. Я пошагал свои тысячи шажочков к дому. Да, думал я, меняется мир. Наступает тишина. Умирать пора.

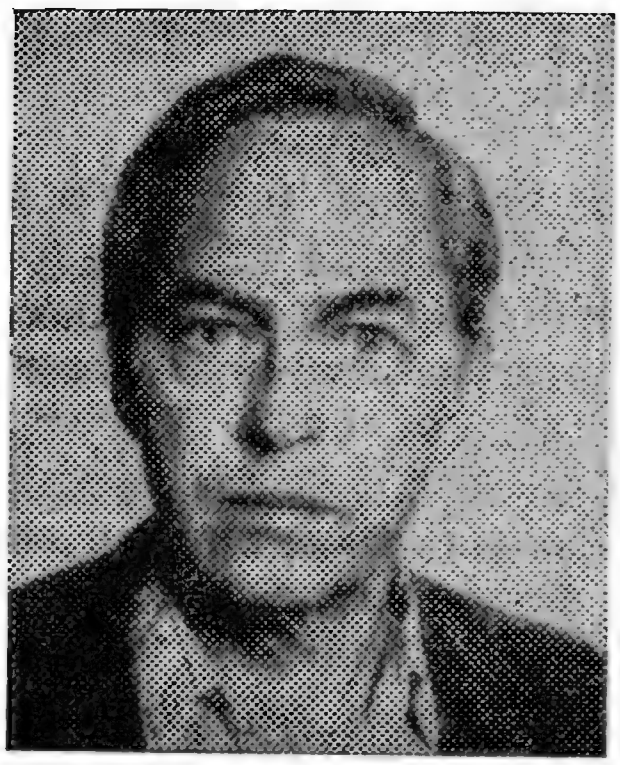
ТОМАС

Я стал ужасно старым. Скоро писать мне будет так же трудно, как и ходить. Очень медленно получается. Несколько предложений в день. А намедни я потерял сознание. Скоро финал. Я сидел над шахматной задачкой. И неожиданно разлилась слабость. Как будто жизнь отступила. Больно не было. Только неприятно. И тут я, видно, впал в беспамятство, потому что очнулся — голова на шахматной доске. И короли, и пешки валялись в беспорядке. Я б хотел умереть так. Слишком много я требую — безболезненной смерти. Если меня настигнет болезнь с болями и я пойму, что это уже до конца, я б хотел иметь друга, чтобы помог мне перейти в никуда. Это запрещено законами. К сожалению, у нас законы консервативные. И врачи требуют, чтобы люди терпели боль, даже если нет никакой надежды. Это называется врачебной этикой. Смешно. Хотя тем, кто страдает, не до смеха. Мир не милосерден. Говорят, что в Советском Союзе времен террора приговоренных к смерти убивали по дороге в камеру, выстрелом в затылок, без предупреждения. Я думаю, это было проблеском человечности среди всех их ужасов. Но мировая общественность подняла жуткий вой: люди должны хотя бы иметь право принять смерть лицом к лицу с палачом. Религиозный гуманизм не лишен цинизма, да гуманизм вообще таков.

Очнулся я, значит, уткнувшись носом в шахматную доску. А так — обычное пробуждение, как после сна. Я почувствовал легкое раздражение. И из упрямства решил расставить фигуры по местам. Но задание оказалось непосильно сложным. Посижу у окна, подумал я. Тут позвонили в дверь. Я решил не открывать. Опять евангелист хочет уверить меня в вечном блаженстве. Но тут позвонили второй раз, и я засомневался. Евангелисты по крайней мере ленятся звонить дважды. Я крикнул

«минуточку» и пошел открывать. Это заняло много времени. За дверью стоял мальчик. Он продает билеты лотереи в пользу духового оркестра местной школы. Без всякого подвоха с его стороны все выигрыши — прямо насмешка над стариками. Велосипед, рюкзак, шиповки и прочее в том же духе. Но отказывать ему мне не хотелось. Хотя я и не люблю духовую музыку. Я купил билетик. Однако бумажник я храню в комнате, поэтому ему пришлось войти в квартиру. Чтобы не ждать слишком долго. Он шел за мной. Наверно, впервые в жизни так медленно. В пути, чтобы скоротать время, я стал расспрашивать его, на каком инструменте он играет. «Не знаю»,— ответил он. Ответ показался мне странным, но я отнес это за счет смущения. Я мог бы быть его прадедом. А может, я был им. У меня много правнуков, но никого из них я в глаза не видел. «У вас очень болят ноги?» — спросил он. «Нет, просто они ужасно старые»,— пояснил я. «А-а»,— кажется, успокоился он. Мы как раз добрались до комода, я достал деньги. Меня опять захлестнула сентиментальность. Он потратил столько времени, чтобы продать один-единственный билетик. Я купил еще один. «Это не обязательно»,— сказал он. И мне опять стало дурно. Комната поплыла. Я вцепился в комод, бумажник упал на пол. «Стул»,— произнес я. Когда я сел, мальчик стал собирать рассыпавшиеся по полу деньги. «Спасибо, мальчик».— «Не за что»,— ответил он и положил бумажник на комод. Потом внимательно посмотрел на меня: «Вы не выходите?» И тут я понял: прошлый выход на улицу был моим последним. Я не могу рисковать и свалиться на улице. Тогда — больница или дом для престарелых. «Больше нет»,— ответил я. «У-у»,— сказал он так, что я снова расчувствовался. Старый дурак. «Как тебя зовут?» — спросил я, а ответ разволновал меня еще больше — «Томас». Я не собирался говорить, что мы тезки, но пришел в благостно-приподнятое настроение. Как ни странно, мой час, можно сказать, пробил. Я вдруг понял, что мне хочется подарить этому мальчику что-нибудь на память. Знаю, все знаю, но я был не совсем в себе. Я попросил его достать со шкафа старую деревянную сову. «Это тебе,— сказал я,— она даже старше меня». «Не надо, зачем»,— запротестовал он. «Да просто так, мальчик, просто так. И большое спасибо за помощь. И захлопни за собой дверь, будь добр».— «Огромное спасибо». Я кивнул ему. Он ушел. Вид у него был очень довольный. Но, может быть, он просто хороший актер.

Потом у меня было еще несколько таких приступов. Но я расставил все имевшиеся стулья в стратегических точках. Из-за этого кажется, что в комнате кавардак. Впечатление почти нежилого помещения. Но я все еще жив. Живу и жду.



ХАНС БЬЁРКЕГРЕН

Со шведского

Вместо предисловия

Ханс Бьёркегрен (род. в 1933 году) — шведский поэт, прозаик и переводчик, автор ряда романов, документальных исследований и стихотворных сборников. В 1960-е годы работал в Москве корреспондентом шведских газет и телеграфных бюро Скандинавских стран. Беседу с Хансом Вьёркегреном, предваряющую публикуемые стихи, вели Илья Кутик и Геннадий Айги в ноябре 1990 года в Стокгольме, в Правлении Союза писателей Швеции.

И. К. Ханс, когда вы начали всерьез заниматься литературой?

Х. Б. Писать я начал лет тринадцати-четырнадцати, написал драму, ужасно плохую — тогда мне было пятнадцать,— ее поставили в городе Уппсала, в школьном театре. В пятидесятом году, когда мне было семнадцать, я выпустил свою первую книгу, сборник рассказов, потом вышли сборники стихов, романы... В Стокгольме тогда сложилось некое содружество единомышленников. Можно сказать, что почти все наши шестидесятники вышли из этого круга.

Г. А. Это были люди, объединенные одним литературным течением?

Х. Б. Нет, единой программы у нас не было. Были романтики, были реалисты. Просто к началу пятидесятых годов оживился интерес к литературе у совсем молодых, у гимназистов. Отчасти это была реакция на пессимистические настроения, царившие среди сорокалетних, у так называемого поколения «сороковников».

Г. А. Было ли это связано с атомной угрозой послевоенных лет?

Х. Б. Да, апокалипсические, так сказать, настроения.

И. К. Тогда начинали Йоран Сонневи, Транстрёмер...

Х. Б. ...и Йоран Пальм, и Сёдерберг. А несколько ранее — Ларс Форсель.

И. К. Можно ли сказать, что в то время у вашего поколения был внутренний настрой на утверждение каких-то жизненных ценностей?

Х. Б. Пожалуй, не так все было однозначно. Мне самому были свойственны достаточно пессимистические настроения. И, повторяю, единой программы у нас не было... К тому же мы ценили предыдущее поколение, таких прекрасных поэтов, как Эрик Линдегрен, Гуннар Экелёф, Вернер Аспенстрём.

И. К. Вы нам показывали поэтический альманах, который в пятидесятые годы произвел большое впечатление. А что произошло потом? Вы раскололись, размежевались? Или ее вообще не стало — литературной общности?

Х. Б. Мы повзрослели, стали заниматься в университете, работать там.

Г. А. В пятидесятые годы во многих странах Восточной Европы происходило обновление поэтического языка, который стал прямым, жестким, лишенным всяческих поэтизмов. Характерен ли такой процесс для поэтов вашего поколения?

Х. Б. У нас это было характерно еще для поэтов предыдущего поколения. Можно сказать, что с тех пор у нас доминирует свободный стих. После сороковых годов рифмованных стихов вообще не пишут. В сущности, у нас плохие рифмовые традиции, по-моему, шведский язык не очень годится для рифм. Шведская поэзия больше оперирует консонансами, внутренними созвучиями, словами, перетекающими друг в друга.

И. К. Какие поэты имели определяющее значение для вашего поколения?

Х. Б. Сам я очень рано начал заниматься восточноевропейской и, в частности, русской поэзией. Читал все, что находил в переводах на английский, французский и немецкий языки.

Г. А. Кого из русских поэтов вы могли бы особенно выделить в этом смысле?

Х. Б. Пастернака и, в меньшей степени, Ахматову. Но особенно — Пастернака.

Г. А. А Мандельштам?

Х. Б. Мандельштама тогда никто не знал.

Г. А. А Маяковский? Имел ли он для вас и вашего поколения такое же значение?

Х. Б. По-моему, нет... Нет.

Г. А. Хлебникова, вероятно, тоже не знали?

Х. Б. Тогда это была просто фамилия. Это сейчас есть переводы, даже хорошие, например, Артура Лундквиста.

И. К. А какую роль играла для вас русская классика?

Х. Б. Я очень рано приобщился к русской литературе. Я читал все, что мог найти в библиотеках. Потом я стал изучать русский, будучи студентом университета. В шестидесятые годы я работал в Москве. В течение восьми лет я был скандинавским корреспондентом и работал для четырех стран: Швеции, Норвегии, Дании и Финляндии. Это были для меня очень насыщенные годы. Я познакомился и подружился с молодыми тогда поэтами — Вознесенским, Ахмадулиной, Евтушенко, Окуджавой. Тогда же я начал и переводить русскую поэзию. Затем, когда вернулся в Швецию, я издал несколько сборников молодой русской поэзии, в семидесятые годы и позже я выпустил отдельные сборники Вознесенского, Окуджавы, Евтушенко, потом — Мандельштама, Ахматовой, Пастернака.

И. К. Насколько я знаю, вам не довелось увидеться с Пастернаком?

Х. Б. Я предпринял одну попытку, но ничего не вышло. Он был тогда уже очень болен.

И. К. Известно, что вы первым перевели на шведский язык стихи Корнея Чуковского. Расскажите о встречах с ним.

Х. Б. В Швеции жил старый эмигрант фон Малаковский. Он был политическим карикатуристом в нашей газете. Кажется, в 1961 году он впервые получил советскую визу, приехал в Союз, и мы сделали с ним репортаж с серией его рисунков, очень забавных. Как-то он сказал, что мы приглашены в Переделкино, к его старому другу Корнею Чуковскому, с которым до революции он жил рядом в Куоккале. Когда мы встретились, Чуковский только что вернулся из Англии, где стал почетным доктором Оксфордского университета, а до этого он был в Америке, где стал «почетным индейцем», и показывал моему сыну (которому было в то время 5—6 лет) всякие индейские принадлежности, одежду, оружие. Мы провели там весь день. Это был чудный человек.

И. К. И вы включили его стихи в антологию русской поэзии на шведском языке?

Х. Б. Конечно. Я считаю его классиком современной русской литературы.

Г. А. Вы, разумеется, ощущали романтическую атмосферу, царившую в те годы у творческих деятелей, но ведь и тяжелые стороны нашей жизни вы тоже чувствовали? Ведь вы общались с нашей подпольной культурой, с диссидентами. Им не вредила дружба с вами?

Х. Б. Я встречался со многими подпольными художниками, например, Зверевым, Неизвестным, Янкилевским, очень хорошо знал Петра Валюса. Я заметил, что после 62-го года нападки на поэтов и художников неформального толка усилились. Мне кажется, общение со мной не влияло на судьбу этих людей, а вот мне один чиновник сказал, что считает меня агентом спецслужб... Забавно! Эти люди не могли понять, для них было странно, что я занимался культурой.

И. К. Ханс, вы одним из первых стали переводить Солженицына. Расскажите об этом.

Х. Б. Как ни странно, в Советском Союзе я с ним знаком не был, хотя я и был первым журналистом, кто написал о нем в связи с появлением в «Новом мире» его повести «Один день Ивана Денисовича». Переводить же его я начал уже по возвращении в Швецию. Я перевел «Один день Ивана Денисовича», а «Архипелаг ГУЛАГ» мы переводили целой «командой»: француз, немка, англичанин и я. Рукописи мы получали через одного адвоката в Цюрихе. Позднее я написал и издал биографию Солженицына, еще в 1976 году.

И. К. Но потом вы неоднократно с ним встречались.

Х. Б. Конечно. У Бёлля, когда Солженицын только что приехал из Союза, и в Швеции. И, разумеется, в Цюрихе, где я много раз бывал в связи с Нобелевской церемонией.

И. К. Биография Солженицына — не единственная ваша документальная работа. Недавно газета «Известия» сообщила, что вы написали исследование о русских революционерах.

Х. Б. Мне кажется, вам эта работа будет интересна. Дело в том, что во время первой мировой войны в Скандинавии нелегально находились многие русские революционеры, потому что граница между Швецией и Финляндией была единственной границей во всей Европе, открытой для России. В датских и особенно шведских полицейских архивах я нашел 150 дел русских революционеров по обвинению в контрабанде. На основании этих материалов я написал книгу и назвал ее «Русская почта». Есть у нас в Швеции такая милая игра...

И. К. Я знаю. Это как наша детская игра в «бутылочку», в поцелуи.

Х. Б. В процессе работы я нашел уникальные документы, связанные с приездом Ленина (в частности, совершенно очевидно, что ехал Ленин не в запломбированном вагоне, ничего подобного не было), с деятельностью Бухарина, который был выдворен из Швеции, Шляпникова, Коллонтай и других видных революционеров, Урицкого, Чудновского. Финансирование их революционной деятельности шло через Парвуса, который имел экспортную контору в Копенгагене, где директором был Яков Ганецкий, большой друг Ленина. Они занимались контрабандой, распределяли и переводили немецкие деньги разным революционным группам, кстати, не только большевикам. Так, например, недалеко от Стокгольма работал Александр Кескюла, эстонец. Этот бывший большевик, которого называли «революционным банкиром» Берлина, став националистом, призывал к освобождению Эстонии от «русского и немецкого влияния» — при помощи немецких денег.

И. К. Пользовался ли Солженицын вашими материалами, когда он писал «Ленин в Цюрихе»?

Х. Б. Абсолютно нет. Солженицын пришел почти к тем же выводам, что и я, только у него не было документальных доказательств, его доказательства психологического свойства.

Г. А. Появится ли ваша книга на русском?

Х. Б. Надеюсь, теперь появится.

Г. А. Хорошо, Ханс. А теперь хотелось бы вновь вернуться непосредственно к поэзии. Я внимательно ознакомился с вашей антологией русской поэзии. Составлена она очень взвешенно, обдуманно, от Державина до Бродского. Сколько длилась эта работа, как она была воспринята? Сыграла ли она какую-то роль и продолжает ли играть сейчас?

Х. Б. Книгу приняли хорошо, она пользовалась успехом, прекрасно расходилась. Было много откликов в прессе. Вы знаете, ведь в Швеции почти не знали Пушкина и Лермонтова как поэтов. Знали их прозу. Поэтому очень важно было представить их, наконец, и стихотворными произведениями.

И. К. Ведь вы уже готовите к изданию вторую антологию?

Х. Б. Да, в следующем году выйдет сборник советского поэтического «андерграунда» последних 25 лет, от Холина до самых молодых поэтов.

И. К. Как вы думаете, в какой мере эта поэзия впишется в вашу культуру, сможет ли она оказать какое-либо влияние? Ведь это, в каком-то смысле, эксперимент.

Х. Б. Я немного читал эти стихи по радио и на разных собраниях и, судя по реакции слушателей, могу предположить, что наибольший интерес вызывают у нас концептуалисты, такие как Пригов, Рубинштейн, Тимур Кибиров, и метареалисты — Жданов, Кутик, Парщиков, Еременко. Еще вот Айги — он, конечно, не метареалист, уж не знаю, какой он реалист... Вообще, теперь существует огромный интерес к русской поэзии. В связи с перестройкой, конечно. Хотя вообще-то на Западе мало знают новую русскую поэзию.

И. К. Тут возникают грустные аналогии. Ведь и в России плохо знают шведскую поэзию.

Х. Б. В нашем веке есть несколько действительно больших, мировой значимости шведских поэтов, таких, как, например, Гуннар Экелёф или Эрик Линдегрен. Надо переводить, конечно.

Г. А. Ханс, какова, на ваш взгляд, разница между западноевропейской и восточноевропейской поэзией, которая, конечно же, существует?

Х. Б. У нас крепче модернистская традиция, которая у вас была запрещена в сталинские времена. Молодые русские поэты, о которых мы говорили, связаны с лучшими традициями 20-х годов, с «серебряным веком». А так как в Швеции всегда был очень большой интерес к Ахматовой, Пастернаку последних 20—25 лет, то я уверен, что успех этим авторам обеспечен. Для меня очень важны контакты с молодыми русскими поэтами. Я чувствую свою внутреннюю связь с ними. Еще 20—30 лет назад я работал в этом же направлении. Это очень странно...

И. К. Что вас в них особенно привлекает?

Х. Б. Мне особенно интересна эстетика — или антиэстетика — метареалистов. Это была именно моя эстетика в молодости. Поэтому я люблю приезжать в Москву, у меня там особое самочувствие. Мне важно встретиться с моими товарищами, поэтами — Айги, Ждановым, Аристовым. И вообще, Россия — близкая мне по духу страна.

Багровая туча вдали... Темнеющий путь. Одинокий
зимородок кричит сквозь сумерки, ветер
замирает под обугленным деревом.
Темень — аллея детства; застывший страж
бессмысленно бодрствует
у обледеневшей калитки. И ветер глухой поет
под сводами детства о тяжелых хлебах.
Все проносится мимо. В вихре. Светлые вещи
тонут во тьме, зацветает — страх. И глубже становится тень
оконного креста над моею жизнью;

о, израненные диким виноградом,
дни мои человечьи,— измученные солнцем,
взбирающимся, как старая поденщица,
по лестницам города в патине серо-зеленой,
чьи стены
давно предвещают крушенье.

Одинокие

Миражи проплывают меж пальцев земли.
Замерли корабли в безветрии полном.
Жизнь врывается в комнату стеклянной прозрачностью.
Белые звезды поют в нескончаемой нашей бездомности.
Тяжело измерять одному непознанность бездны,
тяжело искать ее тайну
в силу одной только верности.
Искать — только ради игры
грез и легенд — на серых обоях.

Грезы бледнеют, остается лишь свет
нашей светлой и истинной жизни.

* * *

Медленно сжимается страх — превращается
в облачный — над тобою — моллюск:
о, разбредающиеся
млечные пути — разрежение новое:
море, острова, небеса,
ало-коралловое солнце. И в свете поющем
бредешь по камням, извлеченным
из ливня. Потом уплываешь на корабле — из трав. И земли иные,
небо иное — покоятся
в недостижимости...— как отраженья зеркал, обрамленных
ангелами,—
средь суетных образов — в вечном хмелю
вечного Благовещенья.
Под дождем расстояний мерцая,
пребывают все так же пустыни
и Вифлеем.
Нескончаемо следуешь
за корабельным буруном Свободы.

Верхарн

Один. Только что сжег
звезду и бурю.
В пустые моря уплывает прощальный косяк. И твой
последний костер
ослеп — от снега. Я видел, как ты
песнь в позолоте поджарил, как выплеснул наземь черпак
с кислинкой лирической,—
и вот
все — промерзают — пути. И страх
скачет всадником бледным — по нейстово пролитым
словам. И собачий лай
мчится — из Вселенной навстречу.

(Дробь барабанная дождя сечет деревья,
взвивая прах легенды позабытой.
Ничто не возвращается к твоей границе птичьей.
Бредешь ты в пепельных словах, что лишь тобою зримы.
Источник птичий виден лишь тебе.
И волосы твои туманом дышат.
Мечта приникла к шелесту орешника.)

Один.
Испарился уже и последний хмель,
призрачный этот паук,
рядом с ладонью распятый. И медленно ты просыпаешься
в лесу незнакомом, разбуженный
гоном и гомоном птиц.
Медленно встаешь и чертишь
синими стальными путями
огромный — сквозь зарево: крест.

* * *

Темен сад, где отдыхают тучи.
Темен порт, где стоят корабли
нашей тревоги, причалившей навсегда.
Мертвые голоса плывут сквозь туман.
Орды всадников мчатся по берегу
в мертво-пустынной степи.
Ветер завывает в рупор туманный, чайки
ныряют сквозь мглу, маяки
искрятся в серых каналах.
Влекут останки в глубинах, корабли блуждают
средь рифов, и жесткая тень человека
в шляпе со спущенными полями
гасит корабельные фонари
внезапным рывком.

Смеющееся мужское лицо: каменный барельеф с острова Готланд

Веки, набухшие от шестисотлетнего бденья. Хитрей, чем в былинное время
он щурится каменно-серым полуднем иссякшего лета. С улыбкой страдальческой он наблюдает
как исчезают последние стаи гусей. Дождь с помрачневшего юга
шрамами щеки отметил, губы затянуты корочкой льда,
и выраженье замерзло в улыбке, ставшей тюрьмой выражаемой сути;
вряд ли он помнит того египтянина — того, кареглазого,
что уловил его душу языческую
в глыбе бесформенной. О, как давно это было.
И нижний сосед его, папский служитель угрюмый
со складкой жестокою у подбородка,
рта не желает раскрыть, чтобы что-то поведать о рае. И некому
освободить его. Силу такую имел — только тот кареглазый,
маленький тот египтянин, его изваявший...— и ныне
в каменной жизни он мучиться должен в чистилище каменном,
что никогда не очистит его,
не оградит его душу от тлена. И лишь ребятишки внизу
глядят зачарованно на муки его. И лист одинокий
бьет по лицу. Из привычного поля застывшего зрения
удаляется клин журавлиный. И ветр ледяной
творению, миром покинутому, поет о творце безымянном,
о маленьком мастере древнем.

* * *

Близятся сумерки. В катакомбах
зажигают распятые свои закопченные лампадки,
чествуя смерть. Ту, что вечно присутствует:

так, как бывает, когда затихают улицы
и тонут рыданья в бушующих снах. И сомневающийся
готовится тоже к рассвету.

Каждый по-своему. Когда черная лампада
светом вконец истекла, и утро
приходит, голову гордо неся, словно победитель дракона.

Скоро. И в наступающем
никто уже больше не спрашивает о тревоге моей
и не отвечает
ни на какие вопросы.

Ближе. Я чую
приближающийся дождь — рассвета.

Перевод ГЕННАДИЯ АЙГИ

Химику

Посвящается Ингрид[1]

О жизни спорим мы, и твои
пальцы, черные от солей,
в моих — напряженней лесной хвои,
кровь тоскует в них, как Сольвейг.

А мы все спорим про жизнь и смерть,
как богословие — про Христа...
Но — циник — я спрашиваю про медь,
про цинк и прошу начертить кристалл.

Его на доске пробуждаешь ты,
как птица клювом — графитный бор.
А в колбе — багровее, чем мой стыд —
загадки жизни бурлит раствор.

Джакометти

Словно колонны — стоят они начеку
на спущенных грубых чулках и будто
чуть-чуть испаряются к потолку
из теса, солнечного, как утро.

Растленные, сплющенные и рас-
тя-ну-тые — словно чтоб вместиться
в трубы органа... Однако же не про нас
эти бесстыже-безгрешные, потягивающиеся девицы

у стены из ракушечника, что — как пляж.
Джакометти владеет ими: одною
за другой — всегда по утрам и ни

разу — после... Вот — шаг его: слышен аж
свист берета зеленого за стеною...
И, умоляя, съеживаются они.

Вольный перевод ИЛЬИ КУТИКА

[1] Жена поэта, химик по профессии *(прим. перев.)*.

* * *

Пусть будет музыка.
Пусть примчится, как ветер,
из сумрака книжных полок.
Как быстро гаснет город
под серым балконом.
В комнате только музыка,
ветер, покой.
Мы только что так горячо
говорили о политике.
А теперь отмывается комната,
как от табачного дыма.

Марина Цветаева

I
Так никто не ждет письма
в ночи одинокой
сердца.
Так ждет Письмо.

Счастье не может так ждать.

Ты разрываешь серый квадрат,
и в глубине столетья
заполняют комнату
шаги и маршевая музыка.

2

Да,— я их видела: из камня высечены.
из горькой глины вылеплены.
Сама горела я, как серебро
вокруг иконы,
глубóко в сердце века моего.

Серебряная риза сердца моего!
Глубоко
в поруганном соборе наших дней
сгорела я, как свечка восковая.

Летнее

(Пастернак, Переделкино)

Он — то самое древо живое,
вырванное с корнями весенним потоком.

Это он прощается с нами.

Яростно кружится солнечный диск,
пока мы несем его лодку-лист
к мосткам на российский берег.

А за нами он сам идет вдалеке,—
Мальчишка в летних каникул стране.

Цветы на лугах не его, а наши.

Там, внизу, нарядны деревья,
и смеется шиповник, звеня
осенью ранней.

Кружится солнечный диск.
Мы больше не плачем.
А он,— он горюет о нас?
Возможно.
Уже просветленно.

Лицо его стало улыбкой:
освещенное солнцем перо,
вздрагивающее над рекой.

Этого
не забыть берегу, не забыть березам,
и — *нам!*
Это краешком коснулось и нас.

Перевод АЛЕКСАНДРЫ АФИНОГЕНОВОЙ

САЛЬВАДОР ДАЛИ

Тайная жизнь Сальвадора Дали, написанная им самим

ФРАГМЕНТЫ КНИГИ

Перевод Н. МАЛИНОВСКОЙ

ПРОЛОГ

В шесть лет я хотел стать кухаркой, в семь — Наполеоном. С тех пор мои амбиции неуклонно росли.

Стендаль, не помню где, рассказывает об итальянской герцогине, которая, лакомясь в жаркий закатный час мороженым, горестно восклицала: «Как жаль, что в том нет греха!» Для меня в семь лет пробраться на кухню, схватить что-нибудь и съесть было величайшим грехом. Ни под каким видом мне не позволяли заходить на кухню — то был один из немногих беспрекословных запретов. И я, пуская слюни, часами выжидал удобный момент, но наступал вожделенный миг, я проникал в заповедное царство и на глазах у визжащей от восторга прислуги хватал кусок сырого мяса или жареный гриб и, давясь, млел от наслаждения — ничто не сравнится с тем волшебным, пьянящим привкусом вины и страха!

То был единственный запрет — все прочее мне дозволялось. Так до восьми лет я мочился в постель исключительно потому, что находил в этом удовольствие. В родительском доме я установил абсолютную монархию. Все готовы были мне служить. Родители боготворили меня. Однажды на праздник Поклонения Волхвов в куче подарков я обнаружил королевское облачение: сияющую золотом корону с большими топазами и горностаевую мантию. С тех пор я не расстаюсь с этим одеянием. Сколько раз я, изгнанный из кухни, так и стоял во тьме коридора, не в силах пошевелиться: с плеч моих ниспадала королевская мантия, одной рукой я сжимал державу, другой — скипетр, душа же моя кипела гневом — о если б я мог растерзать обидчиц моих, служанок!

У меня был брат — в семь лет он заболел менингитом и умер, а случилось это за три года до моего рождения. Его смерть повергла ро-

дителей в отчаяние, и только мое появление на свет примирило их с утратой. Мы с братом, такие разные, походили друг на друга как две капли воды. Лицо его тоже отметила печать гениальности[1] — ее ни с чем не спутаешь. Те же тревожные приметы раннего развития, но взгляд — другой, омраченный печалью, а это несомненный признак гнетущего ума. С умом у меня было похуже, но зато я *ощущал*. И оттого в конце концов стал прообразом моего дивного «многоликого блудодея». Как-никак до сих пор мне памятны эротические восторги младенца — сколь неистово, с какой не знавшей удержа страстью я приникал к источнику наслаждения, и горе тому, кто осмеливался мне перечить! Однажды я зверски исцарапал булавкой няньку, которую обожал, только за то, что лавка, где надлежало купить вытребованные мною сласти, была заперта. Проще говоря, я оказался жизнеспособнее брата. Этот первый набросок к моему портрету страдал избытком совершенства, избытком свободы.

Свобода, если определять ее как эстетическую категорию, есть органическая неспособность обрести форму, сама аморфность. А форма — это особая реакция материи, подвергнутой давлению. И чем совершеннее эта материя, тем больше у нее шансов погибнуть, в то время как несовершенные виды приспосабливаются, используют все оставленные им возможности, переливаются, заполняют все ниши, тем на свой лад противясь гнету и обретая в итоге форму, свой неповторимый облик. Мой брат, наделенный свободным, ясным и, следовательно, аморфным умом, не выдержал гнета — в отличие от меня, последыша, анархиста, многоликого блудодея. Я жадно и яростно набрасывался и на сласти и на умозрительные понятия. Я поминутно менялся — и оставался собой. Я был гибок, трусоват, податлив; моему текучему мозгу еще предстояло испытать великую пытку инквизиторскими тисками испанской метафизики, и в результате моя редкостная гениальность обрела свой облик.

Родители дали мне то же имя, что и брату. Меня зовут Сальвадором — Спасителем — в знак того, что во времена угрожающей техники и процветания посредственности, которые нам выпала честь претерпевать, я призван спасти искусство от пустоты. Только в прошлом я вижу гениев, подобных Рафаэлю,— они представляются мне богами. Сегодня, может быть, только я один понимаю, почему никому и никогда не удастся их превзойти. Я знаю, что сделанное мною рядом с ними — крах чистой воды. И все-таки я предпочел бы жить в другое время — когда не было такой нужды спасать искусство. Но, глядя по сторонам, в тысячный раз убеждаюсь, что сколько бы ни обреталось вблизи меня величайших умов (а они есть), ни за что не согласился бы я ни с кем поменяться местами. Проницательный читатель, наверное, уже догадался, что скромность не числится в списке моих добродетелей.

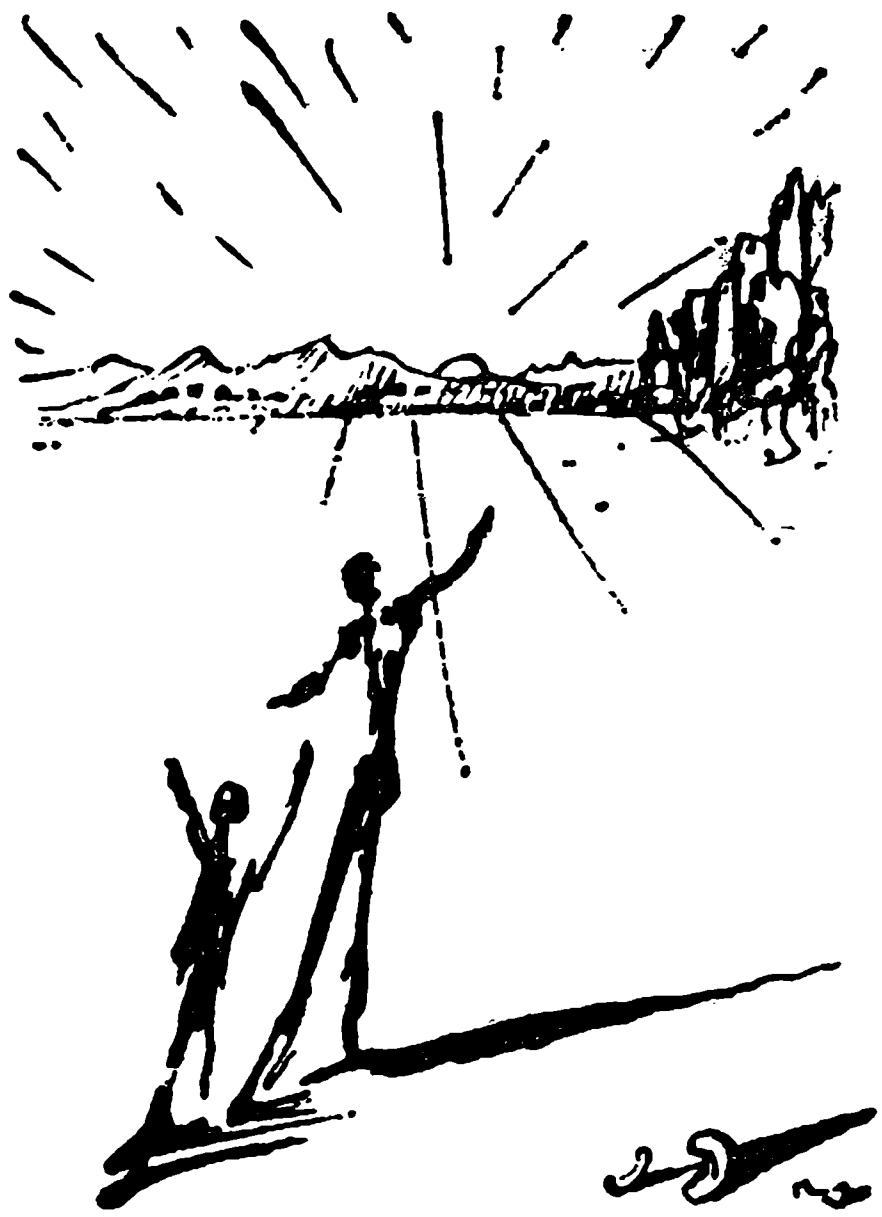
Часть первая

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Автопортрет в жанре анекдота
Что я ем — знаю, что делаю — нет

Я не принадлежу, по счастью, к тем, кто, улыбаясь, предоставляет всякому взору омерзительное зрелище шпинатных ошметков — пусть даже крохотных,— приставших к зубам. И суть не в том, что я прилежнее прочих чищу зубы. Дело в принципе: я не ем шпинат. Ибо предъявляю ему, как, впрочем, всему, что идет в пищу, высочайший нравственный и

[1] В 1929 году я осознал, что гениален, и до сих пор не имел случая в том усомниться. Напротив, убежденность моя крепла; должен, однако, признаться, что никаких особых восторгов по этому поводу я никогда не испытывал, разве что легкое удовлетворение. *(Прим. автора.)*



эстетический счет. Отвращение, суровый и бдительный страж, всегда начеку и неизменно направляет мой выбор.

Я ем только то, что держит форму. Все прочее мой разум отвергает. В том числе шпинат — траву, подобную свободе, вялую, без костей. Уверяю вас, лучшее, наиблагороднейшее и единственно съедобное в шпинате — это песок.

Челюсти! Вот прибор, измеряющий силу нашей привязанности к жизни, а заодно и ее качество.

Предвижу вопрос: а как быть с камамбером? Он ведь расползается, а не держит форму. И отвечаю: камамбер я люблю за то, что, созревая и расползаясь, он в точности уподобляется моим знаменитым растекшимся часам.

Я всегда точно знаю, чего мне ждать от своих ощущений. Иное дело чувства — радужные, эфемерные, как мыльные пузыри. Я и предположить никогда не мог, куда они меня заведут, каким свинцовым дождем обрушатся мне на голову, к каким умопомрачительным поступкам принудят. Я сам обыкновенно наблюдаю это стихийное бедствие как потрясенный зритель. Ведь в любую минуту чувство — один из этих веселых радужных пузырей — может сбиться со своего воздушного пути и камнем, если не бомбой, рухнуть наземь. Тому свидетельством несколько невероятных историй, которые я собираюсь пересказать в этой главе. Знаю, что для иных они так и останутся неразгаданной тайной. Жаль. Ведь взяться за эту книгу меня заставила навязчивая идея: своими руками сорвать покров тайны с чего только можно и разодрать помянутую пелену в клочья!

* *

Мне было тогда шесть лет. В гостиной шел разговор о комете[2], которую все намеревались наблюдать, когда стемнеет, если, конечно, небо не затянут тучи. Кто-то сказал, что комета может задеть землю хвостом, и наступит конец света. И хотя в ответ почти все иронически заулыбались, я ощутил, как во мне поднимается страх. В ту же минуту

---

[2] Речь идет о комете Галлея — и, следовательно, о 1910 годе. *(Здесь и далее, кроме специально оговоренных, прим. перев.)*

на пороге появился служащий отцовской конторы и объявил, что комету прекрасно видно с верхней террасы. Все рванулись к лестнице, я же, парализованный ужасом, так и остался сидеть на полу. Потом, собравшись с силами, встал и очертя голову побежал на террасу и уже у самой двери увидел свою трехлетнюю сестренку — она степенно, на четвереньках двигалась за гостями. Я остановился и после секундного замешательства ударил ее ногой по голове — как по мячу. И, подхваченный бредовым ликованьем, которым преисполнило меня это злодеяние, кинулся было на террасу. Но отец, оказывается, шел позади — он схватил меня, поволок в кабинет, запер там и не выпускал до самого ужина.

Я не видел кометы. Мне не дали посмотреть на нее — эта рана не зажила до сих пор. Запертый, я орал так громко и долго, что совершенно потерял голос. Родители перепугались. Заметив это, я пополнил диким ором свой арсенал и с тех пор орал дурным голосом по любому случаю. Расскажу еще об одной уловке. Я подавился рыбьей костью, и отец — не в силах выносить это зрелище — схватился за голову и выбежал в коридор. Впоследствии я не раз симулировал судороги, кашель и хрип затем только, чтобы увидеть, как отец схватится за голову и кинется прочь, я же наслажусь столь желанным знаком исключительного внимания к своей персоне.

Как-то мои родители позвали врача проколоть уши сестренке. Во мне с тех пор, как я ее ударил, пробудилась острая болезненная нежность, и, узнав, что ей будут прокалывать уши, я решил, что не допущу этого зверства ни за что.

Врач расположился у стола, надел очки, взял иголку — и тут я напал на него. Веником изо всех сил я колотил его по лицу. Очки упали, разбились, старик закричал от боли, и только появление отца положило конец расправе.

— Как он мог! За что? Я же его люблю! — всхлипывая, повторял старик, припадая к отцовской груди, и голос его дрожал, как соловьиная трель. С тех пор я не упускал случая заболеть хотя бы ради удовольствия повидаться со старичком, которого довел до слез.

* * *

Возвращаясь с прогулки, мы встретили моего двадцатилетнего кузена. Из-за плеча у него торчало ружье, а в руке трепыхался трофей — летучая мышь, раненная в крыло. Кузен держал ее за ухо. У дома охотник кинул свою добычу в жестяное ведро и, увидев, что я не могу оторвать от нее глаз, сказал: «Дарю!» Я схватил ведро и бросился к водоему, где обычно стирали; то было мое любимое место во дворе. Там под перевернутым стаканом на листьях мяты у меня паслось стадо божьих коровок. В ведро с нетопырем — он так и не шевельнулся — я поставил стакан со светлячком и целый час, до самого ужина, как зачарованный глядел на раненого зверька, говорил ему ласковые слова, целовал его в мохнатую голову. Никого кроме него не любил я в ту минуту!

Наутро глазам моим предстало ужасное зрелище. Заповедник мой был разворочен, божьи коровки исчезли, стакан валялся в стороне, а по нетопырю, еще живому, сновали обезумевшие полчища муравьев. Губа истерзанного звереныша подергивалась от боли, обнажая мелкие старушечьи зубки. И в эту минуту я увидал девушку в белом платье с шарфом. Она стояла в двух шагах от меня у калитки. Не понимая, что делаю и зачем, я схватил камень и запустил в нее — так, словно бы в ней таилась причина бедственного положения моего летучего мышонка! Я промахнулся, но она обернулась на свист камня и посмотрела на меня — ласково, слегка вопросительно. Я задрожал всем телом от стыда и еще какого-то неописуемого чувства — оно перекрывало стыд.

И вдруг содеял такое, отчего девушка издала вопль ужаса. Я вскочил, схватил звереныша, с которого посыпались муравьи, и в порыве мучительного сострадания поднес его мордочку к губам близко-близ-

ко, но не поцеловал в голову, как вчера, а укусил так, что, кажется, хрустнул череп, и, содрогаясь от омерзения, швырнул зверька в бассейн и кинулся прочь. Пробежав немного, я оглянулся. Вода в бассейне качала опаловые блики, спелые черные смоквы, за ночь нападавшие с дерева, и моего летучего мышонка. Слезы застилали глаза — я уже не мог отличить смоквы от его тельца. Никогда больше я не ходил к бассейну, но всякий раз, когда тени на воде складываются вдруг в тот рисунок, навечно впечатанный мне в память,— не то обреченное тельце, не то тяжелая смоква,— холодок пробегает у меня по спине.

* * *

Мне было шестнадцать лет. Я учился в колледже в Фигерасе. Из классных комнат вниз, во внутренний дворик, вела крутая каменная лестница. Однажды безо всякой причины мне взбрело в голову броситься вниз, и я совсем было собрался осуществить свое намерение, но мной овладел страх. Однако идея эта крепко засела у меня в голове. Целый день втайне ото всех я ее лелеял и решил: завтра. И действительно, на другой день уже ничто не могло меня остановить. Когда мои одноклассники стали спускаться, я разбежался, прыгнул в разверстую бездну, рухнул на каменные ступени и катился вниз еще целый пролет. Я сильно расшибся, но испытал неописуемо острое наслаждение, заглушившее боль. Поступок мой произвел грандиозное впечатление — рыдать надо мной сбежались все мои однокашники и даже старшие ученики. Бегали за водой, суетились, прыскали, оттирали.

В ту пору я был крайне застенчив. Стоило кому-нибудь обратить на меня внимание, я краснел, как рак, и потому неизменно предпочитал обществу одиночество. Однако в этот раз толпа, глазеющая на меня, доставила мне странное удовлетворение. Спустя четыре дня я решился повторить этот номер, причем на большой перемене, когда абсолютно все, включая отца-наставника, выходили во дворик.

Успех и на этот раз превзошел все ожидания, наверное оттого, что перед прыжком я возопил что было силы и тем привлек всеобщее внимание. Наслаждение снова оказалось таким острым, что я не почувствовал боли. Я не преминул продолжить в том же духе — примерно раз в неделю я кидался с лестницы. В итоге едва я направлялся к ней, как все взоры обращались на меня и в воздухе повисало напряженное ожидание: кинется или нет? Какое же наслаждение испытывал я, спокойно, как все нормальные люди, спускаясь по лестнице и оставаясь тем не менее центром всеобщего внимания!

Никогда не забуду тот дождливый октябрьский вечер. Я не спеша двинулся к лестнице. Из дворика веяло влажным ароматом — цвели розы. На небе горел закат, высвечивая в облаках то леопарда перед прыжком, то каравеллу, то Наполеона в треуголке. Столпившиеся во дворике враз подняли головы и замерли: священная тишина поглотила все шорохи и крики. Высоко подняв голову, осененную ореолом, я двинулся вниз. Я шел медленно, ступая со ступеньки на ступеньку и упиваясь восторгом,— ни за что на свете, ни с кем, даже с Господом Богом, я не поменялся б тогда местами!

Мне было двадцать два года. Я учился в мадридской Школе Изящных Искусств. Постоянное желание во что бы то ни стало все, всем и всегда делать наперекор, побуждавшее меня к сумасбродствам, довольно скоро принесло мне некоторую известность в среде художественной интеллигенции. Как-то раз на занятиях живописью в качестве модели нам предложили готическую статую — изображение Богоматери. Преподаватель несколько раз повторил: «Пишите то, что *видите,* именно то, что видите!» — и вышел.

Меня охватил безумный порыв — я принялся за мистификацию. С величайшим тщанием в мелких подробностях я срисовал с первого попавшегося каталога весы. Весь класс полагал, что я спятил. Через несколько дней заявился преподаватель с проверкой. Когда он дошел до моих весов, воцарилась гробовая тишина. Все окружили мой мольберт.

— Возможно, и вы, как все прочие, *видите* Богоматерь,— сказал я тихо, даже как будто робея, но вдруг голос мой окреп: — Я же вижу чаши весов!

Через год я сдавал экзамен по истории искусств.

Я горел желанием произвести впечатление и был прекрасно подготовлен. За столом восседала комиссия из трех профессоров. Я подошел, взял билет и изумился удаче — тему я знал превосходно. И вдруг мною овладела непреодолимая апатия и я, долее не раздумывая, при всем народе объявил потрясенным профессорам, что не буду отвечать:

— Весьма сожалею, но я не считаю для себя возможным сдавать экзамен тем, чей интеллектуальный уровень несравненно ниже моего. Слишком глубоко мое знание предмета!

* *

В 1928 году в моем родном городе Фигерасе я читал лекцию о современном искусстве. Присутствовали все местные знаменитости, в том числе алькальд. Народу было невообразимое множество. Слушали меня с величайшим вниманием, однако когда я кончил, никто не догадался, что это конец, и я в припадке внезапного бешенства заорал дурным голосом:

— Дамы! А также господа! *Кончилась* лекция!

И в ту же минуту алькальд, любимец всего города, упал прямо к моим ногам. Он был мертв. Смерть алькальда произвела на всех неописуемое впечатление и долго обсуждалась на всех перекрестках и в гостиных. Некоторые журналисты не без сарказма уверяли, что алькальда доконали мои рассуждения, хотя, конечно же, он скоропостижно скончался, по всей видимости, от разрыва сердца, но по странной случайности эта смерть совпала с концом моей лекции.

Когда мне было семь лет, родители повезли меня в Барселону. В Эмпальме поезд стоял довольно долго, и мы вышли на перрон. Отец сказал:

— Видишь лоток? Поди-ка купи мне булочку! Поглядим, как ты справишься. Да смотри, не ватрушку, а булочку!

Я купил, принес. Отец позеленел от негодования:

— Я же вижу — это ватрушка!

— Была ватрушка,— отвечал я,— но вы хотели булочку, и я выкинул творог.

— Как выкинул?

— Взял и выкинул!

* * *

С Фрейдом, когда наша встреча наконец произошла, мы почти не говорили, зато глаз не могли оторвать друг от друга. Фрейд почти ничего обо мне не знал, хотя восхищался моими работами, и мне вдруг ужасно захотелось произвести на него впечатление мыслителя вселенского масштаба. Как выяснилось чуть позже, впечатление я произвел, но диаметрально противоположное.

Перед уходом я попытался всучить Фрейду журнал со своей статьей о паранойе. Я даже раскрыл журнал в нужном месте и попросил обязательно прочесть, если будет время. Фрейд по-прежнему неотрывно глядел на меня, статьи же словно бы и не замечал. Я всячески пытался его заинтересовать своим сочинением и, тыча пальцем в заголовок, уверял, что это не какая-нибудь сюрреалистическая выходка, а серьезное научное исследование. Равнодушие Фрейда было очевидно, но тем настойчивее, тем требовательнее становились мои домогательства. И в конце концов он, обращаясь к Стефану Цвейгу, но все еще вперив в меня взор — пронизывающий, пристальный! — воскликнул:

— Какой классический образец испанца! Фанатик до мозга костей!

ГЛАВА ВТОРАЯ

Внутриутробные мемуары

Полагаю, что мои читатели не помнят ровным счетом ничего или же сохранили самые смутные воспоминания о том, что предшествовало их рождению и имело место в материнской утробе. Я же помню все и так явственно, словно это было вчера. И потому полагаю нужным начать книгу о моей тайной жизни с самого начала, с истинного начала моей жизни, иначе говоря — с текучих, странных воспоминаний о внутриутробной эпохе. Вне всякого сомнения, я первый пишу внутриутробные мемуары — сочинений такого рода в строгом смысле слова история литературы еще не знает.

Психоанализ связывает внутриутробное бытие с жизнью в раю, а рождение, драму рождения,— с одним из главных мифов нашей жизни — мифом о потерянном рае.

И действительно, если меня спросят, как там было, я отвечу: «Божественно! Как в раю!» Каков же он, тот рай? Не беспокойтесь, узнаете, причем во всех подробностях. Начну же я с краткого общего описания. Внутриутробный рай цветом схож с адом: он — огненно-алый, мерцающий, оранжево-золотой, вспыхивающий синими языками, текучий, теплый, липкий и в то же время недвижный, крепкий, симметрично выверенный. Какое блаженство, какой восторг испытывал я в те дивные времена, когда перед глазами у меня реяла яичница из двух яиц без всякой сковороды! С тех пор душа моя всякий раз повергается в трепет при виде этого галлюциногенного блюда. Яичница из двух яиц без сковороды, увиденная мною во внутриутробном раю, была великолепна: желтки сияли, а белки, пронизанные еле заметными жилочками, отливали голубизной. Эта яичница-глазунья реяла надо мной: то нависала, то отплывала куда-то в сторону, вверх или вниз, и застывала перламутровыми шарами — а то и драгоценными жемчужинами! — а после пропадала во тьме — постепенно, как луны, клонящиеся к ущербу. Я и сейчас могу вызвать этот образ, вернее, слабый его отблеск, лишенный того величия и колдовской силы,— надо только сильно нажать пальцами на глаза. Наверное, и то внутриутробное виденье тоже возникало из-за давления, ведь плод свернут в комочек так, что кулачки вдавливаются в глаза. Не зря дети любят надавливать пальцами на глаза, а когда перед глазами начинают плавать цветные круги, говорят, что «видели ангелочков». Не замечая боли, они все сильнее давят себе на глаза затем только, чтобы воскресить свои внутриутробные виденья и хоть на миг погрузиться в тот дивный мерцающий мир потерянного рая.

По всей видимости, причиной тяги к смерти довольно часто оказывается желание возвратиться туда, откуда мы появились, и вновь обрести утраченное райское блаженство.

Но не только в смерти, а и во сне — метафоре смерти — человек обретает иллюзию искомого рая. В моем воображении сон часто предстает чудовищем с огромной тяжелой головой, удержать которую слабое, едва намеченное тело не в состоянии. И потому голову держат подпорки, костыли — это они не дают нам во сне упасть. Но стоит подпорке шелохнуться, и падение неизбежно. Я нисколько не сомневаюсь, что моим читателям знакомо это падение в пропасть, одно из самых сильных ощущений. Все мы испытали его, погружаясь в сон — «как провалился!» — или вдруг пробуждаясь в ужасе, когда сердце, кажется, готово выскочить из груди. Полагаю, что так дает о себе знать память о рождении — тот же обрыв, то же падение в пропасть.

Память о внутриутробном рае и изгнании из рая воплотилась в образы, которые и поныне сохраняют для меня свою привлекательность. В детстве я вызывал их так: вставал на четвереньки и изо всех сил мотал головой, как маятником, до тех пор, пока не оказывался на грани обморока, и тогда перед глазами в непроглядной тьме, которая чернее всякой ночи, загорались два сияющих круга — та самая, уже описанная мною яичница без сковороды. В конце концов горящая яичница лопалась, заливая все, проникая во все поры, обволакивая все бугорки,— и все мое существо ликовало, торжествуя победу текучей, мягкой материи. Если б мог, я остановил бы это мгновение.

Механизм изначально был моим личным врагом, а что до часов, то они были обречены растечься или вовсе не существовать.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Родился Сальвадор Дали

В городе Фигерас 13 мая 1904 года в 11 утра дон Сальвадор Дали-и-Куси, уроженец Кадакеса (провинция Жерона), владелец нотариальной конторы, сорока одного года от роду, женатый, проживающий в вышепоименованном городе на улице Монтуриоль в доме № 20, предстал перед муниципальным судьей доном Мигелем Комасом Кинтаной и секретарем суда доном Франсиско Салаи-и-Сабриа, дабы зарегистрировать по всей форме рождение младенца, о чем и сообщил помянутому судье в следующих выражениях:

«Дитя, рожденное утром 11 мая в восемь часов сорок пять минут и поименованное Сальвадор Фелипе Хасинто, является законным сыном заявителя и его жены, доньи Фелипы Доменеч, 30 лет от роду, уроженки города Барселоны, ныне проживающей в доме заявителя. По отцовской линии дитя продолжает род деда — дона Гало Дали Виньяса, уроженца Кадакеса, ныне покойного, и доньи Тересы Куси Марко, уроженки Росаса, а по материнской линии — род дона Ансельмо Доменеча Серры и доньи Марии Феррес Садурни, уроженцев Барселоны».

Запись засвидетельствовали: дон Хосе Меркадер, уроженец города Ла-Бисбаль (провинция Жерона), дубильщик кож, ныне проживающий в Фигерасе, в предместье Лас-Монхас, и дон Эмилио Баиг, уроженец Фигераса, музыкант, проживающий на улице Перелада в доме № 5. Оба совершеннолетние и правомочные».

Родился Сальвадор Дали — пусть в честь его звонят все колокола! Пусть крестьянин, склоненный над плугом, распрямит искореженную, как ствол оливы, спину, присядет, подперев натруженной рукой свою изрытую бороздами морщин щеку, и задумается.

Родился Сальвадор Дали! Ветер стих, и небо прояснилось. Средиземное море спокойно — на его гладкой рыбьей коже играют семь сол-

нечных бликов, семь золотных чешуек. Именно семь — больше Сальвадору Дали и не нужно.

Должно быть, таким же утром пристали к нашим берегам греки и финикийцы и под небом, отчетливее и пронзительнее которого нет на свете, выстругали колыбель средиземноморской цивилизации и разостлали те чистейшие пелёны, что приняли меня, новорожденного.

Распрямись и ты, рыбак с мыса Креус, выплюнь, да подальше, свой жеваный-пережеванный окурок, подними весла — пусть стекут капли, смахни тяжелую медовую слезу, застывшую в уголке глаза, и посмотри сюда — я родился!

И ты, славный сын Фигераса Нарсис Монтуриоль[3], тот, кто придумал и выстроил первую подводную лодку, устреми на меня свой затуманенный взор!

Смотрите же! Смотрите все! Не зря в доме на улице Монтуриоль царит радостная суматоха, а умиленные родители не сводят глаз с новорожденного.

И запомните мои слова: когда придет его последний час, все будет иначе.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Детские воспоминания о том, чего не было

Когда мне исполнилось семь лет, отец решил отвести меня в школу. Я сопротивлялся изо всех сил — ему пришлось тащить меня волоком до самой школы, я же вырывался, вопил и закатывал такую истерику, что на всем пути следования нас сопровождали толпы любопытных. К тому времени родители обучили меня читать и писать свое имя. По окончании первого класса они с изумлением обнаружили, что я совершенно *разучился тому и другому.*

Никакой моей вины в том не было. Этим поразительным итогом я целиком и полностью обязан учителю, который являлся в школу исключительно за тем, чтобы спать.

Что же подвигло родителей отдать меня в школу, где учительствовал несравненный сеньор Трайтер? А вот что. Для моего отца, вольнодумца, выбор школы был вопросом принципа. Он не желал отдавать меня ни в одну из монастырских школ, где обучались обычно дети нашего круга (напомню, что отец мой, местный нотариус, принадлежал к самым уважаемым людям Фигераса). Итак, он твердо решил отдать меня в муниципальную школу — поступок несуразнейший, лишь отчасти объяснимый слухами о педагогических талантах сеньора Трайтера,

---

[3] Нарсис Монтуриоль (1819—1885) — испанский изобретатель, автор проекта подводной лодки.

о которых ни сам отец, ни его друзья не имели ни малейшего понятия.

Целый год я проучился вместе с детьми из самых бедных семей, что возымело огромное значение и, полагаю, способствовало росту изначально присущей мне мании величия. Да иначе и быть не могло — ведь ежедневно я, сын богатых родителей, получал все новые доказательства своей исключительности, своего отличия от всех прочих. Только я один мог вынуть из суконного чехла с собственными инициалами восхитительный термос с горячим шоколадом и молоком. Только мне на всякую царапину накладывали чистейшую повязку, только у меня одного была матроска с вышитым золотой нитью якорем на рукаве и шапочка с помпоном, расшитая звездами. Только меня одного ежеутренне тщательно причесывали и умащивали туалетной водой — не зря же весь класс становился в очередь понюхать мои лелеемые кудри и испытать легкое головокружение. Наконец, только мои ботинки сияли как зеркало и вдобавок были украшены серебряными пуговками. И всякий раз, когда пуговка отрывалась, схватить ее тянулось множество рук, и случалось, дело доходило до драки, ведь большинство моих соучеников даже зимой ходило босиком или в дырявых башмаках, или в ошметках альпаргат. В довершение всего я — единственный — никогда ни с кем не играл и не разговаривал. Одноклассники явственно ощущали гнет моей уникальности и, робея, приближались разве что затем, чтобы получше разглядеть кружевную оторочку платка, высунутого из кармашка, или мою бамбуковую трость, увенчанную серебряным набалдашником в виде собачьей морды.

Так что же я делал в этой злосчастной школе целый год? Скажу: с отчаянной страстью я предавался *воспоминаниям о том, чего не было.* Между воспоминанием о том, что было, и воспоминанием о том, чего не было, такая же разница, как между настоящим драгоценным камнем и поддельным: фальшивые куда крупней и ярче блестят. В тот год мне часто вспоминалась одна совершенно нереальная картина — ее я считаю хронологически первым воспоминанием о том, чего не было.

Я смотрю, как моют чье-то обнаженное тело. Не знаю даже, женщина то или мужчина, но глаз не могу оторвать от разверстой, кишащей муравьями дыры с апельсин величиной на ягодице. Тем временем омовение продолжается. Тело переворачивают на спину, и меня пронзает острая жалость к дыре и муравьям. Тело снова переворачивают, и я, мучимый любопытством, изо всех сил тяну шею, чтобы разглядеть, куда подевались муравьи — их нигде нет, ни их, ни дыры! Совершенно ясно я помнил все это, когда мне шел восьмой год, и в школе сеньора Трайтера я успешно разучивался всему, чему научился дома.

Именно тогда я узнал всемогущую власть сна и воображения; тогда миф вторгся в мою жизнь, проник во все поры обыденности, и с тех самых пор для меня граница между тем, что было, и тем, чего не было, исчезла.

Память моя сплавила воедино быль и небыль, и только тщательный анализ, которому я подвергаю крайне неправдоподобные, запечатлевшиеся в моем мозгу события, позволяет мне разобраться, к какому роду воспоминаний их следует отнести. Так, мои воспоминания о событиях, произошедших в России, я вынужден счесть воспоминаниями о том, чего не было, ибо путешествовать по России мне никогда не приходилось. Однако именно там разворачивается многое из того, что помню.

Это сеньору Трайтеру я обязан первыми образами России.

Когда кончались так называемые уроки, сеньор Трайтер уводил меня к себе. Его кабинет и посейчас кажется мне одним из самых таинственных мест в мире. Наверное, таким был кабинет доктора Фауста. По стенам книжные полки, уставленные толстыми пыльными фолиантами вперемежку с диковинными вещицами, причем одни были обернуты материей, а другие — полуприкрыты так, что виднелось немногое, но как раз то, что воспламеняло всегда пребывающих начеку арабских

скакунов моих фантазий, и они, закусив удила, срывались в галоп, а серебряные шпоры моей мифомании терзали их окровавленные бока.

Однажды сеньор Трайтер из большой шкатулки красного дерева, обитой внутри малиновым бархатом, извлек статуэтку Мефистофеля дивного алого цвета, сияющую, словно рыбья чешуя на солнце. Он поднес спичку к трезубцу, зажатому в левой руке диавола,— жезл вспыхнул, и взвился сноп бенгальских огней. Я был потрясен, а сеньор Трайтер удовлетворен произведенным впечатлением.

С потолка его кабинета свешивалась на шнуре лягушачья шкурка. Сеньор Трайтер шутя называл ее «моя девочка» или «моя плясунья» и говорил:

— Я только посмотрю на нее и уже знаю, какая будет погода.

Суть в том, что шкурка двигалась и что ни день — меняла позы. Эта лягушачья шкурка была мне почему-то противна и в то же время притягивала; я смотрел на нее как зачарованный.

Чего только не было в кабинете сеньора Трайтера! И в том числе — множество странных, должно быть, медицинских инструментов непонятного назначения, чьи металлические извивы терзали мое воображение. Но ничто не могло сравниться с той вещью, что приводила меня в исступление,— большой квадратной коробкой, театриком оптических иллюзий, который и выправил мне зрение. Я не знаю и тогда не знал, как он устроен, помню только, что смотрел я словно сквозь воду на дно, причем изображение колебалось, а вокруг, расцвечивая контур, расплывались радужные круги, и образ двоился, троился, неведомо как меняясь до неузнаваемости. Это похоже на вереницу перетекающих друг в друга образов, проплывающих, когда засыпаешь или просыпаешься, в полусне. Так вот, именно в чудесном театрике сеньора Трайтера я увидел то, что перевернуло мне всю душу,— я увидел русскую девочку, которую в тот же миг полюбил. В каждую клеточку моего существа от зрачков до кончиков пальцев впечатался в ту минуту ее образ. Мою русскую девочку, укутанную в белый мех, куда-то уносила тройка — почти чудом она спасалась от стаи свирепых волков с горящими глазами. Она глядела на меня, не отводя взора, и столько гордости было в ее лице, что сердце мое сжималось от восхищения. Блестящие глаза и резко обозначенные крылья носа придавали ей сходство с каким-то таежным зверьком, но мягкий овал лица, столь же соразмерного, как у мадонны Рафаэля, и вся гармония ее черт говорили о высочайшем даре нежности, особенно редком в сочетании с жизненной энергией, сквозившей во всем ее облике. То была Гала? Я никогда в этом не сомневался — то была она.

В театрике сеньора Трайтера я увидел Россию, и меня заворожили призраки ее сияющих куполов и снежные горностаевые поля, отливавшие всеми огнями Востока. Эта дальняя белая страна как нельзя лучше отвечала моей патологической страсти ко всему совершенно необычайному, и чем явственнее становилась для меня Россия, тем смутнее и нереальнее казались привычные улочки Фигераса.

В довершение всего пошел снег. Исполнилось — ибо то, чего я упорно и страстно жажду, всегда исполняется — мое бессознательное, яростное желание. Впервые я наблюдал это явление природы. Проснувшись, я увидал, что город и долину окутал, словно бы повинуясь магии моей воли, чистейший саван — мир стал неузнаваем. Я так ждал и жаждал этой метаморфозы, что нисколько не удивился, просто душа моя тихо возликовала — с тех пор и длится мой беспробудный сон наяву, и чего только не случалось со мной в этом сне.

К полудню снег перестал. Я оторвался от запотевшего окна, к которому приник, едва поднялся с постели,— мать повела нас с сестрой на прогулку. Снег чудно скрипел под ногами, и я упивался счастьем, слегка досадуя на то, что белизну, устилающую улицы, марают шаги всякого встречного. О, если бы мне одному было даровано право попирать снег!

Снег растаял, и чудо преображения мира, длившееся как сон наяву эти три несравненных дня, кончилось. После тех приключений и страстей, что мне довелось тогда испытать, возвращение к унылой школьной жизни даже обрадовало меня — душа моя нуждалась в отдыхе после потрясений, но все же столкновение с реальностью отозвалось долгой тоской.

Над грязными стенами на высоком сводчатом потолке классной комнаты от сырости выступали темные пятна. Я вглядывался в их причудливые очертания и успокаивался. Сон наяву продолжался: в расплывающихся влажных пятнах проступал четкий рисунок, и в его клубящемся хаосе я вдруг различал образ, пугающе точный, выписанный в мельчайших подробностях, узнаваемый и живой.

Наутро я обязательно вспоминал, что́ видел накануне, и принимался искать новое галлюцинаторное решение, ибо к старому, привычному, уже терял интерес. Вся суть была в непрестанных метаморфозах, в *превращении в иное,* исходный же материал — само пятно — давал мне полную свободу. В нем таились сотни самых разных, ничем не схожих образов, и я последовательно выстраивал их в вереницу, у которой не могло быть конца.

Эти превращения стали одним из краеугольных камней моей эстетики. Самое удивительное, что мне всегда удавалось различить в хаосе пятен тот образ, который единожды я уже отыскал, причем неизменно он становился точнее и насыщеннее — я его выправлял, непреднамеренно, бессознательно.

Тройка, которая уносила Галушку, вдруг оборачивалась панорамой русского города в густой щетине куполов, город превращался в сонную бородатую физиономию сеньора Трайтера, а она — в стаю озверелых голодных волков, что рыщут в тайге, и так, не зная устали, разматывался клубок образов, рожденных моей яростно-сонной фантазией, и на стене возникало изображение. Мозг мой работал как кинопроектор и мгновенно переводил все, что таилось внутри меня, в картины, которые в ту же секунду выходили наружу и представали моим же потрясенным глазам, сотворяясь из мокрого пятна на потолке.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Детские воспоминания о том, что было

Закрыв глаза, я погружаюсь в воспоминания о самом давнем в надежде уловить тот, самый главный, безотчетный образ — живой, трепещущий, зримый. Пусть он откроет эту главу. Итак...

Два кипариса, два равновысоких кипариса, но тот, что справа, все-таки чуть выше, и потому верхушка другого, того, что слева, едва заметно склоняется к нему, и это легкое уклонение от вертикали с особой силой напоминает о ней. Фигерас. Я смотрю на кипарисы из окна классной комнаты колледжа при монастыре братства Пресвятой Девы, куда меня отдали сразу после злополучного ученья в школе сеньора Трайтера. Окно, служившее рамой пейзажу с кипарисами, открывали только на закате, и едва оно распахивалось, все прочее для меня переставало существовать: я следил за игрой бликов в ветвях и сумрачным прямоугольником тени от монастыря, которая все росла, росла и в конце концов добиралась до деревьев. Уже догорая, закат на какой-то миг озарял острую вершину кипариса — того, что справа,— багряным винным пламенем, а второй кипарис, уже неразличимый, тонул во тьме. И почти сразу же колокольный звон напоминал о вечерней молитве — весь класс вставал, и, склонив головы и сложив руки, мы вторили отцу-настоятелю.

Те кипарисы, что весь вечер горели, как два языка темного пламени, стали моими часами — не будь их, в монотонности школьной жизни я не ощутил бы хода времени. И здесь, так же, как на уроках сеньора Трайтера, я *отсутствовал,* и точно так же, как мой первый учитель, от-

цы-наставники с изрядным пылом и не менее зверскими способами возвращали меня к действительности, гоня прочь мои благословенные грезы. Но мой сновидческий дар лишь укреплялся. Ничто не трогало и не занимало меня, кроме моих видений, и оттого, что реальный мир угрожал им, я цеплялся за них изо всех сил, как утопающий за спасительный плот.

Когда кончалась молитва, кипарисов уже не было видно. Но, канув во тьму, они не исчезали — я ощущал незримое их присутствие в пространстве, их магнетическое притяжение, и голова моя, отягченная грезами, сама собой поворачивалась в ту сторону, и взор вперялся в сумрак. Сразу после молитвы, когда в окне повисала темень, в коридоре зажигали лампу, освещая путь из классной комнаты, а заодно — стены, увешанные литографиями. Оттуда, где я сидел, сквозь стеклянную дверь можно было разглядеть только две: одна изображала лисицу у пещеры с придушенным петухом в зубах, вторая оказалась репродукцией «Вечернего звона» Милле. Эта картина всегда отзывалась во мне смутной острой тоской — две ее недвижные фигуры раз и навсегда врезались мне в память, растревожив своим скрытым смыслом мое воображение. Но не только тоска и тревога — меня осенила тайная благодать, исходящая от картины; эта светлая нота реяла над моим смятением серебряным сиянием клинка в лунном луче.

Долгими зимними вечерами, ожидая колокольного звона — знака, что школьный день близится к концу, я физически ощущал присутствие верховной силы — пятерых бдительных стражей, повергающих в трепет: по левую руку за окном — два кипариса, по правую — две фигуры «Вечернего звона», прямо передо мною — Бог в образе Иисуса Христа, распятый на кресте из черных досок, вознесенном над столом отца-наставника. На коленях Спасителя зияли две страшные раны, вылепленные и раскрашенные поразительно правдоподобно, вплоть до запекшейся крови и белеющих в глубине костей. Ноги Христа покрывал мерзостный сизый налет — след ежедневных прикосновений перемазанных чернилами пальцев. Облобызав волосатую руку отца-наставника и перекрестившись, мы непременно тыкали пальцем в скрещенные ступни Господа.

Только надо мною, единственным во всем классе, окно с кипарисами имело такую власть. Заметив это, отец-наставник пересадил меня, но и там, на новом месте, откуда нельзя было увидать их, я упрямо тянулся к кипарисам, угадывая направление, как магнитная стрелка. Глаза мои обретали способность видеть сквозь стены.

В классе я по-прежнему *отсутствовал,* и это отсутствие, мое неотъемлемое свойство, стало удручать наставников.

Как-то раз за завтраком отец вслух прочел адресованное ему письмо из колледжа, извещавшее родителей о моем беспримерном прилежании и отменном поведении. В письме говорилось, что на переменах я сторонюсь товарищей и не принимаю участия в шумных играх, а стою себе в углу, разглядывая картинку с конфетной обертки (я до сих пор помню тот фантик с мученической кончиной Маккавеев). Подводя итог, наставники сообщали, что умственная лень укоренилась во мне так сильно, что надеяться хоть на какие-то успехи в учении просто невозможно. Тот день моя мать провела в слезах. Надо сказать, что я действительно был обречен остаться на второй год, ибо не выучил и десятой доли того, что в азарте соперничества освоили мои одноклассники, приступом взявшие очередные ступени лестницы, ведущей вверх. Отчуждение становилось моим знаменем, моей навязчивой идеей. Во славу ее мне даже случалось притворяться, что я не умею того, чему волей-неволей выучился. Так, я нарочно писал как курица лапой, хотя мне ничего не стоило представить образцы каллиграфии.

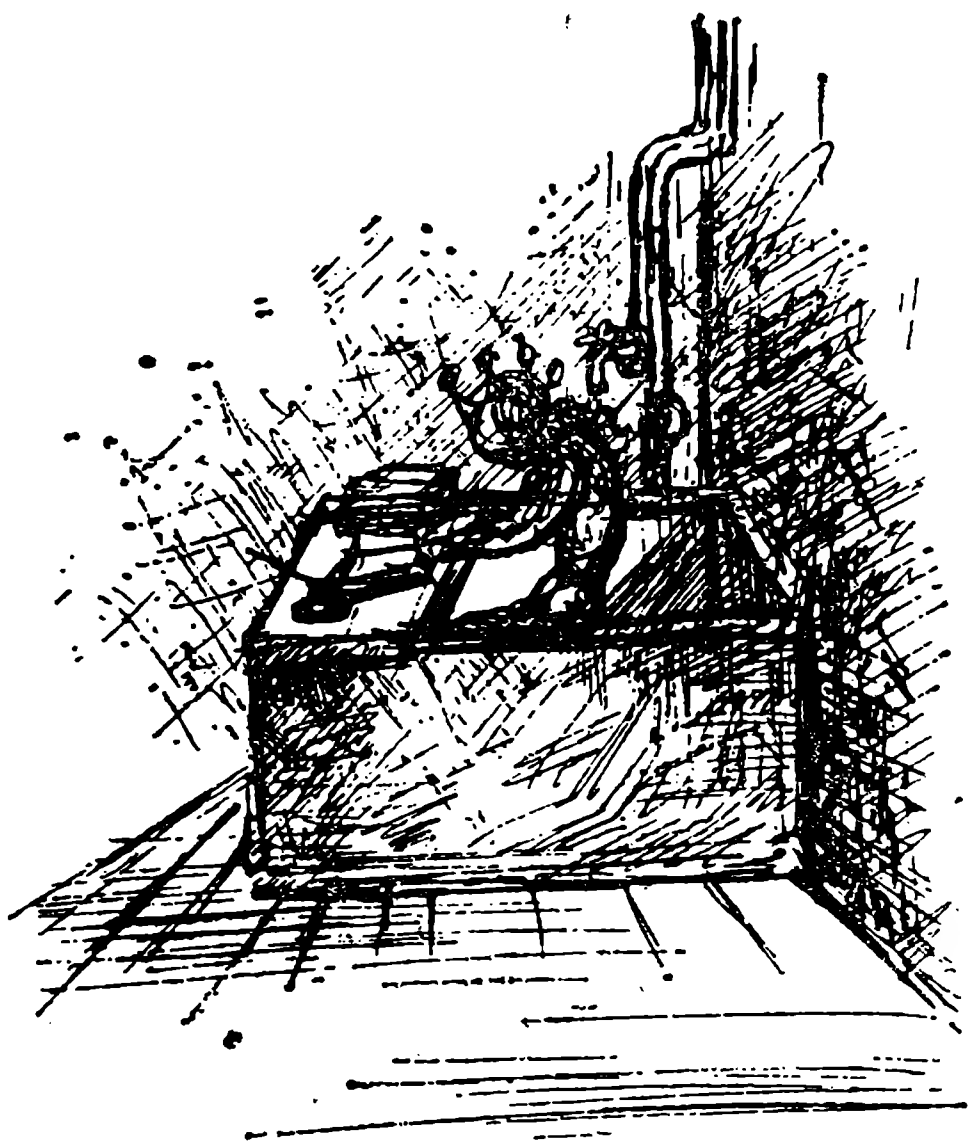
Не знаю ничего прекраснее, чем восхитительно морщинистые лица моей кормилицы Лусии и бабушки, двух чистеньких белоголовых старушек. Лусия — огромная, похожая на римского папу. И бабушка — махонький белый клубочек. Старость изначально пробуждала во мне благоговение. Да разве могло сравниться с этими старушками, феями из сказки, какое-нибудь юное существо! С этой пергаментной кожей, хранящей письмена целой жизни,— румяные, гладкие, пышущие неведеньем щеки моих однокашников, которые позабыли, что однажды уже пережили старость в материнской утробе. Старики же в отличие от них помнят, что были молодыми, и долго — всю жизнь — заново учатся старости.

До конца своих дней я останусь тем, кем пребываю изначально,— воплощенной противоположностью Фаусту, его антиподом. С младых ногтей я поклоняюсь старости. С какой охотой я — мальчишка — поменялся бы обличьем со стариком! Как страстно хотелось мне постареть — сразу, в мгновение ока! А Фауст? Жалкое существо! Ему открывалась высшая мудрость — старость, а он продал душу за юношеский румянец и младое невежество. Не колеблясь, я отдал бы за мудрость старости свою детскую, еще не вылепленную душу. Пусть железный плуг пережитого избороздит мой лоб рядами морщин, пусть поседеют мои волосы и ослабеют ноги, зато я сам постигну тайну тех письмен, что запечатлит на моем челе резец жизни,— никто другой мне ее не откроет.

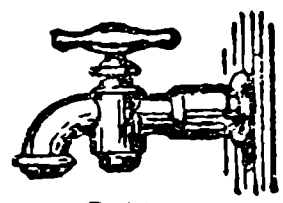
В ту пору я уже любил то, что люблю и по сей день,— слабость, старость и роскошь. И уже тогда над этими тремя ипостасями моего «я» реяло самовластное ощущение всепоглощающего одиночества, которое завладевало моей душой и возносило ее на недосягаемую высоту.

Как-то мать спросила: «Миленький мой, скажи, чего тебе хочется, скажи!» А мне действительно хотелось. Хотелось, чтобы мне отдали во владение крохотную комнатку на чердаке — бывшую прачечную, а ныне чулан. Я ее получил и превратил в мастерскую.

Цементная ванна занимала там почти все пространство, и потому я поставил стул прямо внутрь ванны, а поперек положил доску — получился стол. Иногда в жару я раздевался, открывал кран и, не отрываясь от кисти и красок, принимал ванну. Как Марат. Многое из того, что я сделал после, было задумано и даже испробовано в той первой мастерской — всего не перечесть. Допо́длинно знаю, что там выкристал-



"Studio in the laundry"



Robinet.

лизовались крупинки соли, которая должна была приправить — вместе с перцем — мой нрав. Именно там я придумал и, тренируясь у зеркала, довел до совершенства ту гримасу с ухмылкой, которой суждено было стать знаменитой. Я уже начинал понимать, пусть смутно, что играю в гения. Тогда еще Сальвадор Дали не знал, что гением можно стать, играя в гения,— надо только заиграться.

Когда приходили гости и, как водится, осведомлялись: «Как Сальвадор?» — родителям приходилось отвечать одно и то же: «Он наверху. Там, в ванной, у него мастерская, так что мы его и не видим. *Он все время наверху*». Вот! Слово найдено! Вся моя жизнь как держалась, так и держится противостоянием этих двух начал: выси и глуби. С какой отчаянной страстью с самого раннего детства я рвался наверх — ввысь. И высь покорилась мне.

Как мучительно мне иногда хотелось спуститься вниз, на улицу, смешаться с возбужденной ночной толпой! Оттуда, снизу, до меня доносились веселые возгласы. Мальчишеские и девичьи — главное, девичьи! — голоса вонзались в меня, как стрелы в тело мученика, и ранили мою гордую грудь. Нет, нет и тысячу раз нет! Ни за что! Я, Сальвадор, останусь там, где мне назначено быть,— наверху, *без никого,* один на один с химерой, окутанной смутным флером, наедине со старостью — ведь я, по сути дела, уже состарился. Чтобы испытать себя, я туже надвинул на голову корону с топазами, знак королевского достоинства, и обруч впился в кожу, оставив багровый след, но я не отступил — я не хотел, чтоб у меня росла голова!

Что значит высокое? Высокое — это антитеза низкому. А что такое низкое? Я отвечу: хаос, масса, скопище, смесь; это ребенок — росток того темного безумия, что порождает анархию. Все левое — низкое. А все правое — это высь. Здесь монархия, иерархия, купол, здесь же — ангел.

Король, восседавший в ванной, под самой крышей, одинокий ребенок, у которого кровь часто идет носом,— вот я, девятилетний, там, наверху. А внизу — все прочие: пушечное мясо, и не подозревающее, что есть такая способность — тосковать; вся эта шушера, шелуха, размазня, сброд, стадо недоумков, которым можно вдолбить все что угодно. Я никогда не спущусь на улицу — ни буквально, ни фигурально. Я там ничего не найду.

Я понял, что мне совершенно необходима инквизиция — только она может вылепить из густого бурлящего варева моих вакхических порывов то, что должно. Только она *даст форму.* И я самолично изобрел инквизицию исключительно для собственных нужд — вышколить дух.

Вечер я обычно посвящал моим животным, которых держал в курятнике, за металлической сеткой с такими мелкими ячейками, что не ускользали даже ящерки. У меня было два ежа — большой и маленький, двадцать разновидностей пауков, два удода, черепаха и мышонок, пойманный на мельнице,— он свалился в ларь и не мог выбраться. Мышонка я посадил в жестяную коробку из-под печенья, потому что картинка на крышке изображала целую вереницу мышат с печеньицами в лапках. Для пауков я соорудил особое помещение — взял картонную коробку из-под ботинок и разделил ее на отсеки, чтобы у каждого паучка было свое помещение. Это облегчало мне ведение наблюдений, которые увенчались поразительными открытиями.

Гордостью моего зоопарка стало чудо природы — двухвостая ящерка. Глядя на ее хвосты (один обычной длины, второй — покороче), я размышлял о двоении, двойничестве, раздвоенности, об их мифологии, которая давно завораживала меня, и то, что эта двойственность предстала передо мной в облике живого существа, придавало ей особую таинственность. И прежде, сталкиваясь с двоением — обычно это был раздвоенный ствол дерева,— я всякий раз повергался в смятение. В мозгу моем начинали роиться мысли, связать которые я силился и не мог. Какой смысл таится в двоении? Зачем предмет двоится? Здесь должен

быть смысл, причем — жизненный, а не умозрительный, равно важный для жизни и для смерти. Здесь — импульс к действию и точка опоры, меч и щит, объятье и прикосновение, сосуд и вино. Что же это значит? Терзаясь загадкой, я гладил ящерку по спинке, и там, где хвосты расходились, рука моя замирала, натыкаясь на разделявшую их пустоту. Только мое безумное воображение могло совладать с этой бездной — и совладало. Я гляжу на свою руку, на четыре развилки и мысленно проецирую в бесконечность продолжения пальцев. Они потянулись за смертью и больше уже никогда не сойдутся. Впрочем, кто знает, может и сойдутся — ведь обещано воскресение во плоти...

На закате я поднимался на башню и грезил. Здесь, в имении Пичотов [4], мои грезы — в сравнении с тем, что мерещилось мне дома, в Фигерасе,— обрели социальную и моральную направленность, сохранив однако главную свою особенность: двусмысленность, тяготеющую к парадоксу. (Что касается морали, то я бросался из крайности в крайность. То я воображал себя кровавым тираном, поработителем всех народов, населяющих землю, и зверствовал с изощренной жестокостью. То в экстазе смирения представлялся себе изгоем, почитающим свою униженность за высшую справедливость, и погибал столь же бессмысленно, сколь романтично. Но кем бы я ни становился — полубогом, поденщиком или гениальным художником,— приходил я всегда к одному: я — Спаситель, я — Сальвадор. Я мог без конца повторять свое имя. Я понимал, что жертвоприношение неизбежно, и, мерзостно труся, озирался по сторонам, хотя твердо знал: жертвой буду не я!

История о липовом цвете и костыле, история, накаленная солнцем и развеянная бурей, история страха и страсти и призрак смерти, реющий над нею...

В тот день я встал рано, едва рассвело, и мы — Хулия, я и еще двое мужчин — поднялись на чердак взять приставные лесенки для сбора липового цвета. Попал я туда впервые — обычно на двери висел замок. Сколько же всякой всячины на чердаке — огромном, пыльном, полутемном! И сразу в глаза мне бросились две вещи — они не имели ничего

[4] Пичоты — соседи Дали по Кадакесу, семья музыкантов и художников.

общего со всей этой безликой и жалкой рухлядью! Я остолбенел при виде громадного — выше меня — надгробного лаврового венка[5], увитого двумя широкими выцветшими шелковыми лентами с надписью на неведомом языке. А второй предмет, тотчас затмивший все виденное и потрясший душу мою до самых глубин,— то был костыль! Никогда прежде я не видел костыля, так по крайней мере мне тогда показалось. И его мертвенная поэзия пронзила мое сердце.

Я тут же схватил костыль и понял, что не расстанусь с ним никогда — в одну минуту я стал фанатиком-фетишистом. Сколько величия в костыле! Сколько достоинства и покоя! Костыль венчала опора для подмышки — раздвоенная подпорка, обтянутая тонким вытертым сукном в темных пятнах, и я нежно и благодарно приник к выемке щекой, потом лбом и погрузился в раздумье. А после — вскочил и, торжествуя, проковылял в сад, опираясь на костыль. С ним я обрел уверенность в себе и даже невозмутимость, дотоле мне недоступные.

В итоге костыль стал для меня символом смерти и символом воскресения.

Часть вторая

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Юность. Кузнечик. Исключение из колледжа. Конец мировой войны

В юности все мифы моего детства, все мои мании, вывихи и таланты лишь укрепились — искры гениальности разгорались.

Я не хотел меняться, не хотел исправляться, наоборот — я взращивал свою неповторимую индивидуальность. Я не удовольствовался стоячей водой свойственного мне детского нарциссизма и соорудил целую оросительную систему; мое пылкое и могучее «я» вплотную подошло к проблеме социального действия, и, раздираемый противоречиями (такова главенствующая моя особенность), я стал анархистом, антиобщественным элементом.

Дитя-король обернулся анархистом. «Наперекор всему и всем!» стало моим девизом и руководством к действию. В детстве я всегда поступал *не так, как все,* но не задумывался над этим. Теперь же я осознал исключительность своего поведения и стал нарочно поступать против всех ожиданий. Стоило кому-нибудь сказать: «Черное!» — как я парировал: «Белое!» Стоило кому-нибудь приподнять приветственно шляпу, и я не упускал случая публично плюнуть и выругаться. Я ощущал себя настолько *другим,* что всякое случайное совпадение моих действий с чьими-то повергало меня в транс — я мог разрыдаться от ярости. Я не такой, как все! Я — другой, чего бы это мне ни стоило, я не похож ни на кого и ни в чем! Я — один-единственный! Слышите — один!

Знамя с этим девизом развевалось над неприступной сторожевой башней, воздвигнутой моей юностью. Эта крепостная стена и доныне — до старости — хранит в неприкосновенности кровоточащие рубежи моего одиночества.

После одного злодейского события в имении Пичотов я избегал девушек. От них исходила опасность, грозившая моей ранимой душе, созданной, чтобы терзаться страстью. И я выработал свой иезуитски изысканный обманный способ защиты: всячески поддерживая состояние *вечной влюбленности,* я избегал какого бы то ни было общения с предметом чувств.

---

[5] Потом я узнал, что совершенно напрасно принял этот лавровый венок за надгробный — его преподнесли Марии Гай * в московской опере после триумфального исполнения роли Кармен. *(Прим. автора.)*

* Мария Гай — сценическое имя певицы Марии Пичот.

Обычно моей избранницей становилась девушка, случайно встреченная в Барселоне или еще где-нибудь, и увидеть ее снова не представлялось ни малейшей возможности. Постепенно воспоминание о ней блекло, облик избранницы уносился в туманную даль и под конец развеивался, уступая место следующему. Я понимал, что по сути дела все время был влюблен *в одну,* просто тот единственный, неповторимый, пленительный женский образ множился, скрываясь всякий раз за новой маской — той, какую выбирала моя беззаконная всемогущая королевская воля.

Это походило на игру, которую я выдумал еще в школе сеньора Трайтера: в пятнах, которые от сырости выступали на стенах, я отыскивал всякий раз новый рисунок, новый образ. Как и в облаках, которые тем грозовым летом проплывали над имением Пичотов. Еще в юности этот магический дар повелевать метаморфозами и уводить мир за грань реальности, за грань видимого научил меня самообладанию — я обрел способность во *всем, всегда и всюду различать иное* или, говоря другими словами, в *разном угадывать одно.*

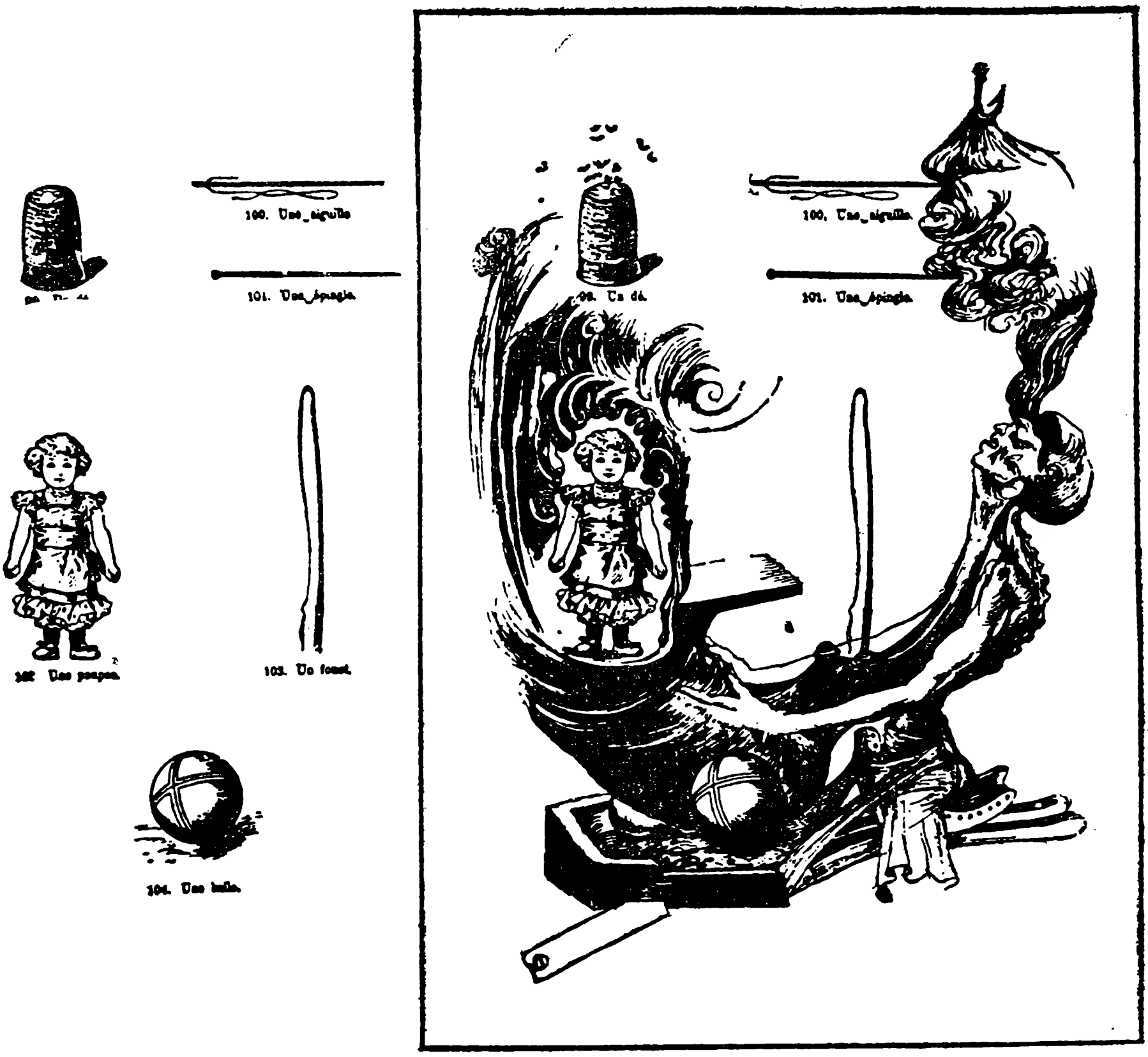
Для продолжения образования меня отдали в другой колледж, тоже монашеского ордена Пресвятой Девы. Именно тогда я сделал грандиозное математическое открытие, на основе которого разработал свой способ делать деньги. Он крайне прост. Вот в чем суть. Я покупаю монету в пять сантимов и плачу десять сантимов. Даю десять за пять! Все деньги, полученные от родителей, я тратил таким образом, обретая неистовое наслаждение, недоступное прочим смертным. И, естественно,— разорился. Однажды, когда я объявил, что снова затеваю подобный обмен, всеобщее изумление хлестнуло через край: «Да он спятил! Свихнулся!!»

Сколько себя помню, слова эти звучат для меня как музыка.

Все только и говорили что обо мне. Псих он или не псих? Или немного тронутый? Или же существо чрезвычайно одаренное и потому выходящее за рамки нормы? К этой мысли склонялись некоторые преподаватели и в первую очередь — учитель рисования и чистописания, а также психолог. Математик же был убежден, что интеллект мой не дотягивает до среднего уровня. Тем не менее стоило произойти чему-нибудь из ряда вон выходящему, как все, забыв о разногласиях, единодушно приписывали это мне, и без всяких усилий я — особенный, единственный в своем роде — снова становился центром внимания. Я таился — и тем неизбежнее оказывался на виду. А в конце концов и сам не преминул выставить на всеобщее обозрение, как любовницу, увешанную бриллиантами, свою уникальность и безмерно возгордился тем, что одинок.

Я отпустил волосы до плеч и часто подолгу стоял у зеркала в характерном рафаэлевском повороте, принимая печальный вид,— больше всего на свете я хотел походить на Рафаэля! А с каким нетерпением я ждал, когда наконец у меня начнет расти борода — мечтой моей было отпустить бакенбарды. И вообще обрести *несусветный* вид, из самого себя вытворить шедевр. Иногда украдкой я пробирался в материнскую спальню и наспех запудривал лицо, а вокруг глаз наводил черные тени.

С яростным нетерпением я ждал каникул. Они начинались незадолго до Иванова дня, а его, сколько себя помню, мы неизменно проводили в Кадакесе, белостенном селенье на берегу Средиземного моря. Кадакесу я был верен всю жизнь, и с годами преданность моя возрастала и становилась все фанатичнее. Скажу без всякого преувеличения, я знаю наизусть все здешние скалы, все береговые извивы, все геологические пласты Кадакеса и его свет, ибо все годы моих одиноких странствий изо дня в день эти бесстрастные скалы и блики — суть и стержень пейзажа — были и сценой и протагонистами напряженной драмы моей неутоленной любви и тревоги. Никто кроме меня не знал, как именно скользят тени по глади скал, когда море отступает, повинуясь луне, а у меня были свои отметины. Ссохшаяся черная оливка, которую я положил на ошметок пробки на вершине скалы, похожей на орлиный клюв, указывала



границу заката. Я установил, что именно сюда падал последний луч солнца, и тогда вокруг моей оливки на миг загорался багряный серп, а все вокруг уже заливала густая тьма.

Уж я-то знаю тебя, Сальвадор, и знаю, что никогда б ты не полюбил так кадакесский пейзаж, не будь он в самом деле красивейшим в мире, а он действительно таков, и я в этом нисколько не сомневаюсь.

Вижу вашу снисходительную улыбку, читатель, и она порядком меня бесит. Вы, конечно, полагаете, что мир велик и прекрасных пейзажей пруд пруди, на какие широты и континенты ни ткнись, а Дали, видите ли, совершенно голословно утверждает, что ни один пейзаж нашей планеты не выдерживает сравнения с кадакесским, ибо так ему кажется — словно этого достаточно! А ведь такое утверждение требует доказательств, каковые выходят за рамки человеческих возможностей, не говоря уж о том, что Дали вообще не путешественник и в глаза не видал множества распрекрасных мест земного шара и не может судить о том, чего не знает.

Позвольте выразить искреннее соболезнование всякому, кто так полагает, ибо тем самым он расписывается в своей полной мировоззренческой несостоятельности, равно как и в эстетической. Сделайте одолжение, возьмите картофелину и изучите ее хорошенько. А когда обнаружите кружочек гнили, принюхайтесь — вы уловите совершенно особенный запах. А теперь представьте, что кружочек гнили это и есть пейзаж. Следовательно, на картофелине, которую я имел удовольствие предложить вашему вниманию, есть пейзаж. Один пейзаж, заметьте, а не тридцать восемь. Теперь предположим, что на картофелине вообще нет пятнышек гнили — такое случается, не правда ли? Снова воспользуемся нашим

сравнением пятнышка с пейзажем и убедимся, что на планете может вовсе не быть пейзажа, как, например, на Луне, где и глазу-то остановиться не на чем. Кстати, чтобы додуматься до этого, я не имел ни малейшей надобности летать на Луну — мне было достаточно картошки.

Точно так же на человеческой более или менее круглой голове мы видим не сто носов, торчащих в разные стороны там и сям, а всего один нос. Столь же уникален природный феномен, который называют пейзажем избранные умы, способные уразуметь, что для его появления нужно совпадение многих важных условий и чудесных случайностей, в частности, гармоническое сочетание геологического типа с типом цивилизации. Повторю: это и только это явление я (и не я один) называю пейзажем. Наблюдать сей феномен можно лишь на берегу Средиземного моря и более нигде. Самое же удивительное, что лучший образец пейзажа, равного которому нет ни по красоте, ни по насыщенности, ни по смыслу, обретается не где-нибудь, а вблизи Кадакеса, и мне, Сальвадору Дали, выпало счастье впитывать его с младенчества. Наступало лето — и для меня здесь, в Кадакесе, начинался очередной семестр эстетики. Полагаю своим долгом особо это отметить.

В чем же первородная красота и уникальность этого чудного пейзажа? В костяке — и только в костяке. Каждая скала, каждый холм здесь сделаны так, словно их выписал сам Леонардо! А ведь один костяк и более ничего! Почти никакой растительности. Лишь кое-где хилые оливы — как седые в желтоватых отсветах волосы, они венчают мощные лбы холмов, изборожденные глубокими морщинами тропинок, кое-где заросших чертополохом.

Кузнечик! Забудешь о нем, а он тут как тут. И я трясусь от ужаса. Всегда трясусь. Стоит мне задуматься или, разглядывая что-нибудь, замереть от восторга, как он тут как тут. Тяжелый, неуклюжий скок этой зеленой кобылки повергает меня в тоскливое оцепенение. Мерзкая тварь! Всю жизнь она преследует меня как наваждение, терзает, сводит с ума. Извечная пытка Сальвадора Дали — кузнечик!

Мне тридцать семь лет, а страх, который внушает мне эта тварь, не уменьшился. Мало того — мне кажется, что он растет, хотя дальше некуда. Если я встану на краю пропасти и на меня прыгнет кузнечик, я кинусь вниз, только бы не длить эту пытку!

Ужас, который я испытываю глядя на кузнечика,— одна из самых таинственных загадок моей жизни. Я ведь любил кузнечиков в детстве. С сестрой и тетушкой мы часто ловили кузнечиков. Меня приводили в восторг их крылышки — они точно так же отливали розовато-лиловым, как жаркое закатное небо над Кадакесом.

Но в один прекрасный день мне случилось поймать рыбку-соплюшку (названием она обязана слизи, покрывающей ее чешую). Я крепко схватил рыбешку, чтобы не выскользнула — так, что видна была одна голова,— и стал разглядывать, но вдруг дико вскрикнул, отшвырнул ее и зарыдал. Отец, сидевший неподалеку, встал, подошел ко мне и спросил, что стряслось. Захлебываясь слезами, я еле выговорил: «У нее голова как у кузнечика! Я сам видел!»

С той самой минуты, как я обнаружил это сходство, я и боюсь кузнечиков, и стоит мне увидеть кузнечика или рыбку-соплюшку, как я теряю самообладание. Родителям пришлось запретить соседским ребятишкам пугать меня кузнечиками, но сами они удивлялись: «Ты же любил кузнечиков! Помнишь?»

Настоящие мучения ожидали меня в Фигерасе, где родители не могли защитить меня от одноклассников, а те, обнаружив, что я боюсь кузнечиков и сверчков, стали прямо-таки изощряться в жестокости. Они непрестанно подсовывали мне этих тварей, обращая меня в бегство, да какое! Я срывался с места и как сумасшедший бежал сломя голову куда глаза глядят. Но разве от них спрячешься? В конце концов кузне-

чик сваливался мне на голову — жуткий, мерзостный, полудохлый! А иногда я открывал книгу, и там оказывался кузнечик с оторванной головой: он лежал между страницами, вокруг расплывалось буроватое пятно, и лапки еще трепыхались!

Соученики так меня замучили, что я уже ни о чем кроме кузнечиков и думать не мог. Они мне мерещились повсюду: я принимал за сверчка скомканный фантик и ко всеобщему восторгу начинал дико орать. А если в меня запускали хлебным катышком или резинкой, я вскакивал на парту и, трясясь всем телом, начинал отряхиваться в ужасе от одной мысли, что *это кузнечик.*

В конце концов, издерганный до последней степени, я разработал стратегический план операции, надеясь, что военная хитрость избавит меня если не от страха перед сверчкообразными, то по крайней мере от приставаний одноклассников. Моя отвлекающая операция была предельно проста. Однажды я публично притворился, что куда больше, чем кузнечиков, боюсь бумажных птиц, и стал слезно умолять одноклассников не запускать их при мне и вообще не показывать, даже издали. При виде кузнечика я величайшим усилием воли ухитрился сохранить спокойствие, а завидев бумажную птицу, принялся орать благим матом, изображая полную невменяемость. Мое вдохновенное притворство возымело действие еще и потому, что смастерить из листа бумаги птичку куда проще, чем отловить кузнечика, не говоря уж о том, что разыгранная мной сцена ужаса была много живописнее подлинного страха. Так, обманным маневром я обезопасил себя — скоро мне перестали совать сверчков. Истинный страх я как ширмой прикрыл страхом притворным, что доставило мне глубокое удовлетворение, хотя, конечно, притворство было обременительно, ведь приходилось всякий раз играть блестяще — под страхом новой пытки кузнечиками!

Мир обрушился на нас после войны, как бомба. Повсеместно начались празднества и особенно пышные — в Каталонии, где все сплошь держали сторону Франции. Я сохранил наилучшие, наиприятнейшие воспоминания о войне и о победе. Долго она нас манила и наконец явилась во всей красе. Меня не обошли чашей на этом пиру — я выпил ее со вкусом, до дна. Дело было так. В Фигерасе предполагалось провести демонстрацию, на которую должны были съехаться политические деятели со всей округи. По окончании демонстрации, после знамен, лозунгов и речей — народное гулянье с сарданами и прочими плясками. Студенты прогрессивного направления, объединившиеся в «Союз студентов», взяли на себя организацию победных шествий и всего остального.

Президент помянутого союза самолично явился ко мне и предложил произнести речь:

— Только ты это сделаешь как следует. Надо воодушевить, повести! Словом, ты понимаешь...— и он долго тряс мне руку.

Я, не раздумывая, согласился и сел сочинять речь — у меня оставался день на подготовку. Речь начиналась примерно так: «Кровавая жертва, принесенная на полях сражений, разбудила политическое сознание порабощенных народов!» Мне, без сомнения, льстило, что выбор пал на меня. Я встал перед зеркалом и начал репетировать речь — выходила первоклассная мелодрама. Однако мучительная застенчивость все-таки взяла свое, и я стал опасаться, что потеряю самообладание. Конечно, я впервые произносил речь, но опозориться, выказав постыдную робость, не мог себе позволить хотя бы потому, что имя мое давно было у всех на слуху. Целый вечер я безуспешно пытался вернуть себе присутствие духа, бродя по предместью.

Проснулся я в тоске и тревоге. Утренний кофе встал мне поперек горла. Я взял листок с речью, свернул в трубочку, перетянул для верности резинкой, затем с величайшей тщательностью причесался и задолго до начала отправился на митинг.

"Beethoven's cranium"

Я шел как на казнь. У меня в запасе был час, чтобы освоиться на месте,— я надеялся, что это поможет мне собраться с силами в тот решающий миг, когда толпа, завидев оратора, широко разинет рот, чтобы заглотить его вместе с речью. Напрасные надежды! Оглядевшись, я окончательно пал духом. Здесь было столько взрослых (при них я робел) и множество девушек! Я покраснел как рак, перед глазами поплыли зеленые круги; пришлось сесть. Мне дали воды. Народ все прибывал, зал оглушительно гудел. Над сценой, куда мне предстояло подняться, уже развевалось каталонское знамя, а под ним стояли три стула. Средний предназначался мне, тот, что справа,— президенту, левый — секретарю. Под смешки и аплодисменты, которые обрушились на меня как удары молота, мы заняли свои места. Словно бы перечитывая речь, я прикрыл лицо рукой, однако развернул листок столь решительно, что сам удивился. Секретарь союза встал и пустился в пространные рассуждения о том, зачем мы здесь собрались. Довольно часто его речь перебивали язвительные замечания.

Я тупо смотрел в свой листок и ничего не видел, а из общего гула слух мой улавливал исключительно злоехидства. Реакция публики вынудила секретаря скомкать концовку, и он предоставил слово мне. В зале воцарилась тишина, и я вдруг осознал, что все эти люди пришли сюда затем, чтобы услышать мою речь. Так я впервые испытал наслаждение от того, что стал предметом *всеобщего внимания,*— с тех пор я высоко ценю этот вид наслаждения и неизменно стремлюсь к нему. Я медленно встал, мучительно пытаясь припомнить хотя бы начало речи. Чем все это кончится, я не представлял. Ни единого слова я так и не припомнил — и молчал. Тишина с каждой секундой сгущалась, я вяз в ней — и молчал. Тишина подступала к горлу, мне уже было нечем дышать, когда я

вдруг понял: сейчас что-то разразится! Но что? И в ту же минуту кровь ударила мне в голову, отчаянным жестом я вскинул руки и возопил во всю мочь: «Слава Германии! Слава России!» — и пнул ногой стол. Он повалился прямо на первые ряды, зал всколыхнулся, и началось нечто невообразимое. С изумлением я увидел, что на меня уже никто не обращает внимания — все колошматят друг друга в пылу политических дискуссий. Я гордо поднял голову, вышел на улицу и направился домой.

— Как речь? — спросил отец.

— Грандиозно! — ответил я.

И не погрешил против истины. Мало того, что моя речь поражала оригинальностью,— она била в самую точку. Марти Виланова, один из местных политических лидеров, обнаружил в ней высший смысл:

— Уже нет ни союзников, ни побежденных. В Германии совершается революция, что позволяет приравнять ее к победителям, не говоря уж о России, где война привела к могучему социальному взрыву, который внушает лучезарные надежды!

Так что пинок, которым я опрокинул стол, был насущно необходим — никто кроме меня не мог встряхнуть эту сонную толпу и вынудить ее поразмыслить над ходом истории.

Вы поняли наконец, с кем имеете дело? С великим человеком, к вашему сведению,— со мной, Сальвадором Дали! Воистину — велик Дали!

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Занятия философической философией. Неутоленная любовь. Конец любви. Смерть матери

Я рос, а в имении Пичотов, в Кадакесе, посреди внутреннего дворика рос кипарис. Бакенбарды, предмет моей гордости, занимали уже половину моей физиономии. Я щеголял в бархатных жилетах темных тонов (чаще всего — в черном) и на прогулке имел обыкновение раскуривать отцовскую трубку, вырезанную из морской пенки в виде головы араба с ослепительной улыбкой. Когда отец мой ездил в Ампуриас смотреть раскопки, хранитель музея подарил ему серебряную греческую монету с женским профилем. Решив, что это изображение Елены Прекрасной, я попросил ювелира укрепить монету на галстучной заколке. Это украшение, как и трость, стало неизменной деталью моего туалета. Трости я, можно сказать, коллекционировал, но больше всего мне нравилась увенчанная золотым набалдашником в виде двуглавого орла. Этот императорский жезл как нельзя лучше подходил к моей крепнущей, властной руке.

Я продолжал учиться — кое-как. Все знакомые уговаривали отца смириться с тем, что я стану художником, в особенности — учитель рисования сеньор Нуньес, который ни дня не сомневался в моем таланте. Но отец тянул с решением — его пугала свободная профессия, он предпочел бы занятие понадежнее. Однако отец всячески способствовал моему художественному образованию: покупал мне нужные журналы, книги, кисти, краски, холсты и вообще все, что я просил и без чего спокойно мог обойтись, повторяя при этом: «Ладно. Кончишь институт[6], а там посмотрим».

Но мое решение было неизменно. Тем временем в тиши и одиночестве я читал — запоем, все подряд. Года через два в обширной отцовской библиотеке вообще не осталось непрочитанных книг. Сильнейшее впечатление на меня произвел «Философский словарь» Вольтера, что же до «За-

---

[6] В Испании институтом называют школу второй ступени, дающую среднее образование.

"Dulcinea"

ратустры» Ницше, то, пока я читал, мне казалось, что о том же я мог бы написать куда лучше. Наилюбимейшим моим чтением был Кант. Я не понимал почти ничего, но уже одно то, что я читаю Канта, наполняло меня счастливой гордостью. Как очарованный странник, блуждал я по лабиринту его построений, и мои едва прорезавшиеся мозговые извилины ловили музыку сфер. Мне казалось, что такой человек, как Кант, автор столь значительных и совершенно бесполезных книг, должен быть по крайней мере ангелом. Как голодное животное, дорвавшееся до пастбища, я набрасывался на книги, недоступные моему пониманию. Это было сильнее меня — так недостаток кальция в организме заставляет нас жевать мел, отколупывая от стен побелку. Мне же явно недоставало категорического императива. Два года изо дня в день я жевал его, жевал, и все без толку. Но в конце концов все-таки ухитрился проглотить. И вдруг зашагал по философскому полю семимильными шагами. От Канта шагнул к Спинозе — его манера мыслить безоговорочно покорила меня. К Декарту я пришел много позже, и он понадобился мне как фундамент для моих собственных конструкций. Я начал читать философов словно бы в шутку, а кончил тем, что рыдал над ними. И это я, никогда в жизни не проливший ни единой слезы ни над романом, ни над драмой, сколь бы ни бередили они душу, я зарыдал над определением тождественности у одного из этих философов, не помню — кого именно. И даже теперь, когда я раскрываю философскую книгу — изредка, от случая к случаю,— всякий образчик мыслительной культуры человечества, случись мне его обнаружить, трогает меня до слез.

Тогда один из молодых преподавателей философии объявил факультатив по Платону, на который я немедленно записался. Занятия проходили по вечерам, с семи до восьми, и начались поздней весной, когда все зацвело. Мы обычно выносили стулья во дворик и рассаживались у колодца, увитого плющом. На небе сияла луна. В группе было несколько незнакомых девушек, красивых, как мне показалось. Вдруг взор мой остановился на одной из них, и я понял, что она тоже глядит на меня не отрываясь. Мы разом встали и, словно сговорившись, направились к выходу. Вышли — и, взявшись за руки и онемев от волнения, пустились бежать. Институт располагался на окраине города — совсем близко, сразу за домами начинались поля, и мы, влекомые одним порывом, устремились туда, где не было никого. Тропинка вилась среди высоких хлебов. Мы — одни!..

Девушка вдруг остановилась и, поглядев на меня словно дразня,

рассмеялась и побежала дальше. Я по-прежнему молчал — мне казалось, что я никогда не раскрою рта. Волнение, дошедшее до крайней степени, я принял за изнеможение. Она вся трепетала и оттого становилась еще желаннее. Наконец я величайшим усилием воли заставил себя не сказать — нет, выдохнуть: «Туда!» — и махнул рукой в сторону от тропинки. Она пробежала еще немного и там, где колосья были примяты, легла на землю. Я удивился — она показалась мне очень высокой, совсем не такой, какой была, пока бежала. Я увидел, что у нее светлые волосы и очень красивые груди — как рыбки, они бились у меня в руках. Мы долго целовались. Она приоткрыла рот, и мои губы больно уперлись в ровный ряд ее зубов.

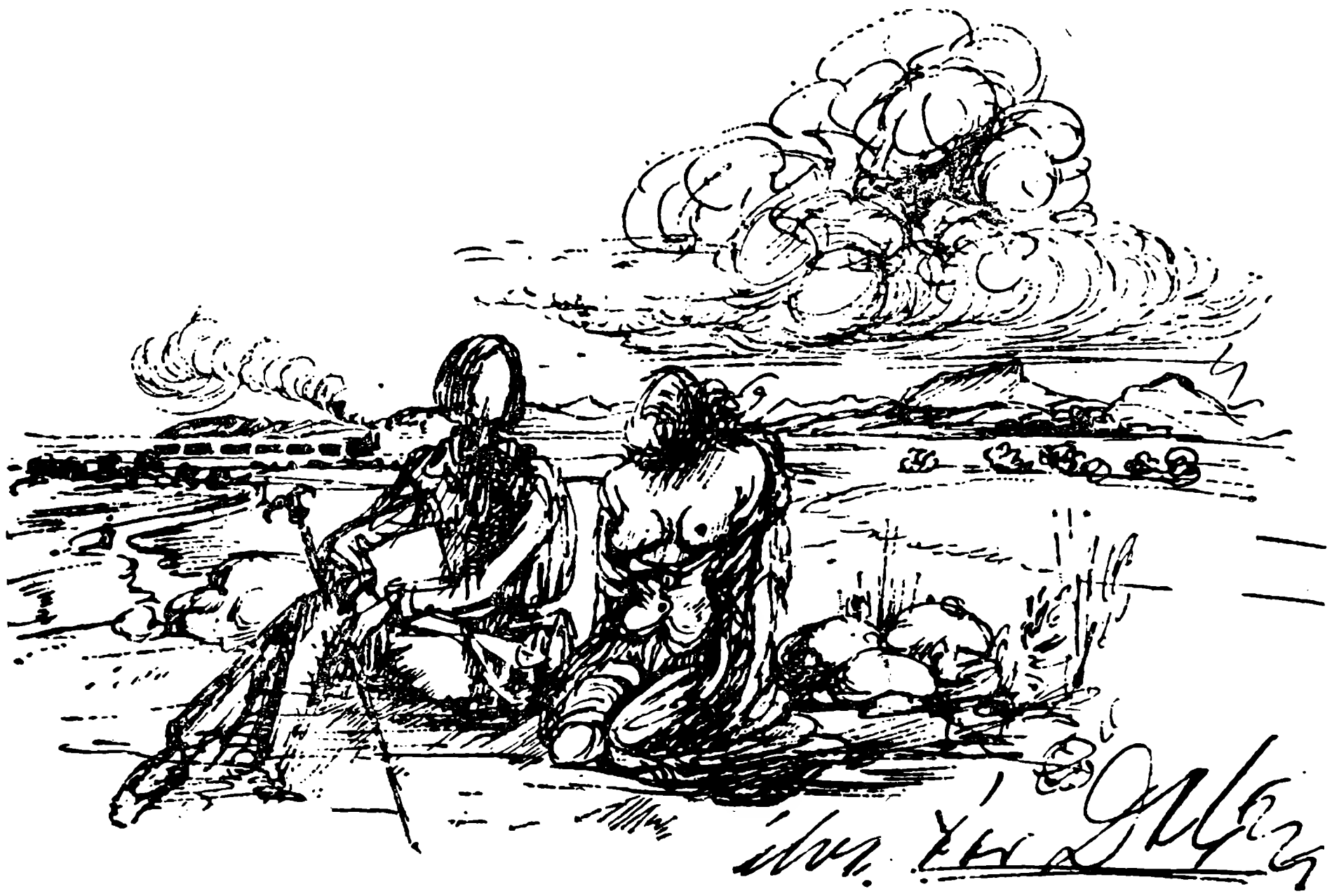
Девушка была сильно простужена и все время вытирала нос мокрым платком. У меня же не было не только сухого, но и вовсе никакого платка. Она то и дело шмыгала носом, но все без толку. Отчаявшись, бедняга отвернулась и высморкалась в подол. Я немедленно поцеловал ее — чтобы не подумала, что мне противны ее сопли, да они и правда не вызывали во мне никакого отвращения — текучие, жидкие, прозрачные, они походили на слезы. И вообще мне казалось, что она плачет — так неровно она дышала. Но вдруг я сказал ей с самым суровым видом: «Я тебя не люблю! Я никогда никого не полюблю! Я буду один!»

Ко мне вернулось спокойствие, я снова мог продумывать свои действия и заранее просчитывать каждый ход и предвидеть следствия — душа моя была холодна как лед.

Как мне удалось столь быстро овладеть собой? Девушка же, напротив, разволновалась, и волнение только усугубило насморк. Дружески ласково я обнял ее — движения мои были уверенными и властными. И вдруг мне стало щекотно от ее подбородка, на котором высыхали сопельки. Но я не стал чесать щеку, а склонил голову к ней на плечо и чуть погодя ласково уткнулся носом ей в подмышку и вдохнул чудный аромат — там пахло гелиотропом и ягненком и, кажется, еще жареными кофейными зернами, чуть-чуть. Я поднял голову. Она не могла скрыть разочарования и досады. В голосе ее я уловил легкое презрение:

— Так ты не придешь сюда завтра?

— Приду! — ответил я, встав и церемонно поклонившись.— Завтра вечером и послезавтра, и целых пять лет я буду приходить сюда, но ни днем больше!



Я принял свой план — пятилетний!

Эта девушка была моей невестой пять лет, но летом я всегда уезжал в Кадакес, и свидания наши прекращались. Все эти годы я хранил ей какую-то мистическую верность. Встречались мы по вечерам, а если мне хотелось побыть одному, я оповещал ее через соседского парнишку. О времени мы не уславливались и встречались словно случайно. К каким только уловкам она ни прибегала, чтобы ускользнуть из дому. Иногда ей приходилось брать с собой подругу, а та приводила кавалера, что меня раздражало, и чаще всего мы гуляли одни.

Выполняя эту идиллическую пятилетку, я проявил всю свою извращенно-чувствительную натуру. И добился того, что бедная девушка впала в полную зависимость от меня. Я же строго дозировал наши свидания и решал, о чем мы будем говорить, а о чем — не будем, врал Бог знает что и о чем и наблюдал, как растет ее покорность. Я порабощал ее — методично, беспощадно, не оставляя никакой надежды на спасение. И настал день, когда я счел, что дело сделано, и потребовал жертв: «Разве ты не говорила, что я тебе дороже жизни? Так или не так? Сколько нам еще остается — четыре года?» Однако страсть, разбуженную мной в этой юной женщине, не следует приписывать моему донжуанскому дару — должен сказать, что между нами, если говорить об эротике, за все пять лет так ничего и не произошло кроме того, что случилось в первую встречу: мы целовались, глядели друг другу в глаза, я прикасался к ее груди — и более ничего. Думаю, что ощущение своей приниженности, испытанное ею в тот день из-за насморка, и было главной причиной неудовлетворенности, которая неотступно ее терзала, и страстного желания во что бы то ни стало возвыситься в моих глазах. Но я вел себя точно так же, как и в первый день, если не сдержаннее (я мастерски изображаю холодность — это мое испытанное оружие). Я посыпал солью ее раны, и любовь ее разгоралась (тогда как удовлетворенная любовь гаснет) и приближалась к опасной черте, за которой маячил нервный срыв, если не попытка самоубийства.

Мы оба знали, что я ее не люблю; я знал, что она знает, что я ее не люблю, и она знала, что я знал, что она знает, что я ее не люблю. Я действительно не любил — и тем хранил свое одиночество. С полной невозмутимостью я ставил эмоциональный опыт на прелестном живом существе, и моя холодность сообщала эксперименту чистоту и, следовательно,— исключительную эстетическую ценность. Я знал, что любовь, какую мне суждено испытать, будет совсем иной, что она захватит и истребит все мое существо, перемелет в пыль все чувства, и вздумай я тогда экспериментировать с приручением и унижением, меня ждет неминуемый крах. А пока я был уверен, что моя подруга будет и впредь *служить* мне. Я знал, что истинная любовь — это рана, а не стрела, и уже примеривал к себе муку Святого Себастьяна, зерна которой, зароненные в мое тело, рвались прорасти.

Я говорил невесте: «Помни, остался только год!» И она целый день прихорашивалась ради нашей получасовой прогулки. Она избавилась от простуд и так светилась здоровьем, что переносить это не было никакой возможности — приходилось доводить ее до слез.

Обычно я брал с собой на прогулки очередной номер «Эспри Нуво». Склонив голову, она внимательно разглядывала картины кубистов. В ту пору надо мной властвовал *категорический императив мистицизма,* свойственный Хуану Грису [7]. По временам я изрекал загадочные фразы вроде такой: «Слава блестит, колет и режет. Она похожа на ножницы с раскрытым клювом». Невеста пыталась запоминать мои изречения, хотя смысла не улавливала: «Ты что-то говорил вчера про ножницы и клюв...»

«А знаешь,— извещал я ее на обратном пути,— из Мадрида я не буду писать тебе писем». И точно знал, что через десять шагов она

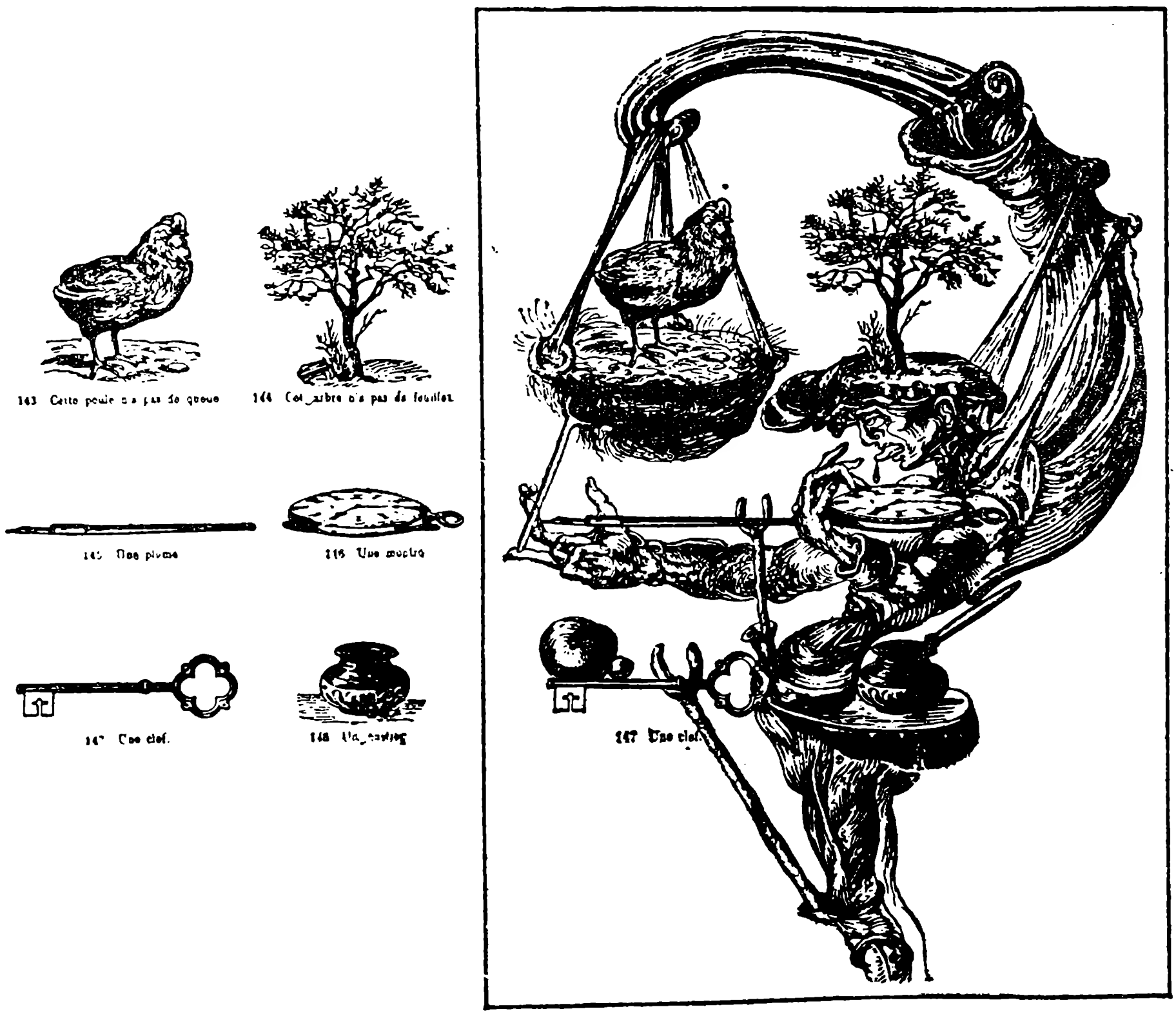
[7] Хуан Грис — псевдоним испанского художника-кубиста Хосе Викториано Гонсалеса (1887—1927), с 1905 г. работавшего в Париже.

всхлипнет. Ни разу мне не случилось ошибиться. Утешая, я пылко целовал ее, и слезы, упругие, как лесные орешки, обжигали мне губы. Тем временем перед моим мысленным взором реяла слава — колкая и острая, как разверстый клюв ножниц.

Принимайся за работу, Сальвадор, нечего отлынивать! Если ты способен на жестокость, значит, способен и работать.

И я действительно работал, что внушало уважение. Я мог целый день не отрываться от холста или от заумной философской книги. С раннего утра — я вставал в семь — до самого сна мозг мой не отдыхал ни секунды. Даже свиданья были для меня работой, причем не из легких — я вершил дело соблазнения. Родители удивлялись: «Ни минуты без дела! Вечно он занят!» И постоянно твердили мне: «Отдохни! Молодость пройдет, и не заметишь!» А я думал: «Вот и пускай проходит, да поскорей, до чего ж осточертело мне это молодо-зелено!» Как, как мне, не дожидаясь, пока повзрослею, избавиться от этих дремотных детских хворей? И все же одно мне было ясно: я должен справиться с кубизмом, чтобы высвободиться раз и навсегда. Так я, может быть, по крайней мере научусь рисовать.

Но этой страстью мои порывы не исчерпывались. Я намеревался завершить величайший философский труд, начатый год назад. Книга называлась «Вавилонская башня». Я написал уже пятьсот страниц, но еще не дошел до конца предисловия. Философская теория, которую я излагал в этом сочинении, совершенно вытеснила из моего сердца любовь. В «Вавилонской башне» я утверждал, что мысль о смерти лежит в основе всех творческих построений. Я соглашался на преждевременную старость — и обретал надежду на бессмертие. Фундаментом башне служила, что называется, *жизнь как она есть* — то есть то, что для меня всегда было только хаосом, только смертью; венчали же башню недоступное пониманию обыкновенного человека знание, открытое мне — антиподу Фауста, демиургу,— и воскресение. Моя жизнь была непре-



станным и яростным пестованием своего «я», могущественной развивающейся личности. Ежечасно я одерживал очередную победу над смертью, прочие же только и знали, что идти с ней на мировую. Я — никогда. Я никогда не уступал смерти!

Смерть матери настигла меня как сокрушительный удар. Ни прежде, ни после мне не довелось испытать ничего подобного. Я боготворил мать и знал, что ни одно существо на свете не может с ней сравниться. Я знал, что она — святая, что ни одна душа, сколь бы ни были очевидны ее достоинства, не способна достичь тех высот, где обретается душа моей матери. Ее доброта искупала все — и в том числе мои изъяны. Я не мог примириться с утратой. Мать любила меня такой великой и гордой любовью, которая не ошибается,— я просто обязан был явить гениальность, пусть даже в пороке. Смерть матери я воспринял как оскорбление, нанесенное мне судьбой: это не могло случиться ни с нею, ни со мной! И я ощутил, что в глубине моей души взрастает, расправляя могучие ветви, великий ливанский кедр отмщения. Наступив на горло рыданиям, я поклялся сияющими мечами славы, что заблистают когда-нибудь вокруг моего имени, отвоевать мать у смерти.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Ученик славы. Отец дозволяет мне учиться живописи. Вступительные экзамены. Исключение из Мадридской Школы Изящных Искусств. Я становлюсь денди и попадаю в тюрьму

Я отправился в Мадрид вместе с отцом и сестрой. Для поступления в Школу Изящных Искусств требовалось сдать экзамен по рисунку. Мне выпало рисовать «Вакха», изваянного Якопо Сансовино[8]. Срок нам определили в шесть дней. Два дня я работал спокойно, все получалось как надо, но на третий день смотритель в разговоре с отцом (они успели познакомиться, пока отец дожидался меня) заметил, что я могу не сдать экзамен:

— Мне трудно судить о художественных достоинствах рисунка, но вижу, что сделан он не по правилам: сам рисунок маловат, а поля — слишком велики. Посмотрите, какие поля у других абитуриентов!

Отец пал духом настолько, что долго не решался дать мне совет. Что делать? Кончать этот рисунок, и будь что будет, или приниматься за новый? Весь вечер, пока мы прогуливались, он ломал себе голову, а после, в кино, посреди сеанса вдруг громко спросил:

— А может, рискнуть? Начать заново? — И, помолчав, добавил: — Ведь впереди еще три дня!

На нас уставился весь зал. Я никогда не упускал случая помучить отца, но на этот раз его тревога передалась и мне — было уже не до шуток.

— Выспись как следует,— сказал отец, прощаясь со мной на ночь,— и не думай об этом, а утром решишь, как поступить.

Наутро, ощутив прилив сил, я, не колеблясь, скомкал рисунок, и в ту же минуту ужас от содеянного парализовал меня. Тупо и обреченно я взирал на чистый лист, а почти все остальные, закончив рисунок, уже приступали к проработке! Завтра у них все будет готово, а еще есть послезавтра — целых два часа на мелочи, которые требуют тщательности, здесь никак нельзя спешить. Я с тоской взглянул на часы — прошло уже полчаса. Что было делать! Я начал, стараясь соблюсти требуемые условия, но не справился с простейшей задачей — не смог закомпоновать

---

[8] Якопо Татти иль Сансовино (1486—1570) — итальянский скульптор.

рисунок — и вновь очутился перед чистым листом. Так прошел третий день. Взглянув на меня, отец сразу понял, что дела плохи:

— Ну как?

— Я начал снова.

— И получается?

— Я еще почти ничего не сделал — искал пропорции, надо же наверняка!

— Конечно, надо наверняка, но все-таки... целый день ушел на пропорции... Зря я тебе посоветовал начать новый рисунок!

За ужином нам обоим кусок не шел в горло. Отец все приговаривал: «Ешь! А то сил не будет!» Мы не находили себе места, а меня одна мысль о завтрашнем дне повергала в глубокое уныние. Отец потом сказал мне, что всю ночь не сомкнул глаз, терзаясь одной мыслью: надо или не надо было начинать все сначала?

Наступило завтра. Облик «Вакха» Сансовино был так прочно запечатлен в моем мозгу, что я накинулся на рисунок, как голодный волк. Но и на этот раз не рассчитал — рисунок оказался велик, и здесь уж ничего нельзя было поделать: ноги не помещались на листе, а это куда хуже больших полей. Надо опять начинать сызнова.

Отец, смертельно бледный, встретил меня вопросом:

— Ну как?

— Никак! Он у меня вообще не уместился.

— Что ж теперь?

— Ничего. Начну снова.

В отцовских глазах блеснули слезы:

— Идем! Отдохнешь и завтра все сделаешь. Ты же можешь сделать рисунок за день!

Но я-то знал, что за день — за отведенные нам два часа — я ничего не успею. Нужен день на рисунок и день на проработку, никак не меньше. И напрасно отец старается меня подбодрить — он не хуже меня знает, что не пройдет и двух дней, как мы, сгорая со стыда, вернемся в Фигерас, а ведь сеньор Нуньес уверял, что я, лучший из учеников, поступлю непременно, даже если представлю свой худший рисунок.

— Моя вина! — сказал отец.— Зачем только я слушал этого дурака-смотрителя! Если рисунок хорош, кому какое дело до полей — подумаешь, широки!

— Я тебе о том и толковал! Если рисунок хорош, его оценят.

В приступе отчаяния отец, сам того не заметив, вырвал клок из седых кудрей, окаймлявших его благородную лысину.

— Но ведь ты сам сказал, что рисунок был слишком мал!

— Ничего подобного. Я сказал, что рисунок маловат — и только.

— А мне показалось, что ты сказал «слишком мал», а не «маловат». Скажи мне толком, какие у тебя были поля? Надо же разобраться!

Я продолжил изощреннейшую из пыток:

— Сколько можно обсуждать одно и то же! Я уже и не помню, сколько там было фона. Кажется, многовато, конечно многовато, но не более того.

— Ну, вспомни! Смотри,— он отмерил расстояние от своего большого пальца до вилки,— такие у тебя были поля или меньше?

— Трудно сказать,— отвечал я,— вилка кривая, это сбивает с толку.

Но отец не отступал:

— Вот я кладу нож — он прямой. Меньше были твои поля или больше?

— Сказал же — не помню!

Отец заметался по комнате, потом вдруг остановился, схватил крохотный огрызок печенья, опустился на одно колено и, простирая ко мне руку с огрызком, трагически вопросил:

— Скажи, меньше огрызка? Или больше шкафа? — другую руку он простер к громадному шкафу.

Сестра заплакала, и мы отправились в кино на душещипательный

фильм. После сеанса публика уставилась на меня: бархатная блуза, волосы до плеч, трость с золоченым набалдашником и, главное, бакенбарды в полфизиономии. Весь этот несуразный вид заставлял заподозрить во мне актера. Две дурочки, восторженно разинув рты, следили за каждым моим движением.

— С тобой хоть не ходи никуда. И кудри, и баки — цирк, да и только! Хватит, потешил народ, пора, хвост поджавши, домой возвращаться!

Серо-голубые отцовские глаза за два последних дня обрели страдальческое выражение, а седой клок, который он имел обыкновение теребить в минуты горестных раздумий, встал торчком — так, словно в этом седом роге застыла вся мука моего неопределенного будущего и неминуемо близкого краха.

Заря того решающего шестого дня воссияла зловещим — подстать намеченной казни — алым пламенем. Я был готов ко всему и страха уже не испытывал. Всю чашу ужаса перед грядущей катастрофой я испил ночью. Я принялся за работу, и через час рисунок был готов — весь! — и тщательнейшим образом проработан. Так что ровно половина времени еще оставалась, и я всласть налюбовался сделанным. Рисунок и правда вышел восхитительный, но вдруг я заметил, что он мал, много меньше самого первого, и меня пронзило отчаянье.

Выйдя, я увидел отца с газетой. Он молча посмотрел на меня, но ни о чем не спросил.

— Я сделал потрясающий рисунок,— сказал я спокойно,— но он много меньше первого.

Слова мои обрушились на отца как бомба. Впрочем, столь же ошеломителен был вердикт комиссии. Меня приняли в Школу Изящных Искусств «несмотря на несоответствие представленной работы требуемым размерам, ибо рисунок выполнен столь безукоризненно, что комиссия считает возможным отступить от правил».

Отец с сестрой вернулись в Фигерас, а я остался в Мадриде один и поселился в Студенческой резиденции[9], достойнейшем заведении, доступном лишь избранным. Я с головой окунулся в занятия. Жизнь моя, по сути дела, из них одних и состояла. Я не ходил ни на прогулки, ни

---

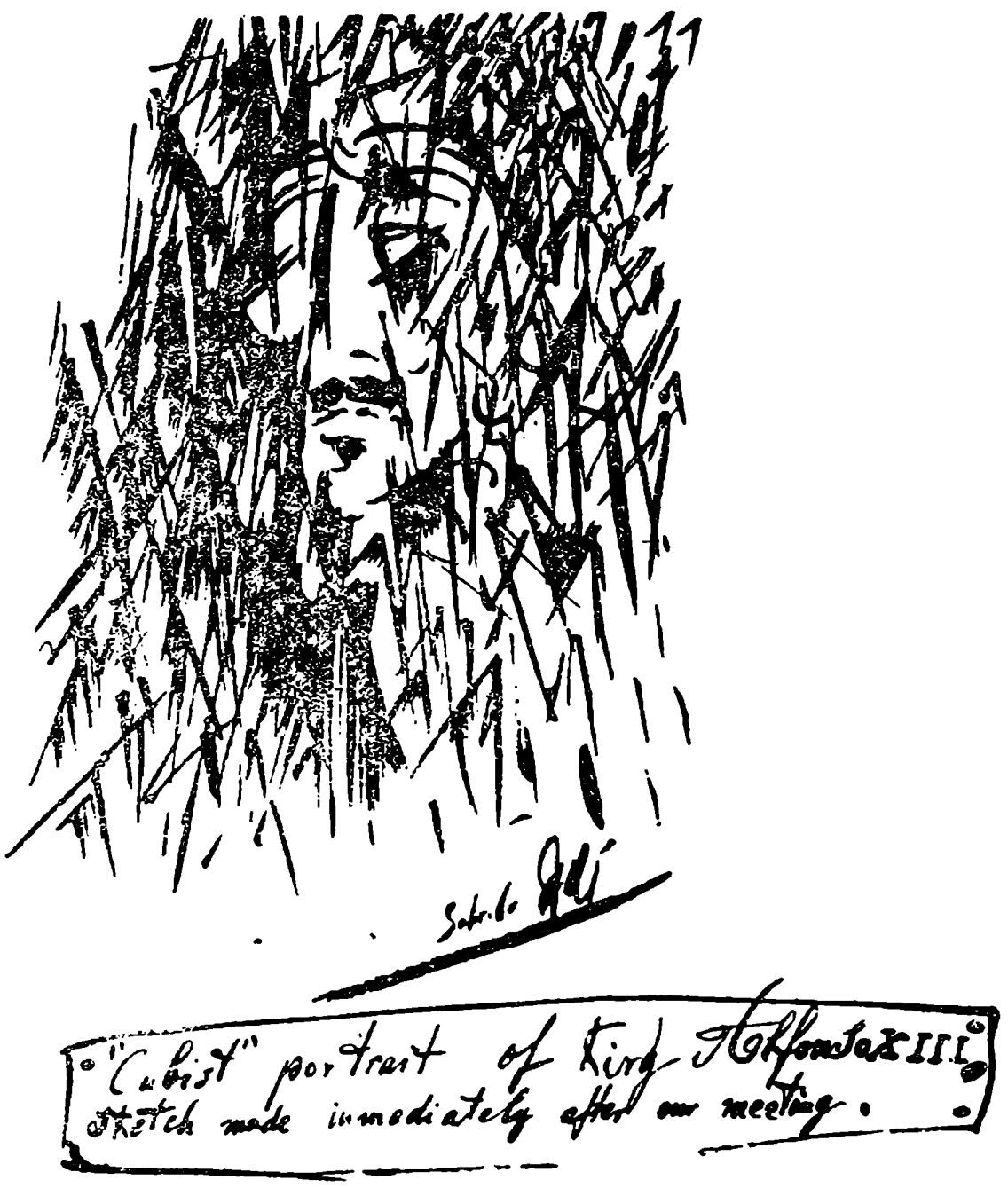
[9] Студенческая резиденция — созданный в 1910 г. в Мадриде Центр исторических исследований, по сути дела вольный университет, сформировавший несколько поколений испанской интеллигенции. Дали поселился в Резиденции в сентябре 1922 г., поступив в Школу Изящных Искусств при Академии Изящных Искусств Сан-Фернандо, и жил там — с перерывами — до середины 1926 г.

в кино. Из Резиденции я ехал в Школу Изящных Искусств и оттуда обратно, причем, вернувшись, немедленно запирался у себя в комнате и снова занимался. Все воскресные дни я проводил в Прадо за кубистскими переложениями самых разных картин. Из Резиденции в Академию я ездил на трамвае, и следовательно тратил в день одну песету. Так прошло несколько месяцев. Театральный режиссер и поэт Маркúна [10], которому отец поручил присматривать за мной, обрисовал ему мою подвижническую жизнь и тем обеспокоил. В письмах отец не раз напоминал, что в моем возрасте следует время от времени развлекаться, ходить на прогулки, в театр и тому подобное. Но куда там! Из Академии в Резиденцию, из Резиденции в Академию, одна песета на трамвай — и все. Я не принуждал себя. Ничего сверх того душа моя не требовала, напротив, если бы в мою жизнь вторглось еще что-нибудь, я бы досадовал и злился.

Запершись у себя в комнате, я написал несколько кубистских картин. В них явственно ощущалось влияние Хуана Гриса. Рядом с насыщенными цветовыми пятнами моих ранних работ импрессионистского толка эти полотна казались однотонными. Белый, черный, оливковый, жженая сиена — больше ничего не было на моей палитре.

Я обзавелся черной шляпой с полями и трубкой, которую сосал, не раскуривая и даже не набивая. Брюк я терпеть не мог и потому носил короткие панталоны с гетрами, а иногда обвязывал ноги лентами крестнакрест. В дождь я облачался в плащ до пят, который привез из Фигераса. Плащ волочился по земле, а из-под шляпы торчали нестриженые космы. Словом, вид у меня в ту пору без всякого преувеличения был неописуемый. Именно что неописуемый. Стоило мне выйти на улицу, как поглазеть на меня собиралась толпа. Я шествовал мимо, гордо подняв голову и словно не замечая, что на меня устремлены все взоры.

Я начал учиться с величайшим воодушевлением, но в преподавателях Школы Изящных Искусств скоро разочаровался, поняв, что эти увешанные медалями и регалиями старцы меня ничему не научат. И совсем



[10] Эдуардо Маркина (1879—1946) — испанский драматург, поэт и театральный деятель.

не из-за приверженности академизму и гладкописи, напротив,— они поклонялись всякой новизне и с распростертыми объятиями встречали всякий вывих. Мне нужна была выучка, узда, строгие границы, а меня побуждали лениться, вольничать, писать кое-как. Эти старцы только-только обратились в новую веру — импрессионизм — и без устали превозносили французов, не говоря уж о наших собственных импрессионистах, певцах местного колорита. Соролья [11] был этим старцам царь и Бог. Чему они могли научить?

В ту пору я уже восставал против кубизма, а им до кубизма было еще идти и идти. Я жадно расспрашивал их о живописных приемах, о том, сколько брать краски и сколько масла, мне надо было знать, как делается тончайший красочный слой, но я ровным счетом ничего не добился. Профессор, одурев от вопросов, закатывал глаза и нес околесицу:

— Вам, коллега, надо искать свою собственную манеру. В живописи нет правил. Смотрите, думайте и пишите так, как вам видится,— но с душой! Главное — темперамент!

«Что до темперамента,—думал я в тихом унынии,— то могу поделиться, дорогие наставники,— на всех хватит! Но объясните мне наконец толком, в какой пропорции лучше смешивать краску с маслом!»

— Смелее, смелее! — бубнил преподаватель.— Не цепляйтесь за мелочи, идите вглубь! Проще! Еще проще! Забудьте о правилах! Никаких ограничений! Пусть каждый следует своему темпераменту!

Профессор живописи, бедный, глупый профессор! Пройдет еще много лет, разыграется не одна война, стрясется не одна революция, прежде чем люди наконец поймут, что иерархию не выстроить без строгой выучки, что без жесткой матрицы не отлить форму — такова высшая, причем крайне реакционная истина. Бедный, глупый профессор живописи!

Я вообще имею обыкновение поступать самым парадоксальным образом, и в ту пору я — единственный в Мадриде художник-кубист — жаждал досконально изучить рисунок, цвет, перспективу и требовал от профессоров академической выучки.

Студенты держали меня за ретрограда, врага свободы и прогресса, себя же они именовали революционерами и новаторами по той простой причине, что писали наобум и не признавали черного цвета — «грязи», как они выражались, и вместо черной употребляли красную краску. Они, видите ли, сделали открытие: на предмете свет дробится, играя всеми цветами радуги, исключая черный; тени, следовательно, красные, а не черные. Эту прописную истину импрессионизма я постиг еще в двенадцатилетнем возрасте и уже успел восстановить в правах черный цвет, истребление которого считаю грубейшей ошибкой. Этот урок мне преподал на одной из барселонских выставок Ренуар; одного взгляда на его небольшое полотно оказалось достаточно. А эти новаторы, выписывая свои кривые радуги, годами прилежно развозили грязь! Воистину — нет предела дури человеческой!

Над одним из старых профессоров потешались все без исключения, а ведь только он во всей Школе Изящных Искусств знал свое дело! Да и я слушал его вполуха, о чем впоследствии сожалел. Имя его было известно в Испании — Хосе Морено Карбонеро [12]. Я высоко ценю некоторые его работы, особенно навеянные «Дон-Кихотом»; с годами они нравятся мне все больше. Дон Хосе Морено Карбонеро закалывал галстук-бабочку булавкой с черной жемчужиной и в мастерскую приходил исключительно во фраке. Чтоб не запачкаться, работы наши он правил в белых перчатках. Два-три штриха углем — и рисунок чудесно преображался. Глаз у Карбонеро был верный, фотографически точный, как у Мейсонье [13], а это — огромная редкость. Но стоило ему выйти из ауди-

[11] Хоакин Соролья-и-Бастида (1863—1923) — испанский художник.

[12] Хосе Морено Карбонеро (1860—1942) — испанский художник, портретист и книжный график.

[13] Эрнст Мейсонье (1815—1891) — французский художник.

тории, как все в едином порыве истребляли его исправления, поспешая восстановить свои шедевры, плоды так называемого *темперамента,* а точнее говоря — лени и тщеславия, притом самого жалкого, исключающего и трезвую самооценку и безумный порыв. Какие же болваны учились в Мадридской Школе Изящных Искусств!

Однажды я принес на занятия книжечку о Жорже Браке[14]. Однокашники мои не восприняли всерьез его живопись, ибо кубизма в глаза не видали, зато преподаватель анатомии, человек умный, заметил, что слышал об этой монографии и хотел бы прочесть (я тут же предложил ему книгу). Он сказал, что не видел картин кубистов, но привык уважать творческие поиски, в том числе чуждые ему и непонятные, а тем более ставшие уже предметом исследования. На другой день, прочитав введение и поняв что к чему, он заговорил со мной о разновидностях нефигуративной живописи и геометрических построениях. Я объяснил, что суть не в том, и упомянул о несомненной тяге к изобразительности, свойственной кубизму. Анатом рассказал о нашей беседе другим преподавателям, и в итоге ко мне стали относиться почти подобострастно, что могло способствовать развитию моей детской склонности к эксгибиционизму. С каким удовольствием я бы показал им на живом примере, что такое *индивидуальность!* Трудно было удержаться от искушения, но я удержался. Поведение мое оставалось примерным, занятий я никогда не пропускал, почтительно выслушивал все замечания и работал в десять раз быстрее, упорнее и азартнее, чем даже лучшие из учеников.

И все же преподаватели не считали меня художником от Бога. «Он серьезен, умен и всегда делает именно то, что хочет, но он холоден, как лед, в его работах мало чувства, мало индивидуальности — художник должен писать сердцем, а он работает головой!» «Ну, погодите,— думал я,— вы у меня еще узнаете, что такое *личностное начало!»*

Именно тогда я прочитал «Толкование сновидений» Зигмунда Фрейда. Это стало одним из важнейших событий моей жизни. С тех пор я неустанно занимаюсь толкованием себя — не только сновидений, но абсолютно всего, что со мной происходит, включая так называемые чистые случайности.

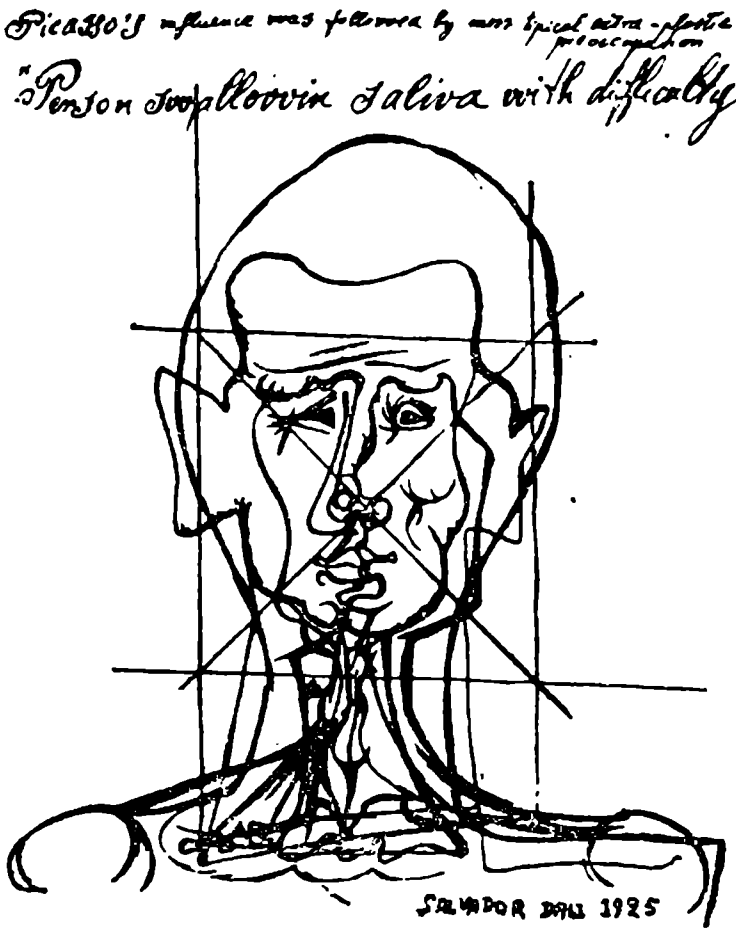
Во всяком толковании главное — метод. Я сказал себе: «Сальвадор, начинать надо с начала. Не торопись, двигайся потихоньку, и все прояснится в свое время. А если ты сразу, не заложив фундамента, не отыскав традицию, набросишься на самые лакомые образы, толкования не получится, ты просто изнасилуешь их как рабынь, сведешь их к тому, что когда-то уже перечувствовал и тем исчерпал. То будет плагиат[15], испол-

---

[14] Жорж Брак (1882—1963) — французский художник-кубист.

[15] Эухенио Д'Орс * однажды весьма проницательно заметил: «Все неукорененное в традиции — плагиат». «Все неукорененное в традиции — плагиат»,— повторяю я, Сальвадор Дали. Приведу пример в назидание изучающим историю искусств: Перуджино и Рафаэль. Рафаэль еще в ранней юности, сам того не заметив, впитал во всей полноте традицию, воплощенную в работах его учителя Перуджино. Рисунок, светотень, фактура, композиция, архитектоника, миф — все было ему дано. Он — властелин, он — волен. И может вдохновенно работать при самых строгих ограничениях. Если понадобится, он уберет колонну, добавит несколько ступеней к лестнице, еще ниже наклонит голову Богоматери — так, что скорбные тени лягут возле глаз. Какая свобода, какое богатство, какой накал! Сравните с Пикассо — вот полюс, противоположный Рафаэлю. Он столь же велик, но проклят. Проклят, раз обречен на плагиат, как всякий, кто восстает против традиции, крушит ее и топчет, недаром на всех его вещах лежит отблеск рабской ярости. Раб, он скован по рукам и ногам своим новаторством. В каждой работе Пикассо пытается сбросить цепи, но его тяготит и рисунок, и цвет, и композиция, и перспектива — все. И вместо того чтобы искать опору в недавнем прошлом, из которого сам он вышел, вместо того чтобы припасть к традиции — живой крови реальности, он перебирает воспоминания о зрительных впечатлениях, и получается плагиат: то он списывает с этрусских ваз, то у Тулуз-Лотрека, то копирует африканские маски, то Энгра. Вот она, *нищета революции.* Верно замечено: «Чем яростнее бьешься за обновление, тем неизбежнее топчешься на месте». *(Прим. автора.)*

* Эухенио Д'Орс-и-Ровиро (1882—1954) — каталонский писатель, критик и теоретик искусства.



ненный пафоса, а не открытие, которого ты домогаешься. Но мало того — оказывается, осколки этих великолепных образов не выдерживают проверки фетишизацией, и ты, глава своей собственной тайной полиции духа, сам откажешься удостоверить их подлинность ввиду отсутствия подробного досье, касающегося как явной, так и тайной их жизни.

Прошло уже четыре месяца с тех пор, как я обосновался в Мадриде, но ничего в моей жизни — суровой, размеренной, наполненной трудом — не изменилось. Хотя это не совсем так: с каждым днем я работал все увлеченнее и тщательнее и все суровее судил сделанное. Занятия стали для меня ритуальным служением; я вышколил себя до такой степени, что еще немного и стал бы аскетом. Я думаю, мне понравилось бы в тюрьме. Уверен, что мне и в голову не пришло бы жалеть о свободе. Я написал несколько строгих и отстраненных работ, но, к несчастью, мне взбрело в голову положить слишком толстый слой подмалевка, да еще на клею: казалось, я пишу не по холсту, а по гипсу.

Я сказал «к несчастью» вот почему: те мои кубистские работы, величественные, как аутодафе, погубил подмалевок: картины вскоре потрескались и осыпались.

Однако прежде их увидали, а заодно разглядели и меня.

В Резиденции, где я жил, было множество самых разных студенческих компаний, среди которых выделялась группа бунтарей, яростных сторонников авангарда в литературе и искусстве. Эта мятежная молодежь впитала тревожный дух послевоенного времени, дыхание катастрофы. В наследство им досталась недавно разработанная и весьма неглубокая всеотрицающая традиция — так называемый ультраизм [16], один из наших местных «измов», недозрелый плод европейского авангарда, наиболее близкий к дадаизму. Группу составляли Пепин Бельо [17], Луис Бунюэль, Гарсиа Лорка, Педро Гарфиас [18], Эухенио Монтес [19], Рафаэль Баррадас [20] и еще множество других лиц. Однако изо

[16] Ультраизм — авангардистское течение в Испании, родственное футуризму. Возникло после первой мировой войны и оформилось к 1919 г. Ультраизм провозгласил новизну художественных средств, обновление лексики, упразднение пунктуации и нетрадиционное типографское представление текста.

[17] Хосе Бельо Ласьерра (р. 1904 г.) — друг Лорки и Дали, неофициальный соавтор фильма Дали и Бунюэля «Андалузский пес».

[18] Педро Гарфиас (1901—1967) — испанский поэт, эмигрировавший после поражения республики в Мексику.

[19] Эухенио Монтес (1897—?) — галисийский поэт, писатель и журналист, профессор философии, ставший впоследствии политиком крайне правого толка.

[20] Рафаэль Перес де Баррадас (1890—1929) — уругвайский художник испанского происхождения, долго жил в Испании; создатель «вибрационизма» — разновидности кубизма.

всех, с кем я общался в ту пору, только двоим было предначертано достичь головокружительных высот в иерархии духа. Это Гарсиа Лорка, легко, блистательно и властно усмиривший постгонгорианскую риторику, и Эухенио Монтес, познавший глубинные тайны души и одолевший горные перевалы мысли. Лорка — андалузец, Монтес — из Сантьяго-де-Компостела.

Однажды горничная оставила дверь открытой, и Пепин Бельо, проходя мимо, увидел те картины. О своем открытии он не замедлил сообщить остальным. Они, конечно, видели меня прежде и не раз потешались надо мной. Называли они меня по-разному — то поляком, то художником, то скрипачом, по всей видимости, из-за одежд нарочито романтического пошиба, крайне неприятных им, приверженцам новоевропейской моды. Я был серьезен, всецело занят делом и начисто лишен чувства юмора, а потому представлялся им убогим и жалким недоумком, довольно живописного вида. И правда, мои бархатные жилеты и развевающиеся шарфы резко контрастировали с их английскими костюмами и свитерами. Я отращивал космы до плеч — они исправно стриглись у лучших парикмахеров отеля «Риц». Вся эта компания была одержима духом дендизма с изрядной примесью цинизма, что проявлялось буквально на каждом шагу и внушало мне поначалу ужас, доводивший до полуобморочного состояния.

Однажды вся компания пришла смотреть мои картины. И каково же было изумление этих закоренелых снобов! Они были потрясены, восхищены. Им и в голову не приходило, что я — художник-кубист! О чем они и объявили с изрядным простодушием и тут же от чистого сердца предложили мне дружбу. Мой отклик был весьма сдержан — я сохранял дистанцию, размышляя: «На что мне они? Что может дать мне это общение?»

Они же буквально впились в меня — не прошло и недели, как я стал властителем дум. То и дело звучало: «Дали сказал... Дали заметил... Дали думает... Интересно, что скажет Дали?.. Это в духе Дали... Надо показать Дали!.. Вот если б это сделал Дали, тогда другое дело!» Дали здесь, Дали там. И всюду, куда ни ткнись.

Я сразу понял, что мои новые друзья будут питаться мною, я же взамен не получу ничего — все, что они могут мне предложить, у меня есть, причем в большем количестве и лучшего качества. Иное дело Федерико Гарсиа Лорка.

Передо мной был уникальный, цельный поэтический феномен — поэзия, обретшая кровь и плоть, тягучая, застенчивая, возвышенная, трепе-

щущая тысячью сумрачных огней и токами подземных рек, свойственных всякой удачной форме живой материи. Я инстинктивно сразу и безоговорочно отверг явленную мне *поэтическую вселенную*. И заговорил доказательствами, четкими формулами, отметая все, что *нельзя попробовать на зуб* (мое любимое выраженьице тех лет). И когда вольные языки пламени вырывались из полыхающего костра поэзии — разверстого сердца великого Федерико, я, антипод Фауста, взмахивал зеленой ветвью моей преждевременной старости, чтобы загасить огонь, и волок свою извечную обыденную решетку, чтобы поутру, на угольях того костра, что возжег Федерико, изжарить измысленные мной грибы, котлеты, сардинки и утолить ими — с пылу, с жару, да на белую скатерть книги, предложенной вашему вниманию,— духовный, нравственный, идейный и художественный голод нашей эпохи.

Наша компания день ото дня становилась все менее интеллектуальной. Мы все чаще проводили вечера в знаменитых мадридских кафе, где потихоньку варилась похлебка испанского искусства, политики и литературы, приправленная оливковым маслом. В изысканный аромат послевоенного варева, кроме того, несомненно внес свою лепту двойной вермут. Я имею в виду откровенную сентиментальность — необходимый противовес всем видам героизма, подлости, фанфаронства и желчности, сдобренных патриотическими настроениями. От этого варева и повалил в конце концов пар ненависти, изначально обуревающей буржуазную душу. Когда ненависть проникла во все поры, открыла новые горизонты и самые заманчивые перспективы, грянула гражданская война.

Я уже сказал, что компания, которая столь великодушно приняла меня, ничего не могла мне дать, но это не совсем верно, ибо они, именно они и никто другой, научили меня *кутить*. На кутеж ушло три дня: два дня на стрижку, утро — на покупку костюма, день — на добывание денег. Пятнадцати минут мне хватило, чтобы напиться, а далее до шести утра шел кутеж. Изложу случившееся в подробностях.

Однажды компания отправилась *выпить чаю* в одно из модных мадридских кафе. Называлось оно «Хрустальный замок» — ни больше ни меньше. Когда я там появился, мне стало ясно, что пора менять облик. Мои новые друзья, для которых я уже успел стать предметом гордости (что, надо сказать, ничуть меня не тронуло, ибо мои честолюбивые притязания простирались так далеко, что до подобных мелочей я просто не опускался), были готовы костьми лечь, защищая мой дурацкий вид, и твердо вознамерились принудить всех прочих им восхищаться. Они прямо-таки рвались в бой, еще немного — и мои лохмотья взметнулись бы над войском как знамя. Стоило кому-нибудь из элегантной публики задержать на мне взгляд, как вся компания начинала метать испепеляющие взоры: «Ах, облик нашего друга, кажется, шокирует вас не меньше, чем драная кошка? И прекрасно, но имейте в виду: вы и в подметки не годитесь нашему другу и, случись вам выказать ему презрение, схлопочете по физиономии!» Особенно грозен был Бунюэль, известный задира и отчаянный драчун. Он так и искал случая привязаться к кому-нибудь и устроить скандал, да пограндиознее, но на этот раз обошлось. Когда мы вышли из кафе, я объявил ревнителям моей неотразимости о своем решении: «Премного признателен всем, кто готов защищать мои интересы, однако впредь случая не представится. С завтрашнего дня я одеваюсь как все нормальные люди!»

Мои слова поразили их как гром среди ясного неба — компания оказалась страшно консервативна по части моего облика. Развернулась нескончаемая яростная дискуссия (нечто подобное, наверное, стряслось с учениками Сократа, когда они узнали о его намерении выпить цикуту). Меня отговаривали с таким пылом, словно моя индивидуальность целиком и полностью зависела от одежд, бакенбард и кудрей и будто бы, спасая вышепоименованные атрибуты, они спасали мою личность. Но решение мое было неколебимо. И вот по какой тайной причине, необычайно важной для меня в ту пору: я возымел желание привлечь внима-

ние элегантных женщин. А что такое элегантная женщина? Я понял это однажды в кафе, наблюдая одно из несомненных воплощений элегантности. Итак, элегантная женщина, во-первых, вас презирает и, во-вторых, чисто выбривает подмышки. Когда я впервые увидел чисто выбритую подмышку, меня потряс ее цвет — слегка отдающий в голубизну, изысканный и немного порочный. Я решил изучить проблему и изучил — досконально, ибо все, что я делаю, я делаю основательно.

Наутро я приступил к преображению и начал с кудрей, но в парикмахерскую отеля «Риц», как советовали друзья, сразу пойти не решился. Туда я намеревался пойти позже, для окончательной шлифовки шевелюры. Но немалого труда мне стоил и первый шаг; справившись с приступом робости, я переступил порог обычной парикмахерской и произнес: «Постригите меня!»

Цирюльник обернул меня белым покрывалом, и когда я увидал на белом полотне растерзанные клочья своих эбеновых кудрей, меня поразил самсонов комплекс. Впрочем, я не уверен, что сказание о Самсоне правдиво. Взглянув в зеркало, я поразился и разволновался: передо мной был король на троне. Это белое величавое покрывало, усеянное клоками состриженных волос,— какая великолепная пародия на горностаевую королевскую мантию! Странное, но точное сопоставление. Именно тогда в первый и последний раз в жизни я на какое-то время утратил веру в себя. Дитя-король вдруг показался мне порождением воображения биологически несостоятельной особи, мучимой несоответствием между ее болезненным, слабым организмом и развитым сознанием, неспособным на действие и потому обреченным на бесплодие и вырождение. На какое-то мгновенье я, состарившийся раньше срока, ощутил себя ущербным существом.

Обо всем этом я думал, глядя, как клочья моих волос устилают изразцовый пол. Я до сих пор помню тот трехцветный сине-бело-желтый рисунок: огромная змея — или дракон? — кусает себя за хвост. Неужели я так же глуп, как и все прочие? Я заплатил цирюльнику, дал на чай и отправился в «Риц» наводить лоск.

Не успела дверь парикмахерской захлопнуться за мной, как я почувствовал себя другим человеком. Все мои опасения и страхи развеялись, как мыльные пузыри. Я знал, что за той дверью сейчас метут мои иссиня-черные волосы, но я, антипод Фауста, ни о чем — слышите, ни о чем! — не жалел и, вожделея старости, истребляющей как Медуза Гор-

гона всякую сентиментальность, прямо под ноги времени выплюнул попавший мне в рот последний волосок моей юности.

В «Рице» вместо того, чтобы пойти в парикмахерскую, я проследовал в бар и попросил коктейль.

— Вам какой? — спросил официант.

— Самый лучший! — ответил я. Кто же знал, что они бывают разные!

Вкус коктейля показался мне омерзительным, но уже через пять минут я ощутил блаженство. Мысль о парикмахерской меня окончательно оставила. Я заказал второй коктейль, изрядно изумляясь и тому, что сегодня я впервые пропускаю занятия, и тому, что не ощущаю по этому поводу никаких угрызений. Мало того, мне показалось, что та моя жизнь кончилась раз и навсегда. И началась новая.

Небо над Мадридом сияло ослепительной синевой, а розоватые дома кирпичной кладки дышали светлой надеждой. Мне нет равных в целом мире, слышите, нет! От отеля «Риц» до трамвайной остановки было достаточно далеко, а я успел зверски проголодаться и несся во всю прыть. Люди, однако, не обращали на меня ни малейшего внимания, шли себе как ни в чем не бывало. Выносить это не было никаких сил, и я стал на бегу подпрыгивать все выше и выше. У меня вообще слабость к прыжкам в высоту, а тут уж я расстарался, и действительно — мои скоки привлекли всеобщее внимание, на лицах прохожих отразилось изумление, смешанное с испугом, что доставило мне несказанное удовольствие. В довершение всего я стал сопровождать свои скоки воплями. «Кровь слаще меда! — орал я.— Кровь слаще меда!» Последнее слово я выкрикивал что было мочи, подскакивая как можно выше. «Кровь слаще МЕДА!» И большой скачок. Приземляясь в очередной раз, я едва не сбил с ног своего однокашника. Он знал меня по Школе Изящных Искусств как самого прилежного, тихого ученика, аскета да и только, и теперь обомлел от потрясения. И я решил его добить: притворился, что хочу потихоньку объяснить ему причину своего несуразного поведения, и, склонясь к нему, не прошептал — нет! — проорал во всю глотку: «МЕЕЕЕда!» И со всех ног кинулся к остановке, вскочил в трамвай и оставил своего соратника в полном оцепенении. Приятно было видеть, как он стоит столбом разинув рот и глядит вслед удаляющемуся трамваю. В Школе бедолага твердил одно: «Дали-то спятил — скачет, как заяц!»

На другой день я пришел к самому концу занятий в элегантном простом костюме, купленном в одном из самых дорогих магазинов. Рубашка голубого шелка и темные очки с сапфировыми стеклами довершали наряд. Три часа кряду я помадил волосы какой-то липкой дрянью, но этого мне показалось мало, и я густо намазал их лаком для масляной живописи [21]. Конечный продукт моих упражнений походил на что угодно, только не на волосы — липкий, твердый панцирь покрывал мою голову, так что расческой можно было выбивать дробь, как на барабане.

Весть о моем мгновенном преображении облетела Школу Изящных Искусств. Да, действительно, теперь я, как все нормальные люди, ходил в костюме, купленном в наимоднейшей лавке, однако носил я его так своеобычно, что люди при виде меня оборачивались и долго глядели мне вслед — словом, вели себя так, словно я и не преображался.

Я же стал настоящим денди. Мои живописные лохмотья сменил причудливый ансамбль, составленный из вещей, которые по крайней мере казались дорогими. Никто уже надо мной не подшучивал, напротив, я вызывал восхищение и пробуждал любопытство.

---

[21] Изничтожение лака превратилось в настоящую трагедию. Растворялся он исключительно в скипидаре, которым запросто можно было выжечь себе глаза, и потому я более никогда не прибегал к лаку, а использовал вместо него яичный белок в смеси с бриллиантином. *(Прим. автора.)*

На той пирушке собралась почти вся компания. Многие оказались приверженцами либерального варианта социалистических идей, которые, как потом выяснилось, и породили все теории, вдохновившие крайних левых. Я же полагал, что счастье или несчастье — сугубо личная проблема, никак не зависящая ни от общественных, ни от политических структур, ни от уровня жизни и не связанная с правами человека. Но я также считал необходимым всячески расшатывать общественные устои затем, чтобы всемерно возбуждать в людях тоску — залог наслаждения, согласно психоанализу. А забота о счастье — дело церкви. Правительство правит — и только, народ или подчиняется правительству или свергает его. Это противостояние или даже противоборство и порождает ту или иную духовную структуру. Итогом противостояния не может быть просто общественный механизм или бюрократическая структура, каковая неминуемо приводит к истреблению личностного начала, к торжеству посредственности. Впрочем, добавил я, существует одна головокружительная, хоть и нереальная возможность великолепного правления — абсолютная монархия при короле-анархисте. Если подумать, Людовик Второй Баварский [22] был очень даже не плох!

Завязался спор, ни в малой мере не поколебавший, а лишь укрепивший мою убежденность. Я вообще до крайности ритуализованное существо. Если что-то входит у меня в привычку, то уж на всю оставшуюся жизнь.

Далее мы отправились в один из самых модных ресторанов «выпить чуть-чуть шампанского», но я-то знал, какой дозой обернется это «чуть-чуть». Близился час, когда я должен был дойти до кондиции. Мы уселись, и Бунюэль, предводитель застолья, провозгласил:

— Для начала по стаканчику виски, ну и что-нибудь поесть на сон грядущий, а после — шампанского!

Предложение встретило единодушную поддержку и было немедленно осуществлено. Все мы сошлись на том, что революция необходима, на этот счет даже не спорили, но кто ее осуществит и зачем? Это оказалось далеко не так ясно. Однако революция не собиралась совершаться на днях, а мы не стали забивать себе голову, тем более что нас уже дожидался мятный коктейль со льдом. Предполагалось, что он скрасит нам жизнь в промежутках между порциями виски. Когда упомянутый напиток пошел по четвертому разу, все как-то всполошились и стали тормошить Бунюэля: «Ну что там с шампанским?»

Часам к пяти мы со слезами на глазах раскупорили последнюю бутылку. Негритянский джаз был великолепен и брал за душу так, что ком подкатывал к горлу. Бунюэль предложил послать шампанского оркестру, что мы и сделали. Деньги для нас не значили ровным счетом ничего. Мы были щедры и сорили направо и налево родительскими деньгами. Вдохновленные новой бутылью шампанского, мы торжественно поклялись встретиться на этом же месте ровно через пятнадцать лет несмотря ни на что — ни на превратности судьбы, ни на политические разногласия. Мы поклялись вернуться сюда, даже если окажемся очень далеко и даже если на месте отеля не останется ничего кроме руин.

Для оформления договора потребовалась еще одна бутыль шампанского. Нас было семеро, и разодрав на семь частей карточку клуба с номером стола (кажется, то был номер ВОСЕМЬ — символика этого числа стала предметом обсуждения), мы обозначили дату встречи на одной стороне клочка, а на другой поставили свои подписи. Глубоко символичным (не зря в эту ночь мы то и дело сворачивали на символику) мне показалось, что договор был подписан на бумаге, предварительно разодранной в клочья, хотя никто тогда не обратил на это внимания. Каждый получил свой клок документа [23].

---

[22] Людовик Второй Баварский (1845—1886), коронованный в 1864 г., спустя два года был объявлен безумным и заключен в замок на берегу озера, в котором его утопили.

[23] Спустя девять лет в Париже я повстречался с одним из тех, кто подписал до-

По завершении торжественного подписания оказалось, что нам совершенно необходима очередная бутыль, дабы отпраздновать заключение пакта.

Ко времени назначенной через пятнадцать лет встречи в Испании разразилась гражданская война, а в том самом отеле, где мы подписали разодранный документ, расположился госпиталь, вскоре разрушенный бомбой. Какой прекрасный сюжет для голливудского фильма! Вы только представьте себе героическую одиссею семерых, оказавшихся волею обоюдного фанатизма по разные стороны баррикад, друзей, раздираемых ненавистью и нашедших в себе силы на миг отринуть ее и выполнить договор! Какой сумрачной, потусторонней и накаленной была бы эта гипотетическая трапеза! Состоялась ли она, не знаю. Но могу сообщить вам по секрету: меня там не было.

В один из вечеров я взял такси и дал шоферу адрес кабаре «Флорида», где намеревался поужинать в одиночестве и разглядеть ради одного своего замысла цвет мадридских дам. Меня уверили, что именно во «Флориде» можно лицезреть самых красивых и роскошных женщин столицы. Но я искал — элегантную. Мельком взглянув на танцовщицу, я понял, что она не представляет для меня ни малейшего интереса, ибо слишком красива и, во-вторых, так и пышет здоровьем — до ужаса, до тошноты — и, следовательно, напрочь лишена *элегантности.*

Я никогда не встречал женщины одновременно красивой и элегантной — это взаимоисключающие характеристики. В элегантной женщине всегда ощутима грань ее уродства (конечно, не ярко выраженного) и красоты, которая заметна, но не более того. Ее красота всего-навсего заметна, но не исключительна. Элегантная женщина может и должна обходиться тем немногим, что ей выделила природа: лицо ее не блещет красотой, настырной, как трубный глас. Лицо ее отмечено печатью уродливости, усталости и нервности (а уж элегантность возводит эти составляющие в качественно новую, возвышенную степень манящего и властного цинизма). Итак, лицу элегантной женщины не нужно красоты, зато руки ее и ноги должны быть безукоризненно, умопомрачительно красивы и — насколько возможно — открыты взору. Грудь же не имеет ровным счетом никакого значения. Если она красива, прекрасно, если нет — прискорбно, но само по себе это не важно. Что касается фигуры, то я предъявляю к ней одно непременное для элегантности требование — это рисунок бедер, крутых и поджарых, если позволительно так выразиться. Их угадаешь под любой одеждой, они словно бросают вызов. Вы, наверное, полагаете, что не менее важен рисунок плеч? Ничего подобного. Я допускаю любой, лишь бы волновал. Глаза? Это очень важно! Глаза обязательно должны хотя бы казаться умными. У элегантной женщины не может быть глупого выражения лица, как нельзя более характерного для красавицы и замечательно гармонирующего с идеальной красотой. Наглядным примером тому Венера Милосская. В очертаниях рта элегантной женщины должна непременно сквозить отчужденность, высокомерная и печальная. Но иногда — не часто — в минуты душевного волнения лицо ее вдруг преображается, исполняясь неземной нежностью. Нос? У элегантных женщин не бывает носов! Это привилегия красавиц. А волосы у элегантной женщины должны быть, причем здоровые. Это единственное, чему в организме элегантной женщины надлежит быть здоровым. Элегантная женщина, единожды покорившись ярму своей элегантности, должна с достоинством выносить ее гнет вкупе с нарядами и драгоценностями. Элегантность должна стать стержнем ее бытия и в то же время причиной ее изнеможения.

говор. Он мне признался, что любовно хранит свой клок, и я в очередной раз подивился, как живуче в людях детство. Только человеку с трудом дается старение, совсем не так, как зверям, деревьям, скалам и памятникам. *(Прим. автора.)*

Поэтому элегантная женщина строга и не сентиментальна, и душа ее оттаивает лишь в любви, а любит она сурово, отважно, изысканно и жадно. Только такая любовь ей к лицу, равно как драгоценности и наряды — их роскошь рифмуется с высокомерной роскошью пренебрежения, которой она нас одаряет.

Во «Флориде» было полным-полно красавиц, но истинно элегантной женщины я так и не нашел, хотя прилежно таращил глаза. И решил на первых порах удовольствоваться элегантностью в первом приближении, хотя знал, что ничего хуже *почти элегантной* женщины и представить себе невозможно. Представьте, что вам суют лекарство и уверяют, что оно *почти сладкое,*— это то же самое, если не гаже.

Весь следующий день я отлеживался и пил исключительно лимонад, а выспавшись, в урочный час отправился в Академию — затем, чтобы претерпеть исключение. Едва переступив порог Школы Изящных Искусств, я натолкнулся на негодующую толпу студентов и кожей почувствовал близость беды. Мне снова предстояло стать жертвой мифологии, которая успела сложиться вокруг меня. Внимательному читателю еще не раз представится случай убедиться в том, что вокруг меня с неизбежностью складывается мифология; такова, по всей видимости, моя натура. Мифологических сюжетов, составляющих мою исключительную собственность, не так много, но все они, единожды разыгравшись, варьируются, повторяясь вновь и вновь. И если уж в жизнь мою единожды вторгся костыль, будьте уверены, продолжение последует. Так или иначе, самым возвышенным образом или наипошлейшим манером он будет время от времени напоминать о себе и, пока я жив, не отвяжется.

Тогда я еще не успел вывести эту закономерность, а то бы сразу догадался, чем дело обернется, припомнив, что однажды меня уже исключали из колледжа. Конечно, убогое мышление, не осененное параноидальным вдохновением, вообще не способно уразуметь эту связь, но, уверяю вас, самое первое из моих исключений — не пустая случайность. Великой судьбой правят неумолимые законы. Итак, во дворике Академии Изящных Искусств я увидел горланящую толпу. Меня тотчас окружили, наперебой объясняя что к чему и призывая не то поддержать, не то возглавить мятеж.

Что же стряслось? Я знал, что на кафедре живописи открылась вакансия и был объявлен конкурс, в котором приняли участие очень известные художники. Академия выставила работы претендентов, одну на вольную, другую — на заданную тему. Все они являли собой образцы посредственности, за одним-единственным исключением. Я имею в виду Даниэля Васкеса Диаса[24], в ту пору постимпрессиониста. Семена, которые я разбросал по Школе Изящных Искусств, успели прорасти, и некоторая часть наиболее одаренных и энергичных студентов восторженно встретила кандидатуру Васкеса Диаса, испытавшего несомненное влияние кубизма, но так и не ставшего кубистом. В его переложении кубизм и был воспринят в Школе, мои же вариации оказались ей не по зубам.

Никто из мятежников не сомневался, что я приму сторону Васкеса Диаса. Бурно обсуждая плетущиеся интриги и грядущую несправедливость — на кафедру всенепременно возьмут какую-нибудь бездарность! — они потащили меня на выставку, и я убедился, что Васкесу Диасу действительно никто и в подметки не годится, хотя, честно говоря, совсем не его хотел бы я видеть в роли учителя. Я предпочел бы преподавателя старой школы, знающего свое дело. Но таковые перевелись, о выборе и речи не шло, и я не колеблясь отдал свой голос за Васкеса Диаса.

Тем временем в зале завершилось слушание речей кандидатов. Каждый вкратце изложил свое педагогическое кредо (Васкес Диас и здесь оказался толковее прочих). Академический синклит удалился на совещание и вынес решение, оправдавшее наши худшие ожидания: свершилась очередная несправедливость, вплелась еще одна нить в ткань наибездарнейшего времени испанской истории. В знак протеста я встал, не дожидаясь конца речи председательствующего, самого именитого из академиков, молча удалился и, поразмыслив, направился в кафе «Регина» к друзьям. Все они в той или иной степени были в ту пору под сильным

---

[24] Даниэль Васкес Диас (1882—1969) — испанский художник, портретист.

влиянием Мануэля Асаньи[25], в недалеком будущем президента Испанской республики.

В Школе Изящных Искусств тем временем произошли замечательные события. На другой день, едва я там появился, мне сообщили, что я исключен за вчерашнее. Сначала я просто не поверил — как можно за незначительный проступок карать так жестоко! Ведь то, что я сделал в знак протеста, все-таки укладывалось в рамки приличий: я не пытался прервать выступление академика и, уходя, даже не хлопнул дверью. Не зная, что потом началось, виноватым я себя не чувствовал. А после того, как я удалился, защитники Васкеса Диаса расшумелись, стали оскорблять оратора и вскоре от слов перешли к делу. В итоге академическому синклиту пришлось спасаться бегством и отсиживаться на кафедре рисунка. Студенты пытались протаранить дверь лавкой, и только вмешательство полиции положило конец осаде перепуганных академиков.

Ответственность за происшедшее лежала на мне, никто не сомневался, что я был идейным вдохновителем мятежа. И хотя меня в то время просто не было в Школе, фамилия моя оказалась среди первых в списке исключенных бунтарей — я же подал знак начинать! Оправданий моих не выслушали, и дисциплинарный совет на год исключил меня из числа студентов Школы Изящных Искусств. Я вернулся в Фигерас.

Не успел я и недели прожить дома, как за мной явился жандарм, и я был препровожден в местную тюрьму. Затем, спустя месяц, проследовал в тюрьму города Жероны. В конце концов так и не найдя, за что судить, меня выпустили.

В ту пору генерал Примо де Ривера, отец Хосе Антонио, основателя Фаланги, жестоко расправлялся с любым проявлением бунтарства. Недавние выборы возбудили новый всплеск политической активности, и все мои фигерасские друзья оказались революционерами. Отцу же, исполняя свои профессиональные обязанности, приходилось не раз документально заверять злоупотребления, совершенные правыми при подготовке и проведении выборов. Не появись я в Фигерасе, это, возможно, осталось бы без последствий, но я принялся на каждом углу разглагольствовать об анархии и монархии, привлекая всеобщее внимание. Все это в итоге и привело меня в тюрьму. Отец мог бы подробно и точно описать случившееся, я же ограничусь тем, что упомяну об этом колоритном анекдотическом эпизоде моей жизни.

В тюрьме я наслаждался. Меня поместили вместе с политическими заключенными, которым друзья, соратники и родственники натащили невообразимое количество даров. Ежевечерне мы пили шампанское местного разлива, надо заметить, преотвратительное. В тюрьме я снова взялся за «Вавилонскую башню», желая шаг за шагом философски осмыслить свой мадридский опыт. Я был совершенно счастлив, ибо вновь открыл для себя пейзаж Ампурдана, реявший за прутьями тюремной решетки, и почувствовал, что наконец-то состарился — хоть немного. Я страстно этого желал — и свершилось. Таков был итог пережитого. Я постарел, я в тюрьме, в первый раз в жизни я — *узник*, и это прекрасно. А кроме всего прочего в те дни я передохнул — в тюрьме немного спал накал моей духовной напряженности.

В одном из номеров «ИЛ» 1992 года публикация фрагментов «Тайной жизни Сальвадора Дали» будет продолжена.

---

[25] Мануэль Асанья (1880—1940) — испанский политический деятель, левый республиканец. В 1931—1933, 1936 гг.— премьер-министр Испанской республики, с 1936 по 1939 г.— президент. Умер в эмиграции, во Франции.

ЕВРАЗИЙСКАЯ ИДЕЯ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Из материалов конференции, состоявшейся в Комиссии СССР по делам ЮНЕСКО

Сегодня на обширных евроазиатских просторах, некогда именовавшихся Российской империей, а позднее Союзом Советских Социалистических Республик, происходят бурные политические, социальные и культурные процессы, которые, невзирая на центробежные тенденции, ведут к формированию новой общенациональной ментальности и созданию новой государственности. В нашем отечестве, как в кентавре, неразрывно соединяющим в себе две разные природы, слиты две великие цивилизации — западная и восточная, христианская и исламская. Эта гремучая смесь на протяжении столетий не раз раздирала тело и душу страны мощными взрывами, кидавшими общество то к закату, то к восходу. Могут ли Запад и Восток, наконец поняв друг друга, образовать гармоничное целое? Какой была и есть, какой будет вечно изменяющаяся Евразия?

Такова тема встречи, которую редакция «ИЛ» провела совместно с Комиссией СССР по делам ЮНЕСКО. Круг обсуждавшихся вопросов не исчерпывался белоэмигрантским движением евразийцев, которое в глазах многих скомпрометировано инфильтрацией чекистской агентуры. Идея евразийства находится сейчас в центре внимания философов, историков, деятелей церкви, культурологов и политологов, питая самые полярные точки зрения. Некоторые из этих позиций были обозначены и на нашей конференции, которую вели председатель Комиссии по делам ЮНЕСКО Р. Отунбаева и главный редактор «ИЛ» В. Лакшин. В дискуссии участвовали: академик С. Аверинцев, директор Института всеобщей истории А. Чубарьян, заместитель директора Института мировой литературы П. Палиевский, архимандрит Иннокентий Просвирин, культуролог Г. Померанц, критик И. Роднянская, директор Института языка и литературы Якутского научного центра В. Иванов, философ Р. Гальцева, эксперт Комиссии СССР по делам ЮНЕСКО С. Земляной, журналист и издатель А. Черкизов, директор Центра проектирования экстремальных условий Д. Пюрвеев. Разговор получился содержательный и весьма широкий. К сожалению, ограниченность журнальной площади позволяет нам напечатать лишь некоторые из выступлений, наиболее близко касавшиеся основной темы.

Р. ОТУНБАЕВА. Уважаемые гости! Мы очень рады, что вы откликнулись на наше приглашение, придя сегодня к нам, в Комиссию СССР по делам ЮНЕСКО. Прежде всего хочу сказать, что здесь, в этом доме, в этом зале, мы хотели бы чаще видеть представителей нашей творческой интеллигенции, людей высокого духа. Тема, которая привела нас сюда, появилась не на пустом месте, мы много об этом думаем в последнее время. Она возникает на страницах журналов и газет, приходится задумываться над нею и нам, людям, занимающимся, так сказать, прикладной политикой. В этом сложном, заблудшем мире нам не мешало бы на миг остановиться и подумать, откуда мы, кто мы, почему мы такие разные, почему живем под этим единым кровом? И тогда мы увидим, что тема евразийства имеет глубинные духовные истоки, сможем проследить непрерывную нить, проходящую сквозь историю. Вот об этом и хотелось бы сегодня поговорить.

В этом доме, в нашей Комиссии по вопросам культуры, науки, образования, призванной стать местом встречи интеллектуалов, мне хочется вспомнить слова Бориса Пастернака, название его сборника «Поверх барьеров». Давайте говорить поверх всех барьеров, разделявших и разделяющих нас. Быть может, в евразийстве наш общий корень, единящее нас начало, которое станет исходным для конкретных практических действий, для совместной работы духа.

Мне трудно говорить в этой высокой, духовно мощной аудитории. Мы долго думали и подбирали весь круг наших сегодняшних собеседников. Мы знаем вас по работам, по книгам, гордимся вами. Свое участие в конференции мы, организаторы, видим лишь в том, чтобы поставить вопрос, обозначить тему для разговора. Надеюсь, нам сегодня удастся раскрыть ее во всей глубине, поднять серьезный, плодоносный пласт, чтобы появились новые всходы.

П. ПАЛИЕВСКИЙ. О евразийцах вспомнили не от большой любви к философии. Это практическая потребность. В них есть просвет из тупиков, куда, как считается, мы забрели,— или выход из несочетаемых требований, которые сочетать все-таки нужно.

Истоки евразийства следует искать у Карамзина. Он первый предложил неожиданную идею, что татаро-монгольское иго было не просто катастрофой, но и каким-то положительным началом для Руси. Татары (условное обозначение тех времен) сообщили русским мощную централизованную государственность, которая вывела страну из многих исторических бед; дали связь и крепление огромным пространствам и т. д. Тем самым Карамзин положил начало пониманию близости народов сквозь политические противостояния и приоткрыл общность их исторической судьбы. Однако весь почти XIX век идея эта не находила поддержки, как и многие сходные слишком парадоксальные мысли, например, у Пушкина, что «духовенство, пощаженное удивительной сметливостью татар, одно... питало искры византийской образованности» (из статьи 1834 г.) и т. п. Понадобилось новое историческое потрясение, чтобы вернуться к «сближению далековатых идей».

Это и попытались сделать евразийцы. Их положение оказалось слишком парадоксальным. Среди всех умственных течений эмиграции они единственно пошли не против, а навстречу революции, одновременно резко отбрасывая марксистский атеизм.

Раскройте «Философию истории» Л. П. Карсавина (Берлин, 1923 г.). Этот поднимающийся у нас наконец мыслитель погиб «просто православным» в наших лагерях, но успел стать одним из основателей евразийства.

«Надо сознаться, что концепция большевиков по своему характеру и типу ближе к господствующей в современной историографии, тогда как концепция их противников возвращает нас к эпохе веры в создание истории силою персон». Еще: «Мы не утверждаем, что большевики идеальная власть, даже — что они просто хорошая власть. Но мы допускаем, что они власть наилучшая из всех ныне в России возможных». Или: «Если вожди не верили сами в немедленный социализм, необходимо предположить в них нечеловеческое лукавство и гениальную прозорливость. Если они верили, это лишний раз свидетельствует о том, что они в руках истории — ничтожные пешки, и это вполне согласуется с отрицанием роли личности в истории».

Карсавин видит в большевиках народные свойства («Жажда социального переустройства и даже социальной правды; инстинкт государственности и великодержавия») и делает, может быть, наиболее важный для наших дней вывод: «Коммунистической идеологией большевизм не исчерпывается».

Можно себе представить, что, если эти мысли и сейчас воспринимаются с трудом, как они отзывались тогда. Евразийцы были эмигрантами и «там» и «здесь». Непостижимым было их желание признать положительные стороны устанавливающейся власти, которая могла принять это от своих идейных противников только как тягчайшее оскорбление. Немало евразийцев, оказавшихся в ее руках, кончили очень плачевно.

Вспоминается один из первых «советологов» XIX века Уоллес Маккензи с его книгой о России. Он встречался с Достоевским и с изумлением спрашивал: как же так, царь загнал вас на каторгу, хотел раздавить ложным расстрелом, а вы — за него? Никак это не укладывается в его голове.

Евразийцы производили на либеральное сознание подобное же впечатление. Один из них, последних оставшихся, которых мне довелось знать, Иван Никифорович Заволоко, держал себя именно так. Очутившись в пределах СССР, он был тут же препровожден в соответствующие места, потерял ногу: никакого ожесточения. Разговаривая, он сочувственно и добродушно поглядывал на вас, как будто не он, а вы отбыли этот срок. Он был старообрядец — об этом помянул недавно в «Правде» (27.03.91) Владислав Бахревский, рассказав, что рижская община приняла большевиков за то, что те вернули русским древнее красное знамя,— и уже после лагерей передал государству бесценный сохраненный в их общине список «Слова о погибели Русской Земли» и другие рукописи, хранящиеся теперь в Пушкинском доме. Мне он подарил составленный им альбом древнерусской вышивки (Рига, 1939 г.), где помещены также фотографии хора Рижского кружка ревнителей старины... Замечательно выражение этих лиц: люди, которых ничем нельзя оскорбить.

Крупнейшим евразийцем считается Николай Сергеевич Трубецкой (1890—1938). Он известен как филолог мирового уровня, основатель фонологии, и потому, может быть, первым поминается в этом течении. Мне кажется более значительным Петр Николаевич Савицкий (1895—1968). Он дал обоснование ключевых понятий по всему кругу этих идей. В его трудах глубже других раскрылось сотрудничество и общежитие народов, которые складывали особый мир Евразии, примерно совпадающий с нынешней территорией СССР; их «континентальные» привычки и навыки, обычаи, ничуть не менее содержательные, чем «ладейно-корабельное» общение морских островных народов: кочевничество.

Стяжение в единство этого громадного континента через общность судьбы, его мировые задачи и т. д.— все это поднялось благодаря Савицкому к новому пониманию. Классическими работами его являются «Кочевниковедение», «Местоположение русской промышленности» и «Россия особый географический мир» (1927). Социально-политически именно Савицкий сформулировал преобладающее у евразийцев убеждение о неприятии и капитализма, и коминтерновского социализма; он дал толчок их объективному стремлению разобраться и усвоить уроки истории, независимо от того, в каких идеологических обличьях это выражалось. Личная судьба его была также, к сожалению, наиболее типична. Он преследовался нацистами в Праге и дважды отсидел в наших лагерях, второй раз по совсем уж бесстыдному поводу — за появление на Западе, без его ведома, сборника его давних стихов.

Многого стоит его небольшая книжка, вышедшая в Таллинне в 1938 году: «Разрушающие свою Родину. Снос памятников куль-

туры и распродажа музеев в СССР». Этот строго фактический трактат, составленный задолго до того, как стали «плодить в полемике журнальной давно уж ведомое всем», перечисляет, обращаясь к соотечественникам, те истребляемые ценности, которые могли бы стать духовной опорой даже при обороне страны (что сбылось почти немедленно), называет имена вечно-прогрессивных деятелей, которые могли писать тогда в «Вечерке» восторженные статьи «Долой Сухаревку!», а ныне сокрушаются о гибели целых «поколений культуры»... Не многим известно, как во времена первых усилий поднять у нас историческое сознание удалось достать и размножить эту книжку; но скольких людей спасла она от отчаяния и одновременно от навязываемого поклонения «западной демократии».

Выдающееся значение имеет работа Савицкого «Ритмы монгольского века». В ней рассматриваются признаки подъема и упадка России в условиях внешнего захвата и завоевания. Общее число «подъемных», по Савицкому, 27 (почти «панфиловцы»), но хороши и «депрессивные» — научная точность и краткость его характеристик поразительны.

У евразийцев было немало высоких умов, таких как Г. В. Вернадский (сын Владимира Ивановича), с его «Опытом истории Евразии» и особенно «Звеньями русской культуры» (Брюссель, 1938), но выделяется среди всех все-таки П. Н. Савицкий. Он был главным организатором движения, его собирателем и — не имея средств — издателем.

На что надеялись евразийцы? Удивительно и сейчас думать об этом, учитывая, какие силы противостояли им с обеих сторон. Они жили надеждой развития, но, конечно, «вышли рано, до звезды». Как и их политическая разновидность «младороссы», они рассчитывали встретить через политические барьеры «младобольшевиков» и исторически не ошиблись, но непосредственно все было иначе.

Нам, понятно, невозможно судить о нынешней внешней деятельности КГБ, но в те времена эта организация работала образцово. К евразийцам был послан провокатор Александр Ланговой, тщательно изучивший их литературу. Расчет был правилен: они поддадутся на пусть слабое, но хоть какое-то обещание тепла с родины. Сегодняшний наш председатель, редактор «Иностранной литературы», может быть, помнит члена редколлегии журнала Льва Вениаминовича Никулина. Это был писатель с широкими и специфическими связями, и он изложил всю эту историю, допущенный к документам, в романе-хронике «Мертвая зыбь» (Изд-во министерства обороны, 1965). Идея книги — «всю эту чепуху приходилось обсуждать и разбираться в ней, чтобы в борьбе с белой эмиграцией использовать евразийцев»,— слишком понятна, но факты в ней собраны замечательные. Страстный молодой человек из «Совдепии» произнес на I-м съезде евразийцев (Берлин, январь 1925 г.) многочасовую речь, увлекая заждавшихся. Когда через два года пришло протрезвление, многие отвернулись от евразийства. Интересно, испытывал ли этот человек, скончавшийся, по свидетельству Никулина, в 1964 году, хоть тень раскаяния, подобно известному провокатору «от большевиков» Малиновскому? Задуматься над этим у него были и время и материал.

Ядро евразийцев во главе с Савицким не распалось. Но их выводы стали резче, определеннее и, так сказать, безогляднее — по всем адресам. В изданиях типа «Евразийского временника», «Евразийской хроники», «Потока Евразии» и др. они продолжали печатать свои философские труды вместе с оценкой текущих событий, уже не надеясь на популярность. Так, оставаясь сугубо русскими и православными, они обвиняли большинство церковных деятелей своего времени в нежелании и неумении ответить людям на конкретные вопросы об их месте в судьбе родины. «... Происходит это потому, что церковь *до сего дня* в своем существе — *монархична,* и в этой своей *монархичности* она *убеждена,* что и весь российский народ *монархичен*... Уже давно пора отбросить глупую и преступную мысль, что: церковь есть монополия правых партий. Церковь должна быть делом *всего народа: Всех и Ничья*» («Поток Евразии», кн. I, 1938 г.).

Внимательно следя за событиями на родине, евразийцы с удовлетворением отмечали, что СССР «устанавливает независимость советского хозяйства от хозяйства мирового, что не соответствует схеме марксизма». И далее: «Лозунг т. н. «социализма в одной стране», глубоко патриотический и национальный в своей основе, в корне чужд интернациональному марксизму. Что сказали бы теперь Маркс, Энгельс и сам Ленин, когда в «первой социалистической стране» закричали о «Родине», «любви к отечеству и народной гордости». Мы к этому уже привыкли, но кости Маркса, наверное, содрогаются от этого» («Поток Евразии»).

Оригинальную оценку дали евразийцы началу «троцкистско-бухаринских» судебных процессов в Москве. Они пришли к выводу, что «Сталин опирается на своеобразно «националистические» кадры». Специально принятая по этому поводу резолюция отмечала: «...уничтожаются или приводятся к молчанию все важнейшие идеологи коммунизма в России». А так как природа не терпит пустоты, то освободившееся место должно быть заполнено *не*коммунистическим содержанием. Каким? Либо «пошлейший европейский «демократизм», окрашенный социальным радикализмом, в связи с особенностями социального строя СССР. Или же содержанием этим будет евразийство» («Евразийская хроника», 1937 г.).

Евразийцы, к счастью, не успели оставить системы, которую можно лишь принять или отвергнуть. Они жили в непрерывном споре не только с двумя могучими жерновами, стремившимися их перемолоть, но и друг с другом. Загляните в брошюру Н. Н. Алексеева, В. Н. Ильина и П. Н. Савицкого, изданную в Париже,— нет ничего показательней ее заглавия: «О газете «Евразия» (газета «Евразия» не есть евразийский орган)». Но стратегически важные идеи, заложенные в их трудах (которые надлежит перепечатать и прочесть), подошли к порогу общего внимания. Они готовы участвовать в наших делах.

Вопрос из зала: Петр Васильевич, вы говорили об источниках евразийства. Не счи-

таете ли вы одним из них Д. И. Менделеева?

— Безусловно. Его книги «К познанию России» и «Заветные мысли» всегда казались мне значительней его Периодической системы. В них анализ переписи в России соединил технические и философские идеи. Главные из них, мне кажется,— определение «работы» и «труда», конечно, более глубокое, чем в марксизме; нахождение центра России, который, по мысли Менделеева, смещается к Сибири — откуда, по предсказанию, должно «произрастать ее могущество»; мысль о неизбежном «заквитывании» зла добром и — задача, сформулированная им так: «Я полагаю, что наш русский народ, занимая географическую середину старого материка, представляет лучший пример народа реального, народа с реальными представлениями, и что он сможет, по-видимому, довести до конца... представления об единении вещества, силы и духа, в чем должно видеть истинное торжество реализма». Но ни к каким источникам, самым высоким, дело не сводится. Евразийство должно быть понято в его собственном заряде.

Г. ПОМЕРАНЦ. Я исхожу из своей концепции субэкумена, которую я разработал отчасти с целью избежать путаницы, связанной с неясными понятиями культурных кругов, цивилизаций и т. д. Под субэкуменами я понимаю не всякую коалицию культур, а только такие, которые обладают большой устойчивостью и способностью переносить кризисы, тысячелетиями сохраняя свою самобытность. Таких особых коалиций культур, связанных единой религией и единой философской традицией, я насчитываю четыре: христианский мир, мир ислама, индуистско-буддийский мир Южной Азии и конфуцианско-буддийский мир Дальнего Востока. Детали своей концепции — понятия субэкуменального узла (вроде Византии), бисубэкумены (монотеистический мир) и бисубэкуменального узла (отношения Индии и Китая) я обхожу. Мне важно подчеркнуть другое: остальные коалиции культур, не связанные общностью духовной традиции, недолговечны. Они то возникают, то исчезают, часто в связи с созданием и распадом империй, Евразийская коалиция — именно такая неустойчивая реальность, своего рода суперэтнос, как его определяет Л. Н. Гумилев. Это пограничная зона межкультурного общения, зона, в которой проходит граница христианства и ислама, достаточно горячая. Если дела пойдут по воле стихии, как они начали идти в процессе распада империи, то евразийская общность вряд ли устоит.

Думаю, что христианский мир еще на века останется христианским миром и мир ислама останется миром ислама. И останутся проблемы как-то урегулировать отношения между миром ислама и соседними мирами. Можно вспомнить опыт Индии (раздел) в 1947 году. Цена — 1 миллион убитых во время резни и 16 миллионов беженцев. Другой вариант — попытки найти какие-то местные компромиссы за счет бытовых традиций мирного существования. Это ливанский вариант. Придумана была особая конституция, основанная на квотах для каждого крупного вероисповедания. Однако избежать конфликтов не удалось.

Что происходит у нас в этой конфликтной зоне? Позвольте прочитать пару страничек из письма читательницы. «Прочитала в «Юности» вашу мысль о том, что нельзя сводить счеты за триста и более лет. И мне захотелось проиллюстрировать Вашу мысль тем, что я наблюдала этой осенью в Алма-Ате. Я гостила там месяц — в сентябре-октябре. Когда я там была, вышло эссе Солженицына, где помимо всего прочего было предложение вернуть Северный Казахстан России. Реакция, конечно, однозначная и негативная. Но вот что интересно. Было два типа негативных реакций: первая — казахский «Апрель» и т. п. Такие люди сначала говорили о своем уважении к Солженицыну, к его творчеству, его подвигу, затем разумно по пунктам опровергали. Второе. Солженицын — враг номер один казахского народа. Господинчик. Он так говорит, потому что он казак, а казаки всегда угнетали казахов. Начиная с разбойника Ермака. То есть возбуждая против всех русских, которые живут в республике не первое поколение. И тут же, конечно, встал проклятый вопрос: кому эти земли исконные. Я все говорила им, что не в исконности дело... Вообще там все видится иначе. Что там Солженицын. Дмитрий Сергеевич Лихачев для казахов очень плохой человек, так как он участвовал в критике (травле?) книги О. Сулейменова «Аз и Я»; и это знают все, кто даже не читал «Аз и Я» и никогда не прочтет. Если вы там будете рассуждать на тему, есть ли особый русский путь, вас обязательно спросят, почему именно русский. Если астролог говорит по телевидению, что скоро придет новый Христос, то скажут, пусть лучше придет Магомет, и т. п.»

Вот — конкретная ситуация, с которой мы сталкиваемся и которая имеет жизненно важное значение, что бы ни говорили евразийские мыслители в прошлом. Угроза обострения отношений в этом регионе пугает меня очень давно. Я, в частности, еще в 70-е годы писал, анализируя сборник «Из-под глыб»: решительность, с которой Солженицын определяет, какой народ перед кем и насколько виноват, показывает готовность так же твердо провести границу между русским и тюркским миром, сохраняя полную уверенность в справедливости своего одностороннего решения. Солженицынский план обустройства России и реакция на него совершенно подтвердили мой анализ.

Другой вопрос: удастся ли этот план. По-моему, вряд ли. Начать раздел и при этом самодержавно проводить границы — значит создать десятки Северных Ирландий. Такой отклик и был на проект. Может быть, последнее предупреждение русскому национализму, который уж лет двадцать развивается с лицом, обращенным назад, и выдвигает на первое место вопрос об ответственности за революцию, не замечая угроз впереди.

Несколько позже, в 1985 году, набрасывая «Корзину цветов нобелевскому лауреату», которая сейчас опубликована (в «Октябре», 1990, № 11), я еще раз оглядывал всю перспективу, намечая негативные варианты развития, от которых дай нам Бог

ускользнуть. На ближайшие годы, писал я, только одна перспектива: нарастающее отчуждение советских наций от замороженного русского центра, превращение наций в партии, с прогрессивной ролью окраин и реакционной ролью России. Сегодня надо сделать поправку: с реакционной ролью центральных союзных ведомств, с реакционной ролью имперской России; ибо произошел раскол между Россией имперской и Россией национальной. Возможно, что именно этот путь к чему-нибудь доброму приведет.

Теперь вопрос: что можно предпринять, пытаясь избежать наиболее трагических последствий. Первое. Бороться за то, чтобы стиль спора стал важнее предмета спора; за то, что лучше потерять предмет спора, чем свое человеческое лицо в этом споре. Этот принцип выдвинут был мною в чисто теоретическом плане как принцип научной полемики, но после развернувшихся событий на окраинах, я думаю, что его можно применить и к геополитическим проблемам. Общее отвращение, которое вызвало применение войск в Прибалтике, связано не с тем, что предмет спора нас не интересует, что нам чужды заботы русскоязычного населения. Нет, мы ему в чем-то сочувствовали...

Отвращение, которое в Москве вызвали действия войск, связаны с тем, что части ОМОН и другие отряды потеряли там свое человеческое лицо. Я бы стоял даже за создание какого-либо постоянно действующего совещания, объединяющего интеллигенцию центра и республик, под образом этого принципа: «Цель спора важнее предмета спора». Спорных вопросов чрезвычайно много, и они захватывают чрезвычайно широкий круг, но попытаемся их решать в духе мира.

Второй комплекс мер от нас, здесь присутствующих, не зависит. Совершенно очевидно, что если Центральная Россия будет разваливающимся экономическим телом, то республики будут бежать. И тут никакие теории не помогут. Почему мусульманская Турция предпочитает дружить с христианской Европой? Потому что это выгодно. И как-то выручает Турцию. Поэтому решающим для хороших взаимоотношений между русскоязычным и коренным населением, мне кажется, является проблема отношения центра и окраин, проблема экономического здоровья центра. А для этого экономического здоровья надо ликвидировать реликты империи, освободиться от гигантских военных расходов, войти в единую европейско-американскую систему безопасности и получить «план Маршалла». Тогда все будет в порядке, тогда центростремительные силы будут сильнее центробежных. А если мы этого не добьемся, если по-прежнему останется слаборазвитость, прикрытая теми или иными иллюзиями, хотя бы евразийскими, то все равно это ни к чему хорошему не приведет.

Третий круг проблем — глобального духовного характера. Речь идет о каком-то взаимопонимании двух религиозно-культурных миров, и встает вопрос, захватывающий религиозных мыслителей Европы уже ряд десятилетий,— вопрос об освобождении религии от груза совиновности за трагические события XX века. Есть подход к этой проблеме и с мусульманской стороны. Существует шиитская легенда о скрытом имаме. Я прочел о ней у Корбена. Когда скрытый имам явится, он не даст нового пророчества, потому что это противоречило бы Корану, но он даст такое истолкование всех прежних пророчеств, что исчезнет вражда между народами Книги. Есть русская легенда, сотворенная Даниилом Андреевым в «Розе мира». Но наиболее плодотворной кажется мне европейская «Теология после Освенцима». Сергей Лёзов, пропагандист этой теологии, подчеркивает, что дело не только в частной катастрофе 1943—1945 годов, что эта катастрофа является лишь симптомом, может, самым зловещим из симптомов, несостоятельности христианства. Оказалось, что христиане больше не вправе заниматься деятельностью под названием «христианский ответ на вызов марксизма, современный мир и многое другое». Оказалось, что, не упуская из виду все эти вызовы, христиане должны найти точку опоры для последовательного переосмысления собственной веры. Лёзов опирается в особенности на Пауля Тиллиха, защищавшего такое понимание ценностей христианства, когда решительно отрицается коренная роль той или иной буквы, того или иного вероучительного положения, когда вера становится делом риска каждого человека, ищущего дух своей веры, не придавая чрезмерного значения какой бы то ни было букве. Я поясню это одним из принципов другой традиции. С точки зрения дзэнской классики спасение требует великой веры, великого рвения и великого сомнения во всех словах, указывающих путь веры. Эти слова сплошь и рядом оказываются препятствием на пути к тому, к чему они ведут, ибо все слова неадекватны предмету веры, и поэтому всякая привязанность к словам, то есть всякий сдвиг в сторону фундаментализма, всякая привязанность к букве в ущерб духу приводят к тому, что верующий на пути к вере, пытаясь избежать личного риска в поисках духа сквозь букву, попадает в те или иные ловушки. Мне кажется, что такое вот использование опыта европейской теологии после Освенцима и опыта дзэн может вдохновить и ослабление напряженности между любыми другими великими религиями. Мы живем на очень тесном и очень хрупком земном шаре, и нам жизненно необходимо установление такого духовного климата, где вера будет делом личного риска, а не средством собирать толпу для того, чтобы следовать лозунгу «Наших бьют!».

И. РОДНЯНСКАЯ. Как в последнее время со мной нередко случается, встретив две крайние точки зрения на какой-нибудь животрепещущий предмет, я порываюсь противопоставить и той и другой — третью, вовсе, быть может, не претендующую на превосхождение крайностей (для этого подчас не хватает углубленности в проблему, компетентности, что я испытываю и за сегодняшним «круглым столом»), но хотя бы демонстрирующую, что в «науках о духе» не все и не всегда решается так, как в ячейке компьютера, по принципу «или — или».

Петр Васильевич Палиевский только что развернул перед нами столь почетную генеалогию евразийства — от Карамзина и Пушкина, что из нее нельзя не сделать вы-

вода: евразийцы в тесном смысле слова — это самая что ни есть магистраль нашей культурфилософской мысли, все их оппоненты сползли на обочину и глухи к голосу исторического рока, исторического Провидения. Притом сама Евразия, раскинувшаяся на два материка,— это прежде всего *государственное тело.* Сверхконфессиональное, ибо помимо православия оно вобрало в себя и язычество, и ислам, и буддизм, и коммунистическое вероучение, которое также вот-вот переварит в своих недрах натуральными своими ферментами. Единое тело, собранное не верой, не идеей, не миссией, тем более не экономическим «интересом», а центростремительными биогеографическими «материковыми» силами, созидающими державный скелет наподобие гигантского кораллового рифа. Русскому народу здесь выпало главное державостроительное тягло, и в этом смысле евразийская государственность тождественна Российскому государству.

Для Григория Соломоновича Померанца Евразия, напротив, есть понятие скорее одномерное, чем двухмерное. Она не только не очерчена емкими государственными рубежами, но сама есть *граница* между устойчивыми культурными мирами, зыбкий перешеек, перекресток. Наряду с сегодняшним выступлением я имею в виду одну из сравнительно недавних статей Г. Померанца в журнале «Знание — сила», где развивалась теория «субэкумен» и попутно доказывалось, что Россия и прилежащий к ней евразийский мир такой самобытной целостной субэкуменой, малой культурной вселенной скорее всего не являются. Несколько огрубляя, можно понять так: это непрочный геополитический конгломерат этносов, вер и культур с крайне проблематичным будущим.

Противоположность выраженных точек зрения так ясна, что на ней не стоит останавливаться. Но вместе с тем она наводит на вопрос, что же является предметом нашего разговора. Если «Евразия» — чисто географическое понятие, сводящееся к тому природному факту, что два материка разделены между собой не тонким Суэцким перешейком и водной гладью, а менее отчетливым в своей пограничной роли Уральским хребтом,— тогда говорить не о чем: этот простой факт не несет в себе культурологического смысла. А если к этому добавить, что народы Евразии объединены общностью исторических судеб, мы тоже не придем ни к чему определенному; ибо в чем общность судеб уйгуров и полян? Или, захватим шире, обитателей Тибета и великорусской равнины? Давайте сразу признаем: Евразия как содержательное понятие существует, раз существует Россия. Коль Россия — малое человечество, одно из малых человечеств, входящих в состав большого, планетарного, коль это самостоятельный религиозно-культурный мир, сохраняющий при обоюдостороннем тяготении к Западу и Востоку собственную культурную душу, тогда существует и Евразия — как историческое производное от сложного, но цельного организма России. Это не вся *Европа,* даже не вся Восточная Европа *плюс Азия,* объемлющая дальневосточный и индокитайский регион, как можно было бы обвести указкой на географической карте. Но это и не условная граница меж той и другой. Это широкая и стойкая общность, сложившаяся в сердцевине двусоставного континента и в разное время разными путями с разной силой притягивающая к себе разные части своей периферии. Это общность духовная, национальная, культурная, государственная. Словом, повторяю,— это историческая Россия. Она и есть реальная Евразия, без которой существуют лишь Европа и Азия, и предмет нашего разговора аннигилируется. Только, говоря о России, есть смысл говорить о евразийском единстве, евразийском культурном коэффициенте, евразийских полярностях.

Что же скрепляет это единство, что удерживает эти полярности от разбегания? Ответ Палиевского: централизованная государственность, обретенная благодаря соприкосновению с организационной структурой «татаро-монголов», благодаря заимствованному принципу «ханства»,— ответ этот меня не удовлетворяет. Думаю, во-первых, что русская государственность родилась все же в Европе, а не привнесена из Азии и что Киевскую Русь невозможно сбрасывать со счетов — это первый, генетически незабываемый опыт государственного строительства, уже тогда, как известно, в многоплеменной среде. А во-вторых, не с государства все-таки следует начинать, говоря о евразийской общности. Общность эта тем и сильна, что складывалась исподволь, политическое влияние азийских завоевателей было только одной и хронологически не первой составляющей медленного процесса, а евразийская идея рождалась в российском историческом сознании и того медленнее.

Думаю, что объявлять Пушкина отцом-основателем евразийства — немалая, как-никак, натяжка. И Карамзин (несмотря на приведенную только что глубокую его мысль о русской учебе в ордынской политической школе), и Пушкин, один из величайших сотворцов русской самобытности, были блестящими русскими европейцами, теми, кого Георгий Федотов имел в виду, говоря, что культура, расцветшая на берегах Невы, оказалась в чем-то более европейской, чем на берегах Сены и Темзы. И Карамзин, и Пушкин считали драгоценное для них обоих государство Российское, Российскую империю одной из великих *европейских* держав; они чтили европеизаторское дело Петра; Пушкин полагал, что, заслонив Европу от завоевательских орд, Русь временно пожертвовала своим европеизмом, за что европейская культура у нее в долгу, в царском же правительстве он с одобрением усматривал носителя все того же европеизма.

Не столь широко мыслящий, как Пушкин, но далеко отстоящий от революционно-утопического или позитивистского западничества поэт-историк А. К. Толстой в знаменитой балладе-«былине» о Змее Тугарине рисует послемонгольскую Русь под знаком измены ее исконной политической идее (она же — идея европейская).

Не слушая голоса крови родной,
Вы скажете: «Станем к варягам спиной,
Лицом повернемся к обдорам!» —

пророчествует в этой балладе провозвестник грядущего азиатского нашествия. А князь Владимир, олицетворяющий древнерусское государственное начало, решительно отвер-

гает этот исторический вариант (которому, грустит за кулисами поэт, суждено таки было сбыться):

Я пью за варягов, за дедов лихих,
Кем русская сила подъята,
Кем славен наш Киев, кем грек приутих,
За синее море, которое их,
Шумя, принесло от заката!

Из этой же баллады — строки, ставшие уже одиозными от неумеренного и порой бестактного цитирования, но с которыми, однако, нельзя не считаться:

И вот, наглотавшись татарщины всласть,
Вы Русью ее назовете!

Не будет большой ошибкой сказать, что весь петербургский период русской культуры осуществлялся на основаниях европеизма, и даже ознаменовавшую этот период постановку дилеммы: Россия и Европа — не стоит рассматривать как шаг в сторону евразийства. Россия тут виделась в качестве спасительницы Европы, которая воскреснет под воздействием сбереженной в русских народных недрах духовной истины и снова, быть может, станет «страной святых чудес»; Азия же не воспринималась как третья сила в этой любви-вражде, в ее сторону не был направлен взор российских славянофилов. Даже противопоставляя и предпочитая Москву Петербургу, они утверждали достоинство Третьего Рима, православной столицы, а не к Азии обращались лицом; ощутить Москву азиатской, «буддийской», как потом чудилось Мандельштаму, они не только не могли бы, но это звучало бы для их уха кощунством. Да и Достоевский в последнем выпуске «Дневника писателя» завещал оборотиться к Азии не во имя некоего слияния с «азиатским началом», а чтобы расширить пределы, где благоговейно произносилось бы имя «белого царя», царя православного, мессианского, всех привлекающего под свой скипетр. Это был один из изводов «русской идеи», но в нем еще не было ничего специфически евразийского.

Можно, конечно, оспаривать сказанное, привлекая к делу «протоевразийские» соображения Данилевского, Менделеева. Но, как мне все-таки кажется, имеет смысл говорить об евразийстве, вернее об осознании евразийского лика России, только применительно к нашему веку. При этом я бы заметила в евразийстве два рукава: интеллигентский, он же этатистский,— и народный, допетровский по своим истокам, хотя поздно отрефлектированный.

Первое из этих двух «евразийств» возникло как реакция на торжество большевиков. Реакция, прямо скажу, капитулянтская. Отдача себя на волю стихийных сил, как бы вырвавшихся из глубин великого материка и разгулявшихся по его степным просторам; ну, а затем — прославление государственности новыми жестокими скрепами вместо истершихся заклепок петербургско-западнической цивилизованной бюрократии, сковывающей и смиряющей стихию, вводящей ее в русло невиданного религиозно-миродержавного строительства,— все эти мечты позволяли навести мост между старыми идеалами и послереволюционной реальностью, позволяли примириться с действительностью как с велением Истории, а не как с унизительным внешним гнетом.

Предвестием такого интеллигентского евразийства стало стихотворение Блока «Скифы». (Быть может, следует указать на одновременные явления политической мысли, но мне легче говорить о литературе.) Очевидно, что по-своему мощная риторика блоковского творения полна кричащих противоречий и откровенно антиисторична. И «раскосые очи», напоминаю, быть должны бы не у «скифов», а как раз у монголов, сдерживая которых скифы, по слову поэта, многие века держали наготове свой щит. И переосмысленный эпиграф из Владимира Соловьева опять-таки говорит о том, что, произнося «скифы», поэт подразумевает: «монголы» — именно их «тьмы, и тьмы, и тьмы», а не «промежуточных» все же скифов, коими поэт, нарочито усиливая восточностепной колорит, подменяет славян. Опять же: те, кому «внятно все» в мире европейской культуры и кто, в худшем историческом случае, просто устранится с поля битвы, открыв Европу «желтой опасности»,— зачем же они будут с хрустом ломать европейский хребет тяжелыми своими лапами, откуда, если следовать заявленной логике, эта скифская угроза насилием? Не ясно ли, что здесь снова, за общей скобкой триумфа «азиатской рожи», происходит бессознательная контаминация русских «скифов» и «желтых» монголов? Да и монголы ли это или, пускай, гунны, исторически определенные, те, что когда-то действительно жгли города и в церковь гнали табун? Жарили ли они притом «мясо белых братьев»? Не вводится ли тут фантастический намек на каннибализм, чтобы до изнеможения упиться предельной дикостью надвигающейся на «старый мир» орды, удариться о самое дно пенного потока? В общем, в «Скифах», несмотря на «закадровое», будто бы союзническое присутствие Пушкина и Соловьева, сполна выказалось приятие революции как долгожданного разгрома одряхлевшей западной цивилизации молодыми народами Востока. Разумеется, это не «Восток Христа». Но пока, у Блока, это и не «Восток Ксеркса», не державный деспотический Восток.

На «Восток Ксеркса» в некотором роде указывает своим перстом евразийство 20-х годов, то самое, с чьими идеями знакомил нас Палиевский. Я снова повторю, что течение это в русской мысли — капитулянтское, несмотря на обилие в нем талантов и на продуктивные «частные правды». Не мне говорить здесь об идеях евразийцев подробно, а тем, кто более внимательно их изучал, но я хотела бы отослать интересующихся к на редкость прозорливой статье Георгия Флоровского «Соблазн евразийства», подготовленной к републикации и откомментированной для № 1 «Нового мира» за 1991 год присутствующим среди нас Альбертом Васильевичем Соболевым. (Напомню, что знаменитый в будущем богослов Г. Флоровский ко времени написания статьи только-только вышел сам из рядов евразийцев и критикует их, что называется, «изнутри».)

Как я понимаю, «соблазн» заключался в том, что евразийцы, не приемля интернационалистской коммунистической идеологии и будучи искренними национально-религиоз-

ными патриотами, тем не менее надеялись употребить всеохватную централизованную структуру новой партийно-государственной власти для восстановления «неделимой» державной России и верили в дальнейшее очищение этой власти от чуждого народно-корневым «большевикам» марксистского идеологического нароста. Это был соблазн опереться на наиболее прочную и победоносную из наличных исторических сил, не разбирая добра и зла, верха и низа, не веря в приложимость абсолютных религиозно-этических критериев к жизни людских множеств, а доверяя лишь пресловутому гегелевскому «духу времени». И надо сказать, что именно этот соблазн внутренне сгубил евразийство, а инфильтрация высокопрофессиональных «агентов чека» — дело второе. Соблазн этот — прислониться к коммунистической власти как к силе, исторически присущей евразийскому миру, охраняющей и расширяющей его рубежи,— в той или иной мере переживали и изживали *все* поколения послереволюционной интеллигенции. Один из самых последних образцов — интересная программная статья Владимира Карпеца в прохановском журнале «Советская литература», где автор с сожалением отказывается от упомянутого соблазна, уже понимая принципиальную невозможность для КПСС развернуться в сторону евразийского сознания с его метафизикой.

Однако, как я уже говорила, кроме описанного варианта евразийства в нашем веке существовал еще один его рукав, вернее ручей, искусственно засыпанный, но, возможно, сумеющий пробиться на поверхность. Мне опять-таки проще обратиться к литературному примеру, к умонастроению так называемых новокрестьянских поэтов, прежде всего Николая Клюева. Историческое сознание Клюева вскормлено древлеправославной, старообрядческой культурой; такое сознание, в соответствии с его исходными христианскими представлениями, можно назвать вселенским и, конкретнее, евразийским, ибо Евразия, включая Средиземноморье и Северную Африку, и была для древнего христианства его вселенной, его Ойкуменой. Клюев не менее Блока и евразийцев насторожен против западного индустриализма и уплощенного им мира, ему не чужда и поэзия державности (достаточно вспомнить патетический «обзор» российских земель в «Погорельщине»), но основа его евразийского мирочувствия в другом.

Экуменическое сознание Клюева часто сравнивают с планетарным сознанием Велимира Хлебникова как два одновременных и духовно сродных феномена. Но это не так. У Хлебникова единство «земшара» — утопическое, проективное, беспочвенное. Клюев же мысленно следует по тем тропам меж народами, меж культурами, которые из века в век прокладывали и торговля, и любовь (смешанные браки), и, быть может, в первую очередь — взаимная переимчивость в практическом творчестве, художественном опыте, опыте возделывания богоданной земли, украшения жилища, одежды, во всяком искусничестве. Рожденный близ того самого синего моря, которое, по слову А. К. Толстого, принесло «от заката» варягов, «дедов лихих», Клюев религиозно и культурно ощущает себя насельником и Палестины, и египетской Фиваиды. Но круг его отзывчивости шире, нежели определенный христианством; инославное, иноверное, иноземное тоже входит в него благодаря какому-то трудноопределенному, но достоверному чувству родственного интереса и добрососедства, благодаря некой прапамяти о давних капиллярных связях:

Индийская земля, Египет, Палестина,
Как слово в сосуд, отлились в наши сны.
. . . . . .
Вот почему на речке-ряби
В ракитах ветер-Алконост
Поет о Мекке и арабе,
Прозревших лик карельских звезд

Все племена в едином слиты:
Алжир, оранжевый Бомбей
В кисете дедовском зашиты
До золотых, воскресных дней.

Читая Клюева, вспоминаешь, что союз государств, или даже государство *как* союз, вторичны по отношению к сожительству, совместному жительству племен и этносов, что в понимании органичности такого сожительства, быть может, главная правда евразийства, что идея национального государства, суверенной нации выкристаллизовалась лишь у Руссо и по ходу Французской революции, а средневековый мир, заложивший основы национальных культур, обходился весьма относительными межгосударственными границами, когда хождение за три моря, путешествие из варяг в греки, великий шелковый путь не требовали ни виз, ни паспортов, ни гордых гербовых печатей. Из стародавней глубины своих корней Клюев, поэт, выражающий народную душу никак не меньше автора «Скифов», посылает эту весть будущему, заставляет понять, что восстановление межэтнических, как теперь говорят, «инфраструктур», может быть, важней, чем юридическое размежевание компетенций и договорное уточнение границ, хотя без последнего в наше время тоже, видимо, не обойтись.

Воодушевившись примером Клюева, хочу сказать, что Г. С. Померанц, по-моему, сильно преувеличил трагизм межрелигиозной напряженности на современных евроазиатских просторах. Ведь по-прежнему в центре Евразии постхристианская, и все-таки христианская, Россия. Открытость и вера в свободу персональной воли, в свободу выбора если не являются догматами христианства, то во всяком случае производны от его догматики. И это — несмотря на все фанатические эксцессы и западных, и восточных христиан. Всеотзывчивость русской культуры как культуры, сохранившей христианские начала, эта ее поносимая теперь многими, но все еще живая «архаичность», не исчезнувшая также из национальной психологии и подкрепленная национальной географией, является для меня залогом возрождения и нового сложения евразийского тела. Российскую империю лишь, так сказать, наполовину скрепляла «слава, купленная кровью»; в той же мере она держалась естественным стяжением инонациональных и иноплеменных культур к культурному средоточию — при сохранении местных обычаев и вер. Не стану говорить о том, как исторически подтачивалось это единство, как принудительной русификацией пытались приостановить ослабление более или менее при-

вычных уз, как именно с катастрофой *православной* России раскололся весь евразийский корпус империи.

Теперь, кажется, наступает время реставрации российского духовного ядра, а значит, и время нового собирания «малого человечества», Евразии на нервопроходящем и капиллярном уровне. И в этот период трудного балансирования над историческим разломом равно опасны и антиевропейский изоляционизм, и запугивание мнимым страшилищем «имперского сознания».

Р. ГАЛЬЦЕВА. Есть два понятия евразийства: первое, научно-географическое, отражающее в себе положение России, раскинувшейся на двух материках, и второе, концептуально-идеологическое, обозначающее направление мысли 20-х годов и своекорыстно эксплуатирующее первое.

Уже из хода нынешнего обсуждения ясно, что злободневно для нас второе.

Почему? Припомним основные постулаты евразийцев.

Большевизм, победивший в России,— это единственная форма реального «народоводительства», он один только мог спасти страну от послереволюционной анархии. Что касается революции, то она была неизбежна как естественный взрыв энергии народного протеста, подспудно накапливаемого в долгом процессе насаждавшегося старой властью «европеизма».

Конечно, с точки зрения евразийцев 20-х годов, руководившая революцией коммунистическая идея — «злая, ложная и сатанинская», однако в дальнейшем она непременно должна исчезнуть с земли русской, ибо, будучи изобретением Маркса, происходит от того же чуждого русской натуре европейского корня, что и весь взорванный Октябрем послепетровский курс российской истории.

В общем, крысы поедают крыс, а шкурки остаются.

Получается, что «злая», «европейская» идея оказалась союзницей народа в деле революции, поднятой им против того же «европеизма». Но спрашивать логику с евразийцев, как мы еще больше убедимся далее, бесполезно, не в ней тут сила. Между тем нетрудно было бы избавиться от несообразности, если признать, что народ — в той мере, в какой он действительно участвовал в революции,— участвовал вовсе не в насущном для себя, а в самоубийственном предприятии, о котором к тому же, вопреки заклинаниям евразийцев, менее всего можно сказать, что оно было «детерминировано» «всем ходом» русской истории, а не, напротив, весьма поверхностным ее слоем.

Вторая несообразность, уже по поводу Европы, этого спасительного для евразийцев козла отпущения: естественнее было бы увидеть в ней не какой-то огнедышащий анчар, а, в духе С. Н. Булгакова, многоветвистое дерево, приносящее как добрые, так и поврежденные плоды, среди которых мы, русские, по преимуществу заимствуем лишь вторые. И они, добавим, недоброкачественны не только для нас, но и для самой Европы, ибо отравляют само ее основание и уже по одному этому никак не могут служить эталоном «европеизма» и к тому же клеймом позора.

Однако какие все-таки «шкурки» остаются России в итоге противоборства и взаимоуничтожения двух «европеизмов», когда, согласно хитроумной гегелевски-мефистофелевской диалектике евразийцев, желающие зла творят добро? Оказывается, это те самые государственные, общественные и даже партийные формообразования, которые созданы новым режимом, но после какого-то необъяснимого выветривания, испарения из него коммунистического содержания сделаются оболочками для заполнения их подлинно органичной для России жизнью, для восстановления собственного ее лица. Евразийцы рассуждают таким образом, как будто эти новообразования идеологически нейтральны и могут быть годны для разных социальных механизмов, в то время как они продиктованы глобальным социальным замыслом и приспособлены для его воплощения в жизнь.

И вот тут мы подходим к еще одному удивительному пункту евразийцев, возвращающих нас к натуралистической морфологии позднего славянофила Н. Я. Данилевского: своеобразие лица России надо, по их убеждению, искать только в восточных, татаро-монгольских чертах. «Россия не Европа»,— этот тезис, подхваченный евразийцами у Данилевского, превращает географическую констатацию (тоже полуправдивую!) в историософскую концепцию, которую точнее было бы назвать, по-бердяевски, «азийской». Они сводят Россию к Азии как бы под давлением территориальной арифметики, больших азиатских пространств. И вот из количества рождается качество: Россия выступает преемницей Чингисхана, наследницей туранских племен.

Однако поворот nach Osten [1] — результат давления не объективной данности, а субъективной заданности. Евразийским теоретикам для сохранения своей надежды на будущее России, оказавшейся в железных когтях коммунистической власти, соблазнительно увидеть в революции всего лишь интернационалистическую декорацию «стихийного национального своеобразия». Конечно, при этом они усиленно акцентируют принадлежность России православию (или, точнее, православия — России), но, присоединяясь к доктрине «культурно-исторических типов» a la Шпенглер и Данилевский, евразийцы превращают тысячелетнюю веру русского народа из фокуса его истории в один из второстепенных ее атрибутов. Замещение духовного критерия национального бытия «эстетическим», неоязыческим критерием природного его своеобразия означает измену евразийцев христианской историософии, то есть взгляду на историю как на полный смысла процесс, где действует возмездие и воздаяние.

Но ни хитрая диалектика истории, ни спекуляция на географии не достигают своих целей, напротив — вызывают протест на уровне элементарных сведений. Как можно утверждать, что русский народ идентифицировал себя с татаро-монгольским элементом, когда всем с младенчества известно, что вторгшиеся с Востока орды были восприняты на Руси как «идолища поганые»? Если и можно говорить, как здесь было сказано,

---

[1] На восток *(нем.)*.

о «положительном значении» «татаро-монгольского ига» для «централизованного образования российской государственности», то только в том смысле, в каком это понимает Карамзин — в смысле бедствия, из которого удалось извлечь практический урок и духовную закалку. Но само «историческое событие» не становится от этого благим. Нашествие с Востока сыграло положительную роль и для самосознания русского народа — но только по отталкиванию. В века нашествия, то есть с XII по XIV, русское национальное самочувствие, как пишет историк А. В. Карташев, формировалось в противоборстве «надлежащей тьмы языков», жуткой, темной, «бессерменской» Азии». На народном самочувствии взошло «церковно-политическое мировоззрение», согласно которому, «православному государству, царству и народу вручены величайшие вечные заветы» — «приведение... народа к чистой, не поврежденной ересями вере, к порогу царства Христа Грядущего» [1].

«Святая Русь» — вот имя, данное этой земле народом (а не изобретенное интеллигенцией), причем данное в самое образцовое для евразийцев, допетровское время. И как не услышать в этом гласе народа выражение его национального своеобразия? Сравните его с самоопределениями других народов: как напоминает А. В. Карташев, «Англия охотно величает себя «старой», Германия «ученой», Испания «благородной», «Святым и избранным» назван был только библейский Израиль» [2]. (Я привожу это перечисление имен вовсе не для того, чтобы утвердить их в качестве исчерпывающих дефиниций этих стран, но чтобы напомнить, что русский народ свое лицо видел совсем иначе, чем хочет изобразить его евразийская доктрина, и на первый план выдвигал он свое христианское призвание.)

Противоречие евразийцев исторической правде так очевидно, что как-то лишний раз неудобно его констатировать.

Далее, в своем стремлении сблизить Россию с Востоком и развести с Западом евразийские теоретики представляют православие более родным исламу и даже буддизму-ламаизму, чем ближним христианским конфессиям. Между тем ясно, что Россия как православная страна входит прежде всего в христианскую семью европейских народов, как бы ни расценивать их отношение в разное время к России. И независимо от стилистических, культовых и даже догматических различий между христианскими исповеданиями это не мотив для разрыва православных со своими братьями во Христе и не повод для братания с поклонниками Бодисатвы. «Имя Христа соединяет Россию и Европу» [3], но евразийское сознание отодвигает Его на задний план.

И опять возникает недоумение: ну, предмет ли это для разъяснений? Не оказываемся ли мы опять на уровне самых элементарных истин?!

Ведь если можно согласиться, что Россия не Европа, то только в том смысле, что она не только Европа, и если по вере, то есть по духу, она относится к европейской общности, то по природе своей она принадлежит и Азии. Но что из этого следует? Что дух ничтожнее природы, которую он одухотворяет и оформляет? И это могут думать приверженцы православия!

Так что же это за логика, которая стирает разрыв между далекими духовно явлениями — православной Россией и монгольской Азией — и усугубляет различия между близкими — Россией и христианской Европой,— логика, которая внушает, что большевизма надо меньше бояться, чем «европеизма», и что спасение России надо ожидать от той самой коммунистической революции, которая несет в себе «сатанинский» замысел? (А ведь в помощь на собак волка не зови, как напомнил нам Александр Исаевич.) Что же это за рассуждение, которое от победившего организованного зла ожидает добровольной ретировки и еще полезных трофеев?!

Оспаривать евразийскую логику — значит попадать в нелепое положение борца за прописные истины и очевидности. Такая логика не подлежит испытанию рассудком и историей, ибо не координируется со здравым смыслом и с фактами; она требует изобличения, ибо является имитацией рассуждения, не раскрывающего факты, а скрывающего идею. Это — идеологика, умеющая так связать концы с концами, что на месте знакомых вам реальных соотношений вещей появляются невиданные их конфигурации, подчиненные идейной сверхзадаче. Подобно тому как в частной жизни человек создает идеологию своей невиновности, «находит извинение согласно желанию своему» [1], для чего переворачивает всю человеческую логику с ног на голову, меняя местами причины и следствия, так и при социальных коллизиях тот, кто изменил своим принципам и сдался перед силой, должен перевернуть всю историческую логику, найти виноватых среди потерпевших, выдать черное за белое и наоборот.

Неестественные сочетания идей, а шире — реальностей, прикрывают у евразийцев измену христианству и христианской историофобии, смену принципа свободы принципом силы. Эта измена, или смена, столь болезненно отзывавшаяся в душе Вл. Соловьева и потребовавшая от него многих лет страстной борьбы, дала себя знать в позиции поздних славянофилов и восторжествовала у Данилевского. Как с горечью отмечал Соловьев, принцип «государственного могущества» возобладал над требованиями «народной и государственной совести» («Великая нация не может спокойно жить и преуспевать, нарушая нравственные требования» [2]).

Евразийцы впадают вроде бы в тот же соблазн, что и эти старые наши государственники, испытывая слабость к силе, однако к силе неизмеримо более подозрительной для православного сознания, чем имперское могущество. При всей обличаемой Соловьевым «зооморфичности» национализма конца прошлого века он ни в какое сравнение не идет с «коллабора-

---

[1] Карташев А. В. Воссоздание Святой Руси. Париж, 1956, с. 32.
[2] Там же, с. 49.
[3] Флоровский Г. В. Евразийский образец. Современные записки. Париж, 1928. № 34, с. 340.

[1] Сирах 32, 19.
[2] Соловьев В. С. Грехи России. // Письма Владимира Сергеевича Соловьева, СПб., 1909, т. II, с. 191.

ционизмом» евразийцев и близких им по умонастроению их современников — смено веховцев и обновленцев. Тогда как-никак дело происходило в христианской державе под юрисдикцией формулы «православия, самодержавия, народности», евразийцы же выступили в пореволюционное время, оказавшись под властью «разрушающих свою родину» коммунистов с их лозунгами атеизма, пролетарской диктатуры, интернационализма. Евразийский компромисс не просто соблазн силой, но соблазн вражеской силой. Именно евразийцы с близкими по духу сменовеховцами и обновленцами (живоцерковниками) открыли беспрецедентный для русской религиозной интеллигенции путь сотрудничества с врагом своей родины.

Но и это еще не последний предел. Они сотрудничали с врагом России, но ради России. Кроме того, они оказались в беспрецедентном положении, став первыми очевидцами пришествия в мир тотальной идеологии. Против такого сюрприза истории они не были вооружены ни идейно, ни опытно. Схватившись за этатистский идеал поздних славянофилов, они гипнотизировали себя и других «благом единой России» и надеждой не только консервировать дефекты, но и рассасывать их, не только скривлять прямое, но и выпрямлять кривое. Но теперь шла уже другая драма, на сцену истории зверь вышел из бездны.

Однако то, что можно было не понимать на заре режима, питая архаические иллюзии насчет того, что новая, еще не известная никому власть сумеет сохранить «Великую Россию», а зло этой власти будет изжито своим ходом, как изживаются многие несовершенства, сегодня, после семи десятков лет жизни при новом порядке, должно быть ясно как день: что большевистская государственность не только не сохранила, но развалила Российское государство; что советский режим не только не избавил русскую историю от изъяна «европеизма», но привел к краху жизнь вообще. Сегодня недооценка непотопляемости и огнеупорности тотальной идеологии, надежда на то, что она рассеется на путях органической эволюции, не имеет уже никаких оправданий. Ядро ее нерастворимо, она гнется, да не ломится, и независимо от того, верит в нее кто-нибудь или нет, дороги никому не уступает.

Прежние евразийцы были грешные, но трагичные в своей любви к России фигуры. Говорить о сегодняшних их наследниках как о страдальцах за отчизну нелепо; некорректно говорить и о коллаборационизме, ибо новые национал-этатисты уже не усматривают никакой враждебности в коммунистической идее и стоят с ней по одну сторону баррикад, которые раньше разделяли русских патриотов и коммунистов. Временный союз, заключенный в 20-х годах, стал вечным, краткосрочный компромиссный пакт превратился в дружеский договор; приоритеты поменялись местами, и апелляция к патриотическим чувствам стала служить украшению и облагораживанию захватчика родины. Порочная, но все же оплаченная страданиями логика коллаборационизма превратилась в лукавую логику ряженых.

Чем же объяснить нынешнюю волну евразийских настроений?

Она поднялась, по-видимому, от нового сейсмического толчка нашей истории, еще одного распутья, ставящего нас снова перед выбором между Россией и коммунистическим режимом, как это было после 17-го года. Меж тем формировавшийся тогда режим если и нуждался в союзниках, то от патриотических идей все же не зависел — у него хватало своего собственного пафоса. Сегодня он уже не вызывает воодушевления и остро нуждается во вливаниях живой крови. В то же время он не сдал властных позиций, он все еще в силе, и те, кто не мыслит себя отдельно от нее, при необходимости самоопределения снова вступают в евразийскую колею, движение по которой требует еще больше хитроумия, чем раньше: антагонистов надо стилизовать под союзников; надо выглядеть патриотом, присягая антипатриотической власти. Вот почему логика ряженых еще более алогична и еще более идеологична, чем у их предшественников; равнодушие ко злу еще глубже, презрение к свободе личности еще нагляднее.

Прежние евразийцы, обличавшие «ложность коммунистической идеи», еще рисковали мечтать о «единой большой идее», которую можно было бы ей противопоставить как противоположную по содержанию, но равную по масштабу. Теперешние уже не замахиваются на выдвижение альтернативной идеи, напротив, они воюют с самим понятием идеи и системы и даже с дискурсивным мышлением вообще. Еще бы, кто же это сумеет не просто возгласить, а теоретически, логически обосновать прозвучавший здесь тезис: «социализм, построенный в отдельно взятой стране» есть «глубоко патриотический, национальный», «в корне чуждый интернациональному марксизму», когда на самом деле в этой стране произошел марксистский переворот всех оснований по воле верного марксиста Ленина, предназначившего «отдельно взятой» России служить стартовой площадкой для разжигания пожара мировой социалистической революции.

И ведь никакого лелеемого евразийцами «бонапартистского переворота», который бы отменил действие утопической социальной системы и основ ее идеологических принципов, в 30-х годах не произошло. Разве что принять за свидетельство такого переворота заигрывание Сталина с русским народом, его взывания к патриотическим чувствам и старой вере в страшный для коммунистического строя момент. Или, быть может, видеть переворот в возврате лампасов, генеральских чинов, более длинной традиционной семидневки? Режим этот добровольно не отказался пока ни от одного своего устоя, начиная с безбожно-бесчеловечного мировоззрения. Никакого «заквитывания зла добром», увы, еще не наблюдалось.

Всем, кто любит связывать процесс «перерождения» «интернационального марксизма» в «глубоко национальный» патриотизм с рожденным в годы революции так называемым «великорусским патриотизмом», с «национальной гордостью великороссов», хорошо бы поскрести эту гордость и увидеть ее чисто революционное происхождение, такое же, как патриотизм французов

времен Великой революции. Когда Ленин писал свою нашумевшую «патриотическую» статью, он стремился привить русскому народу новые чувства: он рекомендовал гордиться не упоминаемой здесь «древнерусской культурой» и не прежней российской историей (что как раз выражало бы патриотические настроения), но отменяющей всю эту ветошь революционной традицией, согласно которой «русский народ» вскоре первым совершит прорыв к небывалому марксистско-ленинскому порядку вещей.

В евразийстве под русским национально-патриотическим флагом на самом деле происходит решительный отход от традиционных взглядов на национальное призвание, по характеру своему христоцентрическое, отказ от старых «русских дум о России», по выражению Флоровского, в начале 20-х годов самого принадлежавшего к евразийскому направлению, но вскоре ставшего острым его критиком.

Старые «русские думы», к наследникам которых евразийцы себя причисляют, были дальше всего от того, чтобы отступнически перекрещивать Россию в язычество, натуралистически разглядывать народное лицо (которое ведь несет на себе отсвет духовной истины либо — тень одичания и варварства), разрывать с христианским человечеством и, наконец, связывать себя с богоборческим утопическим вызывом. Вл. Соловьев, размышляя над «евразийской» судьбой родины, с тревогой вопрошал, пойдет ли Россия путями христианской свободы или деспотического насилия:

> Каким ты хочешь быть Востоком:
> Востоком Ксеркса иль Христа?

Сегодняшние евразийцы оставляют нам более страшную альтернативу:

Россия Ксеркса или Россия Маркса?

Если подлинно продолжать думать «думы», завещанные идеалами «Святой Руси» и неотделимые от осознания лучшими русскими людьми исторического бремени России и ее ответственности, то можно представить «евразийскую цивилизацию» как плод заботы русских об огромном, суровом и многоплеменном неспокойном пространстве, как плод христианской просветительской работы со стороны великой православной державы. Имея в виду это последнее, единый «евразийский материк» можно представить как состоящий из двух нуждающихся друг в друге половин, из которых одна, европейская христианская Россия, несет слово Благой вести — нехристианской, азиатской, а эта последняя служит своей мощью форпостом христианства на Азиатском континенте. Свет, который на Запад идет с Востока, по просторам евразийской России шел с запада на восток. (Но, быть может, кто знает, настанет время секуляризации Запада, сохранившееся на евразийских пространствах, христианские заветы жизни и дух православия еще понадобятся Европе, и опять засияет ex oriente Lux [1]. Но это из области историософских фантазий.)

Наследники «русских дум о России» и христианской историософии — это, конечно, не евразийцы-сменовеховцы, а — «веховцы», осознавшие всю враждебность Революции — России и работавшие над «единой большой идеей» и даже над системой идей, которая выдержала бы противоборство с «ложной идеей».

Любопытно, что «веховцам» противостоят сегодня не только этатисты-евразийцы, но и, казалось бы, с совершенно противоположной стороны, индивидуалисты-плюралисты, сражающиеся против мировоззрения вообще и этим — парадоксально, но факт — укрепляющие позиции той же тоталитарной силы.

Сегодня борьба с направлением соловьевцев-«веховцев» идет иначе, чем вчера, когда И. Клямкин, например, доказывал, что их возвышенная идейная позиция нереалистична. Теперь Г. С. Померанц убеждает уже, что у них никакой идеи не было и что сам сборник «Вехи» — это веер исповедальных текстов ничем не связанных между собой частных мыслителей (а может быть, даже поэтов?!). Вы удивляетесь, ибо это противоречит всему, что было вам известно до сих пор, вы не знаете, как в таком случае объяснить и самосвидетельства авторов, общую устремленность текстов, превратившую сборник в цельный манифест [1], и, наконец, тот яростный отпор, который вызвали «Вехи» у братьев по «интеллигентскому ордену»? Я тоже не знаю, хотя и не удивляюсь, потому что вижу яркие симптомы все той же идео-логики, которая одна только и умеет так переиначить дело: превратить идееносных мыслителей, взыскующих истины, отстаивающих смысл, раскрывающих логику грядущей социалистической революции, от которой они хотели уберечь свою Россию,— в вальяжных мечтателей, лишенных одушевляющего их замысла и волнующего их предмета. Да, кстати, если «стиль спора», как здесь было заявлено, «важнее предмета спора», то это можно подтвердить только тем, что в сам стиль должно входить соблюдение логики и соответствие фактам, иначе спор будет «занятием праздным и бесполезным», как говаривал Козьма Прутков. Но и «предмет» ведь тоже должен быть не бросовым. Что, впрочем, на практике доказывает автор этой максимы, имея именно такой «предмет», который при любом разговоре превращается у него в Карфаген, qui esse delendam [2].

Когда тексты «круглого стола» были уже в наборе, Григорий Соломонович в который-то раз подтвердил, что он не пропускает ни одного случая, то есть ни одного своего выступления, устного или письменного, чтобы не вспомнить избранный им «предмет» оспаривания. На сей раз даже нравственно неуязвимый призыв «жить не по лжи» не избег упреков: как внушает нам Померанц, этот призыв Солженицына «омрачен его не-

---

[1] Свет с Востока *(лат.)*.

[1] Пожалуй, можно найти лишь один момент разногласия — пресловутую «ужасную фразу» Гершензона (о штыках, и тюрьмах, и ненависти народной), но несогласие остальных авторов с ее «исторической несообразностью» не вносит, однако, никакого разнобоя в единство замысла «Вех». Как замечал по поводу этой фразы организатор сборника П. Б. Струве, «она отнюдь не «характерна» для «Вех», то есть не характерна для существа их содержания», единство которого он подтверждал в другом месте так: «Основное содержание и смысл сборника «Вехи» заключался в критике русского интеллигентского сознания и той русской общественности, которая построена на этом сознании» (Струве П. Б. Patriotica, СПб., 1911, с. 229, 1.)

[2] Который должен быть разрушен *(лат.)*.

терпимостью к инакомыслящим (к иным убеждениям, чем у него) и национальной озабоченностью» (?!)» (журнал «Век XX и мир», 3/91, с. 7). Великому человеку не оставляется уже ничего несомненно великого.

С. АВЕРИНЦЕВ. Если я пришел сюда и беру слово, так по самым что ни на есть неделовым, внеделовым соображениям: из послушания и верности слову. Хотя, сидя здесь, я чувствую, до какой степени я неуместен. У всех в той или иной степени, но имеются ответы. Говорящие обмениваются ответами. А у меня ответов нет как нет — одни вопросы.

О самом евразийстве как мыслительном движении на опасной грани философствования и политики говорить не буду. Во-первых, и это самое главное, потому что мне не хватает знаний; во-вторых, у меня к ним слишком мало симпатии, чересчур много отстраненности, связанной с тем, что присущее евразийству, лежащее в самой его основе смешение различных уровней мысли — что называется, «чистого разума» и «практического разума»,— представляется мне непозволительным. На уровне теоретическом — о, там мысль должна быть совершенно свободна, искать парадокса того, что Николай Кузанский называл совпадением противоположностей, той бесконечности, в которой наконец-то пересекаются параллельные линии. Но на этих принципах нельзя строить ориентации в мире практического действия; нельзя на *этом* уровне сближать противоположности вроде Православия и большевизма, а то, выходит, больно похоже на максиму: не согрешишь — не покаешься, не покаешься — не спасешься. В сфере действия и практического разума человек должен быть отчасти простодушен, plain, как говорят англичане; а когда он занимается отвлеченным мышлением, это дело иное.

С немалым испугом, смущением, ощущением собственной своей непригодности к подобным играм выслушиваю я всякие широкие суждения о России, почти всегда оценочно построенные. По-моему, это наша национальная болезнь. Только в России, кажется, возможен такой культурный текст, как статья Максима Горького «О русском крестьянстве» — на деле *против* русского крестьянства. Отметим, что как это чудовищное очернение, так и традиционная для русской интеллигенции прекраснодушная идеализация «богоносцев» имеют одну общую черту своей логической или паралогической структуры: идеализация и очернение исходят из того, что никакого простого и конкретного опыта, который научил бы нас, что же нам думать о наших соотечественниках, у нас вроде бы и нет вовсе. Русские о русских и перед русскими рассуждают так, будто их предмет — даже не далекая экзотическая раса, а прямо инопланетяне. Отсюда возможен тон раскрытия тайны или разоблачения секрета, пророческого откровения или детективной сногсшибательной констатации. «Богоносцы» Достоевского (кстати аукнувшиеся у того же Горького в «Исповеди») и выродки, фигурирующие в горьковской статье «О русском крестьянстве», имеют своей непременной предпосылкой презумпцию неведения читателем «сущности» собственного народа, презумпцию полного отсутствия этой «сущности» в его опыте. Достоевский все время подразумевает то, что ему открылось в каторжном опыте, Горький — на памятные современникам и преувеличенные ими особенности горьковской биографии «босяка»; они оба говорят с читателем, как посвященные — с непосвященным.

Что касается меня, я уверенно сознаю себя непосвященным. Все, о чем я могу говорить,— это мой скудный опыт жизни в моей стране, среди людей, с которыми я делю отечество и язык. И вот что меня на фоне скудного моего опыта удивляет: как русские себя бранят и как они себя хвалят. В первом случае они говорят: у нас стерта личность, мы все — безликая толпа, то ли дело на Западе. Во втором случае: у нас соборность, у нас община в противоположность индивидуалистическому Западу. Тут я пытаюсь ущипнуть себя, чтобы проснуться. Мне-то, на основании моего скудного опыта, все кажется иначе. В России чуть ли не единственное, что было и есть — это яркие личности. Насколько больше ярких личностей, чем дельных профессионалов или честных администраторов! Бога ради, это не ирония. Только благодаря тому, что чего-чего, а личностей хватало, все мы — начну с себя самого — выжили, не задохнулись. Но какая же у нас традиция глубочайшего недоверия к инструкциям! У нас все делается личностями, и делается с западной точки зрения уж больно странно; а с нашей точки зрения, вернее по нашему вкусу, западный строй культуры обрекает каждый предмет на скучное логическое совпадение с самим собой. Вот несколько примеров. Когда в прошлом веке решалась весьма типичная для этого века проблема построения национально окрашенного богословия — Оксфордское движение в Англии, предшественники старокатолицизма в Германии и т. п.,— везде этим занимались, как положено, теологические факультеты, патеры и пасторы, словом, специалисты. Везде, кроме России. У нас несколько помещиков — Хомяков, Киреевские, Аксаковы и прочая — никем не уполномоченные, никому никогда не сдававшие экзаменов по богословским дисциплинам — сядут по своим именьям за труды и так или иначе решат задачу. О. Павел Флоренский как преподаватель Московской Духовной академии — блестящее исключение, которое подтверждает, подчеркивает, оттеняет общее правило русской жизни. Что до философии — «факультетская» философия у нас, конечно, была, но ведь в самом центре русской мысли не философ институционального типа, а романист Федор Михайлович, который страшно спешит кончить очередной роман, потому что журнал его торопит. Вот так все и делается. А потом приходит Василий Васильевич Розанов...

Кстати о последнем. Все помнят, конечно, с каким великолепным презрением, вызывающим у каждого из нас безоговорочное сочувствие, он отзывается о журналистах, о прессе, о газете. Но позвольте, кем был сам-то Розанов, как не журналистом? И притом не только по способу зарабатывать деньги на прожитие себе и семье, но ведь и по тембру своей гениальности. Ну хорошо, не журналист, так «сверхжурналист». А мы, русские, понимающе смотрим

друг другу в глаза и без всяких слов соглашаемся — да это же хамство связывать личность человека с его социальным статусом, с его способом зарабатывать на жизнь! В России, точнее, в мире русской интеллигенции, очерченном примерно по Федотову, решительно каждый заявляет, как безумный Мельник у Пушкина: «Какой я мельник? Я ворон, а не мельник». Интересных, взаправду интересных воронов — полно, а мельницы не работают.

У нас все, заслуживающее упоминания, делалось обычно в обход институций. Институции в России плохи — но где здесь причина и где следствие; потому ли никто не вкладывает души в институции, что они так плохи, или они плохи оттого, что в них не вкладывают души? Потому ли русский человек норовит реализовать себя вне своей социальной ячейки, что его социальная ячейка загажена мусором, или там оказался мусор потому, что он себя реализует где-то еще? Причина и следствие все время меняются местами. А, может быть, и то и другое — следствия какой-то третьей, лежащей на глубине причины.

Интересно сравнивать не с отвлеченным «Западом вообще», а, например, с англичанами: несколько черт примечательного сходства при поразительном контрасте в других отношениях. Общее есть, например, с особой близостью между монархической государственностью — и Церковью. Еще в XIX веке с обеих сторон находились люди, верившие в избирательное сродство между русским православием и англиканством; велись даже переговоры, не приведшие, правда, к воссоединению — но вот в наше время существует и действует Общество св. Альбания и преп. Сергия, да и православное миссионерство из всех западных стран имело наибольший успех именно в Англии, что отчасти, положим, объясняется личной духовной одаренностью Владыки Антония Блума, но отчасти ведь и характеризует англичан. Нам действительно в чем-то нетрудно понять друг друга — до ближайшего перекрестка: а за перекрестком одни и те же черты получают прямо противоположное приложение. У нас есть общая черта застенчивости: но если английская застенчивость, в хороших англичанах удивительно красивая, возбраняет привычное для нас прямое, не прикрытое конвенциональным юмором, не стыдящееся своей серьезности и настоятельное до навязчивости обсуждение мировоззренческих вопросов и обнажение души — вспомним Белинского, который не велит идти чай пить, не выяснив первоначально про бытие Божие! — то мы стыдливы в нашем отношении к государственности, к «официальному» и «официозному», к институциям и структурам, ко всему тому, в чем английская культура видит никак не повод для стыдливости, а скорее щадящее именно стыдливость прикрытие внеличной формы. Если вдуматься, наше отношение к государственности очень странно. «Государственники» и «фрондеры» есть везде; но вот то, в чем и «государственник» — «фрондер», в чем и «фрондер» — «государственник», относится к характеристике национальной психологии. Что у нас? Царь — это царь; предмет преданности или ненависти, но в любом случае нечто серьезное. Но вот городовой — распоследний человек, и отнюдь не только для революционера или «фрондера», а более или менее для всех. Недаром иностранные обозначения должностных лиц, попадая в русский языковой обиход, имеют много шансов стать просто ругательствами, как «профос» превратилось в «прохвост»; заодно вспомним историю слова «фискал». У нас дворянин, даже монархически настроенный, мог в конце прошлого века не подавать руки важному начальнику тайной полиции, что, собственно, нелогично, однако каждому из нас понятно (и приятно). Напротив, англичане шокируют нас своей логичностью в этих вопросах. Русская Церковь два столетия от Петра до конца Российской Империи фактически имела самодержца своим земным главой, но все формулировки, до этого касающиеся, были несколько невнятны и занимали место на периферии официальных документов либо вовсе вне их (как знаменитый ответ того же Петра на просьбу разрешить избрание Патриарха — «я вам Патриарх»); а в Великобритании Монарх есть глава Церкви на уровне конституционного принципа, сформулированного «всенародно, громогласно», не отводя глаз в сторону. Для нас это поразительно — не суть дела, но тон: надо же, прямо так и выговорить! Нам поразительна традиционная британская сакрализация всего институционального (например, университетских ритуалов). Конечно, это бытовой консерватизм; но ведь и другое отношение к институциям. Наша опасность — слишком далеко развести церковность и цивилизацию; вспомним, что в наших университетах *никогда* не было богословских факультетов; мы можем на этом пути дойти до раздвоения личности, до внутреннего раскола, как индивидуального, так и общенационального. Слово «раскол», означающее по-русски больше, чем международный термин «схизма», указывает на одну из наиболее важных универсалий всей русской жизни. Опасность Великобритании, а с ней всего Запада, наверное, в чересчур беспроблемном сближении, даже отождествлении «церковного» и «гражданского» — как в архитектурном облике собора Св. Павла в Лондоне. Но нам полезнее думать о наших опасностях.

Что стоит за амбивалентностью нашего отношения к государству — ощущение его двухзначности в духовном плане или просто неискренность перед собой? Мол, высшая власть — это что-то дивное, но, как известно, до Бога высоко, до царя далеко, а вот ближайшего полицейского уважать ни за что не буду и ближайшего чиновника — тоже... Конечно, чиновник будет такой, что его уважать просто невозможно, однако повторим еще раз: где здесь причина и где следствие? Ведь это только по-русски слова «чиновник» и «бюрократ» — однозначно ругательства. В русской жизни как бы нет места для порядочного чиновника, которого можно уважать; мы же не оставляем этого места. Еще в лесковском «Однодуме» показано, что у нас честный чиновник — просто юродивый, чудо Божие вне законов общества.

Обо всем этом стоит поразмыслить.

В. ЛАКШИН. Наша дискуссия шла причудливым путем. Как это нередко бывает, мы не столько вступали в диалог друг с другом, сколько объяснялись монологами, иногда не пренебрегая тайными и явными полемическими уколами, а порой уходя в сторону. В каждом из участников нашего разговора по-своему отозвалась эта тема: Восток и Запад, историческое и современное «евразийство». Много было сказано на этот счет интересного. Но итоги дискуссии подводить рано, по существу, она только начинается. Наша встреча не академическая дань прошлым философским битвам, отгоревшим духовным кострам, оставляющим холодный, разлетающийся пепел, а заявка на обновленное понимание проблемы.

Слов нет, интересно и поучительно проследить, как складывалась и чему нехотя послужила «евразийская идея» в трудах Н. С. Трубецкого, Л. П. Карсавина, П. Н. Савицкого и других авторов, развивавших ее в 20—30-е годы нашего века. Недавно я имел случай познакомиться с обширной интереснейшей перепиской, до сих пор не изданной, крупнейшего «сменовеховца» Н. В. Устрялова (1890—1938), жившего после революции в Харбине, с близким ему по убеждениям Г. Н. Диким, находившимся в парижской эмиграции. (Письма эти дочь Дикого — Лидия Григорьевна Эпштейн — только что передала в ЦГАЛИ.) Летевшие кружным путем из Азии в Европу и обратно на протяжении полутора десятилетий письма — поразительное свидетельство горячей мечты этих людей об особом, избранном пути России, ее самобытной государственности, черты которой они хотели различить из эмигрантского «далека» — вопреки всем уродствам большевизма и наглядной жестокости Сталина, естественно не вызывавшей у них одобрения. Н. В. Устрялов, имя которого в советской пропаганде стало нарицательным («устряловщина»), доказал погибельную честность своих иллюзий, вернувшись в страну в 1935 году, уже в пору набиравшего обороты массового террора, и вскоре попал в чудовищную мясорубку, по существу погубленный своей доверчивой философией и теоретической мечтой о сильном авторитарном государстве на рубеже Европы и Азии. Вот саркастическая усмешка Клио!

Но не испытывая обольщения прогнозами и надеждами «евразийцев», которые имели четкие исторические границы и к тому же оказались отчасти запачканными прикосновением грязной политики, провокациями и интригами НКВД, мы не можем сбросить со счетов саму проблему Востока и Запада, как она возникала издавна, возникает и будет возникать с неизбежностью для страны, раскинувшейся между землями, где восходит и заходит солнце. Мало сказать, что Россия всегда была перекрестком мировых дорог, духовным мостом между христианской Европой и мусульманской, а также буддийской Азией. (Или — в иной формулировке — между западной цивилизацией и восточной культурой.) В нынешнем распадающемся Союзе проблема жгуче актуальна. Это отнюдь не только прошлое Руси со времен монголо-татарского нашествия, а если заглянуть в темную глубь тысячелетий, то и из общего индоевропейского прабытия. Суть дела в будущем страны, чьи судьбы сопряжены с Европой, с одной стороны, и со странами Восточной Азии — с другой. Если верить предсказанию Арнольда Тойнби, а оно, похоже, начинает сбываться, странам АТР — Азиатско-Тихоокеанского региона — предстоит в XXI веке, может быть, главная роль на земном шаре.

Увлеченные в наших спорах историческим аспектом, мы пока что скромное внимание уделили центру проблемы — взаимовлияниям Запада и Востока, перспективам цивилизованного мира, перспективам перераспределения производительной и духовной энергии человечества. И тому, как это может отозваться на России, самой географией и историей предрасположенной к синтезу двух начал. Когда-то, в эпоху Киевской Руси, мы начинали быть европейцами, нимало не уступавшими средневековой Франции или Скандинавии. Потом, под ударами ханской конницы и губительного междоусобья, рассыпались, на века сбились с шага. Вновь, и уже насильственно, были обращены в европеизм Петром I и в исторически недавние времена вместе с Достоевским проливали слезы над «священными камнями Европы». Да и до сих пор ощущаем ее главным магнитом, разделяя с другими народами традиции христианского мира с персонализмом и ценностями личной свободы, от которых нас десятилетиями пытались отлучить.

Впрочем, для большевиков и Ленина «азиатчина» была ругательным словом: «господство темной азиатчины» — привычное словосочетание в его статьях. Азию со времен походов Ермака и военных экспедиций Скобелева у нас традиционно воспринимали как завоеванное и нуждающееся в нашей опеке и духовной помощи пространство. Отвергали как нечто чужеродное — пассивность, созерцательность, идею непротивления, восточную неспешность исторического движения в противовес революционным бурям, шедшим с Запада... И очень трудно было вместить в свое сознание, что духовная жизнь Востока — Индии, Японии, Китая, мусульманских народов — не ниже западной, а просто другая, к тому же в иных регионах мира еще и древнее той христианской европейской традиции, которая была нам завещана как наследная и сродная.

Даже добросовестно стремясь понять Азию, мы реконструировали в своем сознании ее миры по аналогии, оставаясь по сути «европоцентристами». Мы рисковали обойти стороной великое здравомыслие конфуцианства, гуманную терпимость буддизма. Не заметить особую на Востоке власть человека над своим телом, его психофизикой и игнорировать древнейшую связь с космическим знанием. На это, как и на общий знаменатель всех конфессий, основных религий человечества, пытались обратить наше внимание Лев Толстой и Николай Рерих.

Многие глубокие умы — Чаадаев, Владимир Соловьев — находили в России свойства особой самобытности — не Европу, не Азию, а «третью сторону человечества». Иные же, как Ап. Григорьев, в азартной запальчивости восклицали:

Мы не чета Европе старой
Или Америке беззубо-молодой...

Чувство внутренней самообороны, даже национальной гордости понятно, пока оно не сошло к исключительности и самохвальству. Не отречемся от культурной Европы, но признаем как часть драгоценного культурного опыта и Азию. Речь ведь не столько об изумляющих мир чудесах японской или южнокорейской технологии, а в том, что Дайсаку Икэда обозначил недавно как проходящий дорогами и нашей страны «духовный шелковый путь».

Мы проводим свою встречу в рамках советской комиссии по делам ЮНЕСКО, и оттого будет уместным отметить, что великая восточная идея непротивления силой признана сейчас Россией как основа ее внешней политики. На Востоке другое, чем на Западе, понятие исторического времени, его течения, его постепенности. И реализация запросов человеческого духа не в кратком, как блеснувший метеор, индивидуальном существовании, а в долгой цепи поколений. Только злое дело, считают на Востоке, делается быстро — «доброе дело», как говорит Ганди, «продвигается вперед со скоростью улитки».

Восток предлагает другое, чем Запад, соотношение самовольного, агрессивного — и созидающего начал в человеке, равновесие его прав и обязанностей. Труд, который в библейской и христианской традиции представляется тяжким долгом и наказанием («добывать хлеб свой в поте лица»), на Востоке обретает черты миссии и служит закаливанию духа.

Напоминаю об этих по большей части общеизвестных вещах, потому что в том вихре перемен и политических бурь, которые захватили нашу страну, вероятно, правильно было бы учитывать духовные традиции не только Запада, но и Востока. И тем попытаться сделать наше «промежуточное», «двусоставное», дорогое нам своей неизреченной самобытностью состояние народного духа и культуры из возможного недостатка — на новом витке развития, вбирающем разные стихии Востока и Запада,— неоспоримым преимуществом.

Мечта, не более, но хочу надеяться — не праздная мечта.

Во всяком случае идея перепутья Востока и Запада, любопытная в конкретном плане «евразийского течения» 20-х годов, бездонная в отдаленном историческом и доисторическом прошлом,— это еще и перспективная идея будущего, при условии, разумеется, что мы не останемся без этого будущего для нашей великой и многострадальной страны.

А. ДОРОШЕВИЧ

ЭНТОНИ БЁРДЖЕСС: ЦЕНА СВОБОДЫ

С чего это непременно вообразили они, что человеку надо непременно благоразумно выгодного хотенья? Человеку надо — одного только самостоятельного хотенья, чего бы эта самостоятельность ни стоила и к чему бы ни привела.

Ф. М. Достоевский. *«Записки из подполья»*

Мировую известность Энтони Бёрджесс приобрел в 1971 году, почти десятилетием позже публикации «Заводного апельсина» [1]. Тогда экранизация Стэнли Кубриком этого небольшого по объему романа взбудоражила киноаудиторию по обе стороны Атлантики своим изысканно стилизованным изображением «ультранасилия», проводником которого стал созданный писателем молодой «герой нашего времени». Бёрджесс к тому времени был автором восемнадцати романов и нескольких литературоведческих книг (не говоря о многих музыкальных произведениях, в том числе симфонических), хотя шел лишь шестнадцатый год его официальной (со времени первой публикации) литературной карьеры.

За ним уже установилась репутация сатирика в духе Ивлина Во с некоторым авангардистским уклоном, проистекающим из любви к творчеству Джеймса Джойса. Ранние романы Бёрджесса, связанные с личным опытом автора, учительствовавшего в английской провинции и в колониях (Малайя, Бруней), давали для этого достаточно солидное основанне. Несколько сюрреалистические повороты сюжета подчеркивали сатирическую направленность повествования, затемняя, быть может, незыблемую и с редким постоянством сохраняемую философскую основу: твердое убеждение автора в необходимости для человека сознательного выбора между добром и злом.

Проблематика эта, вполне органичная для самого Бёрджесса, родившегося в католической манчестерской семье и учившегося в католической школе, по-разному соотносится с господствующим общественным сознанием — соответственно духу времени и заботе момента. В годы преобладания в умах идей социалистического толка всякое зло рассматривается прежде всего как зло социальное, проистекающее извне человека, по природе своей существа доброго, но извратившего эту свою природу в результате неправильной социализации. Борьба со злом при таком взгляде на его корни обращается прежде всего на изменение внешних условий человеческого существования. Когда же преобладают религиозные идеи, взгляд на проблему зла становится более традиционным: в его существовании усматривается наследие первородного греха, коренящееся в человеческой природе. Центр тяжести переносится на проблему личной ответственности каждого человека, способного сознательно избрать путь спасения, открытый ему искупительной жертвой Христа.

В начале 70-х, когда с киноафиш на будущих зрителей взглянула зловеще ухмыляющаяся физиономия Малькольма Макдоуэлла в роли юного Алекса, насильника и хулигана, получающего эстетическое наслаждение от своего вандализма, как раз происходила смена ориентаций. Неоконсервативные настроения сменяли эйфорию от темпа социальных перемен 60-х годов. «Общество потребления», сложившееся в это десятилетие и, казалось бы, решившее многие социальные проблемы, выдвинуло не меньшее число новых, и среди них не последней оказалась проблема насилия. При этом насилие и жестокость рассматривались как социальный симптом, а не просто как бытовое проявление. На первый план вышла связь понятий «насилие» и «молодость».

Совсем недавно прошумела «майская революция» 1968 года в Париже, бурлили студенческие кампусы в Америке, рвались бомбы, подложенные западногерманской «фракцией Красной Армии» и итальянскими «Красными бригадами». Эти крайние проявления политического насилия родились на

[1] Русский перевод см. в журнале «Юность», 1991, № 3—4.

базе молодежной субкультуры, сформировавшейся на протяжении 60-х годов и состоявшей из смеси инфантильного утопизма в руссоистском духе, искреннего протеста против несправедливостей «взрослого мира» и желания проявить собственное «я», избежав тем самым конформизма, самого большого греха в глазах либерального сознания.

В старом, как мир, противостоянии «природы» и «культуры» силы, выступающие на стороне «природы», в этой субкультуре возобладали. «Культура» трактовалась как господство, принуждение, эксплуатация, сторонники «природы» открывали дверь биологическому инстинкту, веря в его изначальную благодетельность. Оправданной становилась и идущая от «природы» жестокость, коль скоро она противопоставлялась жестокости рациональной машины правления, каковой представало общество в глазах левых интеллигентов 60-х.

Если же убрать отсюда всякую политическую мотивацию, оставив лишь молодежный гедонизм. погоню за жизненными благами, диктуемую самой природой «общества потребления», как оно сложилось к началу 60-х годов, то всеобщее усиленное внимание к проблемам молодежной преступности, особенно немотивированной, становится вполне понятным.

Именно в начале 70-х к ощущению абсолютной ценности свободы прибавилось осознание цены, которую за эту свободу приходится платить. Она оказалась довольно высока: все асоциальные проявления — это то, что составляет необходимый и неизбежный компонент права на собственный поступок. Тот, кто эту цену платить отказывается, вынужден в качестве последнего аргумента прибегать к формам государственного принуждения.

Бёрджесс усвоил эту истину гораздо раньше, роман «Заводной апельсин», вышедший в 1962 году, когда проблемы молодежи лишь обозначились,— недвусмысленное тому подтверждение. Вернувшись в Англию после работы в дальних уголках империи с 1954 по 1960 годы, Бёрджесс увидел другую страну, совершившую в его отсутствие переход от послевоенных экономических трудностей к безудержному потребительству. («Вам никогда так хорошо не жилось»,— заявил соотечественникам в 1959 году премьер-министр Гарольд Макмиллан. Десятилетие спустя уже никто не стал бы оспаривать его слова.)

Свое ощущение перемены писатель так сформулирует в вышедшем совсем недавно первом томе автобиографии: «Коллективная агрессия имперской эпохи трансформировалась в беспричинную жестокость, монополию на которую получила молодежь. Часть ее, умевшая давать отчет в своих чувствах, ощутила гнев, и Джон Осборн объяснил ей почему. Это был гнев на духовный вакуум, оставляемый потребительством, которое, в свою очередь, осуществлялось самой же молодежью». Те же, кто не «оглядывался во гневе» на имперское прошлое, организовывал молодежные банды со своим жаргоном и униформой (многим памятны схватки «модов» и «рокеров» на брайтонских пляжах в 1961 году).

Весь этот мир, обрушившийся на Бёрджесса, словно из будущего, именно как мир будущего предстает в «Заводном апельсине». Алекс и его дружки орудуют не в знакомом английском антураже, но в некоем абстрактном мегаполисе, сохраняющем лишь отдельные детали английской жизни, вроде старушек из «паба», которым молодые люди ставят выпивку за свидетельство об алиби. Они избивают одиноких стариков, насилуют девушек и при случае могут убить без каких бы то ни было угрызений совести. Им изначально присуще какое-то радостное одушевление своим образом жизни, а сам Алекс вдобавок еще любитель и тонкий знаток классической музыки, которая дает ему ощущение силы и могущества, проявляемых как власть над другими людьми.

Самая главная особенность повествования заключается в том, что идет оно от первого лица (самого Алекса) и выдержано в строго стилизованной манере, когда повествователь наряду с разговорными формами употребляет архаические, равно как и прямое обращение к читателям: «О, мои братья» (совсем как ницшевский Заратустра). Главный остраняющий эффект заключается в том, что речь повествователя строится на жаргоне, использующем почти в каждой фразе незнакомые читателю слова, причем автор не дает ни малейшего намека на их значение, кроме их местоположения и, следовательно, функции, и предположительного смысла.

Понять их и оценить авторский юмор может только русскоязычный читатель английского текста романа. Вот вполне нейтральный пример: «Мы сделали этой девочке tolchok в litso, и krovvy появилась у нее на губах». Этот молодежный жаргон, у Бёрджесса по принципу «от противного» строящийся на русской лексике, а не на американской, как это было бы естественно ожидать, называется nadsat (то есть «надцать», по тому же типу словообразования, что и teen в английском слове «teenager», то есть молодой человек в возрасте от тринадцат-и до девят-надцат-и). Одновременно, совершенно в духе Джойса, одного из литературных учителей Бёрджесса, используемые русские слова несут в себе и каламбур, внятный то русскому, то английскому уху. Так, слово «хорошо» передается графически как horrorshow, что по-английски значит «шоу ужасов», а, скажем, написание bolshy veck, звучащее приблизительно как «большевик», означает «большой человек», ибо veck здесь — это усеченная форма слова «человек».

Переводчик «Заводного апельсина» в журнале «Юность» Евг. Синельщиков выбрал путь зеркальной передачи принципа «надсада», то есть в русский текст он вставляет английские слова в русском написании. Логически это вполне правильный путь, хотя эффект получается совершенно другой, отличный от задуманного автором. Ведь и так на протяжении более чем тридцати лет русский молодежный жаргон насыщался английскими словами, в результате чего еще большее расширение этого и без того широкого и понятного поля проходит сравнительно мало замеченным. А если прибавить сюда и современный русский жаргон, часто употребляемый в русском варианте романа, то в конечном итоге мы получаем произведение, максимально приближенное к нашим

повседневным реалиям (к сожалению, разумеется, но — что поделаешь — за тридцать лет, прошедших со времени появления «Заводного апельсина», будущее успело стать настоящим). Бёрджесс же стремился к противоположному — к максимальной стилизации и остранению с отдельнымн элементами узнаваемости, что, кстати, в высшей степени удалось Стэнли Кубрику в его экранном варианте романа.

Именно стилизация создает слегка абстрактный колорит, вообще характерный для антиутопии как жанра и не позволяющий рассматривать «Заводной апельсин» в ряду произведений «о проблемах молодежи и молодежной преступности». Автор ставит вопрос шире, рассматривая тайну рождения зла в душе человека экзистенциально, без спасительного списывания всего плохого на «социальные обстоятельства», изменив которые, можно якобы тут же обнаружить, что все люди — сплошные праведники [1].

Вот как формулирует проблему сам Алекс (для сохранения точного смысла даю свой дословный перевод): «Но, братья, когда начинают кусать ногти над проблемой, что есть причина зла, я просто смеюсь-заливаюсь, словно какой-нибудь malchik. Ведь никто не допытывается, что есть причина добра, зачем тогда наоборот? Если lewdies добры, значит, им это нравится, так что я бы и не подумал портить им удовольствие. И соответственно, наоборот. Я вот предпочитаю наоборот. Более того, зло происходит из души, из нее одной, из вас и меня, когда мы oddy knokie, а душу эту создал старина Bog к своей славе и radosty. А если нет души, то и зла нет, в том смысле, что все эти правительства, и судьи, и школы, они зла не потерпят, потому что и души не потерпят. А разве наша современная история, братья мои, не сводится к тому, что храбрые malenky души сражаются с этими большими машинами? Тут, братья, я серьезно говорю с вами. Но все, что я делаю, я делаю оттого, что мне так нравится».

Не случайна поэтому любовь Алекса к музыке, в частности, великому «Людвигу Ивану» с его «Одой к радости». Глубокое эстетическое чувство так же свободно рождается из глубины человеческой души, как и чувство нравственное; рок- и поп-музыка Алексом отвергаются: они слишком функциональны и социальны по своей сути, чтобы становиться в этот ряд.

Свободному выбору, делаемому в пользу зла, автор во второй части книги противопоставляет насильно навязываемое добро. Попав в тюрьму, Алекс оказывается подопытным кроликом в научном эксперименте: с помощью медикаментов ему прививается устойчивый условный рефлекс отвращения ко всякому насилию и агрессии. Посаженный перед киноэкраном, он вынужден наблюдать картины зла, в том числе документальные свидетельства нацистских зверств, от которых у него под действием вводимых лекарств возникает чувство непреодолимой тошноты и слабости. Более того, такая же болезненная реакция возникает и по отношению к музыке, которой сопровождаются фильмы.

Новая правительственная программа, частью которой стал эксперимент с Алексом, строится на принципе, выглядящем на первый взгляд весьма прогрессивно, но в высшей степени сомнительном с точки зрения традиционной этики. Она направлена не на наказание преступника, своего рода месть его телу, но на исправление его, переделку его души. И именно в этом посягательстве на душу, на свободу Бёрджесс видит грех гораздо более значительный, нежели жестокость и насилие, осуществляемые в результате свободного выбора. Неудивительно, что осуждение подобного рода «реформирования» сознания высказывает носитель традиционной этики, вечно пьяный тюремный капеллан: «Чего желает Бог? Желает он просто наличия добра или же сознательный выбор добра для него важнее? Быть может, человек, выбирающий зло, в каком-то смысле лучше того, кто насильно вынужден творить добро?»

Люди, подобно плодам растущие на древе жизни, становятся механическими существами, «заводными апельсинами», будучи лишены того, что делает их людьми — свободной воли. А что эта самая свобода воли утверждается чаще всего разрушительными способами, понимал еще Достоевский, за сто лет до появления романа Бёрджесса писавший от лица анонимного «парадоксалиста из подполья»: «...все дело-то человеческое, кажется, и действительно в том только и состоит, чтобы человек поминутно доказывал себе, что он человек, а не штифтик! хоть своими боками, да доказывал; хоть троглодитством, да доказывал».

Троглодит Бёрджесса, ставши штифтиком после сеансов «исправления», на своих боках убеждается, что насилие, произведенное над ним, так же античеловечно, как и насилие, творимое в прошлом им самим. И лишь в последней главе (не вошедшей в русский вариант романа, напечатанный «Юностью») автор делает некий ход в сторону от намеченной с самого начала жесткой схемы: Алекс, возвращенный в прежнее состояние в результате антиправительственной кампании либеральной прессы, вдруг перестает испытывать былое удовольствие от «ультранасилия». В голове у него, к собственному удивлению появляются мысли о сыне и о девушке, которая могла бы стать матерью этого сына... Герой-повествователь ощущает, что взрослеет и даже высказывает соображеиие, что юность — это есть некое изначально заданное существование, а молодые люди похожи на заводные машинки, запущенные по прямой линии и в силу этого крушащие все на своем пути.

Эта слегка намеченная эволюция героя несколько смягчает безысходность антиномии свободно выбираемого зла и насильно навязываемого добра. В конечном итоге первое — это активность, способная на эволюцию и изменение, второе — заданная извне пассивность. Пассивность же — один из основных пороков в глазах Бёрджесса. Здесь

[1] Почти назойливо звучат частые объяснения в нашей прессе (в чем-то, разумеется, и обоснованные), что, дескать, преступность нынешняя разгулялась так исключительно в силу жизненных трудностей, которые мы все испытываем, а вот заживем богато, по-капиталистически, так сразу каждый и станет друг другу товарищ и брат. Не все же, однако, становятся на нехороший путь, и роль нравственных устоев, определяющих выбор поведения, не стоит совсем сбрасывать со счетов.

он вполне разделяет господствовавшие в 60-е годы среди либеральной интеллигенции настроения «активизма», желание «расшевелить болото», заявить о своей позиции. Было бы интересно подсчитать, сколько раз в эти годы в литературе и в кино цитировался стих из Откровения Иоанна Богослова: «...ты ни холоден, ни горяч: о, если бы ты был холоден или горяч!» Достаточно вспомнить романы другого католика Грэма Грина с его «Тихим американцем», «Комедиантами», «Путешествием с тетушкой», чтобы увидеть, насколько эта увлеченность «жаром» была распространена.

Схватке добра и зла, в которой худшим грехом оказываются «теплота», «нейтральность», посвятил Бёрджесс роман «Трепет намерения» (1966), который публикуется в этом номере. Если «Заводной апельсин» — роман-антиутопия, то «Трепет намерения», как обозначено в подзаголовке,— «эсхатологический шпионский роман». В качестве «шпионского» он читается вполне в духе триллеров о Джеймсе Бонде, где герой много убивает, со вкусом ест и пьет, завоевывает женщин, вступает в схватку с международным махинатором типа Голдфингера. В сюжете есть неожиданные повороты, финал его трудно предсказуем. Одновременно все те же элементы могут читаться и на другом, «эсхатологическом» уровне. Здесь уже все сложнее. Детали, выглядящие как характерные преувеличения «бондовского» жанра, приобретают метафорическое значение. Гиперсексуальность, гастрономические перехлесты, умение убивать становятся чертами, свидетельствующими об активной жизнеспособности героя, противостоящей всему «теплому», «нейтральному», то есть всему, что не включено во вселенскую схватку двух начал — добра и зла.

В «Трепете намерения» Бёрджесс выступает отнюдь не как правоверный католик. В его трактовке универсальной борьбы зла и добра, дьявола и Бога явно просматривается философия манихейства, что, впрочем, он и не отрицает, заявляя устами своего героя Дениса Хильера: «Жизнь — это манихейское мессиво!» Характерное для манихейства разделение на противоположности автор проводит по всем регистрам, начиная с борьбы сторон в «холодной войне», кончая противопоставлением двух женщин, индианки мисс Деви (от «дьявол») и юной Клары («светлая»). Первая, с ее исступленным эротизмом, оставляет Хильера беспомощным в руках врага и мучителя, вторая — словно дантовская Беатриче открывает перед ним возможности новой жизни.

Однако символическое прочтение начинается не с самого начала романа. Первая его глава, посвященная истории взаимоотношений Хильера и Роупера, выдержана вполне в реалистических тонах «романа воспитания». Католическая школа, изображенная здесь, во многом воспроизводит ту, где учился сам Бёрджесс, а история духовного развития двух друзей-школьников весьма характерна для их поколения. Путь Роупера, в частности,— это путь рационалистически настроенного интеллигента, желающего выработать цельное, непротиворечивое мировоззрение и не признающего изначального дуализма абсолютных добра и зла, требующих экзистенциального выбора. В результате после разочарования в очередной идеологии очень легко происходит переход к следующей.

Сначала, в период «просветительского рационализма», Роупер заявляет, что «зло проистекает от невежества». Далее, как определяет Хильер, идет движение «от сухого рационализма к сентиментальности», приходящееся на период войны, пока, наконец, женившись в послевоенной Германии на недалекой немке и попав под ее влияние, Роупер уже готов искать основания для вполне пронацистских взглядов, выражаемых его женой Бригиттой. После расставания с Бригиттой — период лейборизма и, наконец, переход на советскую сторону, так объясняемый Хильером: «Тебе требовалась лишь вера, но ты не смог обрести ее ни в религии, ни в том, что называл своей страной».

В этой главе герой-повествователь чем-то напоминает разочарованных персонажей Грина, через силу продолжающих исполнять свою роль в жизненной игре, но готовых выйти из нее («По натуре я игрок, но игра стала слишком грязной, и я из нее выхожу»). Однако следующий шаг духовного развития подобного героя — возрождение через нравственный выбор — делается в рамках совсем другого типа повествования: гиперболически условного триллера (уже в третьем лице). Корабль, пассажиры которого совершают круиз до советского черноморского порта Ярылык, откуда Хильер должен похитить перебежчика Роупера, выглядит как своего рода ковчег потребительской цивилизации, символом которой оказывается обжорство. Кульминацией, дающей окончательное пластическое выражение этой метафоры, становится эпизод «дуэли желудков» между Хильером и таинственным международным дельцом Теодореску [1].

Приступая к этому состязанию, Хильер торжественно заявляет: «Я верю, что у человека есть право на выбор. Я признаю основной догмат христианства — свободу воли». Это высказывание кажется несколько неуместным, поскольку сразу за ним идет некоторое снижение — выбор блюд. Однако это лишь первое впечатление. Ведь Теодореску — родной брат Доктора Но, Голдфингера и всех прочих повелителей тайных подпольных империй из джеймсбондовских романов и фильмов. Они выводятся как некая «третья сила», находящаяся по ту сторону мирового противостояния Запада и Востока и претендующая на абсолютное мировое господство. Если агенты противоборствующих сторон — люди со своими слабыми и сильными сторонами, то проводники воли этих сверхвластителей выделяются нечеловеческими чертами, вроде железной руки или стальных челюстей (из тех же бондовских фильмов). Притязание на абсолютное всемогущество делает их в собственных глазах воплощением судьбы, безличной, все предопределившей, не оставляющей никакого выбора своим противникам. «Все... предопределено»,— заявляет мисс Деви, подручная Теодореску, оказывающаяся всемогу-

---

[1] Если вспомнить, что роман Бёрджесса появился в 1966 году, то становится очевидным приоритет писателя в использовании мотива, столь частого впоследствии в мировом кино («Большая жратва» М. Феррери, «Повар, Вор, его Жена и ее Любовник» П. Гринуэя).

щей благодаря своему инфернальному эротизму. Место эмоциональных, экзистенциальных ценностей, связанных с понятием добра и зла, занимает чистая функциональность, стремление к власти и богатству, не имеющее отношения ни к каким человеческим предпочтениям и потому нейтральное по отношению к ним. «Я сохраняю абсолютный нейтралитет»,— заявляет Теодореску, занимающийся перепродажей разного рода секретов противоборствующим сторонам «холодной войны» и потому заинтересованный в сведениях, которые знает Хильер.

В манихейской вселенной Хильера (и, соответственно, Бёрджесса) нет бóльшего зла, чем нейтральность. «Корень зла — в нейтралах, в неприсоединении»,— несколько раз на протяжении романа заявляет герой. Это звучит вполне в духе призывов к «ангажированности», которые столь часто раздавались на протяжении 60-х годов из среды как либерально, так и леворадикально настроенной западной интеллигенции. В свое время эта «ангажированность» весьма односторонне трактовалась в духе исключительно просоциалистическом и тем самым — просоветском. На деле — это с математической простотой явствует из формулы Бёрджесса — нейтральности противостоит сама возможность выбора из добра и зла, нейтралитет же признает не абсолютные категории, а лишь функциональность. «Как легко он низвел живое человеческое существо до его корабельной функции,— упрекает себя Хильер.— Это и называется быть нейтралом, то есть скорее машиной, чем кукольными подмостками, где происходит борьба со злом или с добром?» Этот пассаж почти дословно совпадает с известной фразой Достоевского о том, что сердца людей — поле битвы дьявола и Бога. Однако если у Достоевского это лишь часть здания православной философии, для Бёрджесса здесь заложен краеугольный камень его манихейской вселенной. «...В идее Бога заложена идея анти-Бога. Подлинная реальность — это... состязание двух игроков. Мы — мои коллеги и наши коллеги с той стороны (имеются в виду противоборствующие спецслужбы.— А. Д.) — как раз и являемся отражением этого состязания. Впрочем, отражением довольно бледным. Прежде оно было значительнее и ярче: тогда каждая из сторон олицетворяла собой то, что принято называть добром и злом... Но поскольку сегодня мы не верим в добро и зло, то остается лишь продолжать эту глупую, бесцельную игру... Мы слишком ничтожны, чтобы нам противостояли силы света или силы тьмы. Более того, во время игры мы время от времени открываем двери злу. Оно незаметно проникает в наш мир. И оказывается, что в нем отсутствует добро, необходимое для противостояния злу. Вот тут-то и становится так муторно на душе, что хочется выйти из игры».

В конце концов после разнообразных приключений Хильер действительно выходит из игры, обосновывается в Ирландии, принимает сан священника, несмотря на свои несколько еретические взгляды. Впрочем, манихейский жесткий дуализм нужен Бёрджессу скорее как впечатляющая философская схема, на которую можно наложить сюжетную структуру романа. Гораздо более важное значение имеет для него другая ересь внутри христианства. Бёрджесс, получивший образование в католической школе, с ранних лет воспитывался в духе учения Блаженного Августина о предопределении, благодати и совмещении их со свободой воли. От Августина воспринял он и сохранившиеся в агустинианстве элементы манихейского дуализма. Однако проповедь современника и противника Августина британского монаха Моргана, известного под христианским греческим именем Пелагий, привлекла его больше. Видя в учении о предопределении избранных пессимистический фатализм, Пелагий и его последователи считали основой нравственности абсолютную свободу воли, дарованную Богом человеку. Эту доктрину Бёрджесс положил в основу своего творчества и не отступает от нее вплоть до самых последних своих сочинений. (А одних только романов, не считая литературоведческих исследований, биографий, эссе и телесериалов, у него на сегодняшний день около тридцати.) Спор Пелагия с Августином стал даже сюжетом стихов и сценария, которые сочиняет герой романа Бёрджесса «Заводной завет» (1974) писатель Эндерби:

> Сказал Августин: если Всевышний Всеведущ,
> То знает число волосков, что на пол слетят
> При ближайшей стрижке, которая может
> Оказаться последней.
>
> . . . . . .
>
> Но Пелагий ответил: Милость, вот слово.
> Но величайшее слово: Любовь. Своею
> любовью
> Он дарует людям свободу принять Его
> Или отвергнуть.

И не случайно то же самое повторяет и апостол Павел, главный герой романа «Царство неправедных» (1985): «Бог даровал человеку свободу — на зло и на добро. Ужасающий дар, но и благословенный. Бог не хочет ущемлять свободы своих творений. Ни для добра, ни для зла». Однако, как замечает Эндерби, этот гротескный двойник самого автора, «нельзя творить поэзию из голой доктрины. Надо найти символы».

Наиболее впечатляюще это было сделано в «Заводном апельсине», что и определило его широкую популярность. Постановка универсальных вопросов не оказалась оторванной в нем от примет времени и злобы дня. В «Трепете намерения» автор предпринимает обратный ход: через политическую злободневность и популярность жанра осуществляется продвижение к разговору на уровне более абстрактном. Оба романа как бы дополняют друг друга, хотя, разумеется, не исчерпывают Бёрджесса как писателя, знакомство с которым, вероятно, будет продолжено.

■

Новые книги, новые имена

ВСЯКИЙ ЛИ ГРЕХ ИСКУПАЕМ?

Шло преображение Восточной Европы. Мы приникали к телеэкранам, веря и не веря собственным глазам, следили, как, барак за бараком, рушится социалистический лагерь, нами же возведенный взамен гитлеровских концлагерей. Связанные общей целью, мы все знали о людях этих стран, нам не нужно было объяснять логику их революций — ни «нежных», ни кровавых. Мы только не знали тогда, что будет дальше, и трепетали при воспоминании о том, с какой легкостью пресекаются революции: 1953 год, 1956 год, 1968 год, 1981 год...

Но шел 1989-й.

Весь мир, веря и не веря, следил за тем, как переворачивается страница истории.

Париж готовится к Рождеству. В доме, уютно расположившемся в одном из ухоженных буржуазных кварталов, сидят перед телевизором люди с непраздничными, встревоженными лицами — лидеры мирового пролетариата, а точнее, руководители одной из троцкистских групп, одной из множества, на которые рассыпалось движение. Они собрались, чтобы обсудить события в Восточной Европе и выработать линию поведения в этой непредвиденной ситуации, когда рабочий класс выступил против бюрократии — как предсказывал Троцкий,— но потом взялся за реставрацию капитализма, вместо того чтобы возродить истинный марксизм.

Лидеры, герои романа Тарика Али «Искупление грехов»[1], в свете чрезвычайной важности момента, готовы даже забыть разногласия с другими лидерами и действовать совместно, «возглавив процессы, начавшиеся в Восточной Европе, ибо без этого троцкизм погибнет, а если он погибнет, человечество может проститься с мечтой о мировой революции». Будет созван Конгресс, открытый для всех: пусть соберутся представители враждующих фракций (десятки раз исключавшие друг друга из партии за ревизионизм, сектантство и уклонизмы), чтобы обсудить новую стратегию и тактику борьбы.

Прежде чем продолжить рассказ о романе, необходимо рассказать о его авторе — это добавит достоверности описываемой им среде.

Тарик Али родился в 1943 году в Пакистане в родовитой и богатой семье правовернейших коммунистов. Учиться его отправили, естественно, в Оксфордский университет, где он делил время между изучением истории и занятиями политикой. Избирался президентом знаменитого Оксфорд-юнион, Студенческого союза, входил в марксистские кружки различного толка, сторонясь лишь коммунистических. В бурные 60-е, когда молодым бунтарям казалось, что мощное антивоенное движение в Америке, демонстрации на улицах европейских столиц, баррикады в Париже вот-вот распахнут врата веселой и юной революции, Тарик Али сделался заметной фигурой и в студенческих волнениях, и в «4-м Интернационале». В 1987 году он опубликовал книгу «Годы уличных схваток, автобиография шестидесятых», посвященную Эрнесту Манделю, одному из организаторов «4-го Интернационала». В ней Тарик Али рассказал и о том, почему он порвал с троцкизмом: убедился, что, чем бы ни был троцкизм в прошлом, даже второе дыхание 60-х не спасло его от вырождения в набор левых догм, никакого отношения к реальной жизни не имеющих. Последняя глава книги называется «Еретики и ренегаты» — себя он относит к первым, поскольку он не от левых взглядов отказался, но позволил себе иметь собственное суждение о том, что происходит в мире.

«Искупление грехов» написано не ренегатом — Тарик Али не возненавидел свое юношеское революционерство, просто перерос его инфантильную одномерность. В отличие от поколения Кёстлера, Жида, Силоне, Спендера, которых мучительное крушение идеалов толкнуло в яростный антикоммунизм, левая интеллигенция нашего времени, даже разочаровавшись, как Режи Дебре, прощалась с прошлым насмешливо.

[1] Tariq Ali. Redemption. London, Chatto & Windus, 1990.

Другая эпоха: то поколение в бессильном ужасе наблюдало торжество сталинизма, а это стало свидетелем краха тоталитарных режимов. Вот и роман — ирония и сарказм не до конца заглушают нотки сожаления по тем, кто искренне уверовал в сказку, которую можно сделать былью, а заодно и в то, что ради этого любые средства хороши.

Все мы, простой случайностью рождения ставшие объектами «величайшего эксперимента», какой когда бы то ни было ставился на массе людей, мы все, на своей шкуре познавшие — и кажется, еще не сполна,— что значит быль сказки, мы должны сделать умственное усилие, чтобы вспомнить: да, эта сказка обладает убийственной притягательной силой. Особенно на расстоянии. Разве удалось бы большевикам перевернуть полмира, будь это иначе?

Главный герой, семидесятилетний Эзра Эйнштейн, еще подростком, сжигаемый жаждой справедливости, вступил в борьбу за угнетенных. Он пережил ад фашистской Германии, чудом бежал из концлагеря, он терял друзей — одни были замучены в застенках гестапо, другие в застенках НКВД, он знал нужду, лишения, скитания, но не утратил веры. Человек добрый и мягкий по природе, он взрастил в себе непримиримость к врагам веры, величайшей Идеи, в конечном торжестве которой он не сомневался. И чем более петлистый путь к этому торжеству избирала история, тем все более неопровержимые аргументы правоты Идеи давала она Эзре. «Он сочетал в себе неистовость ветхозаветных пророков с недостатками апостолов Нового Завета».

Борьба закалила его. Он выходил победителем из любых внутрипартийных схваток, он молодел душой, сражаясь против маловеров и оппортунистов всех мастей, он знал ответ на любой вопрос. «Нехватка воды в Индии? Голод в Африке? Обезлесение Бразилии? Очистные сооружения в Замбии? Очереди за продуктами в Москве? Радиационные последствия Чернобыля? Автоматизация конвейера «Вольво» в Гётеборге? Женское движение в Японии? Ему казалось, что он мог бы решить любую из этих и других проблем.

Все же просто. Нужна добрая воля плюс рабочее самоуправление, естественно, в глобальном контексте Всемирной федерации социалистических республик под управлением Советов рабочих, члены которых подлежат отзыву по первому требованию избирателей. Создание спутникового телевидения открыло возможность при необходимости проводить всемирные опросы общественного мнения: рабочих — без отрыва от производства, крестьян — без отрыва от полевых работ. Эзра был убежденным сторонником использования достижений Третьей индустриальной революции, новой технологии и электроники, для выработки новых форм массовой демократии».

Эзра женат на молодой красавице — бразильянке Майе, которая нежно любит чудаковатого мужа, но мало вникает в его теории, интуитивно ощущая их нежизненность. Майя живет в восхитительной гармонии с жизнью, приемля все ее несовершенства. Майя — католичка, но верует она не столько в страждущего Христа, сколько в упоенную материнством богородицу. Майя и сама становится матерью. Маленькая Хо Эйнштейн появляется на свет в самый день открытия Конгресса. Эзре, неожиданно увидевшему контражуром в дверном проеме Майю с новорожденной на руках, почудился венчик вокруг младенческой головки... Может быть, и не случайно, но об этом речь впереди.

А пока — готовится Конгресс. Вопреки священной партийной практике, на сей раз будущие делегаты не получат для предварительного обсуждения тезисы основного доклада — запланирована свободная дискуссия. Эзра сообщает только одно: партия уверена, что при условии выработки правильной стратегии и тактики у нее есть реальная возможность возглавить мировую революцию, которая сейчас достижимей, нежели в двадцатые, в сороковые или в шестидесятые. Троцкизм на пороге небывалых побед — или страшного поражения.

Весть о Конгрессе привела в смятение весь троцкистский калейдоскоп: осколки и осколочки движения спешно перестраивали ряды, спешно образовывали новые конфигурации, рассыпали их, пересоставляли заново. Бешено работали телефоны, телефаксы и телексы — нужно было немедленно выяснить, что затевается, кто стоит за чем и за кем, что кроется за приглашением недружественных фракций, припоминались и тут же забывались старые дрязги, вспыхивали новые.

Тарик Али не зря проработал столько лет на телевидении: так и кажется, будто видишь — операторы ведут съемку с разных точек, на мониторах тут же появляются хроникальные кадры, то крупный план, то панорама, то удачно схваченный портрет. Все быстрее и быстрее движется эта круговерть, мелькают лица, города, факты, последние известия, цитаты, подлинные, вымышленные, спародированные, но всегда узнаваемые.

Узнаваемость. Не могу судить о том, как читался роман в других местах, но читаемый в Москве, он приобретает отчетливый второй план, который постепенно начинает довлеть над авторским замыслом. Какие троцкисты? Причем тут троцкисты? Это мы сами в зеркальце их нереализованного потенциала. Тут и не поймешь, кто перед зеркалом, кто в зазеркалье. А вдруг в зазеркалье мы — злобная мощь их материализовавшихся мечтаний, сама уничтожающая себя? А возможно, в зазеркалье они — миниатюрная пародия на ирреальность наших затей? Одинаковая аморальность — не отвержение морали, а отсутствие морали как таковой, одинаковая борьба за власть, с разницей в масштабах власти...

Все эти заседания разнообразных политбюро в Париже, Риме, Лондоне, Мехико, Нью-Йорке, на которых вопрос о том, что нельзя допустить, чтобы трудящиеся массы Восточной Европы и Советского Союза поступились принципами социализма, пусть даже подвергшимися искажениям в период сталинизма, рассматривается вместе с текущими оргвопросами: исключениями из партии за чтение «Московских новостей», порицаниями за отступления от пролетарской морали, борьбой за назначения на ответственные посты — после победы револю-

ции, конечно,— смеяться над этим или плакать?

А язык, язык, терминология, тот сильный лексикон классовой борьбы, лексикон парт-аппарата! Такой привычный для нас, он, донесясь с широт, ему несвойственных, наполненный обертонами иных реалий, капиталистической действительности и «их» нравов, приобретает какое-то особое зловеще-пародийное звучание.

Но все-таки кто они, эти современные троцкисты? Что за люди составляют эти крохотные группки и группочки, выкроившие для себя отдельную реальность и воюющие в ней и за нее? Повторяю, Тарик Али изнутри знает описываемую среду. Излишне даже говорить, что никакого пролетариата в этой среде нет,— чем может привлечь троцкизм современного рабочего, уж не говоря о том, что неясно, кого сегодня называть пролетарием — без добавки «люмпен». Мало и молодежи, поэтому лидеры фракций усиленно переманивают к себе каждого начинающего революционера.

«Это молодые отпрыски среднего класса, люди с мазохистскими наклонностями и комплексом вины,— безжалостно аттестует их автор.— Тот же психологический тип, что и последователи всевозможных мистиков, индийских гуру и т. д. Разница только в выборе идеологии. Как правило, они довольно быстро прозревают и уходят из движения. Впрочем, не все». У тех, кто остается, через некоторое время развивается сильный «синдром власти кресла,— начисто лишенные реального влияния в реальном мире, они изобретают себе мир собственный, где кресло становится символом власти».

Среди них попадаются и птицы дивного пера — богатая оперная певица, воображение которой дразнят революционные фантазии на театральный лад, благополучнейший университетский профессор, в свободное время играющий в игры своей юности, парочка великосветских феминисток.

Во главе — старые лидеры; иные знавали Троцкого времен острова Принкипо и далее. Их биографии поражают красочностью. Конечно, мы все с младых ногтей усвоили, что революции не делаются в белых перчатках, нам известны подлинные биографии многих деятелей победивших революций — кстати, черты реальных прототипов угадываются и за жизнеописаниями героев романа.

Тарик Али приводит их по «Энциклопедии троцкизма», издание которой якобы было предпринято «особым отделом НКВД, специально учрежденным для борьбы с троцкистами. Первое издание энциклопедии было представлено в ЦК в 1930 году и с тех пор ежегодно обновлялось. В 1987 году все пятьдесят семь томов были преданы гласности и публикация энциклопедии прекратилась, к большому неудобству западноевропейских и американских спецслужб, которые бессовестно пользовались ею для ведения собственных досье».

Один из старых лидеров, Ренар («Лис»), в молодости материально помогал Троцкому деньгами, организовав для этой цели борьбу парижских проституток против сутенеров; он брал с проституток меньше, чем сутенеры, и эффективней защищал их права. Старый Лис активен и сейчас, как активны и многие другие из старой гвардии: Дьябло, Нобл; они, в отличие от тех, кто помоложе, способны на большее, чем политическое интриганство, они не разучились подделывать документы и нелегально провозить оружие, не разучились и «грабить награбленное» — частенько друг у друга, как и произошло в период подготовки Конгресса и, разумеется, во имя проведения Конгресса.

Но кто считается с такими вещами, когда дело касается самого главного — партии?

Пробил час — открылся Конгресс, который Эзра Эйнштейн называет про себя Великим советом мирового троцкистского движения. Зал «Мютюалите» заполнен делегатами, готовыми к новым боям друг против друга и нетерпеливо ожидающими начала выработки новой стратегии мировой революции. То, что они услышали, ошеломило даже самых закаленных бойцов.

Эзра Эйнштейн предложил обратиться к совершенно новому оружию в борьбе за дело пролетариата — к религии. Как всегда, его аргументация была безупречно строга и логична.

Какая идеология на протяжении тысячелетий сохраняет себя в любых изменяющихся условиях и оказывает воздействие на миллионы и миллионы людей? Религия. Способна ли религия объединить и поднять на борьбу революционные массы? Да, это с достаточной наглядностью свидетельствует опыт Ирана и Польши. Что нужно делать? Проникнуть в церкви, храмы, мечети, синагоги, овладеть умами верующих и повести их за собой. Каким путем следует действовать? Путем использования марксистских методов вербовки и идейного воспитания, по своей природе весьма близких к тем, которые традиционно использует церковь. Какие тактические цели при этом ставятся? За ближайшее десятилетие движение может выдвинуть из своей среды минимум трех-четырех кардиналов, пару айятолл, десяток-другой раввинов, полностью взять в свои руки менее значительные конфессии — методистскую церковь, например,— и, наконец, посадить троцкиста на Святой престол в Ватикане. Стратегическая цель — установление связи небесного и земного — должна быть достигнута к концу первой четверти XXI века. Слабость марксизма, как и других «измов», вытекающих из него, заключается в недооценке этики, морали и духовности. Это можно и нужно исправить. Лучше пойти этим путем, нежели подвергать движение опасности сотрудничества со сталинскими бюрократами или социал-демократическими шарлатанами, тайными реставраторами капитализма. (Вечером, дома, Майя спросит: а что, если все эти люди и впрямь уверуют?)

А пока на трибуну поднялся старый Лис. Зная, что атеистическая вера нуждается в подкреплении высшего авторитета не меньше, чем всякая иная, Лис объявил, что Троцкий провидел возможность использования религии в революционных целях и за два дня до гибели подготовил соответствующий документ, поручив супруге положить кожаный портфельчик с документом в его гроб. Учитывая серьезность ситуации, Лис просил прервать работу Конгресса на

несколько дней, с тем чтобы дать возможность ему с группой товарищей слетать в Мексику, произвести эксгумацию и добыть этот важнейший документ.

— А что, если в гробу нет никакого документа? — спрашивает Эзра, человек щепетильный.

— Я же не сказал, что знаю, есть там документ или нет,— резонно отвечал Лис.

— От результатов твоей поездки зависит судьба движения,— говорит щепетильный человек.

Надо, Федя.

О чудо, в гробу обнаруживается кожаный портфельчик, а в нем рукой Льва Давыдовича — похабное стихотворение, обращенное, похоже, к Сталину. Но это еще не все: Лису является сам Лев Давыдович, желающий узнать, какого черта разрыли его могилу. Плохие времена, оправдывается потрясенный Лис, надо бы явить чудо делегатам Конгресса, укрепить их дух, сплотить ряды.

Но Троцкий и слышать об этом не хочет: «Мы с Ильичем всегда знали, что 17-й год был авантюрой. Без поддержки извне она не могла не провалиться. Нам отчаянно нужна была Германия, а она пошла за Гитлером. Так что начинайте сначала. Можешь передать Конгрессу мои слова: все сначала. Другого пути нет».

К тому времени как Лис возвратился в Париж, делегаты уже едва помнили о его миссии: троцкизм давно превратился в подобие религии и, преодолев начальный шок, а также непродолжительную перепалку между непримиримыми атеистами и столь же непримиримыми материалистами, одинаково убежденными в необходимости поставить религию на службу интересам трудящихся масс, делегаты затеяли яростную баталию. Предмет спора: использовать ли уже существующие конфессии, как предлагал Эзра Эйнштейн, или, по предложению радикалов, сотворить совершенно новую религию. Она могла бы называться христисламасонством, почитать и Христа, и Магомета как пророков древности, учредить культ «народных святых», скажем Гоголя, еще кого-то.

Вопрос ставится на голосование, и предложение Эзры проходит большинством в один голос благодаря тому, что Лис умудряется проголосовать дважды. Радикалы отказываются признать результаты голосования — впрочем, дальнейшее не важно.

Мудрено ли, что после всего этого Эзре приснился Карл Маркс в облике Зевса-громовержца, да еще в окружении Ленина, Троцкого, Каутского, Розы Люксембург. Каутский насмешничает — ну что? Не может быть социализма без демократии! Ленин и Троцкий понуро молчат.

Зато начинает говорить новорожденная Хо, и не просто говорить, но пророчествовать.

«Малышка Хо,— спрашивает Эзра,— что будет с нашим движением? Есть ли будущее у марксистов?»

«Будущее за социал-демократами»,— ответствуют уста младенца.

Так что же: «Ты победил, Галилеянин!» — по меньшей мере в том, что даже подрывателям Твоих заветов приходится признать, что нет другого пути к человеческим сердцам?

До «Искупления грехов» Тарик Али романов не писал — он автор нескольких публицистических книг, журналист, телекомментатор. Есть, правда, у него две пьесы — в соавторстве с известным английским драматургом Ховардом Брендоном,— обе ставились с большим успехом, но это были скорее политические дискуссии, разнесенные по стереоколонкам, нежели произведения драматургии. И популярность их была злободневная: «Иранские ночи», где действуют слегка подгримированные Сальман Рушди и аятолла Хомейни, были поставлены осенью 1989 года и при всей своей остроте оказалась бледным подражанием тому, что происходило на самом деле. Прошлой осенью было поставлено «Московское золото», и тут уже главные герои без обиняков носили имена: Горбачев, Раиса и Ельцин, кроме того актеры поражали внешним сходством с прототипами. О художественных достоинствах этих пьес и речи быть не может. Не тем они брали.

Это относится и к «Искуплению грехов» — точные наблюдения, мгновенные штриховые зарисовки, свидетельствующие о профессионализме публициста, и журналистика так и захлестывает повествование. Однако прочитывается книга залпом — особенно на нынешнем советском фоне, в перекличке с нашими неотвязными мыслями и нескончаемыми перебранками.

По внешним признакам «Искупление грехов» все-таки роман, поэтому правомерен вопрос: что могло побудить Тарика Али обратиться к этому жанру в попытке осмыслить природу левого феномена или, соблюдая современную стилистику,— человеческого фактора левого феномена? Желание раскрыть дополнительными к публицистике средствами психологию людей, которые в наши дни поглощены подготовкой к мировой пролетарской революции? Через них показать неизбежную деградацию тоталитарного мышления на макро- и микроуровнях, сопоставляя зло гитлеровского и сталинского масштаба с нереализованным потенциалом зла, которое несут в себе персонажи романа?

Роман не получился, персонажи схематичны, но взбудораженная книгой мысль подсказывает больше, чем написано автором. На ум приходит полпотовский эксперимент и кровавая каша «Тяньаньмэня», «городские партизаны» и «идейные» угонщики самолетов из всевозможных «красных бригад», за фарсовыми ситуациями романа зловеще маячит трагедия. Жива проклятая романтика насилия во имя всечеловеческого счастья, беспощадного счастья для всех, кого оно постигнет!

М. САЛГАНИК

КРОЛИК ЭНГСТРОМ — ТРИДЦАТЬ ЛЕТ ИСПЫТАНИЙ

Название романа Джона Апдайка, опубликованного в США осенью прошлого года, переводится как «Кролик на отдыхе» [1], или — с не меньшим на то основанием — как «Кролик успокоился». В этой книге писатель вновь обратился к хорошо знакомой ему социальной среде и теперь, надо полагать, уже в последний раз сфокусировал внимание на центральном персонаже своих предыдущих романов: «Кролик, беги» (1960), «Кролик возвращается» (1971) и «Кролик разбогател» (1981).

«Взаимоотношения между автором и его героем уникальны в нашей литературе»,— отмечала американская пресса, подчеркивая отличие сложившегося сериала от столь распространенных томительно-исповедальных произведений, не выходящих за пределы личного опыта повествователя. Нельзя, впрочем, утверждать, что между Джоном Апдайком и Гарри Энгстромом, получившим прозвище Кролик, вовсе нет точек соприкосновения. Вымышленный персонаж лишь годом моложе своего создателя, и оба они родом из юго-восточной части штата Пенсильвания, к изображению которой прозаик обращался во многих других романах и новеллах.

Кролик Энгстром, однако, не литератор, не художник и не ученый, не интеллигентствующий разночинец, которому было бы легко доверить мысли и переживания автора. В образе Кролика воплощен — как выразились бы журналисты и социологи — «простой американец», «человек с улицы». По сути, речь идет о характерном образчике трудящейся, простонародной Америки, которая, поражая одновременно здравомыслием и косностью, идейной ограниченностью и жизненной энергией, не так часто становится предметом глубокого художественного исследования в творчестве наших американских современников.

На календаре романа «Кролик, беги» значился конец 50-х, когда Америка еще не знала ни «массового общества», ни движения за гражданские права, ни бунтующей молодежи, ни «сексуальной революции». Мир, окружающий героев книги, устойчив, патриархален, достаточно благополучен и бесконечно уныл — уныл настолько, что даже не самые утонченные натуры, вроде двадцатишестилетнего Гарри Энгстрома, страдают.

Не так давно Кролик Энгстром был «звездой» школьного баскетбола, знаменитостью в округе. Но теперь его подвиги позабыты, он ощущает себя прочно застрявшим на житейской обочине. Нелады с женой Джанис, дурацкая работа по рекламе пустячной кухонной утвари и, наконец, не отпускающее чувство неприкаянности — вот, что такое теперь его жизнь.

Уверенной рукой реалиста, внимательного к мельчайшим и в то же время характерным деталям обстановки, Апдайк воспроизводил драму персонажей, создавал запоминающиеся картины быта не обозначенных на карте, но абсолютно правдоподобных пенсильванских городков Маунт-Джадж и Бруэр, замыкающих на себе, в представлении Кролика, его родителей, друзей, родственников, вселенную. Кролик, правда, повидал, будучи на военной службе, Техас, а однажды в безоглядном стремлении оказаться где-нибудь подальше от знакомых лиц, добрался до Западной Вирджинии, но в общем вся жизнь Кролика — к добру ли, к худу ли — связана с несколькими улицами его детства. Здесь он вырос в семье типографского рабочего, кое-как учился и работал, женился на дочери торговца автомобилями, отсюда начинался и маршрут его нескончаемого бегства от доводящей до нервного срыва повседневной рутины.

Даже в дни молодости Кролик Энгстром — далеко не бунтарь, и наиболее решительные его поступки в немалой степени инстинктивны и произвольны, и в первом романе он — по-своему драматическая и, быть может, трагическая фигура. Среди своих по всем статьям заурядных сограждан он выделяется не столько ростом баскетболиста, сколько известной сложностью душевной жизни, той органической неуспокоенностью, с исчезновением которой человек обречен на длящееся нередко долгие годы унылое прозябание.

Можно сказать, Кролику повезло: Большая История задела его крылом. В центре следующего романа Апдайка оказались события 60-х годов, когда массовые оппозиционные выступления достигли в США своего апогея. К дому уже почти сорокалетнего Кролика Энгстрома, который к этому времени стал квалифицированным рабочим-линотипистом и степенным отцом семейства, сходятся различные нити общественного движения 60-х. После переселения жены Джанис к очередному любовнику здесь собираются те, кому чужд американский стандарт и официальная мораль. Кролик заводит знакомство с «цветными», которых до сих пор чурался, сближается со сбежавшей от родителей пятнадцатилетней Джил, дает приют демобилизованному солдату Скитеру, только что вернувшемуся из Вьетнама.

Коммуна, возникшая под гостеприимным кровом, представляется одним из оазисов молодой «зеленеющей Америки», в которой тогда многие в США видели зародыш «нового сознания», а, быть может, и новых общественных отношений. В накаленной атмосфере подъема антивоенной агитации, молодежного и негритянского движения протеста книга Апдайка прочитывалась как актуальный политический роман, почти как памфлет. Политизированность книги вела к определенной утрате художественности, к известной заданности образа главного персонажа, исполнявшего роль доброго самаритянина в современной притче... Вспышкой спровоцированного Скитером фанатизма разрушен стольких приютивший дом; в огне погибает Джил, сам же Кролик вместе с сыном Нельсоном остаются на пепелище. Несчастья не ожесточают его и не приводят, подобно Скитеру, к безоглядному

---

[1] John Updike. Rabbit at Rest. New-York, Alfred A. Knopf, 1990.

саморазрушительному бунту. Кролик считает: вне зависимости от внешних потрясений надо продолжать жить, чтобы было кому воспитывать детей и хоронить родителей, жить ради — пускай и редких — проблесков надежды. На этой стоической ноте писатель расставался со своим программным героем, чтобы почти десять лет спустя снова вспомнить о нем и на его примере осмыслить ситуацию «средней Америки» в изменившейся исторической обстановке.

Теперь уже нет сомнений, что с точки зрения органичности соединения социального и личностного планов роман «Кролик разбогател» оказался наиболее удачной частью тетралогии. Да, к началу 80-х Кролик разбогател. Он больше не навязывает случайным покупателям никчемные безделушки и не стоит по семь часов в день за линотипом. Окончательно примирившись с Джанис, он унаследовал от ее отца приносящее ощутимый доход место управляющего в агентстве по продаже и обслуживанию бурно устремившихся на американский рынок автомобилей «тоёта».

К чести героя Апдайка, следует сказать, что его душа не обросла жирком благополучия, у него не атрофировалась способность принимать близко к сердцу чужие невзгоды. Наряду с неизбежной ограниченностью взглядов своего персонажа писатель стремился подчеркнуть на сей раз и правоту его жизненного инстинкта. Это то, что обычно зовется «доброй волей», или — более возвышенно и абстрактно — «гуманизмом», хотя последнее слово трудно найти в лексиконе Гарри Энгстрома, который прочел мало книг и не приобрел привычки к въедливому анализу. Он просто любит — любит природу, хотя не знает почти ни одного из названий деревьев, трав, любит людей, таких же, как он сам,— немногословных, с обозначившимся животиком и задубелым на солнце затылком. Человек труда, он ценит время и деньги, он встает в шесть утра, чтобы начать двенадцатичасовой рабочий день мелкого предпринимателя, но при этом живет под дамокловым мечом непостоянной экономической конъюнктуры.

Поколение Кролика в молодости несло по воле волн, протест его был трагичен и одновременно жалок своей безнадежностью, безъязыкостью. Радикалов начала 70-х, запечатленных в романе «Кролик возвращается», напротив, отличала речистость, но их ультрареволюционная риторика чаще всего повисала в воздухе, не получая реального продолжения. Спустя еще десять лет отцы и дети «средней Америки» оказались — в лице Гарри Энгстрома и его сына — друг к другу ближе, чем когда-либо прежде.

«Послушай, Нельсон, может быть, я в жизни не все делал как положено, очень может быть. Но худшего из грехов не совершал: я не складывал крыльев и не готовился к смерти... Сдаваться — это против природы; надо чтобы при всех обстоятельствах жизнь в тебе не замирала»,— в такой не свойственной ему длинной речи Кролик впервые за время нашего с ним знакомства дерзнул изложить свои убеждения. И к наставлениям отца Нельсон Энгстром не остался равнодушным. Вместе с отцом он отвергает трескучие лозунги и пустословие — как в их псевдоинтеллектуальном, так и в нарочито простонародном обличиях. Оба героя романа, пользуясь явной, но не назойливой поддержкой их создателя, стоят за укрепление основ, доказавших свою надежность среди бурунов современной истории. В числе этих опор — модернизированная в свете недавней «революции нравов», но не утратившая своего значения семья, упорный и умелый труд в противоположность пустопорожним экспериментам и откровенному иждивенчеству, а также созвучная идеалу материального изобилия и духовной щедрости концепция нестесненного развития личности, позаимствованная у визионеров прошлого и только к концу XX века получающая в США и ряде других стран Запада известные шансы на воплощение.

К сожалению, в заключительном романе серии эта высокая философическая устремленность не получила должного развития, и писатель, похоже, был озабочен лишь тем, чтобы свести сюжетные концы с концами и как-то разделаться с несколько прискучившим ему персонажем. Отошедший в конце 80-х годов от дел и сильно раздобревший, Кролик проводит теперь зимние месяцы во Флориде среди подобных ему пенсионеров и добровольных отставников, мучительно переживающих обрушившееся на них вынужденное безделье. Кролик пробует заняться гольфом, усердно вчитывается в книгу Барбары Такман «Первый салют» — об американской Войне за независимость, развлекает нагрянувшее с рождественским визитом семейство Нельсона, но все это не в состоянии заполнить пустоту в его сердце. Умирание Кролика — а эта тема доминирует в романе — обозначилось не тогда, когда с ним случился первый сердечный приступ, а намного раньше, когда, подчинившись увещеваниям Джанис, он перепоручил семейный бизнес неопытному и слабохарактерному сыну.

Художественная уязвимость книги сказывается прежде всего в неслаженности ее конструкции. Для того чтобы в произведении имелась хоть какая-то фабула, автор делает Нельсона завзятым наркоманом, а возвратившегося на лето в Пенсильванию Кролика, который, впрочем, никогда не был равнодушен к женскому полу, заставляет сойтись на одну только ночь со своей невесткой. Пагубное пристрастие сына грозит Энгстромам финансовой катастрофой, и вот, отчаявшись и рассорившись с домочадцами, Кролик срывается с места, чтобы повторить маршрут своего бегства на Юг, описанного когда-то в первом романе тетралогии. Одинокая жизнь в опостылевшей Флориде окончательно добивает скитальца, но, чувствуя приближение конца, он встречает неизбежное с открытым забралом. Одряхлевший гигант сражается на баскетбольной площадке с темнокожим подростком и даже берет над ним верх, но ценой разрушительного инфаркта. Эта сцена, едва ли не лучшая в книге, служит возвеличению образа Кролика, чья смерть представлена автором поистине героической. В последнем романе Апдайк щедро делится с персонажем и своей иронией, и образным слогом, и остроумием.

Сюжетика внутрисемейных перипетий, продиктованных, по-видимому, самой тусклой действительностью, впрочем, уж слишком мелка, и поэтому на передний план в ущерб изобразительной пластике все чаще выходит обыкновенная фактография. Координаты времени и места четко прорисованы в каждом произведении Апдайка, но еще никогда писатель не включал в художественную ткань так много «сырого», сиюминутного газетно-телевизионного материала. Первые рецензенты романа в США ухватились за промелькнувшие в тексте слова о «смерти «холодной войны» в связи с освободительным движением в странах Восточной Европы. «Прежде было что-то, ради чего хотелось вставать по утрам»,— говорит однажды Кролик, ощущая растерянность перед вожделенным «крахом коммунизма». Но даже если бы дело действительно обстояло так для Кролика, у «среднего американца» под занавес XX века остается слишком много проблем, чтобы считать свою миссию в жизни завершенной.

Порой страдающий надуманностью, рыхлый и многословный, написанный за исключением двух-трех сцен без особого «огонька», роман Дж. Апдайка — не лучший у него — был удостоен старейшей в США литературной Пулицеровской премии. Сам по себе факт еще мало о чем говорит: среди лауреатов премии в не очень далеком прошлом значились Джон Стейнбек, Эрнест Хемингуэй, а вместе с тем и такие откровенные ремесленники, как Аллен Друри, Джеймс Миченер. В то же время мнение жюри «Пулицера» в чем-то показательно. Нет оснований опровергать бытующее суждение, что на пороге 90-х литература Соединенных Штатов привлекает скорее многолюдьем и внешней пестротой, нежели оригинальностью замыслов и успешным их воплощением.

А. МУЛЯРЧИК

НЕВЕСЕЛОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ ЧЕХОВ ПО НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ ИХ СТРАНЫ

Последняя книга Павла Тигрида «Карманный путеводитель по собственной судьбе для интеллектуалки»[1] претендует на новое истолкование истории Чехо-Словакии XX века. Впрочем, новое ли? Многое известно, просто впервые столь объемно напечатно черным по белому.

Павел Тигрид, чешский литератор и общественный деятель, более пятидесяти лет живущий за рубежом, взял на себя кропотливую, тяжелую, но благородную миссию: дать поколению чехословацкой молодежи, выросшему в практически оккупированной стране, представление о ее сложной судьбе, привести объективные, а не подтасованные факты, осмыслить путь Чехо-Словакии как небольшого, но очень важного кораблика, испокон веков плавающего среди колоссальных рифов сверхдержав, постоянно занятых разделом между собой сфер влияния. Тигрид попытался придать этому своеобразному учебнику как можно более популярную форму, вероятно, чтобы вызвать интерес к нему молодежи, выросшей довольно апатичной: она хочет хорошо жить, не слишком задумываясь, как это «хорошо» сотворить своими руками.

Еще несколько слов об авторе «Карманного путеводителя...». Павел Тигрид — заметная фигура чешской эмиграции. В 1939 году ему удалось бежать из протектората в Лондон, где он работал на чешском вещании Би-би-си и одновременно издавал журнал «Культурни записник» на чешском и словацком языках, а также «Ревю-42» — на английском. Позже — был главным редактором еженедельников «Обзоры» и «Вывой». Февральские события 1948 года лишили Тигрида возможности вернуться на родину. В ФРГ он организовал Комитет помощи беженцам из Чехословакии, а затем был одним из создателей чехословацкой редакции «Свободной Европы», которой руководил до 1952 года.

В пятидесятые-шестидесятые годы Тигрид жил и работал в США, где начал публиковать свои книги, принесшие ему широкую известность. Назовем хотя бы «Маркс на Градчанах» (1960), «Пражская весна» (1968), «Неудержимое падение Дубчека» (1969), «Горькая революция» (1977). Тридцать пять лет возглавляет он журнал «Сведецтви», посвященный культурно-общественной жизни Чехо-Словакии.

В «Карманном путеводителе...» П. Тигрид использует материалы многочисленных бесед с представителями разных поколений, споров, дискуссий, статей, на основе которых формировалась и шлифовалась его собственная точка зрения. Приведена обширная библиография.

Итак, в этой книге автор, давно живущий на чужбине чех, встречает в курортном югославском городке красивую, двадцатитрехлетнюю соотечественницу Люцию. Она работает фотографом в Праге, разведена, воспитывает пятилетнего сына и... хочет, наконец, жить лучше! Люция — типичное дитя современной Чехо-Словакии с ее вязкой, серо-обыденной жизнью, из «мещанской», как сказали бы раньше, семьи: отец строит электростанции то в Африке, то на Кубе (лишь бы не дома), мать меняет любовников да тратит мужнину валюту. В редакции журнала, где работает Люция, разговоры только об одном: где чего можно достать, где повыгоднее урвать... Как все это надоело героине книги! Вот и решает она на отдыхе кардинальный вопрос, по-женски желая пребывать в стороне от политики: остаться ли ей навсегда за границей или вернуться на родину? Беседы автора и Люции происходят на террасе, под шум морской волны. Всего бесед будет четырнадцать. Пожилому, многое повидавшему человеку предстоит ответить на вопрос молодой женщины: «Каким образом мы — а не только я, бедняжка Люция — дошли до жизни такой, кто мы, собственно, есть, к

[1] Pavel Tigrid. Kapesni pruvodce inteligenti ženy po vlastnim osudu. Praha, Odeon, 1990.

кому бы притулиться, почему нам выпала столь бесцветная судьба, о которой с уверенностью можно сказать лишь то, что она невыносимо давит на нас, не оставляя никаких надежд?»

Тринадцать остальных глав книги — въедливое повествование человека, вглядывающегося в историю бывшей родины как бы со стороны и многое понимающего лишь сейчас. Время от времени этот рассказ перемежается вопросами Люции. Автор, то есть сам Павел Тигрид, начинает разматывать клубок исторических событий в обратном хронологическом порядке, начиная с 1968 года и доходя до XIX века.

Размышления о постыдной, зряшней оккупации Чехословакии в августе 1968-го, вероятно, самые интересные для нашего читателя, так как тема ему знакома и «близка». Рассказчик дает характеристику чехословацкой экономике тех лет — «дикой, на манер советской», рисует довольно объемный портрет Александра Дубчека — «сентиментального марксиста», «наивного и невинного оптимиста», заглядывает чуть раньше — в эру Новотного, «эру репрессий и тьмы». Неоспоримое достоинство книги в том, что в ней содержится огромное количество поразительных, пронзительных, почти невероятных и совершенно неизвестных нам фактов. Скажем, после казни репрессированного партийного деятеля Вл. Клементиса семья Новотных покупает постельное белье четы Клементисов, их дорогие ковры...

А что было бы, если бы русские не оккупировали Чехословакию? — задается вопросом Тигрид и сам же отвечает: да ничего. «Чешский эксперимент с самого начала был обречен на неудачу, даже если бы танки и не вошли в Прагу. Ибо тоталитарное никак не может быть наполовину либеральным. В 1968-м ни руководящая роль партии, ни союз с СССР под угрозу не ставились...». «Может,— считает Тигрид,— даже и хорошо, что русские вторглись в нашу страну — от этого все пришло в движение». Дальше он цитирует крупнейшего современного чешского писателя Милана Кундеру: «Весной 68-го, впервые со времен средневековья, мы оказались в центре мировой истории».

На этом стремлении — оказаться в центре внимания всего мира — следует остановиться особо, так как автор «Путеводителя...» еще не раз вернется к этой, чрезвычайно болезненной для маленькой европейской страны теме. Хочется напомнить об особенностях традиционного представления чехов о своей родине: в библиотеке Страговского монастыря в Праге хранится старинная карта Европы в виде прекрасной дамы, сердце которой — Чехия с ее глубоким национальным самосознанием, гордостью, даже щепетильностью.

Своеобразным смысловым центром книги является феномен сталинизма и связанные с ним последствия. Так, Павел Тигрид отмечает, что начавшееся в Чехословакии движение за демократизацию страны (после знаменитого доклада Хрущева) проявилось чуть ли не прежде всего в критическом отношении к СССР.

Много места уделено трагическим 1948—1950 годам, принесшим сотни тысяч жертв. Автор с горечью констатирует, что десталинизация на его родине, продолжавшаяся пятнадцать лет, была медленной, половинчатой. Коммунистический режим в Чехословакии оказался еще более консервативным и застывшим, чем советский. Многие, слишком многие, боялись разоблачения. Общественная жизнь этого периода характеризуется застойным равнодушием. Во время венгерской революции 1956 года венгры по радио призвали чехов и словаков к солидарности, но 31 октября, когда события в Будапеште достигли наибольшего накала, в Братиславе для многих самым важным был результат хоккейного матча, а в Праге — футбольного...

«Может быть, традиция протеста была подавлена в нас лавиной оппортунизма рабочих-коллаборантов во время оккупации и усыплена «победой рабочего класса» в 1948 году?» — задает сам себе вопрос Тигрид. В 1938 году перед лицом фашистской угрозы народ готов был бороться за свою независимость, однако президент Бенеш решил за всю страну — и она капитулировала без боя. СССР выступил тогда как партнер безжалостный и циничный, заботящийся лишь о своих имперских интересах.

Люция, не желающая углубляться в политику и историю, раздражена этими экскурсами:

«— Но что тут общего с моей судьбой?

— В истории ничего не проходит даром. Это была травма в подсознании нации. Цена ее колоссальна. Мы платим по этому счету до сих пор».

В главе, посвященной оккупации, протекторату, второй мировой войне, самыми прискорбными страницами в нравственной истории нации являются документальные свидетельства о том, что «чехи предавали немцам чехов больше, чем это можно было себе вообразить».

Представляют интерес страницы об организованном эмиграцией из Англии покушении на наместника фюрера в Праге — Гейдриха. Бенеш и здесь проявил себя как бездарный политик: Сопротивление было практически уничтожено. «Зато,— отмечает Тигрид,— чехи и словаки вновь на несколько недель оказались в центре внимания мировой общественности...»

Роковым лейтмотивом через весь «Карманный путеводитель...» в качестве некоего собирательного образа проходят «Советы» и — как синоним — Сталин, преследовавший лишь одну цель: отодвинуть послевоенную границу СССР подальше на Запад и закрепить ее там окончательно. Весной 1945 года была принята так называемая «Кошицкая программа» КПЧ, истинной целью которой было не дать лондонскому правительству вернуться в Прагу в качестве полномочного.

Автор высказывает нетрадиционный для нас взгляд на Пражское восстание, что судьбу его в первые дни мая 1945 года решило участие в нем власовцев (это утверждал и Смрковский еще в 1968 г.). Миф о красноармейцах-освободителях он называет «колоссом на глиняных ногах». Когда после войны Бенеша спрашивали, почему он не опроверг этот миф, тот отвечал: «Пока что историческая правда должна уступать правде политической...»

Почему коммунисты сразу же не объявили республику советской? Сталин побоялся дополнительных насильственных действий, не желая обратить против СССР западное общественное мнение, тем более что почва была уже вполне «удобрена» и в 1948 году она дала свой плод — «Победный февраль». Это были, возможно, самые бесславные годы в истории Чехо-Словакии — в лагеря отправлялись даже дети от смешанных браков из чешско-немецких семей. По всей стране заседали национальные комитеты, решавшие, кто немец, кто чех-коллаборант, кто просто предатель. Именно в эти комитеты и просочилось немало предателей, в свое время сотрудничавших с немцами, затем почуявших, откуда дует ветер, и вступивших в КПЧ. Автор приводит многочисленные примеры, как с чехословацкими немцами коммунисты поступали так же, как гестаповцы — с евреями.

В предпоследней главе автор «заглядывает» в XIX век, где ищет истоки слабости нации, и задумывается о причинах провалов первой чехословацкой республики, возникшей в 1918 году. Подробно освещается фигура Масарика, этого первого президента республики. Запоминается парадоксальное высказывание выдающегося политика: «У нас, к сожалению, нет единого лица, единого духовного начала, мало подлинных, рожденных именно в Чехии, оригинальных идей, мало характера. Мы, чехи, неясны и нечетки, как наполовину стершаяся фреска».

И все же самым убогим и застойным за весь XX век было, по мнению Тигрида, последнее двадцатилетие.

Люция: «— А Горбачев, а гласность, а перестройка?

— Горбачев и «горбачевщина», возможно, удержатся, если станет явью все, что во имя этого провозглашается и обещается. Пока же надеяться на советский «ветер перемен», на то, что он изгонит стоялый запах, не следует».

Что же делать Люции? Нет, автор не предлагает ей никаких рецептов: «Лишь фанатики и догматики знают одну-единственную правду и ответы на все вопросы».

Что же касается самого автора... Скучает ли он, Павел Тигрид, по родине? Его ответ однозначен: «...я был тихо-благодарен судьбе, что не живу там, что мне не пришлось воспитывать там своих детей, что судьба уберегла меня от испытаний, которых я, наверное, не вынес бы достойно».

Последние десять строк дописаны автором в Праге уже после «бархатной» революции. Они с Люцией сидят в пражском кафе с видом на Град, на груди у Люции значок «Havel for president» [1].

Книгу по многим причинам читаешь с болью. И одна из мыслей — не плод ли это мучительного самооправдания человека, взирающего на родину со стороны? Возможно, в его стороннем взгляде — сила книги, но для меня, переживающей все беды и праздники Чехо-Словакии как свои личные,— и ее слабость.

Н. ЗИМЯНИНА

[1] «Гавела — в президенты» *(англ.)*.

ВИКТОРИЯ ЧАЛИКОВА: ДРУГОЕ ПРИБЛИЖЕНИЕ

Этой книге [1] суждено было стать завершающим трудом Виктории Чаликовой...

Одной из первых она обратилась к философскому анализу утопии и проблемам ее изучения в западной социологической мысли. Авторы, знакомые нам прежде по реферативным сборникам, в антологии «Утопия и утопическое мышление» заговорили наконец от своего имени. Среди них Ф. Мэнюэль, М. Ласки, Г. Гюнтер, А. Петруччани и другие. В последние годы В. Чаликова подготовила ряд блестящих аналитических статей, в которых достижения ведущих современных социологов были обобщены и дополнены собственным видением новых возможностей социального прогнозирования. Немало актуальных идей содержит и написанное В. Чаликовой предисловие к антологии.

Мысль о том, что «Запад пестовал... *культуру утопии,* не смешивая ее с культурой реальности», как всякое общее утверждение может показаться излишне категоричной. Однако сегодня явно обнаруживается потребность в «культуре утопии». Изменения, происходящие в духовной атмосфере общества, вынуждают сторонников политических крайностей, привыкших говорить только на языке действия, облекать свои цели в форму заманчивых лозунгов. Надо ли напоминать, что в условиях становления демократии утопизм оказывается неизбежным спутником политического экстремизма? Как правило, в его основе лежит неумение отличать воображаемое от действительного, нежелание провести четкую грань между утопическими идеалами и реальностью. Было бы наивно думать, что культура социального воображения освободит революционеров-экстремистов от их небезобидных иллюзий. Но она способна предохранить остальную часть общества от тщетных надежд на скорое и окончательное решение всех проблем. Наше дальнейшее существование немыслимо без разрушения старых и новых мифов, однако мы в большинстве своем продолжаем мыслить обветшавшими понятиями уходящей эпохи.

Так уж исторически сложилось в нашей стране, что, говоря об утопии, мы не только думаем о счастливом будущем, но и вспоминаем недавнее прошлое. Отношение к утопии в новейшей истории России — тема сложная, ее серьезное исследование едва начато. Когда-то неосуществимость утопии представлялась азбучной истиной, пока советская действительность не заста-

[1] Утопия и утопическое мышление: антология зарубежной литературы. Перевод с англ., нем., франц. и др. языков. Составление, предисловие и общая редакция В. А. Чаликовой. М., Прогресс, 1991.

вила думать иначе таких философов, как Н. Бердяев и К. Мангейм, и таких писателей, как Е. Замятин и Дж. Оруэлл. Лишь теперь стало очевидно, сколь глубоко расхождение между грезами политических визионеров и воплотившимся наяву кошмаром тоталитаризма. Сталинский социализм не мог обернуться сбывшейся утопией, отмечает В. Чаликова. В СССР чудовищной деформации подверглись все сферы общественной жизни, поэтому, каких бы успехов ни достигла демократизация общества, преодолеть последствия господства тоталитарной системы в течение нескольких лет невозможно.

Сегодняшние политические дискуссии изобилуют взаимными обвинениями в утопизме. Не подкрепленные доказательствами, они зачастую служат последним аргументом в споре с противником, при этом значение слова «утопия» становится все более расплывчатым. И вот здесь особый смысл приобретает опыт изучения этого понятия на Западе. Его освоение позволит более полно и взвешенно подойти к оценке бытующих в нашем обществе представлений. Тем и ценна антология В. Чаликовой.

Широкий читатель впервые знакомится, например, с отрывком из работы К. Мангейма «Идеология и утопия». Хотя само противопоставление вынесенных в заголовок книги феноменов общественного сознания современными исследователями уже преодолено, плодотворные идеи о соотношении утопического сознания с реальностью сохраняют свое значение и поныне.

Еще один классик социальной философии, в чьих исследованиях утопия была постоянной темой,— американский ученый Л. Мэмфорд. Сборник позволяет судить о концепции его основного философского труда «Миф Машины». Эта зрелая работа была написана, когда увлеченность автора утопией сменилась трезвой оценкой ее возможностей. Появление и развитие утопических идей философ рассматривает в тесной связи с процессом становления цивилизации, который неизбежно предполагает возникновение техники. Утопическое мышление, как и технический разум, основывается на возможности овладения действительностью, подчинения жизни жесткому контролю. Эта внутренняя интенция утопического сознания вызвала острую критику со стороны Л. Мэмфорда, который тем не менее признавал позитивную роль утопии в предвидении будущего.

Публикуемый в антологии отрывок из главного труда Э. Блоха «Принцип надежды» следует отметить особо. В философской системе немецкого мыслителя утопия рассматривается как существенная составляющая человеческого бытия. Она вполне осуществима, а логическое обоснование процесса ее реализации — важнейшая задача философии. Создавая систему «теоретического мессианизма», Блох описывает мир гармонии и совершенства, где человеку суждено физическое бессмертие. При всей парадоксальности некоторые выводы немецкого философа обусловлены логикой его устремленности к абсолютному Идеалу.

Зададимся вопросом, почему утопия с такой легкостью приобретает многообразные и несхожие друг с другом формы, существует то в виде теоретического трактата, то в качестве эстетической программы, а подчас и политического манифеста, тогда как антиутопия полно и последовательно может выразить себя лишь в виде литературного произведения? Это, очевидно, связано со спецификой утопии как способа осмысления действительности. Именно на XX век, когда многие предполагаемые возможности реализации утопий оказались исчерпанными, приходится расцвет нового литературного жанра. Кризис идеи о всемогуществе разума, преобразующего мир, не мог не повлиять на характер социальных прогнозов. Антиутопия неизбежно должна была стать альтернативой воображаемого рая. Поскольку всеобъемлющие построения классической утопии претендовали на научность и доказательность, размышления об их крахе при попытках реализации неизбежно обретали законченную художественную форму. Здесь умозрительные противоречия абсолютного идеала превращаются в конфликты и кладутся в основу романа или рассказа.

Литературное богатство антиутопии еще во многом не освоено нашими исследователями, хотя классические произведения этого жанра, такие как «Мы» Е. Замятина, «1984» Дж. Оруэлла, «О дивный новый мир» О. Хаксли, в последние годы были опубликованы. Художественное своеобразие и социальная сущность романов стали предметом оживленных дискуссий, хотя и с опозданием на полвека. Еще несколько лет назад произведения этого жанра попадали у нас в разряд научной фантастики, что позволяло не только искусно обойти их социальное содержание, но и заранее настраивало на чисто развлекательное прочтение и восприятие. Сейчас положение изменилось, поэтому не случайно в философскую по замыслу книгу включены литературоведческие работы: оригинальные размышления Дж. Толкиена о природе фантазии, исследования Г. Морсона и Г. Гюнтера. В статье немецкого слависта Г. Гюнтера, посвященной А. Платонову, по-новому раскрываются грани художественного мышления русского прозаика. Развитие цивилизации неизбежно порождает все новые противоречия и конфликты. Преломляясь в воображении художника, они дают богатый материал для создания все более изощренных антиутопий. О том, что возможности этого жанра еще далеко не исчерпаны, свидетельствуют фрагменты из романов Э. Бёрджеса («1985») и Р. Шекли («Хождение Джоэниса»).

В романе Р. Шекли получают развитие некоторые оруэлловские идеи, причем введение нового искусственного языка уже не отодвигается в будущее, а становится «достижением» настоящего и осуществляется усилиями интеллектуальной элиты. Именно извращенное мышление интеллектуалов является основой для построения идеально устойчивого «рая», в котором решены все проблемы, а новые трудности создаются лишь затем, чтобы поддержать динамическое равновесие в обществе. «Зверь Утопии», созданный творческой фантазией Шекли, меняя свой облик сообразно об-

стоятельствам, оказывается сродни апокалипсическим видениям Непомерная гордыня разума приведет цивилизацию к гибели — таков основной посыл «Хождения Джоэниса».

Судьбы человеческих идеалов, заключенных в утопии, сложны и противоречивы. Они драматичны, как драматична сама история. Именно философского понимания этих моделей будущего так не хватало нашей науке, ограничивавшейся описанием идей лишь немногих мыслителей. Значимость их воззрений определялась принадлежностью философов к утопическому социализму. И только в последнее время, благодаря работам таких авторов, как Э. Я. Баталов, Э. А. Араб-Оглы, Ч. С. Кирвель, С. С. Сизов и, конечно же, В. А. Чаликова, этот упрощенный подход во многом преодолен. В утопии стали видеть не донаучный способ осмысления мира, постепенно исчезающий из общественного сознания, а его постоянную составляющую.

На пути постижения истины обществу требуется трезвое критическое сомнение, умение сопоставить идеал с реальностью. Ему необходимо осмыслять себя заново на каждом этапе, каждом новом витке развития. Книга «Утопия и утопическое мышление» — еще один важный и серьезный шаг в этом направлении.

А. ЛУКИН

Интервью

Журнал предполагает напечатать ряд интервью о работе наших издательств: читателям, вероятно, будет интересно узнать, что ожидает их на книжных прилавках. Наш первый гость — Григорий Ерицян, генеральный директор совместного советско-британского предприятия «Слово», куда входит издательство «Экслибрис».

«...ЗА ВСЕ БОГАТСТВА АЗИИ»

— Григорий Шагенович, ваше новое, молодое издательство как бы априорно имеет перед другими целый ряд преимуществ: оно, например, не создавалось как «контрпропагандистское», за ним не тянется шлейф прошлых лет. Как бы вы определили основную идею «Экслибриса»?

— Принято считать, что Россия — самая читающая страна в мире. Возможно, это и так, но если попытаться выяснить — **что** русские люди читают сегодня, если заняться исследованием того, **как** они читают, то миф о «самой читающей стране» даст серьезную трещину. Освальд Шпенглер в «Закате Европы» писал о «вспышках варварства», характеризующих период переходный от — пользуясь его терминологией — «культуры к цивилизации». Именно такая «вспышка» в России сейчас и наблюдается, причем она очень затянулась. «Порвалась дней связующая нить...». Так вот мы осознаем себя одними из тех, кто призван «...обрывки их соединить». И это вполне реально, так как все же традиционно русский читатель действительно лучший в мире: самый отзывчивый, самый благодарный.

— А вы не боитесь прогореть?

— Мы не боимся прогореть ни в финансовом, ни в каком-либо другом смысле. С самого начала мы стремились к тому, чтобы наши успехи или неуспехи как можно меньше зависели от ситуации в стране. Инфраструктура «Слова» такова, что, думается, «Экслибрис» сможет издавать то, что хочет, что считает нужным, мы подвели под него, говоря бюрократическим языком, фундаментальную материально-техническую базу. Она и позволяет нам не беспокоиться, будет ли сразу же распродан тираж изданной нами книги или нет. Более того — мы нередко сознательно идем на то, что выпускаем заведомо убыточные — в финансовом отношении — книги, например, том прозы Юрия Карабчиевского. У этого прекрасного автора есть свой потенциальный читатель, поэтому мы знаем, что они (книга и читатель) обязательно встретятся. Только произойдет это не сразу, вложенные в производство деньги обернутся не так быстро, как это требуется предприятию чисто коммерческому, но вот тут-то и следует прояснить нашу позицию.

Поначалу, создавая «Экслибрис», мы ставили перед собой задачу ликвидировать на нашем читательском рынке «белые пятна» как в отечественной, так и в мировой литературе, а затем вывести книгоиздательство на, скажем, общеевропейский уровень. Все это в определенной мере способствовало бы преодолению изоляции России, ее замкнутости, ее оторванности от остального, цивилизованного мира. Однако мы никак не предполагали, что наше СП «Слово» так быстро расширится и станет достаточно мощным и мобильным предприятием, способным реализовать все свои первоначальные замыслы. Сегодня ситуация такова, что ни правые, ни левые, ни консерваторы, ни демократы в убыток себе ничего издавать не будут, а ведь во всем мире серьезная, хорошая литература — убыточна. Престижные, известнейшие западные издательства понимают, что серьезная литература доходов не приносит, прибыль от нее иная: авторитет, хорошее имя, репутация. У нас пока не очень-то понимают, что это и есть главный капитал. Я это говорю не к тому, что нашему издательству не нужны деньги, но зарабатывать их можно по-разному, а уж тем более использовать...

Прибыль приносит нам множество изданий. Мы живем в такой стране, где можно стать миллионером, печатая «нон-стоп» «Дюймовочку» или «Красную Шапочку»,— голод на хорошие детские книги не утолен за все годы перестройки, например, выпускаемый нами детский альманах «Ку-ка-реку!» перепродается спекулянтами у метро втрое-вчетверо дороже номинальной цены. Вероятно, не меньшим успехом будет пользоваться «Английская литературная сказка», а также серии «Английский исторический роман» и «Английский роман XX века».

«Экслибрис» был учредителем газеты для детей и взрослых «Кот и пёс».

Так что нельзя сказать, что мы выпускаем какую-то второсортную продукцию, чтобы потом иметь возможность финансово поддерживать хороших современных писателей. Никакими «своими принципами» мы не поступаемся: тот же альманах «Ку-ка-ре-ку!», очень интересно сделанный молодыми художниками-авангардистами, вовсе не является уступкой рынку, как, впрочем, и многотомный «Английский детектив» или серия «Современный зарубежный детектив». Такая продукция тоже нужна, правда, при условии, что все — и переводы, и качество полиграфии будут высокого уровня. Разговор об этом, к сожалению, актуален, поскольку книжный рынок забит, перенасыщен малограмотными и бездарными переводами. Издательское дело — пока еще «золотая жила», к ней нередко припадают люди непрофессиональные, а то и просто не умеющие связать двух слов. Это раздражает, но, честно говоря, нам они не конкуренты, и чем дальше, тем больше будет увеличиваться этот разрыв — между нами и ними. Лучшие переводчики, лучшие редакторы — у нас; рынку же с течением времени все в большей мере будет требоваться качество, а не количество. Такая тенденция заметна уже и сегодня.

Шустрым дельцам не под силу, скажем, такое издание, которое придумала и осуществляет Лариса Беспалова, мой заместитель в «Экслибрисе» по переводной литературе, сама прекрасный переводчик с английского. Оно называется «Антология английской готики» (рассказы). I том включает в себя произведения с XVII века до первой мировой войны, II — современные новеллы вплоть до семидесятых годов. Думаю, бестселлером станет и том не переводившейся до сих пор у нас прозы Ивлина Во.

Но давайте все же уйдем от конкретики — если даже просто начать перечислять авторов и названия издаваемых «Экслибрисом» книг, это займет очень много места. Если же говорить более общо о том, что происходит в сфере издательской деятельности, то пока можно лишь развести руками и повторить Карамзина, выразившего все одним словом: «Воруют». Законы не работают, правовые механизмы не действуют. Сколько выходит сборников переводных детективных повестей, изданных какими-то кооперативами. У переводчиков не спрашивают разрешения на публикацию и, разумеется, не платят. Можно, конечно, подумать, что́ с них взять,— страшные, мол, люди, не знают, что у переводчика существуют авторские права на русский текст, свой копирайт. Но нет: какие бы то ни было выходные данные у книги отсутствуют, даже название издательского кооператива не указано. Значит, знают что делают.

Другие, если не воруют, то спекулируют. Я, например, отправляю выпущенную нами книгу серии «Английский детектив» (стоимость одного тома 6 рублей) в уральские города — книги тут же возвращаются в столицу и перепродаются гораздо дороже.

— Какую часть от всего объема выпускаемой вами книжной продукции занимает переводная литература?

— Примерно процентов 25 — 30. Остальное — советская литература, русское зарубежье и книги для детей и юношества (раньше было такое клише). Отечественная литература — епархия Дианы Тавекелян, редактора высочайшего класса, она много лет проработала в журнале «Новый мир». Ее последняя гордость — трехтомник Фридриха Горенштейна, как сейчас стало понятно, одного из самых значительных наших современных прозаиков. Надо сказать, что в последние год-два произошла очень важная вещь: полностью исчез интерес к эмигрантской литературе как к чему-то крамольному, запретному, криминальному, то есть интерес в какой-то степени спекулятивный. Надо ли повторять, что сегодня это два естественных лика бытия одной и той же литературы.

Нас это очень радует, и мы с чистой совестью издаем писателей-эмигрантов не потому — что эмигранты, а потому — что писатели. На мой взгляд, удачным получился сборник произведений Сергея Довлатова; вышли в свет две книги Андрея Амальрика, по-новому раскрывающие его литературный талант: историческое исследование о Григории Распутине и «Записки диссидента»; мы получили новую рукопись Анатолия Гладилина — о его работе на радио «Свобода»; мы печатаем как «живых классиков» Абдурахмана Авторханова или Бориса Хазанова, так и совсем новые, неизвестные нашему читателю имена; тут можно назвать живущего в Англии Зиновия Зиника с его романом «Лорд и егерь»... Я увлекся. Ведь говорил же: стоит только начать перечислять... Но хочется упомянуть и еще об одном направлении нашей работы. Это будет называться «Домашняя библиотека».

Итак, «Экслибрис» — лишь часть совместного советско-британского предприятия «Слово». Работа издательства — это, если хотите, «Мария, избравшая благую часть», роль Марфы, с «заботой о многия дела»,— моя. Марфа, как вы помните из Евангелия от Луки, и по дому, и по хозяйству... Однако нигде не сказано, что Христос осудил эту деятельность,— если почитать внимательно, то скорее наоборот. И сегодня эта сестра может быть даже нужнее, так как Мария без Марфы не проживет.

— Вы по профессии хозяйственник?

— Я по профессии философ. Сначала я занимался философией, потом защитил кандидатскую диссертацию и стал философию преподавать. Марксистско-ленинскую. Вскоре понял, что взрослому мужчине нельзя заниматься тем, чего нет. Как только я осознал, что ситуация в стране меняется бесповоротно, я ушел с кафедры, поскольку наконец-то появилась возможность заняться делом: свободно издавать свободных художников. Так что моя нынешняя работа тоже в определенной степени связана с философией, с понятиями свободы-несвободы. Сейчас я — свободный человек, так как я принимаю решения и совершаю поступки, за которые несу ответственность только я сам. Мои решения могут быть неверными, ошибочными, но бремя ответственности за них лежит только на мне. Осознание этого и есть свобода, хотя зачастую у меня — ни минуты свободной. Здесь нет

противоречия, просто большинство людей у нас в стране представляют себе свободу как лежание на диване и произнесение вслух всяких высоколобых глупостей. Несколько лет назад все получили возможность говорить что угодно, что хочешь. И что же — **это** сделало людей свободными? Нет. Во всем этом, на мой взгляд, попутно скрыта и суть того, почему советские люди с таким трудом адаптируются к жизни на Западе: они выросли социальными иждивенцами. Это и есть проявление психологии несвободы. Наше издательство — содружество свободных людей. Со мной, правда, не вполне в этом согласен главный художник «Экслибриса», замечательный книжный график Владимир Медведев, который частенько повторяет, что придет к власти в стране какой-нибудь большевик или кучка большевиков, в чьих глазах — как сказал Василий Аксенов — «не отражается ничего, кроме истории их партии», и всем нашим свободам может прийти конец. Во всяком случае, процесс нормализации в России может быть надолго приостановлен.

— Не хочется, конечно, так думать.

Вообще же издательское дело сродни виноградарству: посадивший лозу не ждет немедленной отдачи, его дело направлено на будущее, на много-много лет вперед. Так и лоза с прививкой подлинной культуры в конце концов даст свои плоды, если, разумеется, не явится какой-нибудь очередной Егор Лигачев и не прикажет все повырубить... Мы видим свою миссию в том, чтобы дать людям вот этот таинственный, немеркнущий долгий свет, излучаемый даже одной хорошей книгой на протяжении всей жизни человека. Надеемся, что таким изданием может стать семитомник протоиерея Александра Меня, куда включены все, издававшиеся ранее только на Западе, основные работы выдающегося проповедника. Отдельным тиражом у нас вышла книга о. Александра «Православное богослужение. Таинство. Слово и образ».

Хорошие книги обладают удивительной способностью преподносить сюрпризы. Изданный нами «Дар» Владимира Набокова поначалу расходился — вопреки нашим ожиданиям — вовсе не так уж легко и быстро. Мы-то предполагали, что уж эту-то книгу с прилавков как корова языком слижет... Но вот прошло около полугода с момента выхода книги, весь тираж был раскуплен, и вот тут-то началось необъяснимое: спрос именно на это издание «Дара» стал расти с каждой неделей, а поскольку тираж уже разошелся, нас завалили заявками. Они были не только из нашей страны. Более того — когда я был по делам в Париже, то зашел в русский отдел магазина «Глоб» посмотреть, что продают они, и при случае показал несколько изданных нами книг, в том числе «Дар». Продавщица мне тут же сказала, что несколько сот экземпляров вот этой книги магазин у нас охотно бы купил. Я поинтересовался — неужели в Париже ощущается нехватка изданий Набокова, да еще на русском? Ничего внятного продавщица мне не ответила, но продолжала, однако, упорно повторять, что именно «Дар» и именно в таком издании они бы распродали очень быстро. Мистика. Иногда мы думаем, что знаем о деле, которым занимаемся, все. Оказывается — нет. Мы обязаны понимать, что, условно говоря, не имеем права отдавать предпочтение Толстому перед Достоевским, или, наоборот,— читателям нужен и тот, и другой. Понимание значения безоценочности приходит не так просто. Руководит же нами сознание того, что мы делаем важное и нужное дело, а на нашу респектабельность, наш престиж лучше всего может работать только высокий художественный уровень издаваемых «Экслибрисом» книг.

— В Советском Союзе было принято, что любая организация, имеющая постоянные контакты с западными партнерами, находится под наблюдением КГБ, в ней обязательно работают «свои люди». Как с этим обстоит дело в «Экслибрисе»?

— Вероятно, вы правы,— судя по всему, именно так всегда и было. Наверняка, правда, утверждать не могу. Что же касается нашего издательства, то идея создать такое предприятие родилась у меня на квартире, разумеется, по московской традиции, на кухне, где собралось несколько старых друзей, загоревшихся одним общим делом. В каком кухонном шкафчике прятались гебисты, я уж и не знаю. Ну, а если серьезно, то, извините, но в вопросе содержится сомнение, неверие в то, что можно вот просто так, несанкционированно что-то взять и организовать. Мне кажется, что здесь дают о себе знать наши пережитки, наши стари-и-инные болезни...

— Григорий Шагенович, вы весьма негативно упомянули о печатном буме в нашей стране, в результате которого буквально все завалено низкопробной продукцией. А вот если постараться попробовать оценить происходящий процесс без эмоциональной окрашенности,— просто как смену культурной формулы?

— Я уверен, что культура не должна стремиться к самоокупаемости, не должна быть на хозрасчете — это не ее задача, иначе она моментально превращается в свою противоположность. Так обстоит дело во всем цивилизованном мире. То, чем наполнен сейчас наш книжный рынок, во многом — макулатура. Называйте нас традиционалистами, консерваторами, но никогда из-под печатных станков нашего издательства подобная примитивная, оглушающая читателей дрянь выходить не будет. Ни за какие деньги. Даже «за все богатства Азии»,— как соизволил выразиться когда-то Вильям Шекспир.

Беседовал с Г. ЕРИЦЯНОМ В. ИВАНОВ

У книжной витрины

МАРТИН ВАЛЬЗЕР

Защита детства

Martin Walser. Die Verteidigung der Kindheit. «Suhrkamp»

Новый роман Мартина Вальзера «Защита детства» может быть назван немецким эпосом нового времени: его действие охватывает период с 1927 по 1987 год и разворачивается во многих городах Германии. Сам писатель обозначил свой роман как «историографию будней».

Альфред Дорн, главный герой книги, озабочен тем, чтобы сохранилось его прошлое. Он становится фанатиком даты и факта, воюя со временем, как Дон Кихот — с ветряными мельницами. Свое грандиозное предприятие защиты детства от настоящего и будущего Альфред Дорн называет «проектом имени Пергамского алтаря»: «Если спустя две тысячи лет сумели восстановить Пергамский алтарь, можно ведь заново построить свое детство!» Он одержимо собирает документы, свидетельства, фотографии своего детства, надеясь создать когда-нибудь «музей Альфреда Дорна». Ничто не должно исчезнуть, не должно быть забыто. Забытое как 'бы перестает существовать. Более того, «без прошлого не существовало бы его самого».

Начало этого пожизненного страха можно датировать 13 февраля 1945 года, когда бомбардировали Дрезден... В тот день сгорели не только соседи по бомбоубежищу, но и фотоальбомы семейства Дорн. Сам пятнадцатилетний Альфред спасся, и он понимает, как странно оплакивать утрату фотографий перед лицом гибели тысяч людей. Но для него то и другое связано: восстанавливая прошлое, он исполняет долг и перед погибшими. В 1953 году Альфред Дорн покидает ГДР и начинает свою борьбу «против исчезновения».

В своей заботе о прошлом герой Вальзера пренебрегает повседневностью. Он не женился, у него не сложились отношения с окружающими, не задалась карьера юриста, не реализовались музыкальные способности. Терпит крах и программа «защиты детства», музея собственного прошлого.

АЛАН СИЛЛИТОУ

Последняя любовь

Alan Sillitoe. Last Loves. «Grafton»

Хорошо известный советскому читателю представитель «рассерженного» поколения английских литераторов Алан Силлитоу в своем новом романе также обращается к проблеме власти времени над человеком. Главные герои — Джордж и Бернард — сорок лет назад вместе служили в Малайзии и теперь решили посетить места, где прошла их армейская юность. По-разному сложились судьбы двух друзей: Бернард — вполне преуспевающий бизнесмен и семьянин, сохранивший юношескую самоуверенность и молодцеватый вид; Джордж — бывший школьный учитель, ныне пенсионер, тяжело переживший неудачный брак и развод, разочарованный и меланхоличный. Сейчас и того и другого ожидает горькая встреча с Малайзией:безвозвратно ушедшая молодость кажется похожей на черно-белую фотографию, которая теперь, сорок лет спустя, явилась в цвете, но, увы, не порадовала их, ибо оказалась лишь тенью прежнего образа.

К бывшим солдатам присоединяется молодая англичанка Глория, дочь побывавшего в плену офицера, которая путешествует по местам, связанным с памятью о ее покойном отце. И вот все трое, чтобы избавиться от ностальгии по прошлому и цивилизации, окружающей их в настоящем, ищут приключений: отправляются в джунгли, где один из них теряется, и спутникам приходится под тропическим ливнем искать его...

ПИТЕР УСТИНОВ

Старик и мистер Смит

Peter Ustinov. The Old Man and Mr. Smith. «Arcade»

В третьем по счету романе Питера Устинова действуют два весьма необычных главных героя — Бог (именуемый «Стариком»)

и Сатана (выступающий под именем «мистер Смит») Они путешествуют по Земле с «инспекционными намерениями» и посещают немало государств: США — страну «абсурдного оптимизма»; быстро разваливающийся Советский Союз; раздираемый спорами Израиль; Китай, «которым правят пациенты лечебницы для престарелых»; Японию, где эффективность возведена в ранг новой религии; а также Великобританию, Индию и другие страны.

Господь и Сатана, желая определить, насколько глубоко падение человечества, встречаются с американским президентом, советским генсеком; с проституткой; с бродягой-наркоманом; с проповедником евангелистской церкви. При этом потусторонняя парочка, способная по собственной воле менять облик, исчезать и появляться, переживает всевозможные приключения, оказывается в тюрьме за мошенничество и постоянно скрывается от агентов ФБР, которые принимают их то за советских шпионов, то за инопланетян.

Вся эта фантастическая история полна добродушного юмора, а порой и едкой, колкой сатиры. Есть в книге и философские находки, и глубокие, оригинальные мысли.

ПЕТЕР ХАНДКЕ

Опыт о счастливом дне. Сон в зимний день

Peter Handke. Versuch über den geglückten Tag. Ein Wintertagtraum. «Suhrkamp»

Когда-то Стефан Малларме мечтал написать «абсолютную книгу», где мир рассказывал бы сам о себе, а автор как бы исчезал. Попытка не удалась, «исчезала» сама книга, распадавшаяся на фрагменты, разрозненные заметки.

Сейчас, кажется, сходную попытку предпринял австрийский писатель Петер Хандке, давно живущий во Франции. Повествование «Опыт о счастливом дне», начавшееся длинными, на целые страницы фразами, постепенно становится все более фрагментарным, картины и мысли возникают по ассоциации. Зима 1990-го. Франция вооружается для войны в Персидском заливе. С военного аэродрома доносится гул стартующего бомбардировщика. Хандке заходит в винный погребок, где размышляет над «Зимней сказкой» Шекспира, которую собирается переводить. Летом того же года поезд уносит писателя из Парижа. Хандке хочет вырваться из тисков повседневности, чтобы написать книгу «о счастливом дне».

Но что это, собственно, такое? «Счастливый день» — не более чем идея. А поскольку это не более чем идея, повествование может быть только об этой идее. А это, значит, о себе самом. О попытке понять суть счастья. О невозможности рассказать про счастливый день.

Мысль автора переносится к картине Уильяма Хогарта «Автопортрет». Там, на палитре художника, Хандке однажды обнаружил кривую линию, снабженную подписью: «Линия красоты и грации». Внезапно он связывает эту кривую с кривой железнодорожного полотна, по которому сейчас мчится поезд.

Кривая линия, поворот дороги, сон в зимний день, стартующие бомбардировщики — Петер Хандке пишет о счастливом дне. «Кому однажды удавалось пережить счастливый день?» — спрашивается в книге. Больше ли счастливый день счастливого мгновения? Удачной работы? Удачного дела? Ответа нет...

ДЖОН ХЕРСИ

Антониетта

John Hersey. Antonietta. «Knopf»

Обладатель Пулицеровской премии, американец Джон Херси приглашает читателей совершить увлекательное путешествие вместе с главной героиней одноименного романа. Ею стала... скрипка, которую в 1699 году сделал великий Страдивари.

Роман состоит из пяти частей — «актов», четырех вставок — «интермеццо» и «горько-сладкого финала». В центре повествования — судьба скрипки, переходившей от одного владельца к другому; автор достигает цельности этого «музыкально-литературного произведения», дополняя художественный вымысел историческими фактами, представленными в интермеццо. Тональность первого акта окрашена навязчивой страстью уже немолодого Страдивари к чувственной Антониетте, чьим именем он назвал свое творение — скрипку. Основу второго акта составляют письма Моцарта, в которых он с пылкостью влюбленного восторгается великолепным инструментом. В третьем акте на «сцену» выходят Берлиоз и его романтическая музыка; в четвертом появляются Стравинский и скрипач Федеровский; и наконец, в пятом отчетливо звучит собственный голос Джона Херси: он с горечью говорит о судьбе культуры в современном мире, где жизнь «подражает теперь не искусству — она подражает телевидению».

По мнению критиков, «музыкальный» роман «Антониетта» понравится широкому кругу читателей, ибо любить музыку могут и дилетанты, а уж знатоки получат двойное удовольствие.

ТОМ КЛЭНСИ

Все страхи разом

Tom Clancy. The Sum of All Fears. «Putnam»

Автор нашумевшего бестселлера «Охота за «Красным Октябрем» и многих других Том Клэнси написал первую, по его словам, «серьезную» книгу, где размышляет о том, как человечество может справиться с «ядерным кризисом». При этом он имеет в виду возможный ядерный конфликт между США и какой-либо другой страной. Рассматривая проблему готовности встретить удар, писатель напоминает о той панике, которая воцарилась во всем мире сразу же после иракской ракетной атаки на Израиль. И тут воз-

никает вопрос об ответственности президента — ведь ему необходимо принять правильное решение, располагая порой самой противоречивой информацией.

Помимо политических проблем — Ближний Восток, ядерный терроризм, планы мирного урегулирования — в книге нашлось место извечным темам секса и насилия. Автор подчеркивает, что он стремился создать прежде всего увлекательное повествование, которое к тому же может навести читателя на более глубокие размышления. Книга целиком основана на общеизвестных и общедоступных фактах, а они, считает Том Клэнси, пострашнее многих выдумок.

ГЮСТАВ ФЛОБЕР

Переписка

Gustave Flaubert. Correspondance, III «Callimard»

Издательство «Галлимар» публикует четырехтомную переписку Флобера. В недавно вышедшем третьем томе содержится около 200 писем, из которых 74 напечатаны впервые: многие коллекционеры только сейчас решились обнародовать принадлежащие им манускрипты, а некоторые письма, как ни странно, не печатались из-за вольных выражений, каковые позволял себе автор.

Составитель комментариев Жан Брюно, не ограничиваясь подробными комментариями, пересказывает все упоминаемые писателем произведения, сегодня мало кому известные. Опубликованы также некоторые ответы наиболее интересных корреспондентов Флобера (например, Жорж Санд, братьев Гонкуров).

Флобер считал, что писатель в своих произведениях «не имеет права выразить собственное мнение о чем бы то ни было». И особый интерес его писем в том, что только здесь он говорит ст первого лица.

О чем же писал Флобер? Лейтмотив его писем — жалобы на то, как трудно писать: две недели на одну страницу, которую он признал бы удовлетворительной. Литература для него — это пытка, страдание. Сколько времени и сил он тратит на сочинений историй и никогда ими не доволен! Правда, не исключено, что, когда эти жалобы обращены к Жорж Санд, они становятся своеобразным уроком писательнице с намеком на ее подарок Флоберу — 75 томов собственных сочинений.

Посвятив всю жизнь литературе, Флобер считал себя мучеником. Все остальное — издательство, читатели — его абсолютно не интересовало и вызывало презрение. Из этого убеждения родилось, видимо, самое курьезное письмо третьего тома. Писатель отправляет его своему издателю Мишелю Леви вместе с рукописью «Саламбо». Флобер пишет, что согласен на публикацию, но с одним неожиданным условием: Леви не должен читать рукопись — он недостоин. Вероятно, впервые за историю мировой литературы издатель не имел права ознакомиться с рукописью, которую собирался печатать.

РОБЕРТ ФУЛГАМ

Э!-О! Некоторые наблюдения по обе стороны дверцы холодильника

Robert Fulghum. Uh-Oh, Some Observations from Both Sides of the Refrigerator Door. «Villard»

Новая книга американского писателя Роберта Фулгама имеет подзаголовок «Свеженькие маленькие мудрые мысли. Часть III». Следовательно, перед нами не что иное, как продолжение предыдущих двух книг: «Все самое важное для жизни я узнал в детском саду» (те, кто еще не прочитал, см. «ИЛ», 1990, № 10) и «Постель горела, когда я на нее прилег».

В третьей части автор остается верен избранному стилю и духу — простые, на первый взгляд, но глубокие, искренние и добрые размышления о жизни, о мире, о людях, о себе... Как всегда, читателя сопровождают неизменные спутники Фулгама — мягкий юмор и самоирония. Так, однажды писателю захотелось стряхнуть с себя серьезность, и он отправился в центр города в костюме, при галстуке, а на голову надел детскую кепочку с пропеллером на макушке. Или другое его чудачество — он носит наручные часы без стрелок и тем самым постоянно напоминает себе: время бесконечно.

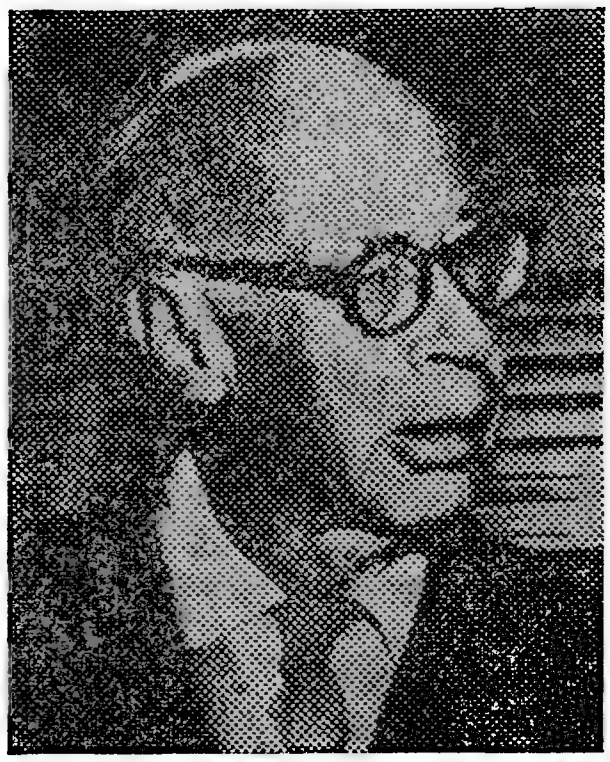
Возможно, и эту книгу Р. Фулгама ожидает такой же успех, какой имели обе ее предшественницы, много недель державшиеся в списках бестселлеров и переведенные на многие языки.

К столетию со дня рождения ГЕНРИ МИЛЛЕРА (1891—1980)

У меня ни работы, ни сбережений, ни надежд. Я — счастливейший человек в мире
(Г. Миллер. «Тропик Рака»)

Развратник и самодур, сатир, деспот, эгоист, пророк-самозванец, возмутитель общественного спокойствия и... гениальный писатель, мудрец и провидец. Какими только эпитетами не награждали Генри Миллера! Но что можем сказать о нем мы, советские читатели, если его имя стало нам «официально» известно лишь в прошлом году, когда наконец смогли прочесть русский перевод романа «Тропик Рака».

Во всем мире о Генри Миллере сказано и написано уже предостаточно, но к столетию со дня рождения писателя в Соединенных Штатах, как и подобает случаю, вышли новые биографии. Среди них следует отметить работу Роберта Фергюссона (автора известной биографии Кнута Гамсуна) — «Генри Миллер: Жизнь» (Robert Ferguson. Henry Miller: A Life «Norton»). Фергюссон достаточно подробно излагает факты и вносит свой вклад в трактовку личности великого сотрясателя устоев. По мнению биографа, Миллер «вовсе не сутенер, описанный феминистками, и не проповедник секса, отвергаемый ученым истеблишментом, а «уникальная и необходимая литературе личность».



Генри Миллер в 1967 г. (газета «Джапан таймс уикли»)

Впрочем, сам Генри Миллер никогда не делал тайны из своей жизни. Об этом можно судить по изданной в конце прошлого года в Великобритании книге «Письма к Эмилю» (Henry Miller. Letters to Emil. «Carcanet»).
В них Миллер сообщает своему другу, оставшемуся в Америке, о перипетиях жизни в Париже, куда он приехал в 1922 году, чтобы начать все сначала. Именно там произошли два важнейших события, определивших его дальнейшую судьбу: знакомство с Анаис Нин и появление на свет «Тропика Рака». В одном из писем Миллер поведал другу о том, что «смог бы написать книгу за месяц, если бы удалось найти стенографистку, которой можно было диктовать в постели, а значит, работать двадцать четыре часа в сутки». Ему повезло, он нашел больше — писательницу Анаис Нин, которая стала его музой, возлюбленной и советчицей.

«Тропик Рака» был написан за год, но подыскать издателя оказалось не так-то просто. Единственной подходящей кандидатурой представлялся владелец издательства «Обелиск пресс» Джек Кахан, печатавший «крутую» по тем временам порнографию, в том числе собственного сочинения. Парижское отделение этого издательства опубликовало скандальную книгу Фрэнка Харриса «Моя жизнь и любовь», но не рискнуло взяться за «Любовника леди Чаттерли». Издатели подписали с Генри Миллером контракт в 1932 году, после чего мужество их покинуло, уступив место тяжелым раздумьям: грозящие судебные издержки явно перевешивали возможную прибыль. Выручила Анаис, заявив, что если такая ситуация возникнет, она сама оплатит все расходы. Через два года роман вышел в Париже. Понадобилось еще четверть века для издания его в США и Великобритании, и прошло еще столько же, прежде чем были обнародованы дневники Анаис Нин.

В одном из писем к Эмилю Миллер восклицает: «Можешь ли ты вообразить, что значит для меня любить женщину, равную мне во всех отношениях!» Впервые он оценил женщину за ее интеллект. Миллер восхищался умом Анаис Нин и ее прозой, и уж конечно, той смелостью, с какой она описывает в своих дневниках их роман (при том что Миллер жил тогда со второй женой Джун Мэнсфилд, а сама Нин не собиралась разводиться со своим мужем-банкиром). Видимо, эта смелость и привлекла режиссера Филипа Кауфмана, подвигнув сделать фильм по дневникам А. Нин. Правда, называется он «Генри и Джун» (картина вышла на экраны в 1990 году, в главных ролях: Ред Уорд и Мария Медейрос). Кауфману тоже не удалось избежать осложнений с цензурой при выпуске фильма: то ли оттого, что слишком близко следовал оригиналу, то ли всех, кто так или иначе сталкивается с именем Генри Миллера, не минует сия участь.

Генри Миллер прожил долгую жизнь. В молодости он сменил десяток различных профессий, ни одна из которых не имела продолжения в его дальнейшей судьбе. Лишь одному увлечению (помимо литературы) он сохранил верность до конца — живописи. Миллер увлекся рисованием, когда ему было уже 36 лет. Первая выставка его работ состоялась в 1927 году в Нью-Йорке. Мир встретил живописные опыты Миллера точно так же, как и литературные — гробовым молчанием. Когда в конце 60-х «Тропик Рака» стал бестселлером, а Генри Миллер оказался в зените писательской славы, он приобрел известность и как художник. Выставка его акварелей в Париже произвела на тамошнюю публику сильное впечатление. Жур-

Чей-то муж, чья-то жена... Кадр из фильма Ф. Кауфмана «Генри и Джун» Журнал «Лиснер»)

Генри. Хоки и живопись (газета «Джапан таймс уикли»)

налисты стали выспрашивать, кем он себя ощущает в первую очередь — писателем или художником. Миллер отвечал: «У меня дело обстоит так: рисует ангел, а пишет дьявол». Наиболее родственной себе артистической душой он считал Марка Шагала. Для Миллера-художника характерна та же свобода от общепринятого и общепризнанного, что и для Миллера-литератора.

В мае нынешнего года Миллер удостоился персональной выставки в Японии. Многие из показанных в Токио акварелей обязаны своим появлением японке Хоки Токуда — 27-летней певице из голливудского ресторана, в которую Миллеру случилось влюбиться летом 1966 года. Он завалил Хоки любовными письмами, многие из которых были иллюстрированы акварелями. Японка поначалу не отвечала взаимностью, и страдающий Миллер утратил сон, в результате чего возникла целая серия акварелей (а потом и книга) под названием «Бессонница». К счастью, все кончилось благополучно: с некоторого момента вместе с бурными излияниями влюбленного писателя почта начала приносить Хоки уведомления иммиграционных служб (истекал срок ее американской визы) — и певица стала «мадам Миллер».

«Я думаю, что во мне он полюбил прежде всего музыканта,— рассказывала Хоки.— Он был официально женат пять раз, в общей же сложности имел восемь жен — трое из восьми имели отношение к музыке». Хоки вспоминает, что, когда она была женой Миллера, он рисовал почти каждый день. Как правило, работая кистью, Миллер пел, насвистывал, а если был в настроении, то и пританцовывал. «Рисовать — значит вновь любить,— говорил Генри Миллер.— Только когда мы смотрим влюбленными глазами, мы видим то, что видит художник. Он — сама любовь, более того, свободная от собственничества. Художник обязан поделиться тем, что он видит». И делился, не только в своих акварелях, но и в книгах, появления которых у нас остается только ждать.

По материалам журналов «Лиснер», «Паблишерс уикли», газеты «Джапан таймс уикли»

К произведениям Генри Миллера обращаются не только читатели и критики. Его имя возникает порой даже несколько неожиданно. Так, на состоявшемся недавно вечере в Штутгартском театре балета, посвященном творчеству голландского хореографа Ханса ван Манена, было показано па-де-де «Луна на трапеции», поставленное ван Маненом в 1959 году по рассказу Г. Миллера «У подножия лестницы». Это поэтичная и трогательная история о нежной любви между стареющим клоуном и юной циркачкой. Партии исполнили Марион Йегер и Ричард Крэган. (Журнал «Культур-кроник»)

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА» за 1991 год (№ 1—12)

ПОВЕСТИ, РОМАНЫ, РАССКАЗЫ

Аскильсен Хьелль — Последние заметки Томаса Ф. (Рассказы. Перевод с норвежского О. Дробот), № 12.

Баргум Юхан — Новеллы (Перевод со шведского Ирины Новицкой), № 8.

Бёрджесс Энтони — Трепет намерения (Роман. Перевод с английского А. Смолянского), № 12.

Брандштеттер Роман — Случаи из моей жизни (Миниатюры. Перевод с польского и вступление И. Баранова), № 4.

Во Ивлин — Черная беда (Роман. Перевод с английского и вступление А. Ливерганта), № 6.

Вулф Вирджиния — Комната Джейкоба (Роман. Перевод с английского Марии Карп. Вступление Е. Гениевой), № 9.

Вулф Том — Костры амбиций (Роман. Перевод с английского И. Бернштейн и В. Бошняка), № 10, 11.

Гамсун Кнут — Новеллы (Перевод с норвежского Е. Алексеевой, К. Мурадян, Элеоноры Панкратовой). На заросших тропинках (Фрагменты книги. Перевод Норы Киямовой), № 2.

Гибер Эрве — Другу, который не спас мне жизнь (Роман. Перевод с французского М. Кожевниковой, В. Жуковой, М. Волковой, А. Волкова), № 8, 9.

Гомбрович Витольд — Фердидурка (Роман. Перевод с польского и вступление А. Ермонского), № 1.

Грин Грэм — Последнее слово (Рассказ. Перевод с английского Н. Трауберг), № 5.

Грошан Иоан — Ночной поезд (Рассказ. Перевод с румынского Татьяны Ивановой), № 6.

Доктороу Э. Л. — Билли Батгейт (Роман. Перевод с английского Ю. Здоровова), № 6, 7.

Жид Андре — Тесные врата (Роман. Перевод с французского Ярослава Богданова), № 1.

Зюскинд Патрик — Парфюмер. История одного убийцы (Роман. Перевод с немецкого и послесловие Э. Венгеровой), № 8.

Йейтс У. Б. — Распятие отверженца (Рассказ. Перевод с английского Е. Суриц), № 10.

Капор Момо — Книга жалоб (Роман. Перевод с сербскохорватского и вступление И. Юферева), № 7.

Конрад Дёрдь — Тяжелый день (Повесть. Перевод с венгерского Ю. Гусева), № 4.

Макинерни Джей — Яркие огни, большой город (Роман. Перевод с английского О. Васильева), № 2.

Малерба Луиджи — Рассказы (Перевод с итальянского Ф. Двин), № 11.

Маруяма Кэндзи — Сердцебиение (Повесть. Перевод с японского Г. Чхартишвили), № 5.

Мрожек Славомир — Гомбрович (Эссе. Перевод с французского И. Истратовой), № 1.

Онетти Хуан Карлос — Это было, когда... (Повесть. Перевод с испанского и вступление Ю. Ванникова), № 4.

Павич Милорад — Хазарский словарь (Роман-лексикон в 100 000 слов. Фрагменты. Перевод с сербскохорватского Л. Савельевой), № 3.

Пристли Джон Б. — Роза и корона (Пьеса в одном действии. Перевод с английского Евгении Гаско), № 2.

Саган Франсуаза — Рыбья кровь (Роман. Перевод с французского Ирины Волевич), № 2.

Табукки Антонио — Новеллы (Перевод с итальянского Наталии Ставровской), № 5.

Таунсенд Сью — Ковентри возрождается (Повесть. Перевод с английского И. Стам), № 3.

Хаксли Олдос — Гений и богиня (Повесть. Перевод с английского и комментарий В. Бабкова), № 5.

Хласко Марек — Рассказы (Перевод с польского К. Старосельской и Е. Твердисловой. Предисловие Е. Твердисловой), № 9.

Холт Оста — Поваренная книга бедняка, или Малоземельного хутора летопись (Повесть. Перевод с норвежского Н. Падалко. Вступление Л. Васильевой), № 11.

Юрсенар Маргерит — Последняя любовь принца Гэндзи (Новелла. Перевод с французского В. Румянцевой), № 7.

СТИХИ

Авидан Давид — Стихи (Перевод с иврита Савелия Гринберга. Предисловие Исраэля Шамира), № 3.

Ариф Ифтихар — Стихи (Перевод с урду Натэллы Горской. Вступление Анны Суворовой), № 5.
Бинек Хорст — Стихи (Перевод и вступление с немецкого Е. Витковского), № 12.
Бобровский Иоганнес — Стихи (Перевод с немецкого Г. Ратгауза), № 6.
Бьёркегрен Ханс — Стихи (Перевод со шведского Г. Айги, И. Кутика и А. Афиногеновой. Интервью поэта с переводчиком), № 12.
Боске Ален — Стихи и афоризмы (Перевод с французского Мориса Ваксмахера), № 8.
Ворошильский Виктор — Стихи (Перевод с польского Владимира Соколова, Марианны Роговской и Бориса Раевского. Вступление Геннадия Айги), № 7.
Голуб Мирослав — Из книги «Наоборот» (Перевод с чешского Александра Грибанова), № 4.
Гринберг Генрик — Стихи (Перевод с польского и вступление Татьяны Бек), № 11.
Допликер Фабио — Плющ на Вилле Памфили (Поэма. Перевод с итальянского и вступление Евгения Солоновича), № 9.
Каняди Шандор — Есть край такой (Цикл стихов. Перевод с венгерского Натэллы Горской и Татьяны Бек. Вступление Л. Васильевой), № 6.
Леннон Джон, Маккартни Пол — Стихи (Перевод с английского М. Бородицкой, В. Лунина, М. Фрейдкина. Вступление В. Скороденко), № 9.
Милош Чеслав — Стихи (Перевод с польского Иосифа Бродского и Владимира Британишского). Речь в Шведской королевской академии. Стокгольм, декабрь 1980 (Перевод с польского Владимира Британишского), № 5.
Пас Октавио — Из книги «Восточный склон» (Перевод с испанского Сергея Гончаренко), № 1.
Сюлли-Прюдом — «Правда» (Главы из поэмы. Перевод с французского и вступление Ивана Тхоржевского. Послесловие С. Зенкина и С. С. Тхоржевского), № 10.
Тавара Мати — Стихи (Перевод с японского и вступление Т. Соколовой-Делюсиной), № 9.
Хини Шеймас — Стихи (Перевод с английского и послесловие Г. Кружкова), № 4.

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

Эми Лоуэлл — Стихи (Перевод с английского Андрея Сергеева. Вступление А. З.), № 8.

ИЗ КЛАССИКИ XX ВЕКА

Бликсен Карен — Поэт (Новелла. Перевод с датского Е. Суриц), № 5.
Паунд Эзра — Из стихов 1908—1912 годов (Перевод с английского Алексея Парина и Анатолия Наймана), № 2.

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА И ПУБЛИЦИСТИКА

Аннинский Л. — Пальмы на айсберге (Миражи шестидесятников и реалии шестидесятых), № 2.
Антоний Сурожский (митрополит) — размышления о призвании (Авторизованный перевод с английского и предисловие Ирины Кирилловой), № 10.
Вайль П., Генис А. — Интервенция (Глава из книги «60-е. Мир советского человека»), № 2.
ВЕРА И МОРАЛЬ, № 1, 7, 9, 10.
Вивекананда Свами — Четыре йоги (Перевод с английского и вступление Мариам Салганик), № 9.
Войтыла Кароль — Любовь и ответственность (Фрагменты книги. Перевод с польского В. Бурякова. Вступление Н. Трауберг), № 7.
Гульотта Гай, Лин Джефф — Кокаиновые короли (Документальная повесть. Перевод с английского Ольги Варшавер. Послесловие Льва Елина), № 3.
Дали Сальвадор — Тайная жизнь Сальвадора Дали, написанная им самим (Фрагменты книги. Перевод Н. Малиновской), № 12.
Дедков Игорь — Дорожное зеркало маркиза де Кюстина, № 7.
ЕВРАЗИЙСКАЯ ИДЕЯ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА (Из материалов конференции, состоявшейся в Комиссии СССР по делам ЮНЕСКО. Участвуют: Р. Отунбаева, П. Палиевский, Г. Померанц, И. Роднянская, Р. Гальцева, С. Аверинцев, В. Лакшин), № 12.
Зотов Владимир — От коррумпированной культуры к культурной коррупции, № 10.
Исихара Синтаро — Япония, которая сумеет сказать «нет» (Перевод М. Теракопян), № 11.
Кириллова Ирина — Православное учение о человеке (Краткий путеводитель к проповедям владыки Антония), № 10.
Кюстин Астольф де — Россия в 1839 году (Фрагмент книги. Перевод с французского С. Зенкина), № 7.
Лакёр Уолтер — Наставники Гитлера (Главы из книги «Россия и Германия». Перевод с английского О. Соловьяновой), № 5.
Огден Крис — Мэгги. Интимный портрет женщины у власти (Главы из книги. Перевод с английского В. Воронина и М. Теракопян. Послесловие Бориса Кагарлицкого), № 4.
Олдермэн Элен, Кеннеди Каролин — В нашу защиту. Билль о правах в действии (Перевод с английского Г. Лисиной), № 10.
ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО, № 10.
Рейган Нэнси при участии Уильяма Новака — Мой черед (Воспоминания. Перевод с английского Ирины Дорониной), № 8, 9.
РУБЕЖ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ, № 6, 8.
Саркисов К. — Новый глобальный конфликт? № 11.
Судзуки Дайсэцу — Две лекции о дзэнбуддизме (Перевод с английского и предисловие Людмилы Ермаковой), № 1.
Шварц Хиллел — Предрешенные выводы: легенда о 1000-м годе (Из книги «Конец века». Перевод с английского А. Волкова), № 6.
Энтин Владимир — Свобода печати: советский вариант. № 10.
Якимович Александр — Утраченная Аркадия и разорванный Орфей (Проблемы постмодернизма), № 8.

КРИТИКА

Бретон Андре — «Любовная лодка разбилась о быт...» (Перевод с французского и вступление Тамары Балашовой), № 4.

Верхейль Кейс — Тишина русской лирики (Два этюда. Вступление Анатолия Наймана), № 3.
Вулф Том — Охота на миллиардного зверя, № 11.
Дорошевич А.— Энтони Бёрджесс: цена свободы, № 12.
Зверев Алексей — «Деревенский умник» (К портрету Эзры Паунда), № 2.
Кальвино Итало — Легкость. Из «Американских лекций» (Перевод с итальянского и вступление Елены Костюкович), № 6.
Кофман А.— Утопия Октавио Паса, № 1.
Краус Вольфганг — В роли предтечи. Австрийская культура в силовом поле европейских культурных течений. (Перевод с немецкого Г. Дашевского. Вступление А. Карельского), № 2.
К 100-летию Михаила Булгакова, № 5.
Лукин А., Рынкевич Вл.— Авантюрное сердце Эрнста Юнгера, № 11.
Мень Александр, протоиерей — В поисках подлинного Христа. Евангельские мотивы в западной литературе. (Подготовка текста и вступление И. Зориной), № 3.
Пас Октавио — Эссе разных лет (Составление и перевод с испанского Н. Богомоловой), № 1.
ПЕРЕОСМЫСЛЯЯ ПРОШЛОЕ, № 4.
Пфеффер Эллендеа — Художник и власть. По страницам романа «Мастер и Маргарита», № 5.
Соколов Борис — Американский дипломат — знакомец Михаила Булгакова, № 5.
ЭРОТИКА И ЛИТЕРАТУРА (Из бесед в редакции) Ведущий В. Лакшин. Участвуют: В. Ерофеев, Д. Затонский, А. Зверев, В. Нарбикова, А. Никитин, Н. Пальцев, К. Степанян, № 9.
Юнгер Эрнст — Из философской прозы (Составление и перевод с немецкого Вл. Рынкевича и А. Лукина), № 11.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Базилевский А.— Витольд Гомбрович: «Боязнь нежизни», № 4.
Ерофеев Виктор — Переполох среди шпионов, или Метафизика предательства, № 5.
Кон Игорь — С точки зрения сексологии, № 6.
«Любовник леди Чаттерли» — Роман творец, № 6.
Миллер Генри — Размышление о писательстве (Перевод с английского и вступление А. Зверева), № 8.
Пальцев Николай — По ту сторону сексологии, № 6.

НАВСТРЕЧУ НАШИМ ПУБЛИКАЦИЯМ

Богомолова Наталья — Абель Поссе: новые времена, новые лидеры, № 10.

НОВЫЕ КНИГИ, НОВЫЕ ИМЕНА

Аннинский Л.— Где взять силы на безумие? № 7.
Ерофеев Виктор — «My style is all I have», № 8.
Зверев Алексей — Новый яркий талант, № 7.
Зимянина Н.— Пособие для чехов по новейшей истории их страны, № 12.
Иванов В.— Интервью с директором издательства «Слово», № 12.
Казак Вольфганг — Терпимость — это начало любви, № 8.
Котрелев Н.— Русские символисты — по-итальянски, № 8.
Лукин А.— Виктория Чаликова: другое приближение, № 12.
Мавлевич И.— Жан Руо — лауреат Гонкуровской премии 1990 года, № 7.
Маевский Евгений — Другая участь (Мысли о русской диаспоре. Постскриптум редактора В. Лакшина), № 7.
Мулярчик А.— Кролик Энгстром — Тридцать лет Испытаний, № 12.
Салганик М.— Всякий ли грех искупаем, № 12.
Соловьев Владимир — Владимир Набоков. Автопортрет в эпистолах, № 8.
Фридберг Морис — «Мы изучали русский язык как древнегреческий» (Интервью подготовила В. Жукова), № 7.

КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

Харитонов Марк — Белая рубашка, или О понимании, № 9.
Последние страницы Раисы Орловой, № 1.

У книжной витрины, № 8, 9, 10, 11, 12.

Курьер «ИЛ» № 4, 5, 7, 9.

Советская литература за рубежом, № 3.

Авторы этого номера № 1—12

Авторы этого номера

ЭНТОНИ БЁРДЖЕСС (ANTHONY BURGESS; род. в 1917 г.) — английский писатель, литературовед. Окончил Манчестерский университет, участник второй мировой войны. Автор романов «Право на ответ» («The Right to an Answer», 1960), «Доктор болен» («The Doctor is Sick», 1960), «Заводной апельсин» («A Clockwork Orange», 1962; рус. пер. 1991), «Семя на исходе» («The Wanting Seed», 1962), «На звезды не похожи» («Nothing Like the Sun», 1964), «Наполеоновская симфония» («Napoleon Symphony», 1974), «1985» и др., многих литературоведческих исследований — о Шекспире, Дж. Джойсе, Э. Хемингуэе. Э. Бёрджессом написано и несколько музыкальных произведений, в том числе симфоний.
Перевод романа «Трепет намерения» выполнен по нью-йоркскому изданию «Tremor of Intent». New York, W. W. Norton & Company, 1966. Он войдет также в однотомник произведений Э. Бёрджесса, готовящийся к печати в издательстве «Художественная литература» (Санкт-Петербург).

ХЬЕЛЛЬ АСКИЛЬСЕН (KJELL ASKILDSEN; род. в 1929 г.) — норвежский писатель. Автор романов «Герр Леонард Леонард» («Herr Leonard Leonard», 1955), «Брат Давида» («Davids bror», 1957), «Среда» («Omgivelser», 1969; экранизирован под названием «Мария Маруська»), «Милый, милый Улав» («Kjaere, kjaere Oluf», 1974), «Будни» («Hverdag», 1976), сборников рассказов «Теперь я всегда буду провожать тебя...» («Heretter folger jeg deg helt hjem», 1953), «Кулисы» («Kulisser», 1966), «Ничего за ничего» («Ingenting for ingenting», 1982) и «Последние заметки Томаса Ф.», откуда взяты предлагаемые вниманию читателей рассказы. Перевод выполнен по изданию («Thomas F's siste nedtegnelser til almenheten». Oslo, Aschehoug, 1984). На русском языке Хьелль Аскильсен публикуется впервые.

САЛЬВАДОР ДАЛИ (SALVADOR DALI; 1904—1989) — испанский живописец, график, театральный художник; автор цикла теоретических работ и манифестов нового искусства (1927—1929), романа «Скрытые лица» («Rostros ocultos», 1944), книги «Дневник гения» («Diario de un genio», 1964). Жил в Париже, Испании и США. Автобиографическая книга «Тайная жизнь Сальвадора Дали» была впервые опубликована на английском языке в Нью-Йорке в 1941 году. Страницы рукописи, написанные по-английски, чередуются с испанским и каталанским текстом. Поля рукописи изобилуют рисунками, которые воспроизведены во всех изданиях. Часть их сопровождает и предлагаемую нашим читателям публикацию фрагментов книги. («The Secret Life of Salvador Dali by Salvador Dali». New York, The Dial Press, 1941).

ДОРОШЕВИЧ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ (род. в 1941 г.), советский критик и литературовед, переводчик с английского. Автор работ по зарубежной литературе, кинематографу и театру. Переводил пьесы Ч. Пинтера, Дж. Осборна, Т. Уильямса, Эд. Олби, П. Шеффера и др.

ПЕРЕВОДЧИКИ:

СМОЛЯНСКИЙ АЛЕКСАНДР ДАВИДОВИЧ (род. в 1957 г.) — советский переводчик с английского. В его переводах публиковались стихи и проза англоязычных писателей, в том числе О. Уайльда, Э. Лира, роман А. Кристи «Таинственное происшествие в Стайлз», пьесы и рассказы В. Аллена, новеллы И. Б. Зингера и др.

ДРОБОТ ОЛЬГА ДМИТРИЕВНА — литературовед, кандидат филологических наук, переводчик с норвежского языка. Автор работ о творчестве норвежского писателя Акселя Сандемуса.

МАЛИНОВСКАЯ НАТАЛЬЯ РОДИОНОВНА — советский филолог-испанист, кандидат филологических наук, переводчик. Автор статей об испанской литературе XX века. В ее переводе публиковались проза и пьесы Ф. Г. Лорки («ИЛ», 1982, № 4), эссеистика и афоризмы Р. Г. де ла Серны, сказки и рассказы Р. Дарио, рассказы и эссе А. М. Матуте и др.

Уважаемые читатели!

В следующем году третий номер нашего журнала
будет необычным.
Этот специальный выпуск — первый среди тех,
которые получат подписчики **«ИЛ»** в 1992 году,—
называется

«ЕСТЬ МНОГОЕ НА СВЕТЕ...»

**Мистическое, инфернальное и сверхъестественное
в литературе XX века.**

Вас ждут встречи — страшные и не очень —
с целым сонмищем призраков, ведьм и вурдалаков,
увлекательное погружение в богатый традициями жанр литературы
о нечистой силе,
дань которому отдали многие знаменитые писатели столетия.

Читайте в спецномере произведения

Г. МЕЙРИНКА, Х. Л. БОРХЕСА, М. ЭЛИАДЕ, Ж. РЭЯ, Х. ЛАВКРАФТА,
Э. ДЖОНГ, исповедь настоящего ЛОНДОНСКОГО ВАМПИРА,
мистическую поэзию, статью А. ЛУКИНА и В. РЫНКЕВИЧА
«В магическсм лабиринте сознания»

Цена 2 руб. 95 коп.

ИНДЕКС 703

Библиотека журнала «Иностранная литература»

В 1992 году
выйдут в свет:

АЛЬБЕР КАМЮ (Франция) ***«Счастливая смерть»***

РАЙМОН РАДИГЕ (Франция) ***«Бал у графа Д'Оржель»***

ПЬЕР ПАОЛО ПАЗОЛИНИ (Италия) ***«Теорема»***

ОРТЕГА-И-ГАССЕТ (Испания) ***«Этюды об Испании»***

ИТАЛО КАЛЬВИНО (Италия) ***«Если однажды зимой...»***

ГРЭМ ГРИН *(Великобритания)* ***«Наемный убийца»***

Книги Библиотеки «ИЛ»
распространяются только в розницу.